



Игорь Шестков  
УЖАС НА  
ЗАБРОШЕННОЙ  
ФАБРИКЕ

Игорь ШЕСТКОВ

УЖАС  
НА ЗАБРОШЕННОЙ  
ФАБРИКЕ

*Страшные рассказы*

БЕРЛИН 2020

## **Игорь Шестков**

### Ужас на заброшенной фабрике

Современный берлинский прозаик Игорь Шестков (Igor Heinrich Schestkow) начал писать прозу по-русски в 2003 году после того, как перестал рисовать и выставляться и переехал из саксонского Кемница в Берлин.

Первые годы он, как и многие другие писатели-эмигранты вспоминал и перерабатывал в прозе жизненный опыт, полученный на родине. Рассказы этого, первого периода творчества Шесткова вошли в книгу «Вакханалия» (Алетейя, Санкт-Петербург, 2009).

Настоящий сборник «страшных рассказов» также содержит несколько текстов («Наваждение», «Принцесса», «Карбункул», «Облако Оорта», «На шее у боцмана», «Лаборатория»), действие которых происходит как бы в СССР, но они уже потеряли свою подлинную реалистическую основу, и, маскируясь под воспоминания, – являют собой фантазии, обращенные в прошлое.

В остальных рассказах – автор перерабатывает «западный» жизненный опыт, последовательно создает свой вариант «магического реализма», не колеблясь, посылает своих героев в постапокалиптические, сюрреалистические, посмертные миры, наблюдает за ними, записывает и превращает эти записи в короткие рассказы. Гротеск и преувеличение тут не уведут читателя в дебри бессмысленных фантазий, а наоборот, позволяют приблизиться к настоящей реальности нового времени и мироощущению нового человека.

## ЖАСМИН

Аннелизе страстно любит жасмин.

Жаркий июнь — ее любимое время года. Из-за цветущего жасмина. По дороге на работу Аннелизе останавливается у огромного жасминного куста недалеко от ее дома, гладит ветки и белые цветы и, зажмурившись от удовольствия, нюхает сладкий аромат. Ее узкий лисий нос, густо усыпанный то ли веснушками, то ли старческими пятнами, неприятно подергивается.

Аннелизе пахнет жасмином — потому что регулярно принимает жасминные ванны, моется жасминным мылом и растирается жасминным кремом. Душится жасминными духами. И даже зубную пасту покупает всегда с жасминным экстрактом.

Я жасмин терпеть не могу — от него у меня голова болит. И июнь в саксонском Кирлитце не люблю именно из-за жасмина, которого тут до безобразия много посажено. Тяжелое это благовоние может чувствительного человека в гроб загнать. А я — человек чувствительный. Как все эмигранты. И аллергия меня мучает. На все. На самого себя. На Кирлитц. На жасмин.

...

Аннелизе живет в центре Кирлитца в четырехэтажном доме с балконами, эркерами и башенками, построенном еще до Первой мировой войны, в квартире с просторными комнатами, высокими потолками и внушительной угольной печью, топящейся из коридора и выходящей двумя своими могучими зелеными кафельными боками в гостиную и детскую. На кафельных плитках изображен Роланд с высоко поднятым мечом в правой руке и щитом в левой. На щите — трехголовый грифон.

В длинной, узкой как гроб, спальне отопления нет.

Аннелизе работает вместе со мной в городской галерее современного искусства «Синяя лампа».

Дом, где живет Аннелизе, случайно не пострадал при бомбардировке Кирлитца в марте 1945 года. Союзники дружно громили тогда уже беспомощную Германию, чтобы быстро не встала на ноги, и кошмар не начался бы сначала. Английским пилотам перед вылетом, например на уничтожение Дрездена, рассказывали по секрету, что по сведениям разведки в Дрездене находится руководство Германии во главе с Гитлером. Почему надо сжигать жилые кварталы, в которых жили только старики, женщины, инвалиды и дети, пилотам не объяснили. Но они, кажется, и не спрашивали. Военные любых национальностей охотно совершают массовые убийства, если за это их не наказывают...

Почти все соседние дома были разрушены и не восстановлены после войны, а заменены на ужасные, крысиного цвета двухэтажные строения, слепленные из мусора, глины, щебня и плохого цемента, с крохотными квартирками и маленькими окошками. Эти убогие лачуги достояли до объединения Германии. Удивительно то, что многие их жители не хотели покидать свои первобытные жилища, когда городской совет решил наконец их снести, построить на их месте современные светлые коттеджи и расселить там старых жителей. Правда, цена за квадратный метр должна была возрасти в четыре раза.

...

Пожилые немцы не любят рассказывать о своих подвигах на Восточном фронте. Отнекиваются. Говорят, что в боевых действиях не участвовали. Что служили радистами, коноухами, поварами, шоферами. Только один старый актер, бывший директор драмтеатра в Кирлитце, замечательный знаток творчества Булгакова, тяжело посмотрев на меня, признался:

— Я был танкистом. В войсках СС. Я убивал ваших людей каждый день, убивал столько, сколько мог... Участвовал в операции Цитадель под Курском. Ничего страшнее я за свою жизнь не пережил... Мой танк сгорел, но я смог из него выбраться. Остальные погибли. Почти вся наша дивизия была уничтожена. Закончил войну во Франции. Пришел пешком домой, в Кирлитц, а в нем уже была советская комендатура. В вилле Моргенштерн. Меня вызвали к комен-

данту. Он сидел за старинным столом, а над ним на стене, там где раньше был гравированный портрет Гёте, висел ужасный портрет Сталина, намалеванный масляными красками прямо на гравюре. Комендант был пьян. Спросил меня о том, где я воевал. Я рассказал. Он выслушал и сказал — Фритц, видишь березу во дворе? Вот веревка. Сейчас выведем тебя во двор и повесим! Потому что ничего другого ни ты, ни весь твой народ не заслужили. Я ответил — воля ваша. А он рассмеялся и сказал, что с повешением несколько повременит, если я через две недели, к приезду высокого начальства поставлю Фауста в местном театре и сам сыграю Мефистофеля. Рассказал, что других актеров тоже пугал березой и веревкой, чтобы они не кочевряжились. Через полгода меня арестовали прямо в театре и отправили на Кавказ, строить дорогу на озеро Рица. Там я доходил. Меня спасли местные жители. Приносили фрукты и вино. Через четыре года отпустили. Я русских понимаю и ни за что не виню, но и себя виноватым не считаю. Что я мог сделать? Меня воспитали как нациста.

...

Одной из многочисленных неприятных неожиданностей, поджидавших на территории бывшей ГДР меня, москвича, прожившего всю жизнь в квартире с центральным отоплением, была такая же, как у Аннелизе, колоссальная угольная печь. Само ее наличие. И необходимость ее топить. А также отсутствие в квартире ванной комнаты и туалета. Туалет был на лестничной клетке, между этажами. Поход туда в шлепанцах на босу ногу по ледяным каменным ступенькам (подъезд не топился) был тяжелым испытанием. Особенно, если как раз в это время по лестнице поднимались в свое логово подвыпившие соседи сверху — бывший таксист Хельмут и его визгливая сожительница Бригитта.

Хельмут и Бригитта устраивали по ночам настоящие шабаши с ведьмовскими плясками, зазывали на них всю окрестную пьянь, орали, топали ногами и ревели как медведи. Не боялись даже полицейских, которых вызывали по телефону мрачные супруги Зигле или сенильный дед Зигфрид, бывший секретарь парткома машиностроительного завода.

Теплыми летними деньками Хельмут и Бригитта выносили на балкончик, выходящий на внутренний двор, радио и врубали на полную мощь немецкие шлягеры в ритме марша. Слушать эту удивительно бесталанную музыку, доказывающую самим своим существованием упомянутую классиком еще в девятнадцатом веке пронизывающую все и вся пошлость немецкой культуры было невыносимо. Если бы у меня было ружье, я застрелил бы и Хельмута и Бригитту. Но ружья у меня не было, поэтому приходилось терпеть, скрипя зубами, или уезжать кататься на велосипеде в парк Чижиковый лес, собирать там ежевику. Собирал я ее впрочем только до того момента, пока не прочитал надпись на табличке у входа в лес «Просим воздержаться от сбора ягод из-за их заражения яйцами ленточных глистов!».

Хуже популярной немецкой музыки второй половины двадцатого века — только советская популярная музыка того же времени.

...

В моей кухне в стене рядом с небольшим старомодным умывальником с большими фарфоровыми кранами была ниша — душевая. Там можно было помыться, стоя в прямоугольном пластиковом корыте с круглой зарешеченной дыркой, в которую стекала вода. Стены ниши были покрыты зловецей сизой плесенью. Несколько раз я соскребал ее вместе с штукатуркой, обрызгивал стены специальной жидкостью, штукатурил их как мог, и красил заново. Ничего не помогало — через месяц плесень появлялась вновь. Однажды я мылся, думал о чем-то приятном и свистел соловьем. Вдруг корыто подо мной заходило ходуном. Землетрясение, подумал я и выскочил из ниши. Через несколько секунд наполовину полное водой корыто (дырку я затыкал пластиковой крышкой от мармелада) медленно, как в фильме ужасов, провалилось и упало в кухню живущего подо мной машиностроительного деда Зигфрида. Моя прыть спасла мне жизнь. Падать пришлось бы долго — потолки в нашем доме высокие. Деревянные балки под корытом прогнили от постоянно сочащейся воды. Несколько месяцев ко мне приходили рабочие заделывать дыру. Один раз они украли у меня десять марок из буфета (тогда еще были марки) и свитер. Свитер позже возвратили, а деньги нет.

День приходилось начинать с посещения угольного подвала и растапливания печи. В подвале меня мучила клаустрофобия. Мне казалось, что его низкие арочные перекрытия это небо пасти огромной каменной черепахи.

Тишина грохотала.

Из темных, затянутых грязной паутиной, углов подвала доносились зловещие шорохи, хруст, шуршание. Я подозревал, что это духи живших в моем доме до войны евреев зывают ко мне о помощи. Я ничем помочь им не мог. Только иногда представлял себе, глядя в моей квартире на выцветшие старинные обои с растительными орнаментами, на которых сохранились какие-то подозрительные светлые силуэты, — вот, тут видимо стоял бельевой шкаф, а тут у них располагалось брачное ложе. И тут же, как по волшебству, передо мной проходила танцующей походкой полупрозрачная девушка в длинном старомодном кремовом платье, кокетка и шалунья, за ней шли размеренным шагом ее пожилые родители в черном, отец держал в руках газету, а мать вела за руку толстого карапуза в матросской одежде.

Карапуз застенчиво смотрит в пол...

Ленточки на его бескозырке развиваются на беззвучном ветру. Он поднимает голову и проникновенно смотрит на меня. Затем опять печально опускает голову.

Мертвые...

В общине мне сообщили бесстрастно: «Всех бывших жителей вашего дома убили в Освенциме».

Знай, мол, куда приехал, и что тебя возможно ожидает в будущем. Это были старые, немощные, бедные или хронически больные люди и брошенные дети. Молодые, богатые и энергичные евреи покинули Германию еще до «Хрустальной ночи». Пережили Холокост и вернулись в Кирлитц только несколько полудевреев. Их отправили в образцовый лагерь Терезиенштадт в конце войны, и они чудом уцелели.

...

Приходилось тащить два тяжелых ведра с бурым углем на третий этаж. Несмотря на всевозможные химические средства и достаточное количество сухих чурок для растопки, дешевый польский уголь загораться в печи не хотел, только вонял отчаянно. Возможно, я сам был виноват и де-



лал что-то неправильно. Заслонки что ли не так открывал? В СССР я был относительно благополучным человеком, дворником, истопником или рабочим как некоторые сильные личности не работал, угольные печи в глаза не видел.

Мне казалось, что проклятая печь не топится из-за моего презрения к Кирлитцу и его обитателям. Вроде как мстит.

...

Муж Аннелизе Хайнц — безработный алкоголик. Торчит вечно на вокзале — у тамошней пивнухи. Той, что между магазином комиксов и аптекой для домашних животных. Рядом с которой невоспитанный спаниель, принадлежащий бывшему советскому немцу, в прошлом директору музыкальной школы в Екибастузе, укусил за палец дочь обер-бургомистра.

Хайнц загибает собутыльникам на вокзале, что он во времена ГДР работал инженером на фабрике протезов. На самом деле он был сантехником, мне Аннелизе рассказывала. На заводе по производству мотоциклов в Рудных горах. Чинил сортиры и душевые.

Приходил Хайнц и к нам в галерею, жену проведать. Врал и мне про фабрику протезов. Зачем, один Фрейд знает.

Натолкнулся я недавно в интернете на страницу Секс с женщиной, у которой ампутированы ноги и руки. Не хотел смотреть, жалел несчастную. А потом все-таки посмотрел. Какой-то любопытный дьявол сидит во всех нас. Ампутирована у женщины была только одна нога. Оставшимися конечностями, красивым гибким телом и прекрасной головой она орудовала на удивление шустро. Страстный любовник покрывал жадными поцелуями ее культипу.

Каждому свое.

...

Бедная Аннелизе от стыда за мужа кашляла.

Сейчас тут многие врут. Стесняются правды. Честному немцу стыдно днем по улице слоняться или на вокзале торчать. Он должен вкалывать на работе. Зарабатывать деньги.

Спросил я однажды знакомого предпринимателя, купившего у меня еще в начале девяностых несколько рисунков, человека уже не молодого, по моим меркам — очень бо-

гатого, владеющего и солидным капиталом и дюжиной доходных домов недалеко от Рейна: «Зачем ты работаешь, папешь как пчелка? Шел бы на покой, ездил бы по свету и наслаждался жизнью!»

Бедный богач ошалело посмотрел на меня, в его усталых глазах на мгновение вспыхнул огонек страха, потом погас. Он выдавил из себя какую-то банальность, отошел от меня, а позже... перестал отвечать на мои приветствия.

Человек-робот ничего не может сделать против встроеной в него программы бессмысленного обогащения. Его приоритеты безнадежно деформированы всеобщим радостным безумием общества потребления. Раб собственного социального статуса, конкуренции, комфорта и денег боится свободного времени, ненавидит не асфальтированное, незастроенное под фабрики, конторы или доходные дома пространство, не выносит незасеянное поле, не обкорнанный сенокосилкой садовый участок, он испытывает ужас перед органикой — природой и человеком, всячески стремится надеть на них хомут и запрячь, а если нельзя, то по крайней мере вставить их в рамку и продать. А вечерами он компенсирует свою механистичность платным садомазохистским сексом, любовью к кошке или собиранием фарфора...

...

Клаус, богатый кузен моей бывшей подруги, показывал ей на семейной сходке коллекцию своих часов. Некоторые стоили более миллиона евро.

— Посмотри, на эти камни из Южной Африки! Горят! Тридцать карат! Платиновый корпус, ручная работа, гарантия на тысячу лет...

Коридоры его виллы были завешаны пестрыми картинами, в которые он, по его словам успешно вложил деньги. Его кухня — мать-одиночка с тремя малолетними детьми — в те времена бедствовала, не могла позволить детям на завтрак съесть более одного тоненького лепесточка копченой колбасы с дешевым хлебом. Клаусу и в голову не пришло предложить ей какую-то помощь.

Клаус умер от удара прямо на заседании правления его фирмы. Из-за нерадивости одного из директоров фирма потеряла выгодный контракт за границей. Клаус расстроился и

разругался с коллегами. И умер. Клауса похоронили, а его виллу, акции, коллекцию часов и картин выставили на продажу. По завещанию все вырученные деньги должны были пойти на убежище для бездомных собак. Наследники оспорили завещание. Процесс тянется уже больше десяти лет, и конца ему не видно. Вилла все еще не продана, ее уже несколько раз пытались ограбить. Коллекция часов хранится в банке. Полагаю, кроме моей бывшей подруги о Клаусе больше никто не вспоминает. Она одна ухаживает за его могилкой. Сажает на ней фиалки и анютины глазки. От спора за наследство она отказалась.

...

Хайнц загибал последовательно. Он де работал инженером, делал протезы для безногих женщин. Изобретатель и механик. Прочитал доклад в Кирлитцском техническом университете, сам профессор Хемпель хвалил его и звал на работу. Без пяти минут доцент. Сделал стальной протез с движущимися резиновыми пальцами для знаменитой фигуристки Габи Эш...

— Что? У нее и руки и ноги целы? Ну тогда, для этой, для другой Габи. Зайферт.

— Ах, Фрау Зайферт до сих пор катается? Недавно посещала галерею? Ну не помню, может это и не фигуристка была, а певица. Ну эта, ваша бывшая жена... Эбштайн...

— Простите, но моя фамилия Эпштайн, и Катя Эпштайн не имеет ко мне никакого отношения, и насколько я знаю, не нуждается ни в каких протезах.

...

Еще одна неожиданность. Чисто мифологического свойства. Не знаю, почему, но почти все мои знакомые в Кирлитце уверены в том, что я — бывший муж известной немецкой певицы Кати Эпштайн. Кроме того, они уверены, что я страшно богат. Только тайно. Что я прячу где-то большой белый мерседес и имею несметное количество денег в швейцарском банке. На номерном счете. А то, что я живу в Кирлитце более чем скромно — это маскировка, маскарад, который я разыгрываю для каких-то одному мне известных зловещих целей. И сколько я не убеждал моих друзей, что не

знаком с фрау Эбштайн, что настоящая ее фамилия Виткивич, что я действительно беден и нет у меня ни белого мерседеса, ни даже прав на вождение, ни номерного счета, ни каких-то тайных целей — все было напрасно. Мне вроде верили, а потом, за глаза, рассказывали, что видели меня на Кудаме в белом мерседесе, а рядом со мной сидела Катя Эбштайн в норковом манто.

Из-за этих идиотских сплетен я чувствовал себя в Кирлитце каким-то Чичиковым. Слава богу, за Наполеона меня все-таки не принимали. А вот за русского шпиона, увы, приняли. Эта, третья мифологическая неожиданность настигла меня однажды вечером. Я был дома, сидел в своем любимом красном кресле с ногами и читал какую-то монографию, кажется о Питере Брейгеле. Кресло это кстати мне досталось в подарок от бывшего судьи, высоченного породистого старика, похожего на Бисмарка, решившего провести остаток дней на Северном море и раздававшего мебель нуждающимся. Я тогда поблагодарил его жену и потащил кресло с десятого этажа вниз по лестнице, в лифт оно не входило. Где вы поставили свою машину, спросила меня жена судьи. И очень удивилась, когда я сказал, что потащу кресло домой на руках. Нести было не далеко, с километр. Изнемогая от боли в руках, я упрямо тащил кресло метров сто, затем ставил его на тротуар и садился в него отдыхать. Потом опять нес. Прохожие удивлялись, тарасили на меня глаза. Даже полицейский подошел и осведомился, почему я не везу кресло на грузовой машине. Я сказал, что это мое хобби — таскать мебель по заснеженным улицам. Полицейский недобро осклабился, но оставил меня в покое.

Так вот, сижу я дома в судейском кресле и слышу настойчивый звонок в дверь. Дверь у меня стеклянная — вижу, стоят за дверью двое мужчин казенного вида. Открыл.

— Вы такой-то?

— Да.

— Мы из БНД, хотели бы с вами поговорить.

— БНД? Это что такое?

— Федеральная разведывательная служба Германии.

— Проходите.

В этот момент мне припомнилось, как два господина в черном арестовали несчастного прокурриста Иозефа К. В день его тридцатилетия. Два типа из БНД вполне могли бы сыграть их роль. Но я на бедного Иозефа К., литературного двойника Кафки, вовсе не был похож.

Господа из БНД рассказали историю проведенного ими расследования. Они де меня сфотографировали на улице. А потом показывали мою фотографию различным людям в Кирлитце. Каким — не сказали, но я позже догадался. И спрашивали этих людей — уж не шпион ли я. И эти люди подтвердили — да, да, конечно он шпион. И не просто шпион, а резидент российской разведки в Саксонии!

Спасибо, что не во всей Германии!

Проговорив все это, типы из БНД уставились на меня своими змеиными глазами. Я твердо заявил, что не шпион и прошу прекратить эту комедию.

— Все шпионы так говорят.

— Но я действительно не шпион...

— Лучше признайтесь.

Разговор наш продолжался примерно час. Потом я догадался, что надо делать.

— Господа, мы все уже оговорили, я должен уходить, прошу вас уйти.

Они неохотно согласились, но пришли еще раз. Месяца через два. После их второго прихода я послал в штаб-квартиру БНД электронное письмо с просьбой больше ко мне никого не присылать, иначе де буду жаловаться канцлеру и напишу во все газеты о том, что меня, политического беженца, еврея, преследует БНД. Больше они не приходили.

На следующий день я пришел сдавать книгу в городскую библиотеку. Ко мне подошла ее директорша, старая знакомая, и шепнула мне на ухо: «Так ты что же, еще и шпион?»

...

Пропавший человек этот Хайнц. Глаза у него мерзкие, воспаленные. Зрачки — как у дохлой рыбы.

У многих немцев такие глаза. Первые годы жизни в Германии мне казалось, что на улице все на меня смотрят.

Пристально смотрят на меня своим мертвыми глазами, усмеваются моей неловкости и насылают на меня зло.

Аннелизе рассказала мне позже, что сказал ей муж после первого посещения «Синей лампы» и знакомства со мной.

— Эти проклятые евреи! Паразиты! Не дотравил их Адольф в газовых камерах, а жаль. Понаехали опять. Они хотят только наши деньги. Не верь этому типу! Посмотри на его спесивую рожу! Все он врет, никто их в России не преследует. Им бы только не работать, сосать из других народов кровь и трахать арийских девушек. Блондинок им подавай! Смотри, не спутайся с ним, зарежу!

...

Хайнц не был так уж неправ. Не только я, многие другие «евреи» из СССР — пишу в кавычках, потому что среди этих евреев процентов семьдесят людей других национальностей, купивших в конце восьмидесятых за полсотни долларов фальшивые свидетельства о рождении, да еще процентов двадцать пять половинок с русскими женами, а настоящих религиозных евреев нет вообще — приехали в Германию потому, что тут можно было жить, не напрягаясь. Кому охота ишачить?

Работу в галерее и работой-то трудно было назвать. Одно удовольствие. Художники — милые ребята. Публика вежливая. Денег немецких мне конечно не надо, но... Если дают просто так, ни за что, то почему бы и не взять?

Сосать кровь не гигиенично. Можно что-нибудь подхватить... А вот против блондинок я ничего не имею. У них шейки тоненькие, нежные, как у ошипанных курочек. Я — не какой-нибудь декадентствующий степной волк, перегрызать их мне вовсе не хочется, а вот романец закрутить можно. Поставить им, как говорил мой покойный друг Боб Френкель, большой любитель клубнички, затяжной пистон в растяжку. Немки — бабы ёбкие и не жеманные, не то, что русские интеллигентные женщины, измученные советским бытом. Они, как говорил тот же Боб, сисястые, но с тараканом в голове. Жены рыцарей.

Помню, связался я лет двадцать назад с одной блондиночкой, арийкой. Соблазнила она меня на музыкальном ве-

чере чудесными волосами, которыми встряхивала как молодая лошадка и короткой замшевой юбочкой, чуть прикрывающей длиннющие ее бедра, похожие на гидравлические приводы. Пела какая-то старая негритянка блюзы до того хорошо, что хотелось тут же взять билет и в Америку улететь, поселиться там где-нибудь в Алабаме рядом с Глазастиком и Боо Рэдди, пить Кока-Колу и весь день блюзы слушать.

Звали красавицу несколько на славянский лад — Влада. Странная была девица. Трахалась днем и ночью как бешеная лисица, но безумно боялась, что я как-то попорчу ее золотые волосы. Страшно переживала. Три часа их расчесывала, каждый день мыла и холила. Заставляла меня специальную повязку на лоб надевать, чтобы во время любви и капля пота на ее волосы — не дай бог — не упала.

А мне, когда сзади, черт шептал в уши — намотай ее льняное золото на руку и дерни как следует за волосья эту кобылу, когда будет кончать. Месяцев шесть я черта не слушал. А потом дернул. Не сильно, так, для страсти. Красавица моя заржала и как-то быстро — выюном — из-под меня выскочила. Встала и окаменела лицом. Оделась, сказала, что пойдет на заправку сигареты купить. И свалила. А я мирно заснул. Вернулась часа через полтора с двумя полицейскими. Оказывается, она для начала сбегала к своему знакомому домашнему врачу, который уж не знаю как и зачем, освидетельствовал несуществующую гематому на ее затылке. С этой справкой Влада направилась в полицию, где заявила, что я ее изнасиловал и избил. Волосы ей драл. Полицейские увезли меня с собой. Допрашивали. Но как-то вяло, без огонька. Я рассказал про наши отношения. Про волосы сказал, что да, дернул, в пароксизме страсти. Полицейские выслушали мой рассказ равнодушно, посмотрели на меня своими глазами цвета болотной трясины и пошли советоваться к шефу. Пришли от шефа скучные. И отпустили меня с миром. Я был на седьмом небе. Помчался как поручик Пирогов в кондитерскую, заказал там горячий шоколад и пирожное «Дунайские волны». В четыре слоя пирожное. Шоколадная глазурь. Сливочный пудинг. Вишенки. Легкий бисквит. С ума сойти как вкусно.

Скоро я узнал, почему меня тогда отпустили. Рассказал один знакомый городской чиновник. Оказывается, на мое

счастье, Влада не была в полиции белым листом. Помимо трех-четырех краж косметики в супермаркетах, за ней числились несколько случаев рукоприкладства по отношению к коллегам по работе (Влада работала синхронной переводчицей с чешского, словацкого и украинского, непонятно, кого она избивала?) и шесть ложных обвинений мужчин различных возрастов и национальностей в изнасиловании и побоях. Вот уж действительно — каждому своё!

Свой рассказ о Владе мой знакомый закончил так: «Ты не переживай, она просто психованная. Понимаешь, у нее мать, бухгалтерша, с собой покончила. Владе было четырнадцать или пятнадцать. Приходит домой из школы, а посиневшая мертвая мать у газовой плиты лежит. Тут каждый сбрендит».

...

Дочка Аннелизе, Моника, живет с Лукасом, служащим страховой компании и двумя детьми в старинном городе Роттенбурге. Это там, где все как в средневековье. Музей пыток даже есть. Кресло для допросов с короткими шипами для рук, ног, спины и задницы. Железная дева с шипами подлиннее, металлическая клетка для утопления ведьм, виселицы, специальные маски для срама и поношения преступников. Все как полагается.

Моника — продавщица в магазине сувениров, ей уже сильно за тридцать. Лукасу под пятьдесят. Лукас третий муж Моника. После тяжелого развода с первым мужем, другом детства, оказавшимся домашним садистом и бездельником, Моника полгода лечилась в психбольнице. Вторым мужем Моника был добрый вьетнамец, из тех двух или трех миллионов вьетнамцев, которые работали как рабы на гэдээровских заводах. Они были платой натурой за оружие, экспортируемое из Восточной Германии во Вьетнам.

Вьетнамец был маленьким, честным и работающим муравьем. С ним дородная Моника развелась еще до объединения Германий и вьетнамца позже безжалостно выслали назад во Вьетнам, который хоть вроде и получил слегда, но остался, как и его гигантский северный сосед, тоталитарным коммунистическим государством. Вьетнамец открыл на родине обувную мастерскую и до сих пор присылает Монике по



почте или передает с оказией ее любимые сладости — арахисовые плитки на меду. А Моника посылает ему консервированные баварские сосиски.

...

Лукас был женат четыре раза. С первой женой, Сабиной, у него все было хорошо, пока ребенок не родился. Слепозрячей мальчик. Родители возились с ним четыре года. Потом сдали-таки в специальную лечебницу. И развелись. Но не из-за сына, а из-за того, что Сабина, художница и писательница, как она сама себя называла, нашла себе более выгодную партию чем Лукас — врача интерниста. Интернист купил специально для свиданий с ней виллу в стиле ар нуво недалеко от Мюнхена, полную дорогого антиквариата. Даже письменный стол знаменитого Ван де Велде там был. Овальный, с выдвигающимися частями. Купил-то купил, но с собственной женой, Гудрун, гордой дочкой немецкого посла в Венесуэле, подрабатывающей кстати у него в клинике медсестрой, не развелся и виллу для верности записал на жену, а не на Сабину. Сабина так из-за этого переживала, что тоже четыре месяца отлежала в психушке. Затем прижилась в гудруновой антикварной вилле. Рисует там свои портретики и пишет любовные романы купленной в Париже ручкой Ватерман на овальном ван-де-велдевском столе.

Второй женой Лукаса была мексиканка Розита с ревнивым характером. Из Гвадалахары. Она познакомилась с Лукасом в интернете на сайте любителей кактусов. Когда он приехал к ней в Гвадалахару, показала ему плантацию редких кактусов во дворе ее дома и так накормила перченой мексиканской едой, что Лукас чуть не умер от заворота кишок. Розита переехала к Лукасу в Штутгарт. Ревновала его ко всем женщинам. И не напрасно — Лукас изменял ей с собственной шефиной во время частых совместных командировок на различные острова в океане (оба любили тропические фрукты, галечные пляжи и вареных омаров с чесночным соусом). Шефиня говорила, что они тяжело работают в страховой компании не для того, чтобы вести скучную жизнь домоседов, и ездила с любовником за счет фирмы то на Гавайи, то на Мальдивы, то в прекрасную Тасманию. Во время развода, в суде, мексиканка вынула вдруг из пышного платья мачете

и недвусмысленно пригрозила им Лукасу. После этого он согласился вернуть ей все совместно нажитое имущество. Отдал ей даже подарки шефини, на что та смертельно обиделась и продолжила свои вояжи уже с новым сотрудником, представительным и динамичным шотландцем Патриком, предпочитавшим фруктам, пляжам и омарам — ядовитое блюдо фугу, приготовляемое из скалозубов. Шефиня и Патрик зачастили на Японские острова. Однажды или повар перестарался или Патрик переел своего любимого деликатеса и скончался на руках у безутешной шефини в страшных муках. Перед смертью он прошептал: «Лучше бы мы ограничились нарэдзуси...»

Третья жена Лукаса привела в его новый, только что купленный в кредит дом двух дочерей от предыдущих браков. Отец первой дочери, мулатки, уехал в Конго, помогать президенту Сассу-Нгессо где, по слухам, был взят в плен повстанцами и после неудачной попытки получить за него выкуп, обезглавлен. Отец второй дочери, таиландец, не собиравшись никуда уезжать, работал себе в китайском ресторане и наслаждался жизнью; жена бросила его ради Лукаса. После чего таиландец уехал в Таиланд. От обиды. Работает в Бангкоке поваром. Две эти шальные дочки — от негра и от азиата — после нового брака их матери вдруг бешено полюбили своих за тридевять земель от Германии живущих отцов и начали им звонить по мобильному телефону. Хотя отец-конголезец был кажется уже мертв, а у таиландца не было телефона. После получения трех месячных счетов за телефон — каждый был больше двух тысяч евро — Лукас подумал о разводе. Через восемь месяцев он уже был снова женат на бездетной и надежной в финансовом смысле восточно-германской женщине Монике, дочери Аннелизе.

...

Аннелизе — пятьдесят восемь. Она не пьет и не курит. Зарядку делает утром и вечером. На даче разводит розы и жасмин. Тяжелые сумки не таскает, отовариваться в супермаркет ездит на своем маленьком фольксвагене. Пьет только минеральную воду. На курорты ездит. Даже на Мертвом море две недели в грязях купалась. Приехала оттуда — кожа как у молодухи. Светится как утренняя зоря в Пиренеях.

Немцы вообще здоровые как лошади. Не то, что мои бывшие соотечественники. Созвонился я недавно с Лукьяном, одноклассником. Лукьян рассказал, что половина нашего московского выпускного класса — уже на кладбище. Пьянство, курение, антисанитария, неправильное питание, тоталитаризм. Двое — в автомобильных авариях погибли. Один отравился водкой. Наташенька Голохвастикова, красоточка наша, вторыми родами умерла. Ребенка спасли, а ее нет. Муж дал дёру. Дети у ее престарелых родителей остались. Инка Малик умерла от болезни почек. Лекарство купить было не на что. А клоун наш классный, Димка Банжо — в Москву-реку бросился с Крымского моста. Из-за долгов. Лед башкой пробил и как ракета во льду застрял. Ногами кверху. Лукьян говорил, торчал он будто бы во льду целых три дня. Москва января девяносто третьего, понятное дело. Может, кто и помог. Пятерых наших ребят рэкетеры убили в девяностые. Фирмы из ничего организовали, открыли бюро и торговые точки. Еще двоих посадили в двухтысячные-нулевые. После того, как у них бизнесы отобрали. В тюрьме их опустили и заразили туберкулезом.

Ничего в России по-человечески сделать нельзя. Ни пожить, ни поработать, ни умереть...

Я тогда, после разговора с Лукьяном, специально Аннелизе про ее школьный класс расспросил. Чтобы сравнить. Дети военных лет все-таки. Оказалось — все живы. Собираются раз в год в Золотом петухе. Любительский фильм делают после каждой встречи. Аннелизе показала мне фильм — все крепкие, спокойные, солидные. Но хмурые. Немцы. Вещи в себе.

...

Многие после объединения Германии на Запад уехали, пожили там и приехали назад. Некоторые и квартиры и семьи бросили. И в Америку подались. Или в Канаду.

Почти все оставшиеся тут, на территории бывшей ГДР, работу потеряли. Экологически грязные, морально устаревшие гэдээровские предприятия закрылись уже в первые месяцы после объединения. Немногие рентабельные фабрики бывшей ГДР были сознательно уничтожены западными конкурентами.

Поначалу люди растерялись. Потом почти все как-то устроились. Подрабатывают то тут, то там. Иногда и на пособии прозябают. Ничего, и так жить можно. Особенно, если тебе за пятьдесят пять и у тебя есть свой домик в предместье, с садиком и гаражом.

Сидят бывшие строители коммунизма в своих уютных пивнухах с оленями и кабанами на стенах, ругают вполголоса новые порядки и пьют пиво. Летают раза три-четыре в год в Барселону, Стамбул, Анталию, Грецию, Тунис. А потом рассказывают друг другу...

— Как там хорошо кормят и все вообще дешево...

— Гостиница только была грязновата. Гюнтер купил себе серебряный арабский кинжал с рубинами, а Эрна — персидский ковер и чучело крокодила с малахитовыми глазами. Ковер быстро вылинял, рубины из ножен кинжала вывалились и закатились под шкаф, а крокодила отобрали неизвестно почему чертовы таможенники. Я просила хотя бы глаза оставить, но таможенник сказал, что это не малахит, а пластмасса. А про кинжал сказал, что он не серебряный. Везде один обман. Но море там изумрудное. Только загажено сильно. Пахнет тухлой рыбой.

...

Работа в галерее была не пыльная. Посетителей приходило за день — от пяти до десяти человек. А иногда весь день никого не было. Я обрамлял и развешивал работы очередного художника, организовывал и проводил вернисаж. Представлял артиста гостям, кратко характеризовал его творчество, после этого следовали музыкальный номер (саксофон, гитара или барабан) и фуршет (пиво нескольких сортов, белое и красное вино, бутерброды). После открытия делать в галерее было нечего. Выставки у нас продолжались два месяца. Аннелизе убиралась, мыла окна, пылесосила. Я читал искусствоведческие книжки или писал что-нибудь свое от скуки. Поначалу мы оба дисциплинированно отсиживали в галерее обязательные шесть часов. Потом я осмелел и уговорил пугливую Аннелизе разделить между нами присутственные часы пополам. Аннелизе вначале боялась проверок, коммунистическая картина мира — мы работаем, а всевидящие, всезнающие, карающие они нас наблюдают и проверя-

ют — все еще крепко сидела в ее голове. Потом привыкла и начала всю использовать свободную жизнь — выполняла в рабочее время дома небольшие дизайнерские работы (Аннелизе закончила художественное училище), моталась по магазинам, навещала подружек.

Так мы работали, жили каждый своей жизнью и только раз в неделю пили вместе кофе с пирожными после завершения короткой субботней смены, которую не делили, а проводили вдвоем для обсуждения планов и распределения обязанностей. Наслаждались выгодами мирного сосуществования.

Трудно было, наверно, найти на всем свете более различных людей. Я — толстый, лысый, эмигрант, антикоммунист, мизантроп, эгоист, бобыль, обжора и циник. Да еще и еврей. Аннелизе — худая, стройная, с огромной копной крашенных рыжих волос, бывший член Социалистической единой партии ГДР, добрая, отзывчивая, спокойная, семейная, обязательная немка. Умеренная во всем. Даже отчасти верующая в Бога и регулярно жертвующая деньги на борьбу с малярией.

Противоположности, как известно, сходятся.

Однажды, после долгого скучного разговора о планах на следующую неделю...

Планов не было никаких, но я постоянно придумывал различные легкие дела для того, чтобы Аннелизе не чувствовала себя невостребованной, а в годовом отчете можно было бы отчитаться о наших социальных проектах (ненавижу это слово, его используют профессиональные шарлатаны), на которые мы собственно и получали деньги от саксонского министерства культуры.

Однажды мы собрали, расписали красками и увесили подарками четырехметровый деревянный корабль на колесах, с парусами, с командой из двенадцати кукол (платя кроила и шила Аннелизе), с широко раскрывающейся бегомотовой пастью, в которой прятались куклы-пираты и животом, в котором хранились игры-сюрпризы. Наш веселый корабль мы торжественно ввезли по длинному коридору городской библиотеки и установили в большом вестибюле, в котором проводились предрождественские детские праздни-

ки. Дети в первый же день ободрали корабль как липку. Сломали и украли все, что смогли. Мы увезли корабль после Рождества в галерею и целый год его восстанавливали для следующего праздника, не забыв, разумеется, выцыганить под эту работу еще пару тысяч евро у государства.

Так вот, однажды после субботнего кофе...

В тот раз мы ели творожные пирожные с взбитыми сливками, клубникой и мандаринами. Пицца богов. Я пил капучино из любимой японской резной чашечки, Аннелизе — как всегда — эспрессо. Из белого голландского наперстка. Перед кофе и пирожными мы попробовали новый сорт французского козьего сыра. Сыр мы нарезали тонкими ломтиками и уложили на белый хлеб с маслом. Сверху положили дольки сладкого красного перца и листики петрушки. Резали мы все это роскошным кухонным ножом фирмы Золинген, купленным несколько дней назад для нашей галереи на деньги от очередного проекта. Я этот нож с темной удобной рукояткой и изящным длинным лезвием сам выбирал в дорогом магазине металлической посуды и гордился им как собачник гордится породистым щенком.

Допив свой капучино, я уже собрался было встать из-за стола и распрощаться с Аннелизой. Посмотрел на нее так, как смотрят на коллегу по работе или на старую мебель. Не то чтобы равнодушно. А так, с легким раздражением от нудности повторяющихся форм, слов и ситуаций.

Посмотрел... и увидел на ее лице выражение то ли скуки, то ли легкого беспокойства. Мне показалось, что в углах ее губ легла синеватой тенью озабоченность добропорядочной семейной женщины, хозяйки.

Ее лицо припудрил прах уходящего времени...

Это было так щемяще! Я встал, подошел к Аннелизе, нежно обнял ее, заглянул ей в глаза и поцеловал. Потом прижался лбом к ее тонким сухим губам. В мой нос ударил запах жасмина.

Аннелизе попыталась отстраниться, потом смирилась, замерла. Через минуту я ощутил, что по моему лицу текут ее горячие слезы. А еще через минуту ее язык уже переплетался с моим. Аннелизе обняла меня бедрами. Мы кое как устроились на стуле.

Этот первый наш любовный дуэт продолжался минут пятнадцать. Перед самым концом я услышал, что позади нас открылась дверь, и кто-то вошел в галерею. Подошел к нам и что-то хрипло прокричал. Потом крикнул опять. И снова и снова, громче и громче...

Тут невыносимо сладкий запах жасмина навалился на меня как стена, обвился вокруг горла, сдавил и не отпускал до тех пор, пока я не кончил.

...

Очнувшись через несколько мгновений, я наконец слышал то, что кричал застукавший нас на месте преступления Хайнц, зашедший за женой, чтобы вместе с ней поехать в только что открывшийся в центре роскошный шестиэтажный магазин и сделать необходимые покупки на уик-энд. Он размахивал нашим новым ножом фирмы Золинген и рычал: «Проклятая русская свинья!»

Оторопевшая Аннелизе тут же отлепилась от меня и убежала в туалет. Я встал, поправил одежду и отобрал у Хайнца нож. Сделать это было не трудно, руки бывшего слесаря дрожали, силы в них не было.

Хайнц перестал орать, сел на стул и уставился на картину на стене. На картине была изображена пустынная улица странного города, по тротуару шла красная кошка, ее шея была обвязана белой ленточкой, на которой красовался синий бантик. Из окна дома напротив на нее угрюмо смотрел мужчина с фельдмаршальскими усами, в темном костюм-тройке с бабочкой и в котелке. Глаза мужчины были широко раскрыты, губы сжаты.

Вскоре Аннелизе вернулась. На меня и не взглянула, а мужу улыбнулась просительной улыбкой. Хайнц заплакал. Мне стало его жалко.

После их ухода я решил выпить еще одну чашечку капучино.

## ТРИСТА ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ

Перечитал сегодня мой рассказ «Жасмин». Первый опыт декоративного ковроткачества на тевтонском материале. Тот еще получился коврик. Как сюртук Чичикова — брусничного цвета с искрой. Кудряво написано. Поторопился я с его печатью в зеленых «Мостах». Не исправил несколько очевидных огрехов. Не все гнилые нитки выдернул. Прямые определения, повторы, авторские ухмылочки...

Засбоил. Потому что этот текст измотал меня своими поворотами-разворотами. Я ведь всегда везу в тачке — по совету Хэма — раз в десять больше того, что в текст попадает. Работаю дольше всего с невидимым, ненаписанным материалом. С безтекстом. Текста нет, а тяжесть есть. Вот и заносит на виражах. Высыпаются песок и камни. Приходится разгребать, убирать, пылесосить.

Странное чувство: «Автор — это вовсе и не я. Не ты, а кто же?»

Твой клон? Фантом? Мститель из подсознанки?

Астроном, конструктор точных приборов, точильщик призмочек и зеркалец, пожиратель спектров?

Нет, скорее азартный собиратель душистой травки чернухи, составитель душных как воротник у пальто холостяка гербариев, коллекционер морфем, этих золотых скарабеев, которые принято бросать в открытый рот читателя через глаза мертвый головы, ловец снов и другой нежной придури, шелкунчик арахисовых орешков — ассонансов и аллитераций, охотник за глазурованными сырками-големами, за лучающимися призраками свободы, за дикими псами-смыслами...

Черт его знает, кто, только не я.

Отражение в черной дыре.

А герои? Кто они? Выдуманные личности, фикшны? Или реальные люди-нон?



Поди, разбери! Мулаты-мутанты, незаконнорожденные половинки, скороспелки-самозванцы, восстающие на автора карбонарии. Сорняки на обочине пустыря, заросшего полынью.

Но их прихоти и капризы для меня — столпы и утверждения истины. Их бьют, а мне больно. Потому что они единственные заместители-заменители навсегда ушедших из моей жизни людей.

Депутаты парламента небытия, объявившего мне войну.

И автор — этот болтун-графоман — только мой заместитель. Заместил, заменил, освободил от ответственности. И строчит себе, забавляется, разводит турусы на огненных колесах.

Поэтому, ты, дружок, не горюй, а играй себе и дальше в уголке у камина брусничными ягодами на медном подносе с гравированными ангелочками. Шей сюртук. А если надоест — свари морс в алюминиевой кастрюле. Попей и расслабься. Булочку пожуй с изюмом. А если совсем плохо станет, пойди, поброди по городу прошлого, где все улицы — как непрозрачное стекло.

...

Мы лежали на двух, положенных рядом друг с другом, матрасах.

Старинную двуспальную кровать орехового дерева, которую нам вместе с набором светло-зеленых кастрюль и видавшей виды гэдээровской стиральной машиной несколько лет назад подарил священник кирлитцской церкви «Мадонны милосердной» отец Непомук, я продал. Дешево отдал. Очень уж хотел от нее избавиться — кровать возвышалась в спальне как зловещий замок на равнине, назойливо напоминала мне о закончившейся недавно неблагополучной семейной жизни.

Полпятого утра.

Огромная комната с двумя высокими полукруглыми окнами уже пронизана бледными, изрезанными кружевной занавеской лучами июльского солнца, отраженными от окон дома на другой стороне Бланкенбургской улицы, одной из самых шумных и вонючих в городе.

Моя подруга еще спала, раскинувшись на простыне как распятый рядом с Иисусом разбойник и разбросав по смятой в гармошку лиловой подушке свои прекрасные золотые волосы, а я проснулся и страдал от неутоленной страсти.

Погладил спящую по щеке и осторожно поцеловал в невыразительный светло-розовый сосок маленькой груди, вылезшей из голубой шелковой — с белыми журавликами — ночной рубашки. Влада открыла глаза и прошептала: «Милый, да, да!»

Подалась ко мне и вдавила свою грудь мне в рот как сливу.

...

Около шести мы расползлись по своим матрасам, Влада уснула, аккуратно уложив предварительно волосы и обернув их косынкой, а я задремал. Тело блаженствовало, душа почему-то ныла, ну да мне к этому не привыкать.

Перед глазами медленно побежали рыжие лошади, которых я когда-то в прежней жизни видел в Приэльбрусье. Прошел полупрозрачный абрек в бурке и папахе, улыбнулся мне и помахал нестрашно шашкой, за ним проплелся добрый ослик с картины Пиросмани, сидящий на нем грузин с зонтиком в руках снял свою бархатную шляпу и поприветствовал меня.

Передо мной открылся потрясающий вид на двуглавую вершину Эльбруса, освещенную заходящим солнцем. В голове прошелестело — Чегет, Чегет...

В последний момент перед окончательным растворением в блаженном снежно-розовом свете я очнулся. Потому что услышал странные шорохи из соседней комнаты и тихие голоса.

Сон исчез как капля горящего спирта на ладони.

В голову ударила зеленая молния: «Жена вернулась! С детьми!»

Что делать? Жена приехала ночным поездом, предупредить не смогла, потому что у тебя в проклятом Кирлитце нет телефона, хотела сделать сюрприз, помириться, а ты валяешься с этой дурой на ложе из матрасов, семейную кровать продал...

Что ты дочкам скажешь? Они сейчас в спальню ввалятся, папа-папа, и увидят — кровати нету, а голый папа с незнакомой тетей.

Второй раз в жизни впал я в панику. Первый раз это случилось на склоне той самой горнолыжной горы Чегет. Рыжие красавицы лошадки окружили меня, одинокого путника, забредшего сдуру на альпийский лужок, где пасся полудикий табун — голов в триста — и начали давить меня замшевыми боками и так неприятно ржать и фыркать, что мне показалось, будто они задумали раздавить меня насмерть. Спас меня тот самый абрек в папахе. Появился как Бог из машины, заорал что-то гортанно на проклятых лошадках, и они от меня отстали.

Лежу и паникую. Ожидаю торжественного входа в спальню жены с двумя дочерьми. Ноги и руки похолодели, в висках страх молотком бьет.

Ужас...

Разбудил Владу.

— Милая, вставай, одевайся, моя жена приехала. С дочками. Сейчас они сюда войдут!

Златовласка моя открыла глаза, скорчила недовольную мину, зевнула... Потом поняла и быстренько, как змея, спряталась под одеяло. Затаилась. Как-будто ее и нет вовсе. Я даже одеяло потрогал, потому что мне показалось, что она на самом деле исчезла. Как морок. Нет, Влада была на месте, даже не дрожала, а только нервно хихикала. Гадюка!

Не надо было кровать продавать, сейчас бы спрятал ее под ней, как в французском фильме. Под нашей кроватью целый гарем поместился бы.

Я зажмурился, боялся встретиться глазами с дочерьми. Но никто в комнату не входил.

Прислушался. Шорохи. Голоса вроде громче стали. Рас слышал несколько слов. Вроде и не по-русски и не по-немецки. Что за дьявол?

И тут меня осенило — это не жена, это воры! Румыны или цыгане. Взобрались по лесам, которые у нас во дворе уже год стоят, хотя никто ничего не ремонтирует. И влезли в открытое окно на кухне. Ходят теперь у меня как в магазине, решают, что взять, а что оставить.

Какое облегчение! Пусть воры, злодеи, бродяги, черти, только не жена с детьми. Сейчас завернусь в простыню и выйду их приветствовать в коридор.

Воры по-видимому решили, что никого дома нет. Когда я, босой, небритый, завернутый в лиловую простыню и ничем кроме моей радости не вооруженный, стремительно открыл дверь и вышел в коридор — оба вора спокойно рылись в моем секрете.

Увидели меня, опешили. Маленький стремительно направил на меня дуло моего браунинга, а другой, повыше и постарше судорожно прижал к груди мой любимый Никон и серебряную шкатулку с деньгами. Масляные, карие глаза обоих источали страх и смертельную ненависть. До меня еще не дошло, что передо мной дети — примерно четырнадцать и двенадцати лет, как младший выстрелил мне в живот. Если бы мой браунинг был заряжен боевым патроном, я бы наверно быстро отдал концы. Но — о счастье! — мое оружие было всего лишь пугачом. Выстрел был громкий, но холостой. Меня даже не обожгло вырвавшимся из дула как дьявол из пекла оранжевым огнем. Я заорал что-то для храбрости и кинулся на злодеев как Тарас Бульба на поляков. Малыш бросил пугач и метнулся к входной двери. Крутанул торчащий в замке ключ. Второй отшвырнул шкатулку и фотоаппарат и тоже бросился к выходу. Воры быстро открыли мою стеклянную дверь и рванули вниз по лестнице.

Как раз в это время жилец первого этажа, нелюдимый строитель-подрядчик Штайнман выводил из своей квартиры на прогулку овчарку Жаклин. Характер у Жаклин был трудный. Нервы у этой собаки были распатаны сумасшедшей семейкой строителя. Сын хулиган и дочь проститутка часто приходили, выпивали у родителей весь шнапс, съедали, все, что можно, и канючили у подрядчика деньги, а он терпеть этого не мог и вымещал злость на жене — долговязой кобыле Мэнди. А та в свою очередь вымещала злобу на Жаклин. Мэнди ненавидела Жаклин как соперницу, она привязывала собаку к решетке камина и била ее кочергой по голове. Жильцы соседних квартир все знали, но никто и не думал доносить в общество защиты животных, мрачного подряд-

чика побаивались, и свирепая, вечно на всех рычащая и лающая Жаклин с огромными красноватыми зубами не вызвала особенного сочувствия.

Со своего четвертого этажа я услышал бешеный лай овчарки, зверский окрик Штайнмана, пытавшегося по видимому оттащить злобного зверя от маленьких негодяев, попавших в ловушку. Входная дверь в подъезд была еще заперта. Чуть позже я услышал громкую ругань и стоны покусанных воров.

Я удовлетворенно закрыл входную дверь, вымыл руки, поднял и положил назад в секретер шкатулку и камеру, хлебнул два раза из горлышка холодного Мартини из холодильника и пошел в спальню. Рассказал все Владе. Посмеялся вместе с ней над собой. И, свободный и счастливый как горный орел, парящий над Чегетом, с удовольствием растянулся на своем матрасе. Заснул. Мне приснился забавный сон.

...

Сон о том, как накладно быть владельцем троллейбуса.

Вот, сижу я в подозрительном бюро с круглым окошком, из которого открывается вид на Золотой мост в Сан-Франциско, составляю какие-то сметы, считаю что-то на арифмометре и смакую почему-то апельсиновый сок, который в не сонном, бодрствующем состоянии терпеть не могу, потому что кишки разъедает...

Сижу, смакую, считаю, а думаю — только о моем троллейбусе. Переживаю за него. Потому что он — на линии. На дворе дождь, туман, фиолетовая мгла, по причалам бродят невообразимые чудовища, похожие на гигантских морских львов. Ветер воет. Буря! Но троллейбус должен строго по расписанию следовать по маршруту. Задыхающийся, больной астмой водитель должен вежливо объявлять остановки, открывать и закрывать двери, трогаться, тормозить, следить за дорогой.

Пассажиры мой троллейбус не любят, они вытирают о чистый пол грязные ноги, режут мягкие сиденья ножами, царапают стекла алмазными стеклорезами, выворачивают с мясом поручни, разбивают лампы, ломают автоматические две-

ри, плюют, курят, устраивают драки, лупят в иступлении по пластиковым стенам своими тяжелыми черными ботинками.

Ко мне в бюро вбегают кредиторы, похожие на куклу Петрушка. Носатые, в красных колпаках и полосатых брюках. Руки у них четырехпалые. Петрушки-кредиторы требуют немедленно выплатить им проценты по займам. Грозят своими гнусавыми голосами откусить мне нос. Пляшут передо мной какой-то невыносимый гопак. Сверху вниз, по полированным стальным стержням, как пожарные, беззвучно соскальзывают налоговики-контролеры и выстраиваются передо мной полукругом. Их лица похожи на дурацких идолов с острова Пасхи. В их каменных руках — бухгалтерские книги. И вот я уже в суде. Толстомордые судьи-бурундуки мрачно смотрят в пол, а мои ослы-адвокаты брезгливо от меня отворачиваются и глазают на полные бедра свињи-блондинки в третьем ряду.

Медленно и жутко поднявшийся из-под земли хорпрофсоюз требует сейчас же повесить зарплату водителю.

В бюро вваливается граф Цеппелин с моделью дирижабля в руках. Не без скрытого торжества он рассказывает мне о том, что цены на запчасти для троллейбусов выросли, а китайский юань упал.

— Пересаживайтесь на дирижабли, призывает меня граф, — переходите на юани...

И он показывает мне пачку затрепанных банкнот различных цветов с противной кукольной мордой Мао.

Прямо через круглое окно ко мне в бюро въезжает мой троллейбус и застывает у меня перед носом. Он пуст. Нет ни водителя, ни пассажиров.

Я беру троллейбус в руки, очищаю его от грязи и аккуратно запаковываю в подарочную коробку. Затем звоню в Гамбург моему богатому приятелю и предлагаю ему купить троллейбус.

— Почти как новый! Отдам задешево. Триста тысяч юаней.

## ЛЕПРЕКОН

Дядя Боря подарил мне, семилетнему жителю Дома преподавателей на Ломоносовском и регулярному посетителю филателистического отдела в книжном магазине за углом, коллекцию почтовых марок, большой, старомодный альбом. На первой же его странице между бравым синюшным Джузеппе Гарибальди (150 лет со дня рождения народного героя Италии) и могучим отечественным Белым медведем красовалась почтовая марка СССР 1957 года «Падение Сихотэ-алинского метеорита 12.2.1947». Достоинством в 40 копеек. На марке, которую я рассмотрел в бабушкину лупу, была изображена деревня, щербатый как рот ветерана забор, домики на фоне синих гор и желтое зарево над ними. Нечистое небо и искусственные облака пересекала какая-то косая, расширяющаяся кверху дубина. Слово «Падение» на марке было написано через «ч» — «Паденче».

...

Кстати, вы замечали, что слова с «ч» неблагозвучны? И неприятны как собачья шкура с проплешиной или смуглая скула с розовым чирьем.

Человек, Чиновник, Червяк, Чулок...

У Чехова эта полная национального гноя шипящая пролезла сквозь имя в легкие и обернулась чахоткой. Да, господа, Чехова погубила не Ольга Леонардовна, от игры которой у него чесалось в горле, а буква «ч». А Пушкина вознесла на небывалую высоту легкопера, полетная буква «п». Пушкин — не пушка, а пушинка. Два колеса велосипеда, на котором сумасшедший хохол Гоголь въехал в заколдованное место русской прозы — это два «о» в его фамилии.

— Го-го-го, — тихо ржет Гоголь-велосипедист на середине Днепра, — го-го-го... Цик-цик-цик, — отвечает ему с Черной речки сверчок Пушкин.

Попросить взрослых растолковать мне надпись и картинку на метеоритной марке я стеснялся. Отвратительное слово с фурункулом — «паденче» вызывало у меня отвращение. Я не понимал, что это за странная дубина застряла в небе. Сихоте ассоциировалось почему-то с Дон-Кихотом Ламанчским. Прочитать толстенную книгу мне было еще не под силу, но иллюстрации Гюстава Дорé я рассматривал, пожалуй еще чаще, чем заходил в книжный, поглазеть на витрины с марками и понюхать запах кляссеров. Алинский привязалось к имени завуча нашей школы, неопрятной и злой Алины Викторовны. Ключевое слово надписи метеорит я тогда тоже понимал по-детски — мне представлялось, что это не предмет, а особая болезнь, вроде небесной скарлатины, поражающая изображенной на марке дубиной земных детей.

Однажды мне приснился кошмар. Дубина-метеорит проникла в мою комнату и замерла, в готовности ударить, прямо над моей кроватью. Я закричал, пришла мама, я рассказал ей мой сон, показал марку. Это событие имело неприятные последствия (никогда не рассказывайте никому ваши сны — вас не поймут и обязательно обидят или накажут). Мать не дала мне денег на серию почтовых блоков Фауна Кубы, выпущенную во время Карибского кризиса, обладатели которой пользовались в нашем дворе почти таким же почетом, как владельцы пятиметровых шаровар во дворце Топкапи. Видимо побоялась, что изображенные на кубинских марках рептилии, насекомые и летучие мыши как-то проберутся ко мне в комнату и причинят мне зло.

...

Когда я учился в третьем что ли классе нам показали в школьном актовом зале про Сихотэ-алинский метеорит кино, и все постепенно расставилось у меня в голове по своим местам. Кроме паденче, разумеется. Я был вполне советским ребенком — мне и в голову не приходило, что нечто напечатанное может быть ошибкой или ложью.

До сих пор не могу забыть восторженно-доверительный голос диктора, рассказывающего про удивительное природное явление и несколько экспедиций, посланных это явление исследовать.



Против сильного течения реки Бейцухе шли на шестах. Только двадцать километров отделяли экспедицию от цели.

Но труден путь по уссурийской тайге! Дорогу преграждали завалы, полные вешних вод ручьи.

Внезапно тайга поредела. Кратер! Другой! Третий! Целое кратерное поле!

В тайге вновь застучали топоры.

На шестах означало тогда для меня — на ходулях. Кратеры представлялись мне кратерами вулканов, полными багровой лавы, а застучали топоры я понял так — ученые начали от радости истушленно стучать по деревьям тыльными частями топоров. Как дятлы.

...

И почтовая марка и фильм появились через десять лет после падения Сихотэ-алинского метеорита. Почему не через год-два? Или не через месяц?

На дворе 1947 год. Разруха. Голод. Миллионы советских людей сидят в тюрьмах или доходят в лагерях. Не репрессированные строители коммунизма не могут спать по ночам. Боятся ареста. И перестают стучать зубами, только если кого-то в их подъезде уже забрали этой ночью. Значит — сегодня не меня. Можно поспать.

Их энтузиазм и собачья преданность усатому вождю непоколебимы, безграничны...

Разобравшись с внешними врагами, поделив мир и организовав красный террор в освобожденных странах Восточной Европы, неплохо бы и на своей территории потешить молодецкую силу — раззудись плечо — поквитаться с влазовцами, полицией, советскими военнопленными и жителями оккупированных немцами территорий, с крамольными журналами Звезда и Ленинград, с историками, с репертуарами театров, с пушкинистами, киношниками и другими низкопоклонниками перед Западом, заискивающими, искажающими советскую действительность и безыдейными, а потом — размахнись рука — ударить по безродным космополитам, по членам Еврейского Антифашистского Комитета, по врачам-вредителям и прочим вражинам. Великие свершения великой страны!

И тут на тебе... Сталину докладывают о взрыве в Приморье. Так мол и так, что-то колоссальное взорвалось в атмосфере и на землю упало.

Сталин говорит с акцентом, не торопясь, хоть и раздражен, в паузах глубоко затягивается дымом из трубки, недобро смотрит на докладывающего. Рябая морда ящерицы не выражает никаких эмоций, кроме застарелого презрения к людям.

— Что там взорвалось? Почему не дасматрели? Кто зачинщик? Метеорит? Или атомная бомба? А кто его к нам послал? Почему ударили па советскому Приморью, а не па США? Атарвался из пояса астероидов? А кто его атарвал? Чан Кайши? Срочно пашлите наших товарищей в Приморье. Пусть возьмут с собой саперов и других специалистов, может быть метеориты заминированы или отравлены. Или все это — правакация? Вредительство, террор, интервенция? Сабрать все метеориты и срочно доставить в Москву! Праверить, абезвредить, далажить. Виновных наказать по всей строгости закона!

...

Поехал я однажды тут, в Берлине, на блошинный рынок. Хотел побродить среди людей, посмотреть на всякие любопытные вещицы... чтобы хоть ненадолго отвлечься от русского языка, этого капкана, отрывающего меня от настоящего, гонящего против течения немецкой жизни, вспять, в прошлое, в мир мертвых... и купить какую-нибудь ненужную штуковину. Покупать нужное — скучно. Приятно приобрести что-нибудь ненужное, но забавное, евро эдак за двадцать. С одной стороны — не велика потеря, с другой — захотел и купил, удовлетворил исконную потребность члена общества потребления, стал хоть на несколько минут таким же, как все!

Помнится, купил я лет пятнадцать назад крутлый бронзовый барельеф. Небольшой, в две ладони. Старик экспрессивный, изображен в профиль. Заплатил 12 марок. Пробил я в нем варварски сверху дырку гвоздем, проволоку в дырку всунул, сплел петельку и повесил над кроватью на гвоздике.

Приходит ко мне моя ненаглядная Франческа. Глянула на мой барельефчик и зафыркала-запрыскала, даже закашлялась.

— Ты, говорит, кхы-кхы, кого это на стену повесил?

— Сама видишь, старичка горбоносого, купил на блошином рынке. Смотрит выразительно так... Громобой!

— Громобой? Ты что, офонарел? Стареешь! Бороденка вперед. Нос крючком. В правой руке мешочек с деньгами... А ты, стало быть, купил, на стенку повесил и будешь теперь на него пялиться и наслаждаться? Вот уж действительно, подобное к подобному тянет! Протри глаза! Это же Иуда Искариот с фрески в Милане. Леонардо! Ты еще тогда сказал — единственный еврей во всей гоп-компании.

...

Ну так вот, брожу я по рынку, рассматриваю товары, слушаю ужасный берлинский диалект, приобщаюсь европейской цивилизации. И вдруг замечаю на прилавке среди различных статуэток, медалей, тарелочек, браслетов, биноклей, старых часов и прочего хлама — две милые коробочки. Коробочки открыты, и в них лежат странные какие-то камешки или железки. Сантиметра по три-четыре в поперечнике. Спросил седого дядю-продавца с сонной мордой, можно ли в руки взять. Тот кивнул, зевнул и отвел глаза...

Положил коробочки на левую ладонь и стал глядеть на камешки через увеличительное стекло.

Ба! Да это метеориты! Железо-никелевые! Октаэдриты! Индивидуальные, не какая-нибудь шрапнель! Оплавленная корка, а чашечки-регмаглипты такие, как будто кто-то целовал железную плоть всос, высасывал и отплевывал ее куски прочь.

— Сколько хотите за пару?

— Сто. Заключение экспертов есть. Сихоте-Алинь, лучший товар.

— Даю пятьдесят.

— За пятьдесят я бы и сам купил.

— Шестьдесят.

— Ладно, забирайте за семьдесят. Уже три года не могу продать...

...

Я положил коробочки в карман и поехал домой на с-бане. По дороге любовался покупкой, сжимал метеориты в руках. Пытался ощутить космическую энергию. Метеориты как будто плавилась у меня в руках. Мне даже показалось, что они светятся.

Я представлял себе, как они, тогда еще части небольшого астероида, осколка расколовшейся планеты Фээтон, покоились себе в его толще, вертелись вместе с ним миллионы лет между Марсом и Юпитером, а потом прилетевшая из загадочного облака Оорта дура-комета ударила астероид в его выпуклый неровный бок. И он сошел со стационарной орбиты и понесся по направлению к голубой планете. Догнал ее, вошел в атмосферу, разогрелся... несколько раз взрывался и дробился... и упал бешеным железным роем где-то в тайге между заснеженных сопок Сихотэ-Алиня. Снег зашипел...

Вскоре моих красавцев подобрали и припрятали геологи, гэбисты или саперы, те самые, которые шастали по тайге на ходулях и стучали топорами по деревьям и разминировали метеориты по приказу Сталина... а через пятьдесят лет их дети или внуки, выпущенные наконец из душной советской зоны на волю меченым генсеком, провезли, дрожа, через таможню метеориты в Европу и продали по дешевке оптовому торговцу минералами, неприятному потному старику с бородавками на лбу. Тот вложил их в ювелирные коробочки по марке за штуку, приложил к ним фальшивые свидетельства с печатями и выставил на продажу. Какой-то семейственный бюргер купил их для сына-гимназиста, якобы увлекающегося астрономией (сломал уже два бинокля и один телескоп-рефрактор), и тот играл с ними на диване целых десять минут. Потом показал подружке, кокетке и дурочке. На ту небесные камешки впечатления не произвели, и сынок зашвырнул их под кровать, вместе с коробочками. Там их нашла заботливая мама, почистила, завернула в веленевую бумажку и положила в ящик письменного стола. Глава семейства вынул их оттуда только через восемь лет, после развода с веленовой женой, после потери работы и дома, после ухода сына, сделавшего к тому времени несовершеннолетней подружке ребенка, бросившего институт и разбившего вдребезги семейный ауди, и продал их на блошином рынке. Что с ними еще делать-то?

Такая же примерно судьба ожидала метеориты и у меня. Я конечно забавлялся бы ими подольше, чем сын предыдущего владельца. Начал бы их фотографировать, гадать по ним, искать в их необычных формах скрытые фигуры. Дал

бы им имена. Высосал бы из них всю космическую энергию и зарядил бы их своей. Бессовестно использовал бы их падение в каком-нибудь душещипательном рассказе с ужасным концом — как метафору для эмиграции... А через пару месяцев забросил бы глупые камни под кровать или положил бы их в особый ящик моего комода, туда, где уже лежал барельеф с Иудой, пробитый гвоздем, альбом для марок и десятка три других забавных, давно осточертевших мне предметов, о которых я возможно еще расскажу. Там бы их вероятно и нашла дочка после моей смерти. Повертела бы пальцем у виска. И отнесла бы метеориты на блошинный рынок...

Но судьба их сложилась иначе. Случаю было угодно, чтобы метеориты еще раз попали в историю, пусть и не в космическую, а в морфическую. И не через годы, а ровно через неделю после их покупки.

...

Да, именно через неделю после покупки метеоритов ко мне проездом из Цюриха в Иваново приехал мой старый друг Нэт. Был он, как и я, бывшим совком, и звали его конечно по-другому. Но я его еще много лет назад прозвал Нэтом в честь и им и мной любимого чернокожего певца Нэта Кинг Коула с бархатным низким баритоном, и он охотно на Нэта откликался.

Приехал Нэт, как всегда, без приглашения, неожиданно-негаданно. Артист!

Не буду мучить читателя изложением истории жизни моего друга, описанием его характера и наших отношений. Не хочу этот однодневный, трагикомичный рассказ утяжелять свинцовыми мерзостями жизни — злокачественным нарциссизмом, ложью и всяческими подлостями. Оставим это благодарное занятие вечным завистникам.

К делу! Как сказал палач, задумавшийся было о смысле жизни. Сказал и вложил голову осужденного преступника в отверстие гильотины. Поправил корзину. И дернул за веревочку.

После обильного ужина сидели мы на нашей семейной итальянской софе. Ели десерт — крупную чернику с взбитыми сливками. Франческа молчала. А Нэт рассказывал о своем последнем концерте в Монте-Карло.

— Велиикий был концерт, граандиозное шоу, — тянул Нэт, покачивая головой, жмурясь и смакуя сливки...

— Мировая премьера, новое слово, прорыв, каждая нотка прозвучала, Рахманинов ликовал, оркестр играл как один человек, по залу летали ангелы... Я был в ударе, зал не дышал... Публика таяла от моих обволакивающих звуков, после окончания бисов началась овация, мужчины ломали стулья, а дамы срывали с шей бриллиантовые кольца и кидали к моим ногам...

— Привез бы хоть одно. Или ножку от стула...

— Ну что ты, я не взял ничего, драгоценности поднял и вежливо вручил владелицам. Так они потом их мне по почте высылали. Предлагали отдаться и состояние. Одна обещала подарить мне замок с семьюдесятью восьмью комнатами. Ключи прислала! Другая, принцесса между прочим, уговаривала незамедлительно вступить во владение ее средиземноморской усадьбой с яхтой и пятьюдесятью пятью афганскими сенбернарами. А третья...

— Незамедлительно? Усадьба, яхта и пятьдесят пять собачек? Неплохой улов! Только вот, чем бы ты их кормил, принц? Гречневой кашей?

— А третья прислала мне акции компании, занимающейся продажей земель на Марсе. Для будущих переселенцев. На сто тысяч долларов прислала акций. И кольцо с марсианским камнем...

— Чудесно! Пробовал загнать акции и кольцо?

— Сливки у вас хороши!

— Франческа купила настоящий ванильный сахар. Не халтуру с Мадагаскара. Послушай, Нэт, ты человек великий, марсианин, миллионер, сенбернар, признаю... ты уж нам, берлинским нищелюдам, сделай одолжение, сыграй что-нибудь на фортоплясах. Только вчера настройщик приходил. Полсотни выложить пришлось. Ноктюрн или балладу. Чтобы и у нас в гостинной ангелы поселились.

...

Честно говоря, я слушать его игру не хотел. Отгорела у меня любовь к музыке годков этак тридцать пять назад. Для Франчески старался. Потому что она безумно музыку

любила и сама по клавишам постукивала. Мне из дома уходить приходилось. И скандалы с соседями терпеть.

Нэт долго себя просить не заставил. Сел и заиграл что-то печальное. По комнате полетели звуки... как светлячки...

Франческа слушала жадно, прижимая к груди платок и оттопырив пальчик. А я потихоньку заснул.

А метеориты мои лежали на журнальном столике перед софой.

Источали голубоватое сияние.

Ждали своего часа, как то чеховское ружье на стене.

...

Ждать им пришлось недолго.

Как в тумане я видел — вот, Нэт закрыл пианино и присел на софу. Полупрозрачная Франческа начала его словить, вытягивать шею, вздымать грудь, ломать суставы и пожирать Нэта своими глицериновыми глазами.

— Маэстро, bravo, вундербар, вандерфул, белиссимо, экстраординер...

А он... вот же подлец... разомлел и положил свою огромную бритую голову ей на колени! А она стала ее гладить розовой лапкой. А он замурлыкал как кот в сапогах. И стали они нежно так переглядываться и токовать. Как влюбленные голубки. У меня на глазах.

...

Все говорят аффект-аффект...

В аффекте мол схватил топор и прикончил жену и ее любовника.

Не было у меня никакого аффекта. Не было естественно и топора. Но как-то реагировать нужно было! Даже в обволакивающем сне и синеватом тумане.

Достал я метеориты из коробочек, поиграл ими, как игральными костями... положил их на правую ладонь, размахнулся как дискбол и ударил моего друга по голове. Да так сильно, что метеориты в его череп вошли, как инкрустации в дерево. Глубоко-глубоко. И засверкали на нем, как бриллиантовое кольцо на красном бархате.

А Нэт вместо того, чтобы затрястись в агонии и умереть, стал почему-то маленьким, морщинистым и гадким. Спокойно так на меня посмотрел, улыбнулся неприятно и ска-

зал: «Спасибо тебе, Вадя, за полосатые носочки! Буду в них танцевать и колокольчиками звенеть! А еще у меня зеленые ботиночки есть! И горшочек с золотом! Пули-пули-пули...»

И пустился в пляс на потолке. И танцевал, танцевал...

Пока я не проснулся.

Франческа трепала меня по щеке и тянула за руку.

— Милый, вставай, пойдем в спальню, там уютнее. Нэт уже два часа дрыхнет на диване в твоём кабинете. Ему завтра рано вставать. Самолет в Шереметьево вылетает в восемь. Пока ты спал, я фильм посмотрела. Про лепрекона. Такой милашка...



## НЛО В БЕРЛИНЕ

Недавно мне по почте прислали рукопись, найденную в бумагах умершего пациента одного из домов престарелых в пригороде Атланты. Ее обнаружила медсестра, но не сожгла вместе с остальными личными вещами покойного через полгода после его смерти, как следовало по закону, а вымарала имя автора и передала своему приятелю, интересующемуся летающими тарелками, зелеными человечками и чупакабрами. Приятель этот попытался было продать рукопись редакции уфологического журнальчика в Бостоне, печатающего сообщения «контактеров». Но редакция ее, уж не знаю по каким причинам, отвергла. Хотя приятель просил всего-то пятьдесят баксов.

Рукопись пошла по рукам...

Последний владелец, мой давний интернетный знакомый и также, как и я, эмигрант из бывшего СССР, купил ее на блошином рынке в Нью-Йорке за пять баксов и прислал мне, в Германию. Потому что я, зная о его особом интересе к космическому и сверхъестественному, просил его лет десять назад найти для меня еще не опубликованное свидетельство очевидца, если таковое попадет к нему в руки. Я как раз собирался тогда писать рассказ о НЛО, и мне нужна была подлинная история контактера... хотелось взять за основу реальное событие, а не выдумывать.

Этот же знакомый перевел по моей просьбе рукопись с английского на русский.

Предлагая рукопись читателю, не льщу себя надеждой, что кто-либо испытает катарсис или хотя бы поверит покойнику на слово. Меня эта рукопись привлекла даже не рассказом о «близком контакте седьмого рода», подозрительно смахивающем на некоторые известные киносюжеты, а схожей с моей мотивацией автора. Почти все свои рассказы я написал для того, чтобы «наконец разобраться

с чем-то, глубоко поразившим меня» и «поставить точку». То, что вместо точки так часто вылезает вопросительный знак, не моя вина.

...

Прошло ровно столетия с того памятного августовского вечера, когда с нами, с моим другом Томасом С. и со мной, случилось это странное и ужасное происшествие, которое так сильно и страшно повлияло на нас, и мы, после того, как пришли в себя, и стало ясно, что надо — плохо ли хорошо ли — жить дальше, поклялись друг другу никогда никому не говорить ни слова о происшедшем — не только для того, чтобы жить и дальше жизнью беззаботных студентов, и не возвращаться постоянно в мыслях в тот прохладный вечер в северной Калифорнии, но и потому, что нам все равно никто бы не поверил, а если мы стали бы настаивать, созывать пресс-конференции или обращаться на телевидение, то вполне возможно попали бы в психушку, или в лапы к людям-в-черном, которые скорее всего выбили бы электрошоком воспоминания из наших голов, как они поступили со стариком Хэмсоном, который, не вынеся ужаса искусственно созданной амнезии, вышиб себе мозги выстрелом из двустволки.

Да, нам не хотелось вечно пытаться себя, задавать себе бесконечные бессмысленные вопросы... потому что ответов на эти вопросы попросту нет. И мы это почувствовали сразу после случившегося, тогда, в шестидесятые. И постарались с этим примириться, поскорее забыть и убежать подальше и физически и метафизически от этого проклятого поселка на берегу океана, состоящего из деревянных летних домиков-коттеджей, в которых торчат в летнее время ищущие прохлады и одиночества богачи из Лос-Анджелеса. Где все это и произошло.

К сожалению, года через три после окончания университета, я потерял связь с Томасом. Он женился на хорошо обеспеченной англичанке, так и не повзрослевшей фанатке Битлз, и уехал жить в ее поместье, в Англию, где, по слухам, родил троих детей и сделал научно-военную карьеру, умудрился не только продать тупоголовым милитаристам свою идею, но и смог превратить ее на их средства в готовое изде-

лие... действие которого испытали на себе позже несчастные аргентинцы в той безобразной и никому не нужной Мальвинской войне.

Жив ли он сейчас, сдержал ли он слово или выдал кому-то нашу тайну, я не знаю.

Ни английская, ни американская пресса, кажется, пока ни словом не упомянули про наш случай. По крайней мере, я не нашел упоминания о нем в тех газетах, которые читал в семидесятые-восьмидесятые, а позже и в интернете. Возможно, после стольких сенсационных публичных откровений других «контактеров», вроде фермера Прискинда и этих идиотов, супругов Нил, с их шариками, иглами и светящимися треугольниками, наш откровенный рассказ никого бы и не поразил...

Но это уже не играет никакой роли... мне, только мне одному, важно записать для себя то, что я еще помню и поставить этим наконец точку на этой ужасной истории, залечить застарелую рану, которая до сих пор кровоточит, несмотря на то, что я пятьдесят лет молчал и пытался забыть. Или, может быть, именно поэтому. Но, согласитесь, не мог же я, сын сенатора-республиканца и истовой католички, просто так, за ресторанным столиком, в кругу семьи или в полиции... рассказывать в подробностях о том, как совокуплялся с инопланетянкой, а потом крутился колесом грузовика непонятно где, путешествовал между звездами, как этот, с лошадиным черепом... капитан Жан... и носился по загробному миру! Я ведь не Голливуд, которому прощают все.

...

Ладно, по порядку.

После четвертого года обучения в университете Миранды мы решили прокатиться по Калифорнии. Взяли напрокат машину... Pontiac GTO. Пепельно-голубой красавец, не автомобиль, а тигр... мощный, роскошный... Мы его боготворили, и наши ветреные подружки млели и таяли в его кабине... несмотря на «переоценку ценностей и критику капитализма». Круче нас были только байкеры, «беспечные ездоки», которых мы с удовольствием обгоняли на хайвэях. Эти парни на своих харлеях были настоящими хиппарями, а мы с Томасом — только хипшующими хипстерами... каждому свое.

Томас выцыганил у своего состоятельного папаши три тысячи, а у меня и свои монетки водились. И мы поехали.

Искали отели подешевле (вроде мотеля Бейтса), ели только фрукты и таскались по пляжам и барам. Курили травку... жевали сахарок с ЛСД... но настоящий трип так и не пришел, хотя шутник Томас изо всех пытался показать мне, как его проняло... хрюкал и ржал и орал что-то про «бронзовую башню на колесиках и прыгающую с ее крыши голую женщину с огромной головой и ребенка-демона». Но я ему не поверил... мне-то самому привиделись тарантулы... стою я будто в каком-то замызганном коридоре... и тарантулы лезут из дырки в стене и я их бью, бью тапочком, но раздавить не могу, и очень боюсь укуса. Мерзко было ощущать мягкость тапочка, как будто глядящего мерзких пауков. Я интерпретировал это видение так — я слишком мягок, нерешителен для этой жизни. А тарантулы все выползали и выползали...

Я про них Томасу и не рассказал, не хотел, чтобы он меня еще и тарантулами дразнил и предлагал сплясать тарантеллу.

От ЛСД я ожидал чего-то более интересного. Космического путешествия или сюрреалистического секса. Наверное, нас надули продавцы-мексиканцы недалеко от морского порта в Сан-Франциско... надо было бы их найти и припугнуть томасовой пушкой.

...

Да, мы искали девушек... с оранжевыми ленточками на лбу и цветочками в руках... и находили... и наслаждались жизнью, как могли... несколько раз ввязывались в драки... Томасу выбили зуб, а мне сломали палец, один раз нас даже задержала полиция за неправильную парковку и грубый ответ полицейскому... выписали квитанцию на штраф и отпустили. Томас умудрился подхватить гонореею вместе с трихомонозом... славно, в общем, прокатились, загорели и оторвались.

А в конце... заехали в какой-то поганый городок... как же он назывался? Санта Роза?

Нет вроде. Не помню... Решили в кино сходить.

Что-то крутили там научно-фантастическое... еще музыка так неестественно сладко ныла. В очереди за попкорном познакомились с двумя девушками. Местными, кажется...

Обе платиновые блондинки или альбиносы, грудастые и длинноногие. И так друг на друга похожи, что не отличишь. Близняшки? Мы спросили, а они только рассмеялись в ответ. Пожимали плечами, хихикали и целоваться лезли.

Куколки.

Во время сеанса только обнимались-целовались. Решили найти хазу, широкие кровати и потрахаться вволю. И де-вushки, кажется, хотели того же.

Нет бы нам догадаться, что ЭТИХ лучше не трогать, что ИХ надо бы оставить в покое и бежать от НИХ без оглядки, но молодые люди ведь не чувствуют ничего, кроме того, что им кукуруза между ног шепчет.

Ну да, погрузились мы все в наш Понтиак, и поехали. А куда? В мотель не хотели, вульгарно! Хотели приключения, чтобы как в кино, на Марсе или на Венере.

Отъехали от городка по горной дороге миль на сорок, выехали на хайвэй номер один и полетели вдоль океана...

В машине слушали The Doors, передавали тогда по радио раз по двести в день — Moonlight Drive... пили пиво и несли какую-то чушь. Близняшки наши хохотали от любой глупой шутки и посматривали на нас довольно томно... соблазнительно потряхивали бюстами. Томас крутил баранку, а я с девчонками на заднем сидении гоношился...

Где-то припарковались и решили идти пешком к океану, чтобы «пронзить вечер, взобраться на гребень волны и доплыть до Луны».

Луна казалась синеватым диском с расплывчатыми краями... океан мы не видели, слышали только глухой рокот прибора... как будто великан пересыпал совком камешки... мы пошли на этот звук и через несколько минут вышли не к крутым прибрежным скалам, как рассчитывали, а к группе деревянных коттеджей, свободной, привлекательной архитектуры... как бы небрежно раскиданных вдоль берега океана.

В некоторых домиках горел свет, в ближайшем к нам двухэтажном коттедже с террасой и башенкой — света не было видно. Мы подошли к нему поближе.

Пластиковые стулья на асфальтированной площадке перед входом в коттедж были собраны в затейливую пирамиду и скованны цепочкой на замке. Рядом с входной дверью валялись листья и сор. Окна закрыты ставнями.

Томас тихонько взломал ставни одного из окон на первом этаже, также неслышно разбил стекло ударом кулака, обернутого в майку, победно крикнул, распахнул окно и влез в дом, а потом открыл нам изнутри входную дверь. Демонстративно расшаркался и застыл, как мраморный, приняв позу хозяина дома, приглашающего в свой замок высокопоставленных гостей. Томас был на такие штуки мастер.

Девушки, казалось, и не заметили того, что мы вторглись на чужую территорию и совершили тем самым уголовно наказуемое деяние... они радостно хихикали и бросали на нас страстные взгляды.

Неожиданно я понял, что они до сих пор не сказали ни одного слова — только хихикали, ухмылялись, пританцовывали, жестикулировали плечами и головой и гримасничали...

Подумал — может они не только красотки, но еще и немые? Идеальные подруги!

...

Весь первый этаж коттеджа занимала огромная гостиная.

Мы пытались зажечь свет, но сколько ни щелкали выключателями, так ничего и не добились, электричество было отключено... идти искать в подвал рубильник мы побаивались, жутко... да еще... вдруг сигнализация включится?

Темнота не мешала, только стоящую тут же, в гостиной, радиолу с четырьмя громадными динамиками включить было невозможно... а так хотелось послушать музыку и потанцевать... но у Томаса был карманный приемник, который он вечно таскал с собой, так что Джим Моррисон уже пел нам своим хриплым экстатическим голосом Hello, I love, you...

Нашли старые медные подсвечники и свечи, зажгли их.

Мы с Томасом забрались с ногами в роскошные кресла...

Девушки не сели к нам на колени, хотя мы их активно приглашали — и голосом и жестами, а влезли, вовсе не стесняясь, на тяжелый шестиугольный дубовый стол, стоящий между креслами, на поверхности которого мерцали какие-то непонятные знаки, и начали медленно танцевать, подняв свои длинные руки, на которых позвякивали странные браслеты из синеватого металла.

Извиваться.

Кружиться.

Клубиться.

По стенам, увешанным препарированными океанскими рыбинами и чудовищно большими крабами, залетали как летучие мыши причудливые тени...

Девушки сбросили с себя свои полупрозрачные платяица, розовые туфельки и нижнее белье... нагими они были похожи на отлитые из лунного света фигуры.

Длинные их волосы рассыпались у них по спинам...

Танец их напомнил мне пляску длинных язычков пламени свечи с двумя фитилями. Подруги обвивались вокруг друг друга... да так страстно, что у меня в голове прошелестело — этим мужчины нужны в лучшем случае в роли зрителей... мы с Томасом можем им только помешать... или это только предварительная игра?

Почему-то я испугался...

Похоже, Томас тоже почувствовал страх, но отреагировал на вызов иначе... вскочил, ловко сбросил с себя одежду и обувь... и прыгнул как молодой леопард на шестиугольный стол. Поднял свои худющие грабли, растопырил пальцы и затрясся в экстазе. Попытался превратиться как и наши подруги в колеблющиеся лунные водоросли, начал извиваться и качаться как живое пламя. И у него это получилось!

А затем... неодолимая сила заставила и меня сделать то же самое.

Через двадцать секунд я уже танцевал на столе... и чувствовал, как и мое тело постепенно растворяется непонятно в чем, в любовной энергии или в неровном свете... и исчезает, и я превращаюсь в пламя...

Необыкновенное, неведомое мне до тех пор наслаждение... испепелило то, что мы в своей непроходимой тупости называем «реальностью»...

Но тут пришла еще ни разу в жизни не испытанная боль, и меня кинуло куда-то... как будто кто-то взял меня двумя огромными пальцами за талию и швырнул... сквозь пространство и время, к черту на куличики.

...

Первое, что я осознал, после того, как очнулся, — волшебство не кончилось...

Я очутился в какой-то непонятной местности... в долине что ли. Я двигался.

В широкой, сумрачной долине между невысоких красноватых гор.

И долина, и горы — вертелись, вертелись как пропеллер.

Я не сразу сообразил, что долина и горы стояли себе на месте, а вертелся я — превратившийся в переднее колесо грузовика фирмы Маск, мчащегося по хайвэю.

И плохо мне от этого верчения не было, наоборот, даже приятно.

Да, я был колесом... я чувствовал тяжесть машины, передающуюся через ось на мои шины, я ощущал каждую выбоинку, каждый камешек на дороге, попадающий под меня.

Что же это? Флешбэк, который настиг меня после того, неудавшегося трипа с тарантулами? Говорят, флешбэк может прийти и годы спустя после приема этого дьявольского препарата и ничего не иметь общего с первоначальными галлюцинациями.

Тут что-то неожиданно ударило меня, возможно, грузовик наехал на камень побольше...

Долина, горы, дорога... перестали крутиться... а потом исчезли.

...

Я по-прежнему сидел в кресле, а напротив меня сидел Томас. У нас на коленях лежали прекрасные девушки-близняшки.

Моя престелница шептала мне на ухо... или это была теплятия? Я не помню звук ее голоса...

— Ты и твой друг, вы не должны были прерывать наш танец. Танец-огонь-свет это наша связь с родиной. Это как антенна и передатчик... Вы прервали связь, и произошло что-то вроде короткого замыкания, вас кодировали и унесли в другую точку пространства... в другое время, в другое место... грузовик проезжал там случайно и ты материализовался в его колесе... а Томас — хи-хи — попал в ветровое стекло, а мог бы попасть в зуб водителя или в его кишки, или в выхлопную трубу... представляешь, что бы он испытал? Хорошо еще, что Комитет имеет возможность быстро восстанавливать континуум, вас, как видишь, закинули назад, радуйся и будь впредь осторожен, будь осторожен, сделай то, что нужно и ты свободен, свободен...



Вот тебе и флешбэк!

— Фак! Кто ты такая, черт тебя возьми? И какой такой Комитет кидает меня туда-сюда? Я вам что, мячик что ли? Фак!

Не стоило мне, не разобравшись, что к чему, хамить этому существу. Я опять почувствовал чьи-то огромные пальцы на своей талии...

На сей раз меня занесло куда-то далеко-далеко от нашего доброго земного мира.

Я не был больше человеком... телом... просто находился в какой-то небольшой области межзвездного пространства. Ничего не чувствовал, кроме пустоты вокруг, пустоты в себе, я ведь и был пустотой, непонятно как одушевленной. Как я мог видеть или чувствовать без глаз, без ушей, без тела — я не понимал, но видел и чувствовал.

Видел только звезды вокруг себя. Мерцающие капельки света. Далекое, недоступные...

Как пуста и бессмысленна эта вселенная! Какое глупое творение...

Значит, — пытался рассуждать я сам с собой, — эти альбиносские девы или то, что в них временно поселилось, обладают способностями переноситься в любую точку вселенной и заполнять собой тела, предметы или пустоты. И я сейчас закодирован, я тоже подобное существо... то есть и я могу, как они...

Я сконцентрировался на первой попавшейся маленькой лиловой звездочке и изо всех сил пожелал приблизиться к ней... и меня понесло, понесло, как несет осенний ветер опавший листок... и вот я уже недалеко от страшного пылающего и плюющего облаками плазмы огненного гиганта... и вижу я этот кошмарный шар как бы не человеческими глазами, а огромным оком Абсолюта... вижу и видимый человеческому глазу свет и радио- и даже гамма-излучение...

Возвращение на этот раз не было безболезненным.

Меня протащило сквозь газовые туманности и сквозь звезды, и даже сквозь Сатурн, внутри которого я явственно видел...

Я опять сидел в том злосчастном кресле, обнимал свою блондинку и слушал все того же Моррисона. Он пел и пел. Твои глаза будут, как жемчуг, когда ты умрешь...

— Хорошо, убедила, я понял. Что ты хочешь от меня? Неужели я могу тебе что-нибудь дать? Ты ведь наверное уже меня просветила какой-нибудь дрянью и знаешь, что я за человек... поверхностный... эгоистичный... пустой.

— Ты здоровый. Я хочу, чтобы ты любил меня.

— Пойдем наверх.

— Не надо больше никаких «пойдем»...

И мы оказались на втором этаже коттеджа, в одной из спален, на незастеленной постели, покрытой чехлом из грубой ткани. Моя подруга прикоснулась к чехлу длинным указательным пальцем, и он превратился в шелк, в целое море разноцветных благоуханных шелков...

За мгновение до начала оргазма, когда вселенная и без ее сверхчеловеческих сил скакала как заяц и прыскала во все стороны концентрированной радостью, моя возлюбленная вдруг показала мне свое истинное обличие. Стала собой.

Таковы, видимо, были правила игры... зачинать этим существам приходилось без маски.

Описать ее я не в состоянии.

Ничего общего с человеком, пауком, пантерой или гре-ем у нее не было. Ни в научно-фантастических фильмах, ни в ужастиках я не встречал ничего подобного. Лишь один художник (Флиггер) рисовал нечто, отдаленно напоминающее мою партнершу в ее настоящем виде, его картины я увидел много лет спустя, и сразу узнал ту, с кем занимался любовью тогда в коттедже, на берегу Тихого океана. Видимо, он тоже имел контакт с этими существами.

Я так испугался, что невольно отпрянул от моей «дамы», и сперма не попала по назначению. Это, по-видимому, взбесило ее, она спазматически дернулась, зарычала или заскрежетала, и меня опять выкинуло из нашей реальности.

На сей раз я попал в мир, который чрезвычайно трудно описать словами.

Потому что пространство в нем не было пространством, которое можно померить кубическими футами. Тем не менее, это было пространство, пространство, как бы ортогональное нашему, в котором существовало нечто, и это нечто обладало внутренним многообразием. А время там нельзя было представить как постоянно и равномерно возрастающее число секунд...

Скорее, это были линии, перпендикулярные вектору нашего обычного времени. Линии, расходящиеся в разные стороны.

Такие понятия как «предмет» или «живое существо» не имели там никакого смысла.

Мое «тело» в этом мире было похоже на то, чем в нашем мире являются радиоволны...

Мое «я», и в нашем, рациональном мире, не очень-то стабильное, в том мире сразу раскололось на несметное множество «волн», которые тут же побежали в разные стороны и образовали причудливые интерференционные картины...

Это и был настоящий «я».

Уже после того, как я покинул этот мир, я назвал его сам для себя «Мистерией жизни и смерти», потому что встретил там умерших.

Они сообщили мне, что...

...

На этом рукопись обрывается. Кто-то грубо оторвал оставшийся кусок листа и похитил продолжение. Романтическая история. Жалко, что она прерывается на самом интересном месте. Впрочем, есть истории, которые нельзя прочитать, их всегда нужно переживать и заканчивать самому. Своей собственной судьбой.

Да, кстати, может быть именно поэтому, я мой рассказ о НЛО так и не написал. Не смог вписать этот «эпизод», или как писал выше «контактер» — это «происшествие» в главный сюжет моей жизни. Оно так и осталось выколотой точкой.

Какое такое «происшествие»?

А вот какое... в начале двадцать первого века, примерно через полгода после моего переезда в Берлин из Саксонии, я видел в небе Берлина самый настоящий неопознанный летающий объект. Видел я его из окна городской электрички, с-бана.

Потрясающее зрелище!

Я и глаза протирал и щипал себя, ничего не помогло.

Летела себе эта штукавина по небу так естественно, нормально, органично, как птичка, голубок или ворона. Но на птицу она вовсе не была похожа, скорее она походила не-

много на летающий автомобиль — Делореан, машину времени из «Назад в будущее», и немного на космический корабль «Энтерпрайз» из «Звездного пути» с капитаном Пикаром. Но только немного, потому что этот НЛО был еще и полупрозрачным и светился и переливался синеватыми и лиловыми огоньками как подводный корабль инопланетян из кинофильма «Бездна».

И тем не менее, мой НЛО был настоящий, вовсе не киношный, и его явление «оставило неизгладимый след в моей памяти». Забыл сказать — размером НЛО был примерно с автобус. Летел он метрах в шестидесяти от меня, на высоте около сорока метров, довольно медленно, параллельно путям, навстречу поезду. Чувствовалось, что летит он не как ракета и не как аэродинамическая машина, а как-то иначе. Антигравитация?

Наблюдал я его секунд десять-пятнадцать. Ни на раскрашенный самолет, ни на рекламный дирижабль, ни на большую модель с мотором он похож не был. Мне показалось, что он снижается. Но там, куда он вроде бы собрался садиться, не было никакой «полосы», не было и улицы, только какие-то производственные здания, гаражи, трубы, тумбы, неприглядная урбанистическая мешанина.

...

Чаще всего я смотрю на окружающий меня мир через окно общественного транспорта, которым пользуюсь за неимением частного. Приятно смотреть в окно, заниматься вайеризмом! Это как бесплатное кино... Кино жизни. Бог смотрит его все время нашими глазами... Впечатлений можно набраться... много чего понять... проверить свои теории... заправиться энергией мегаполиса, чтобы потом перегнуть ее во что-то путное и полезное... в берлинское вино, пахнущее правда выхлопными газами, окурками, собачьим говном и годами не убираемым с улиц мусором.

Ну да, еще я гуляю, и подолгу глазею на мир, просто так, как прохожий. Но гуляю я чаще всего по тому району, где живу, а вот езжу я сравнительно часто и по тем местам, где еще не бывал...

Вот так тогда и было — я ехал на с-бане в тот район Берлина, где еще ни разу не был. Проехал неприятное место —

Острокройц, почти не изменившийся с довоенных времен и сохранивший толику кайзеровской романтики старой доброй Германии, позже начисто уничтоженной ремонтом и новыми, циклопическими, вовсе там ненужными постройками, и вокзал Лихтенберг, с которого много раз уезжал в ненавистный город К..

Помню бесконечно долгое ожидание поезда на его длиннющих платформах. Мела снежная крупа, сырой берлинский ветер продувал насквозь... я всегда ждал поезда на перроне... в здании вокзала было тепло, но там нехорошо пахло... несметные полчища южных и восточных людей проезжали тогда через Лихтенберг... многие из них подолгу не мылись... другие и не знали, что надо мыться. Запомнились их смуглые грубоватые лица... черные масляные глаза... они все казались мне ворюгами и бандюганями... даже женщины и дети.

А после Лихтенберга я ехал по Марцану, среди блочных домов гэдээровской постройки. Места эти были мне тогда незнакомы, а архитектура — ох как хорошо знакома. От Ясенево и Теплового Стана эту часть Берлина отличало только сравнительно хорошее состояние швов между бетонными блоками, ну и еще отсутствие развешенного на балконах белья и аккуратность их застекления... и дороги, хоть и были хуже настоящих, западногерманских, но все-таки лучше, чем московские.

Люди Марцана... были похожи на москвичей. Точнее — на карагандинцев или челябинцев. И говорили так же.

— Маня, батюшки, как я рада-то! Ведь он мне позвонил вчера... да. И мы так болтали, так болтали... да, обо всем болтали-то мы. Слушай, Мань, ко мне золовка приезжает на Пасху-то. С Уфы. С племяшиком, с Ильюшинькой. Как же он растолстел, Ильюшка-то, просто урод!

Ехал я тогда в один торговый центр, должен был там забрать новую цифровую фотокамеру, которую за день до этого заказал в Интернете. Не помню, какую, много их у меня было. И в зоомагазин зайти надо было.

Камеру, кстати, я забрать так и не смог, перепутали что-то продавцы. Уехал тогда ни с чем... Все об этом удивительном «происшествии» думал, о том, изменится ли теперь как-то моя жизнь... или все как обычно засосет трясина обыденности... и в зоомагазин не зашел.

Да-да... и вот, перед станцией Спрингфудль, вдруг слева по ходу поезда и показался этот самый НЛО с лиловыми огоньками.

Я увидел его и рот открыл от удивления. А едущие со мной в вагоне люди — или не заметили эту летящую каракатицу, или заметили, но ей вовсе не заинтересовались.

Я-то себя щипал и глаза протирал, а другие — себя не щипали, и глаза свои мутные и равнодушные не протирали... кто читал, кто в смартфон уставился, а другие просто тупо смотрели перед собой, ничего не видя и не слыша.

Несколько молодых людей похожих на спортсменов, с туповатыми и агрессивными лицами, кажется тоже заметили, но вместо того, чтобы вскочить, замахать руками и что-то громко заорать, они только грязно осклабились...

Так что из всего вагона увидели и восприняли НЛО только я, да маленький песик у соседки. Я заметил, он тоже смотрел в небо и удивлялся, даже заскулил от удивления, за что на него зарычала его хозяйка, дебелая носатая тетка неопределенного возраста... он был, кажется, единственной живой душой в вагоне...

Дома я рассказал про НЛО моей немецкой жене. Описал его во всех подробностях, не забыл упомянуть и реакцию на НЛО моих попутчиков, даже про собачку рассказал.

Она меня выслушала, а потом спросила: «Ты корм для птиц не забыл купить?»

## ПАНТЕРА В КРЕСЛЕ

Несколько лет назад я начал замечать, что со мной происходит что-то странное, необъяснимое. Нет, я еще не впал в маразм... хотя, кто знает.

Помню, один умный врач в популярной передаче о старческом слабоумии поучал публику так: «У каждого человека рано или поздно портятся мозги, изменяется поведение. Люди начинают дурить... Из-за курения, алкоголя, неправильного питания, загрязнения окружающей среды, стресса... и просто от старости. Но проявляется это — сначала — у всех по-разному. Природа бьет каждого человека в его слабое место... дурак становится еще глупее, злой может стать убийцей, умный становится раздражительным, педантичным, придирчивым, ипохондрик — делается еще беспокойнее, подозрительнее... а фантазер — так глубоко погружается в свои фантазии, что зачастую не может найти дорогу назад, в реальность».

Что-то подобное начало происходить и со мной, я сделался — неожиданно для самого себя — страшно суеверным, начал загадывать... видеть вещи, которые другие не видят, мои отношения к неодушевленным предметам стали... явно ненормальными.

...

Например...

У нас в кухне рядом с кухонным столом стоят два стула. Один у окна — на нем обычно сижу я. Другой — у тумбочки с хлебницей. На нем сидит моя жена. За завтраком или обедом. Ужинаем мы обычно в гостиной, смотрим телевизор... В кухне у нас — два кухонных полотенца. Одно простое, матерчатое, для посуды, другое толстое, махровое, для рук. Полотенца эти — мы вешаем на пластиковые спинки стульев, чтобы они там сохли. Так вот... жена моя вешает полотенца произвольно, без системы. А я — вешаю простое полотенце

на свой стул, а махровое — на стул жены. Для меня это очень важно! Часто захожу в кухню, чтобы проверить, правильно ли висят полотенца. Если не правильно — перевешиваю. Поэтому что, если полотенца висят «правильно», то «все будет еще долго-долго хорошо», а если «неправильно», то «очень плохо». Я заболею и умру. Или в наш дом ударит комета. Или начнется атомная война. И это безумие — с полотенцами — продолжается уже года три. Сколько раз я пытался уговорить самого себя перестать перевешивать полотенца — все без толку, это сильнее меня.

Еще один пример... когда я вынимаю из большой коробки пачку пипеток-баллончиков с искусственными слезами — то стараюсь брать ее из середины коробки, не отдавая никаким пачкам предпочтения, чтобы оставшиеся в коробке — не обиделись и не повлияли как-то негативно на мою жизнь. То же самое я проделываю и с карандашами и шариковыми ручками, вынимая карандаш или шариковую ручку из большой кучи карандашей и ручек, лежащей на книжной полке. И пипетки и карандаши и шариковые ручки нередко превращаются — прямо у меня в руках — в живые куколочки с забавными головками и кланяются мне как старому знакомому.

А чайные ложки... да... лучше и не упоминать, во что они превращаются...

Я беру чайную ложечку из ящичка — наугад... какая попадется, такую и беру. И тут же кладу ее назад и беру другую. Потому что — первую попавшуюся брать нельзя. Она испортит чай или кофе. Или укусит меня за палец. Ох уж эти первые...

Непростые отношения сложились у меня и с зимними куртками и ботинками. Я почему-то уверен, что большая зеленая куртка — у нее большая, круглая, похожая на подсолнух голова и длинные плоские ноги — меня не любит, и надеваю ее редко, только в сильный дождь... потому что не хочу причинять кислой дождевой водой вред моей любимой, синей куртке с капюшоном, улыбающейся мне так, как улыбается нам иногда проходящая мимо нас незнакомка, она заботится обо мне даже в летнее время, когда безнадежно одиноко висит в шкафу в моей второй квартире, в которую я заглядываю не часто... потому что ее почти пустое простран-



ство способно превратить меня в яблоко. Об этом мне рассказала шарообразная люстра из матового шведского стекла, висящая во второй квартире, мой старинный шпион и соглядатай. А я люстрам верю, хотя и не всем.

С ботинками — та же история. Некоторые мне жмут, другие, наоборот, разношены и могут соскользнуть с ноги — но это не важно. А важно то, что старые коричневые полуботинки, вечные ворчуны и сторонники теории заговора, десять лет назад добились — предполагаю, что доносами и наговорами, недаром они по ночам бьют чечётку — того, что берлинский Сенат так и не дал мне писательскую стипендию. Каждый раз, когда я вынимаю их из обувного шкафа, они смеются над мной. Недобро, презрительно. И заводят разговор о стипендии...

А мои черные ботинки с прямоугольными носами — честные работяги, доброжелательные и дружелюбные. Хотя и слегка туповатые. Как и их носы. По ночам они спят и похрапывают. И видят во сне прекрасную Лигурию. Я знаю, они терпеть не могут собак, и не позволяю собакам их обнюхивать. Если собака доберется до моих черных ботинок с прямоугольными носами, то сразу же испортит их характер. Один черт знает, чем это кончится. Черт этот заперт внутри моей второй шарообразной люстры, которая висит недалеко от первой. Поэтому в ней так часто перегорает лампочка. Когда я ношу ботинки с прямоугольными носами, очень удобные и теплые ботинки, — мне приходится внимательно смотреть по сторонам, чтобы вовремя перейти на другую сторону улицы, если завизжу собаку, ковыляющую мне навстречу.

...

Перечисление всех подобных... странностей... заняло бы по крайней мере сорок страниц текста... Не хочу утомлять читателя. Расскажу только одну поучительную историю.

Пару лет назад дочь кухни моей жены от первого брака подарила нам плюшевую игрушку... северного оленя. Азиатский дизайнер этого монструозного творения, видимо, не знал, как выглядят настоящие северные олени, и не удосужился посмотреть в интернете. Поэтому Боб, как я окрестил оленя, получился похожим скорее на смесь совы и футляра для смартфона, чем на четвероногое животное, впря-

женное в сани Санта Клауса, развозящего подарки для детворы. Тело у Боба маленькое, зато голова — непропорционально большая и уродливая. Украшают ее плюшевые рога, похожие на кружевное печенье и огромные совиные оранжевые глаза. Очень выразительные и почти живые.

Не знаю, почему, но я сразу почувствовал, что плюшевый Боб, несмотря на его уродливость и незначительность — наш друг и спаситель, и сыграет в будущем какую-то важную роль в моей жизни и в жизни моей жены, по национальности пуэрториканки. Недаром пуэрториканцы очень уважают северных оленей.

Примерно в то же время в нашем районе участились семейные драмы и взломы квартир.

В богатых районах Берлина — в Митте, Далеме и Ванзее дома и квартиры грабят постоянно и часто. Потому что там есть, чем поживиться. У многих богачей дома — сейфы, набитые наличными, которые грабители научились выдирать из бетонных стен, фамильные драгоценности, дорогие шмотки, которые легко загнать, электроника, персидские ковры, антивариат... Там «работают» хорошо организованные банды из Румынии, Болгарии, Чехии и других стран. А семейные драмы часто происходят из-за трудностей в разделе имущества.

К нам, в бедный, еще в гэдээровские времена построенный Марцан профессионалы заглядывали раньше редко — потому что взять у тутошнего населения нечего. И драм никаких не бывает. К тому же можно нарваться на яростное сопротивление. Но со временем ситуация изменилась. К худшему. В Берлин приехали десятки тысяч агрессивных бедняков из Ориента и Оксидента, а также из стран, которых не знают даже собиратели марок... да и многие туземцы опустились в последние десятилетие по социальной лестнице... и не прочь поживиться чужим добром.

Так что грабители, как и высокие цены на жилье, добрались и до Марцана.

...

Домушники ломали входные двери или спускались по веревочной лестнице с крыш на балконы... запугивали и связывали жильцов, в их рты вставляли кляпы, а потом, не торопясь, собирали все, что представляло хоть какую-то ценность,

набивали свои огромные сумки, тачки и чемоданы и уходили. Иногда — выбивали зубы упрямам, которые не хотели рассказывать, где хранят деньги, а иногда и зверствовали... просто так, для удовлетворения своих низменных инстинктов.

Жители Марцана укрепляли двери и окна, увлеченно занимались самопознанием, жаловались в ООН, европейскую комиссию по правам человека, в полицию и берлинский земельный парламент, пытались организовать что-то вроде добровольной народной дружины, но все это не помогло. Полиции и политикам было все равно, они были заняты рыбной ловлей, а в дружинники никто не хотел идти. Даже праворадикальные бульдоги из питомника.

Я тоже боялся, что к нам вломятся. Ни денег, ни драгоценностей у нас не было, а то, что было — семейное барахло и старенький компьютер — грабителей явно бы не заинтересовало... но я боялся физического насилия... защитить себя мы с женой не могли, оба были дряхлые и старые, оружия у нас нет.

Поэтому все надежды я возложил на Боба. На маленькую уродливую плюшевую игрушку. Каждый вечер, перед тем, как идти спать, я гладил Боба, пристально смотрел в его совиные глаза, три раза целовал в нос, один раз в брюшко и еще раз — в правую верхнюю лапу... и при этом произносил следующую мантру: «Боб, мы тебя так любим, спаси нас от несчастья, защити, помоги! Кроме тебя, никто нам не поможет!»

Я понимал, до какой степени это глупо. Но, какие бы глупости мы ни делали, в какое бы безумие ни впадали — повторение, периодичность, гармоничность колебаний сумасшествия... превращает абсурдный ритуал в некое подобие религии... Разговоры с Бобом — как церковная служба исто-во верующему — дарили мне утешение и уменьшали страх быть ограбленным и замученным мерзавцами.

...

Судьба щадила нас довольно долго.

Но... однажды ночью воры сломали нашу балконную дверь и вошли в квартиру.

Мы с женой уже спали. Жена слышит неважно и спит крепко, особенно, когда ей снятся ульи с пчелами, я сплю очень чутко и слышу хорошо. А пчел — кстати — терпеть не могу.

Меня разбудили несколько неприятных щелчков и характерный, как бы зубовный, скрежет из гостиной.

Встал, накинул халат, вышел на цыпочках в коридор, нашел там ощупью тяжелую деревянную дубину, похожую на бейсбольную биту, с отпиленным концом, в гэдээровские времена использовавшуюся для утрамбовывания капусты в процессе квашения... подождал немного, прислушался, убедился, что кто-то ходит в гостиной... собирает вещички... постарался набраться мужества и разозлиться... но так и не разозлился... глубоко вздохнул и вошел в гостиную, занеся над головой свое оружие. Готов был проломить ворам их гнусные черепа.

Но в гостиной никого не было. Так мне, по крайней мере, показалось... только два пластиковых слоника, пыхтя, бодали друг друга широкими лбами на комод.

Включил верхний свет... в гостиной все-таки был вор... один... мальчик лет шестнадцати. По виду — цыган. Кудрявый. Плохо одетый. Худой, грязный и жалкий.

Он лежал на полу, скрючившись и закрыв руками глаза, бормотал что-то на своем наречии и трясся. Рядом с ним валялась сумка для добычи. Из нее выглядывали зеленая богемская стеклянная вазочка и фигурка обнаженной негритянки из эбенового дерева. Негритянка вежливо поздоровалась и кокетливо потрясла тяжелым эбеновым бюстом.

Фигурку эту я купил с полгода назад за двадцать евро на блошином рынке. А ваза стоила и того меньше. Кто-то когда-то подарил ее жене. Цветы в нее мы не ставили, потому что она нас об этом попросила как-то после фуршета.

Недалеко от лежащего на паркете вора, на спинке кожаного итальянского кресла, купленного в Ирландии после прекращения террористической войны — восседал Боб и буравил вора своими жуткими оранжевыми глазами.

Я сфотографировал эту одиозную сцену мобильником и позвонил в полицию.

Через неделю мне позвонили из полиции и попросили прийти, чтобы подписать какие-то бумаги. Ужасно не хотелось туда тащиться... Но с немецкой полицией шутки плохи, к тому же меня терзало любопытство. Хотелось узнать, что же, черт возьми, случилось в нашей гостиной.

После выполнения всех формальностей, принятия торжественных обещаний и линейки я спросил об этом у неприветливого деревянного усача-полицейского, говорившего со мной таким тоном, как будто это я был вором-домушником, ограбившим чью-то квартиру.

Усач ядовито усмехнулся, покряхтел, как старьй шкаф, и сказал сильным голосом сифилитика: «Вам повезло. Паренек имел с собой не только ломик для взлома, но и нож с лезвием в двадцать пять сантиметров длиной. На улице его наверняка ждали дружки. Постарше и посильнее его. В соседнем доме три недели назад ограбили двух пенсионеров... а перед тем, как уйти, вспороли им животы и отрезали гени- талии... Сейчас идет проверка, не ваш ли кудрявый паренек с сумочкой это сделал... Личность его установить пока не удалось. Скорее всего, он член кочующей по Европе банды румынских или молдавских цыган... Представляете, кто-то выжег ему кислотой подушечки пальцев, чтобы отпечатки не оставлял. Вы спрашиваете, что его остановило? Не знаю. Чего-то он испугался. До смерти. На допросе отнекивался и плел чепуху...»

Полицейский вздохнул, высморкался, безгладиво порыл- ся в бумагах, открыл какую-то папку, достал из нее исписан- ный от руки листок и продолжил: «Цитирую перевод... Не- ожидално я увидел перед собой крупного хищного зверя, ягуара... нет, пантеру, сидящую в кресле. Я хорошо разглядел ее ощеренную пасть с красными клыками и когти на лапах... Она смотрела на меня ужасными оранжевыми глазами, ры- чала и готова была броситься на меня и растерзать».

...

На обратном пути я зашел в магазин игрушек и купил Бобу подружку — плюшевую зайчиху китайского производ- ства. С совиными глазами.

Когда кассирша протянула мне сдачу — мелочь и деся- тиевровую купюру — сердце мое ушло в пятки, потому что я увидел на ней женщину с страшным собачьим лицом, вы- глядывающую из романского церковного портала. Попросил кассиршу дать мне другую купюру. Кассирша недоуменно посмотрела на меня, а потом неохотно выдала мне две пяти- евровые бумажки.

## ГОСПОДИН МАКС

Моя подруга Рамона потеряла невинность в четырнадцать лет. В маленьком уютном живописном городке в Рудных горах, с речкой, замком и видами. В Ропау. Куда мы с ней позже регулярно ездили на электричке на дачу. Рамона занималась там разведением цветов, копала, сажала, окучивала, подрезала... а я сидел в полосатом шезлонге, оставшемся от предыдущих владельцев дачи, заядлых игроков в скат, которые землю не рыли, цветы не сажали, а только дули пиво, курили и в карты резались, читал или загорал...

Перед отъездом домой мы заходили в кафе «У диких бобров» и ели там розовые, запеченные в собственном соку форели, посыпанные укропом и петрушкой, пойманные у нас на глазах длинным сачком в крохотном, метров тридцать квадратных, отделенном от реки тонкой перегородкой прудике, заросшем белыми кувшинками, в бутонах которых сидели иногда, свернувшись колечком, небольшие черные змейки с золотистыми крестиками на головках.

Жила Рамона в Ропау с мамой, папой и бабушкой в средневековом доме, в котором сто лет назад находилась рыбная коптильня. Комнатка ее все еще пахла рыбой, и в ней вместо окна была застекленная сверху дверца, выходящая прямо на речку. Через эту дверцу рыбаки загружали рыбу в коптильню. До воды было метра три, но во время наводнений комнату подтапливало. Поэтому кровать Рамоны висела на деревянных столбах, и спала она почти под потолком. Над ее кроватью был лаз на чердак, оттуда можно было вылезти на крышу. Поднималась Рамона в свою кровать по веревочной лестнице.

Летом в ее комнатке было нестерпимо жарко, а зимой холодно, даже сосульки висели... греться Рамона уходила в теплую кухню, сидела там вечерами в плетеном кресле и про-

сматривала старые выпуски сатирического журнала «ULK», выпускавшегося в Берлине со времен Бисмарка и до 1933-го года, главным редактором которого одно время был сам Курт Тухольский. Нашла Рамона с дюжину перевязанных пачек на чердаке и скрыла от матери... чтобы та не сожгла их в печке. Уголь был дорог и топили, чем могли.

Других книг в их жилище не было.

Особенно ей нравились карикатуры на последнего русского царя времен Первой Мировой. Трясущийся от страха маленький Николашка сидит, забившись в угол, в купе царского поезда... Глупый царь с уродцем-царевичем на коленях читает статью «Вести с фронта». Невдалеке стоят два его генерала и один говорит другому: «Неужели он верит?»

Похожий на курицу в короне, с петлей в руке, царь показывает когтистым пальцем на здание с колоннами, на котором написано «Дума» и кричит: «Вешать! Вешать их всех!»

...

Семья Рамоны жила, как и почти все гэдээровские рабочие семьи того времени, очень бедно. Страна еще не преодолела послевоенную разруху, да и советчики ободрали свою зону оккупации как липку. Вывезли не только специалистов, станки, цветные металлы, автомобили, пароходы, локомотивы, самолеты, фильмы, колготки и иголки, но даже гвозди драли из стен и лампочки вывинчивали... и везли в СССР. К тому же ГДР платила стране-победителю репарации. Наличными и товарами ширпотреба.

Мать Рамоны работала на местном мясокомбинате, куда ее устроил ее дядя, тамошний заместитель директора, поэтому два раза в неделю семья ела тушеное мясо. С квашеной капустой. Да еще и подрабатывала вечерами кельнершей в таверне «Старая пивоварня». И дочь заставляла там убирать и прислуживать. Гости этого заведения, в основном зажиточные ремесленники, звонко шлепали и мать и дочь по крутым задкам. Мужчины тогда, в самом начале шестидесятых, еще были редкостью, и они это знали и с удовольствием этим пользовались. Чаевые были небольшие, но мать приносила домой остававшуюся от гостей провизию. Только поэтому семья Рамоны не голодала.

Отец ее работал забойщиком на урановой шахте предприятия «Висмут», зарабатывал по тем временам хорошо, но зарплату домой не приносил, а пропивал. Или прямо там, на Висмуте, где, несмотря на социализм и советскую администрацию, царила атмосфера Клондайка, прямо на территории шахты были организованы питейные дома с дешевым шнапсом и неофициальные публичные дома с недорогими девушками, или в городке, в той же самой «Старой пивоварне», в которой был завсегдаем и слыл главным острословом.

Отец Рамоны, которого я близко узнал в девяностых, когда он уже был большим стариком, хоть и молодил, не был плохим человеком, эгоистом, грубияном... только типичным работягой. Да еще и с обидой на жизнь. Которую он нередко вымещал на семье. Бил жену... и дочери перепало.

Обида эта произошла вот от чего. Недалеко от дома Рамоны жили многочисленные ее кузены и кузины и другая родня по отцовской линии. Все они, включая четырех дядей, тетю, бабушку Рамоны и кучу отпрысков, перебрались на Запад через Берлин за неделю до постройки Стены. Отец Рамоны вместе с женой и дочерью должен был уехать через десять дней после них, но... оказался в мышеловке и очень из-за этого переживал. Тем более, что все его братья сделали, пусть и не сразу, карьеру в автоиндустрии и стали в Западной Германии хорошо обеспеченными, уважаемыми бюргерами. А он... так и остался шахтером на Висмуте и завсегдаем «Старой пивоварни», где, не скрывая своих эмоций, честил ГДР как только мог. Забойщик на Висмуте, добывающий уран для советского ядерного оружия — средняя продолжительность жизни горнорабочего на урановой шахте была лет сорок, но отец Рамоны оказался крепким орешком и дожил до восьмидесяти пяти — мог себе это позволить.

Мать Рамоны очень любила рождественские украшения... деревянные фигурки... щелкунчиков, курящих человечков... народное искусство жителей Рудных гор... ее я тоже близко узнал в девяностые... бог с ней... не мне ее судить.

После окончания восьмого класса школы родители Рамоны не отправили ее в класс девятый, как она хотела, а определили подмастерьем в единственное частное предприятие Ропану — на прядильную фабрику.



Приведу тут рассказ Рамоны, который я слышал раз двадцать... обычно до или после интима.

Надо отметить, каждый раз она рассказывала свою «обыкновенную историю» по-разному. Суть-то, конечно, оставалась одной и той же, но подробности от раза к разу менялись. Наверное, мутировали.

...

Рассказ Рамоны.

Я была девочкой своевольной и упрямой. Стала такой в «Старой пивоварне». Жизнь меня научила добиваться своего. В прядильне я работать не хотела, хотела учиться дальше в школе. Скучала по одноклассникам. К тому же была тогда влюблена в учителя географии, господина Кнопса. У него были большие печальные глаза. Говорил он не громко, но убедительно. Особенно, когда рассказывал про апартеид в Южной Африке. Болтали, что он воевал в составе ваффен-СС, но я не верила. Оказалось после, что правда, он сам мне рассказал. Да... а теперь мы все узнали, что и наш писатель великий, лауреат Нобелевской премии, тоже в составе ваффен-СС воевал. Защищал Берлин от ваших. А в плен попал по-умному — к американцам.

Умоляла мать не забирать меня из школы, дерзила ей, а мать меня увещевала-уговаривала, мол, деньги надо зарабатывать, родителям помогать, а не по школам понапрасну мотаться, даже несколько раз ударила по щеке. Обещала освободить от «Старой пивоварни». И отец... наорал на меня, чуть не побил, а потом заплакал. И полночи с матерью ругался. Я подслушивала за дверью. Он кричал: Ты сама проститутка и дочку такой же хочешь сделать! Ты что, не знаешь, кто там работает? Одни б...

Я против воли согласилась, а про себя решила, что как только заработаю достаточно денег, убегу из дома, вон из этого города... в Лейпциг или в Берлин. Так я и сделала... только позже... а год примерно пришлось на фабрике отпахать. Поэтому я знала потом, на профсоюзной работе, что рабочий человек на самом деле живет вроде как собака или осел, в пожизненном рабстве. Сочувствовала и, как могла, помогала.

...

Никогда не забуду свой первый день. Посадить меня сходу за ткацкий станок начальство не могло, сложное это

дело и опасное. Поэтому меня для начала отправили в отбелительный цех, на грубую, грязную работу. Там были горячие ванны с щелочной водой. Тяжелые рулоны ткани надо было подтаскивать, из одной ванны в другую перекладывать, мыть, что-то еще делать, не помню уже. Это сейчас все автоматизировано, а на той фабрике было оборудование тысяча девятьсот десятого года. Все вручную...

Ну вот, привел меня директор в цех... а там жара — под сорок... пар... хлоркой воняет невыносимо... шум, гам. Но самое странное — все работницы, бабы под пятьдесят... до пояса голые. Красные, распаренные... сиськи огромные мотаются. Потные, пузатые, жирные. Таскают рулоны... в ваннах деревянными лопатами воду мешают... и директора, крючка такого очкастого, лысого... вовсе не стесняются. Обсуждают что-то с ним.

Да, кстати, после я его ближе узнала, он оказался неплохим человеком, помог мне из проклятой прядильни выбраться. Хоть и не безвозмездно, да... а кто в этой жизни что-то безвозмездно делает? Я таких не знаю.

Ну да, это что же, значит и мне надо... голой до пояса... при директоре... и рабочие в цех заходят... взрослые мужики, одетые, и молодые ребята-механики всего на два-три года меня старше. А мне четырнадцать лет всего... но у меня уже груди выросли... как большие персики, и я их ужасно стеснялась. Потому что у всех моих подружек грудки были маленькие, как блюдечки. Или вообще еще не было груди. Питались мы тогда как нищелюды. Ни жира, ни витаминов.

Ну вот, сняла я в раздевалке свою одежду, надела фабричную полотняную юбку до колен, а под ней ничего, только трусики. Платок меня заставили повязать, чтобы волосы в станок не попали. И сапоги громадные дали, чтобы хлор ноги не разъел.

Стою в раздевалке, дрожу, стесняюсь в цех выйти.

Директор ко мне подошел, поглядел на меня, а я чуть не в рев...

Он понял, глаза отвел, что-то доброе сказал и легонько так меня по спине погладил. Меня как током... Потом за руку взял, ввел в цех, показал, что и как делать, познакомил с ра-

ботницами. Ничего, бабы они были не плохие. Все, как одна — вдовы военные. Я для них вроде сосунка была... Они меня и не замечали.

Только одна, румынка из бывших заключенных — помоложе остальных — кудрявая такая... когда никого рядом не было, все норовила мне груди помять, да в шею целовала взасос. Обнимала, шептала мне что-то страстно по-своему... глазами сверкала.

Я ее не понимала, но не отталкивала, играла с ней, дурчилась. Несколько раз и ее за маленькие смуглые груди пощупала. Но это меня не возбудило. Мне для любви всегда нужен был мужчина.

Да, трудно было поначалу. С ног валилась от усталости. Кашляла страшно. Но втянулась. Зарабатывала сто двадцать марок в месяц. Гэдээровских. Половину мать отбирала.

А потом случилось то самое.

...

Инженером-механиком по ткацким станкам работал у нас один дедушка. Сейчас-то он мне дедушкой не показался бы, было ему только слегка за шестьдесят. Но тогда...

Господин Макс.

Однажды он зашел в наш цех. Увидел меня и видимо загорелся. После смены подошел ко мне... в красивом костюме, галстук... старой культуры был человек, довоенной... в нагрудном кармане платочек батистовый треугольником... на мизинце кольцо с бриллиантом... надушенный весь... ногти в маникюре и говорит вежливо. На вы.

— Позвольте мне, фроляйн Рамона проводить вас до дома. Имя у вас какое... музыкальное. Будит воспоминания.

Взял меня под руку и повел, только не к нашему дому, а в парк, туда где камни разные доисторические выставлены. Ну эти... окаменелости. А затем к себе домой пригласил. Я пошла, не роптала. Что я в жизни видела? Дома родители грызутся, на работе — ад, а тут человек порядочный... чистый. Побывал в Париже.

У себя господин Макс на меня не набросился, как любой другой на его месте бы сделал, а угостил меня кофе со сливками и шоколадом, рассказал про Шанз-Элизе и площадь

Пигаль, а потом отвез меня домой на своем стареньком мотоцикле с коляской. Я очень этим гордилась... Форсила перед подружками.

На следующий день — все повторилось... только я еще вдобавок цветы от него в подарок получила. Гвоздики. И погуляли немного... по кладбищу... там, где могилы цыганских детей. Помнишь, я тебе рассказывала, как эсэсовцы у нас, в Ропау, взрослых цыган в концентрационный лагерь отправили, а детей, за сотню их было, расстреляли на берегу реки, под мостом. Некоторые, впрочем, говорят, что они сами... от тифа умерли.

Господин Макс мне о своих приключениях в плену у французов рассказывал... как они в лагере в футбол играли... заключенные-немцы против охранников-французов и выигрывали. А французы обиделись и немцев жестоко избили. И совестливый Макс, который уже было решил, что мы, немцы, самый жестокий на свете народ, тогда понял, что французы ничуть не лучше, только организованы не так хорошо... и Гитлера у них своего не было.

На третий день — опять гуляли... рядом с фабрикой мотоциклов, где господин Макс до войны работал... и опять кофе у него пили.

На четвертый день он меня первый раз поцеловал.

А на пятый день... в воскресенье... сидели мы у него дома, в кабинете. Господин Макс мне коллекцию марок показывал. Объяснял что-то про зубцы и гашение. Потом начал целовать... пошли в спальню, сели на его большую кровать.

Я разделась, зачем тянуть да жеманничать? Это ваши женщины жеманные. А мы, немки, относимся к телесной любви разумно.

Легла, расставила ноги... ждала, что он ляжет на меня...

А господин Макс... вдруг закурил сигару и сказал мне, что... по-настоящему меня любить не может... из-за ранения... А не по-настоящему не хочет. Но знает, как решить проблему.

Я промолчала, съежилась.

А он вдруг сказал громко: «Входите же, господа, девушка готова».

В спальню вошли несколько мужчин.

Все с лысинами и брюшками. Голые, пьяные, возбужденные. Двоих или троих я встречала в «Старой пивоварне». Один, собутыльник моего отца, был даже старше Макса. С усищами как у кайзера Вильгельма.

Смутило меня только то, что среди них был и наш учитель географии.

...

Господа эти со мной не церемонились... времени даром не теряли... тут же начали меня за груди и между ногами трогать, попотчевали меня французской любовью, а потом тот самый, с усищами, лег на меня... придавил как сапог лягушку.

От него пахло потом, табаком и пивом.

А после него и все остальные... по очереди... меня трясло. Да как... Последним был господин Клопс. Как же он громко стонал... хрипел... просил меня смотреть ему в глаза и называть папой...

Потом пошли по второму кругу.

Часа три длилось представление. Ты только не подумай, что они меня насиловали.

Мне было очень приятно. Только за господина Макса было обидно, что он своей радости не получил.

А он, господин Макс все это время сидел на стуле рядом с кроватью, жадно смотрел на нас, курил сигары, пил красное вино и по голове меня гладил.

Так я потеряла невинность.

## СОРОКОНОЖКА

(рассказ пенсионера)

Спорил тут недавно с одним новоприбывшим в русском магазине, доказывал с неуместным жаром очевидное. Орал даже: «Ваше паршивое государство ничего не производит, кроме коррупции, подлости и мертвечины».

А мой собеседник мне ответил тихо, но убедительно: «Ну зачем же так обобщать? Я вот недавно купил прекрасный бинокль. Отечественный. Между прочим, дешевле ваших, немецких! И лучше! Не скудеет наша земля на мастеров!»

Это был удар ниже пояса, потому что я с детства обожаю бинокли и вообще всяческую оптику. С того самого времени, когда моя бабушка Алиса, чтобы не отправлять чувствительного мальчика в советский детский сад, брала меня с собой на работу в обсерваторию института им. Штернберга, и мне было там разрешено возиться с бракованными линзами, оправами, зеркалами, призмами и прочим оптическим хламом.

Лишних людей тянет как известно на покупку ненужных вещей.

Поэтому я тоже купил русский бинокль. Мэйд ин Красногорск. 20х60. Это значит, увеличение — двадцать раз, а диаметр объективов — шесть сантиметров. Могучая машина. Нашел в интернетном каталоге это замечательное российское изделие, заказал и получил после трехнедельного ожидания (наверное на гоголевской тройке везли). Сорок евро всего! Даром взял.

Посылку сразу открывать не стал. Освобождение покупки от упаковки — сакральное действие, сравнимое с раздеванием невесты в первую брачную ночь. Поэтому я вынул бинокль из футляра только поздним вечером... торжественно... не спеша... хотя ужасно хотелось посмотреть на Луну в пол-

нолуние... полюбоваться на кратеры, повыть и помечтать. Смотреть в бинокль сразу не стал... гладил его шершавую кожу, глядел в отсвечивающие оранжевым линзы, как любимой в глаза.

Вечер был чудный...

Аромат сирени перебивал вонь от выхлопных газов.

Но темнота слабенькой июньской ночи так и не смогла смыть отвратительные силуэты одиннадцатизэтажных домов гэдээровской постройки...

Лимонно-желтая Луна поднялась на юго-востоке, как раз за местной свалкой, и залила Марцан таким волшебным светом, что ужасная его архитектура начала напоминать что-то древнеегипетское или месопотамское. Зиккураты, пирамиды, ворота Иштар, висячие сады Семирамиды...

Душа моя затрепетала.

Я устроился поудобнее в кресле, взял наконец в руки тяжелый, ностальгически пахнущий рабочим классом бинокль и жадно навел его на Луну. Хотел побродить по «пыльным тропинкам». Погоняться за лунатиками и лунатками. Поискать американский флаг, оставленный «Аполлоном».

Посмотрел... и тут же проклял Россию и собственную глупость.

Как ни крутил настройку резкости, как ни пытался скомпенсировать разницу моих глаз правым окуляром... в бинокль я видел две квадратные Луны, окруженные розовой помадой.

Оптические оси не параллельны! Аберрация зверская! Кошмар!

К тому же обе Луны были маленькие, явно меньше тех, которые я когда-то наблюдал в восьмикратный цейсовский бинокль, сгинувший много лет назад, как и все остальное мое барахло в оставленной на попечение друзей московской квартире.

Кратеров видно не было...

Луна в русский бинокль напоминала изъеденную червями задницу.

Ярости моей не было предела. Больше всего я хотел разбить этот бинокль молотком. Но опасался пораниться о стек-

лянные осколки. Поэтому смиренно запаковал изделие красногорских мастеров в родную упаковку и на следующий день отправил его на указанный в сопроводительной бумажке обратный адрес... берлинский, как ни странно. А через два месяца даже получил мои сорок евро. После нудной и унижительной переписки с изготовителем и продавцом.

Гнусное впечатление от бракованного продукта с бывшей родины я решил немедленно нейтрализовать покупкой западного бинокля. Заказал и через два дня получил бинокль «Никон». Об этом инструменте я написал бы поэму, если бы был поэтом. До того он хорош. Изображение четкое, светлое... Потрясающая ясность... и Луну я в него рассматривал неоднократно, и Юпитер, и Млечный путь, и летающие тарелки, парящие в голубом океане над Берлином, видел, и лица прохожих наблюдал как под микроскопом, и даже картины в Берлинской Картинной галерее, когда я смотрел на них через Никон, выглядели лучше, чем оригиналы...

...

Однажды сидел я на своем балконе на девятом этаже и рассматривал дом напротив. Днем. Ничего особенного я увидеть не ожидал, так... смотрел просто на бетонные стены и окна.

Приобщался тупости отвеса.

Учился у мертвой материи — кротости и верности функции.

Ласточки то и дело секли поле зрения своими черными хвостиками, неторопливо пролетали вороны, весело и быстро — воробьи, и еще какие-то птахи. Тополя махали своими зелеными руками и мешали смотреть. Бабочки суетились. Шмели...

И вдруг увидел, и тоже на девятом этаже, только не на балконе, там балконов нет, а просто в окошке каком-то, настежь открытом, человека, смотрящего в бинокль. Чем-то он был на меня похож. Старый, лысый, толстый. Сидел на стуле у окна и смотрел на мир. Вроде из наших. И кажется такой же... одинокий и потерянный.

И он меня заметил. Минуты две мы друг друга рассматривали, а потом он мне рукой помахал. Приветственно. А я — ему.



На том и кончилось наше первое воздушное общение.

С тех пор я его часто видел. Почти каждый день. После обеда я всегда сажусь в кресло на балконе. Читаю несколько минут. Потом беру в руки бинокль. И наблюдаю жизнь, из которой меня несколько лет назад выкинуло. Смотрю туда... на него.

А он уже смотрит на меня. Мы друг друга приветствуем. Я отдаю ему честь, а он показывает пальцем на лысину. Я догадываюсь — это значит «к пустой голове руку не прикладывают». Но не обижаюсь, а киваю, что означает «да, голова пустая, но блаженная» и показываю на него пальцем («и у тебя тоже»). Он понимает и кивает в ответ.

Вот он показывает пальцем на группу мусульманских мужчин с глазами и прическами головорезов и женщин в черных платьях до пят и темных платках. Это новые беженцы. Из Сирии. Их теперь много тут разгуливает. Показывает и скорбно качает головой. Потом вздымает руки в бессиллии что-то изменить. Я киваю и тоже качаю головой и вздымаю руки. Это значит «да, да, согласен, это второе после завоза сюда миллионов турок-гастарбайтеров самоубийство Германии, ничего не поделаешь, полезные идиоты, леваки, кретины, не жалеющие ни собственных детей, ни своей культуры».

Я показываю ему рукой на группу людей, тусующихся у местной забегаловки. Это опустившиеся алкоголики. Почти все — наши. Русские мужья «поволжских немков» из бывшего СССР. Качаю головой. Это значит — «эти не лучше». Он кивает и опять вздымает руки, пожалуй еще безнадежнее, чем в первый раз — «мы от этого уезжали... и вот опять... та же советская пьяная мразь».

Показывает рукой на отдаленное одноэтажное здание. Это то ли клуб, то ли кафе, то ли качалка... Там собираются вечерами марцанские неонацисты. Я смотрю туда и вновь вздымаю руки — «это вообще ни в какие ворота не лезет... их все больше и больше». Провожу большим пальцем по шее — «эти всех нас поубивают, когда нынешняя власть все угробит». Он кивает и показывает еще раз на сирийских женщин — «или они или дети этих мусульманок». Я энергично киваю в ответ. Подношу большой палец ко рту и делаю блаженную мину — «пошел пить кофе со сливками».

Он кивает и горько разводит руки — «а я давно пью только воду... вонючую берлинскую воду из-под крана».

...

Так я общался с моим беззвучным собеседником до самой осени. А потом, то ли он перестал открывать окно... холодно стало... то ли переехал.

Я и позабыл о нем.

А затем... Разговорился я как-то с знакомой продавщицей в русском магазине. Под самое Рождество. Как ее зовут? Любочка... Людмила... Липа... Не помню. Толстомясяя такая, грудастая, руки сальные, и обсчитать может безбожно, но добрая. Хоть и «крымнашка».

Говорит мне эта самая Люба-Липа:

— А вы слышали, что у нас тут за несчастье-окаянство приключилось? В октябре что ли...

— Какое такое несчастье-окаянство в октябре?

— А с одним евреем случилось. На вас похож. Я, как узнала, подумала: с вами, да... Испугалась я. Нехорошо такого умного покупателя терять. С вами хоть поговорить можно по душам. А то тут такие ходят... Ублюдки паршивые. Берлин вроде, а народ, как в Челябинске.

— Не томите, говорите, что произошло.

— Точно не знаю я. Никто не знает. Но бабы говорят, смертоубийство вышло. Убила еврея одна румынка!

— Что за румынка?

— А бездомная, нищая, что тут летом таскалася. Видели вы ее. Ее все мужики замечают, потому что она не такая.

— Не какая?

— Ну необыкновенная. Ведьма она. Любого мужика разожжет. У них, у цыган, в крови огонек особый! Глазами сверк-сверк... и ваш брат на коленях.

— Да ну?

— Бабы говорят, он ее увидел и пожалел. А может и приворожила старого пердуна, на лавочке разлеглась... Ой, простите. Это я не про вас. В квартиру ее к себе взял. Отмыл, да накормил. Вдовец, бабы лет десять не видел. Он тут бывал, покупал пельмени с индюшкой. Аккуратный такой. Гречку еще брал и конфеты «Птичье молоко». Ну вроде вас.

Только говорил мало. Рот ему скривило, удар, наверное, был. Ну, она его зажала, и он с ней того... женихался-кувыркался... уж как мог. А она под утро, как он заснул, горло ему перерезала бритвой, а может и перегрызла, сука! И всю кровь из него выпила, дракула окаянная... Квартиру ему изгадила... на стене гадость какую-то нарисовала... вроде сороконожки или муравья... кучки везде наложила, как лисица... и бежать. Даже дверь за собой не захлопнула. Соседи через день зашли и посмотрели. Еврей мертвый лежит, голый и страшный. Серый, без кровинки. А на стене сороконожка... Да, полиция румынку эту вроде заарестовала. Судить будут. А еврея на еврейском кладбище похоронили. На Вайсензее. Тама кладбище огромное, все надгробья — мраморы-граниты, тока туда никто не ходит. Некому.

...

Я, разумеется, не поверил ни одному ее слову.

## АБСЕНТ

### «У восьми озер»

Ленинградская область. Дом отдыха «У восьми озер».

Лето не помню какого года. Но помню, что баскетбол, теннис, плавание, кинофильмы про шпионов, лук и стрелы, казаки и разбойники, мороженое и шоколад, Конан Дойл и Луи Буссенар — меня интересовать перестали.

По моим нервным волокнам ходили волны похуже японского цунами. Они легко уничтожали все то, что советская школа, пионерия и комсомол успели во мне построить. Мой член стоял часами без всякой причины, как бы сам по себе... с кончиков пальцев сыпались искры, из ушей шел пар, и я всерьез боялся, что превращусь в дьявола и начну летать по небу и жрать людишек как птица насекомых.

Мои родные не замечали моего состояния. Сердились только на то, что я перестал с ними разговаривать, грубил и убежал из дома. Учителя... Помощи ждать было неоткуда.

Через открытые ворота ко мне пришел разврат, грозя и вовсе сбить с копыт неоперившегося юнца. Но не сбил. Скорее, наоборот...

Разврат этот принял форму симпатичной интеллигентной женщины средних лет.

Одним чудесным солнечным утром, в яблонево́м саду, на берегу одного из восьми озер... она подошла ко мне, улыбнулась обворожительно и всепонимающе, но не без дружеской иронии и откровенного интереса к моей, сгорающей заживо в пубертетном синем огне, персоне, потрепала меня по вихрам своей немолодой уже рукой — на ее слегка подпорченных подагрой пальцах было надето не менее дюжины золотых колец, купленных явно не в СССР — и сказала: «Я Лидия Минская, переводчица с английского и французского. Моего мужа зовут Михаил Иосифович, он профес-

сор МИМО. Но для тебя мы — тетя Лида и дядя Миша. Я знавала твою бабушку и деда еще в пятидесятых. Тебя, Гошенька, помню еще младенцем. Ты был такой милашкой. Кудри до плеч. Да... На отдыхе мы — преферансисты. Хочешь, поучим тебя этой прекрасной игре? Тогда приходи к нам, в комнату 58. Через пятнадцать минут. Да, бабушке можешь об этом и не рассказывать. Боюсь, она не обрадуется. Пусть это будет нашим секретом... Понимаешь?»

«Понимаешь» она произнесла, понизив голос до чувственного кошачьего урчания, но, пожалуй, слишком аффектированно. Я мгновенно насторожился, но затем мой взгляд случайно упал на глубокое декольте ее пестрого ситцевого платья, не скрывавшее полную ухоженную грудь, и по всем моим ганглиям пробежала электрическая волна такой силы, что думать я не мог и на предупредительный сигнал интуиции не отреагировал.

— Понимаю.

— Придешь?

— Приду.

— Приду, тетя Лида?

— Тетя Лида.

Знакомство с «преферансисткой» и ее многообещающее приглашение меня обескуражило. Интуиция посылала мне сигнал за сигналом — опасность-опасность-опасность! А желание отвечало вяло: «А чего ты боишься-то? Тетю Лиду? Нашел, кого бояться. А преферанс — игра умных людей...»

Интуиция моя знала, что желание хочет вовсе не преферанса. А желание лгало само себе, стреляло во все стороны цветным фейерверком, только не в ту сторону, в которую мне хотелось выстрелить больше всего — между ног тети Лиды.

Зачем природа заставляет нас самих себя бесконечно обманывать? Придумывать хитроумные отговорки? Хвататься за такое большое количество соломинок, что из них можно было бы собрать Босховский «Стог сена»? Что за путаница?

Откуда этот вечный ложный стыд?

Почему я не мог просто сам себе сказать: «Тебе нравится эта тетя Лида. Ты хочешь вступить с ней в половую связь. Так сильно, что штаны трещат и шаровые молнии летают. Сейчас ты пойдешь к ней и сделаешь то, что ты так хочешь».

Почему-почему... Потому что так был воспитан. Как так? А по-советски. Одно вранье ехало на другом вранье. И погнало.

...

Через четверть часа я постучал в комнату 58.  
Сюрприз! Открыл мне мужчина. Дядя Миша.  
— Что вам угодно?

Голос спокойный, низкий, благородный.

Высокий, полный, старше тети Лиды. В заграничных светлых шортах из мягкой ворсистой ткани и пестрой свободной рубаше. Босой. Ноги холеные. На левой руке — дорогие золотые часы. На правой — несколько золотых же браслетов. Роговые очки. Внимательные глаза. Я сразу заметил, что что-то было в них не то. Соблазн.

Тут к дяде Мише подошла тетя Лида и, ласково положив ему голову на плечо, что-то прошептала на ухо. Милый...

Дядя Миша мгновенно надел на лицо маску гостеприимного хозяина. Профессора, приглашающего студентов в аудиторию, для того, чтобы прочесть им лекцию о Кафке и Музиле. Лучащегося мудростью и доброжелательностью.

Вошел.

Комната особого впечатления на меня не произвела. Двухспальная кровать. Шкаф. Круглый карточный столик. Три стула. На столике — карты, изумрудно-зеленая бутылочка затейливой формы и три хрустальных бокала. Маленькое сито. Несколько кусков сахара. Кувшин с питьевой водой.

Меня пригласили сесть за стол. Я сел, и хозяйева сели.

И тут же дядя Миша разлил в бокалы какую-то зеленоватую жидкость из бутылки... ликер? Потом положил сахар в сито и потихоньку долил в бокалы воду из кувшина, через сахар.

Поднял свой бокал, сверкнувший на солнце голубым и желтым, и провозгласил: «Будем здоровы и счастливы, друзья! Выпьем за Солнце, за этот прекрасный день, которое оно нам подарило, за новое знакомство и счастье в его переливающихся лучах, за радостное соитие тел и за божественный полный преферанс!»

Дядя Миша поиграл бокалом в солнечных лучах... тетья Лида сжала руки на груди, восторженно глядя на своего мужа.

Я еще не успел удивиться, как они уже выпили содержимое своих бокалов.

Отставать не хотелось... я тоже радовался новому знакомству, Солнцу, преферансу и «соитию тел»... выпил зеленую жидкость маленькими глотками... и сразу почувствовал тупой удар в голову... Жидкость эта была крепка.

Мне показалось, что солнечные лучи, «косою полосой шафрановой от занавеси до дивана» вдруг обвилились вокруг моей шеи, как теплый ласкающий шарф из света... в глазах засверкали золотые струны... они начали переплетаться, превратились в металлические колосья как на фонтане в ВДНХ... я чуть не упал со стула, но удержался и стал смотреть на то, что делает дядя Миша. А он взял в руки карты и начал их тасовать.

Потасовал и разложил колоду по столу длинной лентой, рубашками вверх.

И попросил: «Открой, Гоша три карты».

Не слушающей рукой я открыл ему три карты. Все они были червовыми дамами.

И тут... все три дамы вылезли из своих карт и, взявшись за руки, начали вшестером танцевать какой-то странный мейнют с поклонами и реверансами. Откуда-то вынырнули два червовых короля и два валета и присоединились к дамам. Один валет почему-то подмигивал мне и смешно задира л ножки в панталончиках.

Меня мутило, а дядя Миша и тетья Лида громко и радостно хохотали.

Затем дядя Миша сказал, поблескивая глазами, похожими на влажные сливы, тете Лиде: «Пора, мон шер ами...»

Она взяла меня за руку, подняла со стула и раздела, медленно, как, наверное, раздевают манекены.

Раздевала, гладила, возбуждала-целовала и все время насвистывала какую-то сладкую мелодию. Потом быстро разделась сама, легла на кровать и увлекла меня за собой. Дядя Миша был уже там.

Как только я проник в пахнущую мускатным орехом тетью Лиду, в меня сзади проник дядя Миша. Не так, как вы подумали. Боли это проникновение мне не причинило. Мы превратились в живой, пульсирующий трехслойный бутерброд. Мечта моя — о близости с взрослой женщиной — осуществилась.

Первым кончил дядя Миша.

Пока я заканчивал дело, он сидел за карточным столом и тасовал колоду. А вечером того же дня я расписал первую в моей жизни пульку. Никаких драм или сексуальных трагедий после этого в моей жизни не произошло. С сумасшедшей этой парочкой я встречался еще годы после этого лета.

Я многим им обязан. Они не только ввели меня в мир эроса, но и познакомили с книгами Гессе и Жан-Поля. Открыли мне глаза на то, чем на самом деле был Советский Союз. И дали мне уроки терпимости к интимным предпочтениям других людей.

А в изумрудной бутылочке был абсент, к которому выездной дядя Миша пристрастился за границей.

### *Современное искусство*

Похожая история, только с другим концом, произошла со мной в декабре 1990 года в Кёльне.

Мне уже стукнуло тридцать девять, я окончил университет, отработал в различных НИИ 15 лет, имел троих детей, неоднократно участвовал в выставках художников-нонконформистов, имел мужество стать эмигрантом-невозвращенцем... но глубину моей наивности невозможно было измерить никаким лотом. Но жизнь измерила.

Да, кстати, ни педерастом-двустволкой, ни другим каким-нибудь секс-маргиналом после того моего приключения «у восьми озер» я не стал. Женился, как и положено, перед окончанием МГУ. По любви. Развелся через семь лет по той же причине. Женился еще раз. Был счастлив в обоих браках. Но погуливал...

Да... я тогда в Германии рисовал, рисовал что было сил в «лагере» для контингентных беженцев, наслаждаясь



тем, что не надо больше думать о Горбачеве, КГБ, Афганской войне, о «судьбах проклятой России» и о добывании хлеба насущного. Пособия моего вполне хватало на сытую жизнь.

И к декабрю собралась у меня толстая папка «энигматических рисунков», как я их тогда называл. Это были абстрактные композиции, напоминающие башни или башнеобразные висящие конструкции, призванные внутренним своим многообразием привлекать и всасывать родственное многообразие зрителя и создавать вместе с ним некую общую мерцающую живую структуру... Как бы принадлежащую сразу трем мирам — миру графики, внутреннему миру сознания человека, представляющемуся мне как сюрреалистический ландшафт и миру возвышенно-метафизическому... Небесному Иерусалиму.

К сожалению, мои рисунки не были по-настоящему моими, а предательски напоминали иературы Михаила Шварцмана, который был одно время моим ментором, но грубо оттолкнул меня, когда заметил, что я ему подражаю. Правильно сделал. Его талантом я не обладал и долгий путь по следам мастера свел бы меня с ума.

Но тогда, в девяностом, мне казалось, что я нашел наконец «свое воплощение». Не такое мощное, как у Шварцмана, но жизнеспособное. Поэтому я решил осчастливить «бездуховный Запад» своей выставкой. Что я для этого сделал? Купил фотоаппарат Поляроид, сфотографировал им свои рисунки и начал рассылать крохотные фото в лучшие музеи Германии — в Мюнхенскую пинакотеку, в Дрезденскую галерею, в музей Людвиг. И еще в десяток других подобных собраний.

Безумие, глупость, наивность? Да.

И я это краешком разума чувствовал. Но меня, как это часто и бывает у дураков, собственное безумие вдохновляло, а не пугало...

Я считал его необходимым атрибутом гения и наслаждался им. Даже не смешно.

На мои письма с обратным адресом «лагерь для беженцев Глаухау» ответил только господин Д., куратор графического собрания музея Людвиг. Он пригласил меня на беседу,

назначил термин на пред рождественское время. Я собрал свои последние марки и поехал в Кёльн. С толстой папкой рисунков в брезентовой сумочке.

Я надеялся на то, что господин Д. расхвалит мою продукцию до небес и купит всю папку для музея, заплатит мне наличными тысяч тридцать, и я смогу остановиться в хорошем отеле... и даже покинуть навсегда осточертевшее саксонское захолустье.

Как это ни странно, но господин Д., симпатичный молодой человек, действительно восторженно похвалил мои работы. Я принял похвалы как должное... не заметил, что это было лишь вежливое, но твердое НЕТ. Нет — дальнейшему сотрудничеству, нет — выставке, нет — деньгам.

Заметил я это только когда выходил из его роскошного кабинета, на стене которого висели работы Энди Уорхола, этого успешного профанатора, так нагло использовавшего невероятную дурость публики и алчность маршанов... которого, может быть именно из-за моего фиаско в Кёльне, я возненавидел позже лютой ненавистью. Он воплощал для меня самую разрушительную тенденцию современного искусства, приведшую к его самоуничтожению — стремление угодить тупой обывательской массе. Сейчас я отношусь и к нему и к другим мусорщикам от искусства вроде Йозефа Бойса более терпимо. Каждый живет и рисует, как умеет.

Да... после того, как я вышел из музея на улицу... мне оставалось только пойти на мост и броситься в Рейн. Очень хотелось так и поступить. Но я знал — я выплыву. И все мои проблемы догонят меня как гончие псы — дичь.

Поэтому я на мост не пошел, а решил еще раз попытать счастье — в кёльнских коммерческих галереях, длинный список которых мне подарил на память господин Д.

Не буду описывать это долгое пешее путешествие по Кёльну с картой в руках. Всего я посетил тогда галерей двадцать пять. Обычно мне просто не открывали, услышав мой ломаный немецкий и мою русскую фамилию. Иногда открывали и вежливо объясняли, что не разговаривают с художниками «с улицы». Некоторые галерейщики даже пытались мне внушить, что «время русского искусства прошло», а мне лучше заняться чем-нибудь разумным, например, попытаться устроиться таксистом. Мою папку не открыл никто. До этого дело не дошло.

Один галерейщик, последний, папку все-таки открыл. Точнее, это была пара маршанов — муж и жена, господин Бенедикт и госпожа Гизела. Так мне запомнились их имена.

Эти люди пригласили меня в свою галерею, находящуюся на первом этаже современной виллы в голландском стиле, составленной из разноцветных бетонных кубиков, и провели по собранию живописи и пластики. Я был поражен количеством и качеством картин и скульптур русского авангарда. Имена сверкали сильнее красок: Малевич, Кандинский, Татлин, Лисицкий, Ларионов...

Чем-то эти люди сразу напомнили мне дядю Мишу и тетю Лиду. У госпожи Гизелы на пальцах было не меньше золотых колец, чем когда-то у тети Лиды, и разрез на ее шикарном платье напоминал тот разрез и то, что из него тогда выглядывало, а вальяжный господин Бенедикт носил дома такие же шорты и пеструю свободную рубашку, как дядя Миша «у восьми озер», был бос... и его глаза были тоже похожи на влажные сливы...

Я был склонен тогда к мистическим параллелям и решил, что это именно они и есть — Миша и Лида... реинкарнация или что-то в этом роде, если бы не знал наверно, что дядя Миша уже лет пять как в могиле, а одинокая старушка тетя Лида доживает свой век в ленинградском доме для престарелых литераторов.

И я не удивился, когда после просмотра моей папочки... с жидкими комплиментами и похлопыванием по плечу... господин Бенедикт предложил мне выпить абсента. Из точно такой же изумрудной бутылочки.

...

После абсента я не галлюцинировал... мне было хорошо. Проклятый кельнский день, полный унижений, наконец кончился. Я общаюсь с настоящими знатоками русского искусства! Пью абсент...

Я и представить себе не мог, чем кончится наступивший вечер.

Мы сидели втроем за столом, господин Бенедикт курил сигару, госпожа Гизела — изящную серебряную трубочку, а я вертел в руках два нежно позванивающих металлических шарика фэн-шуй... Госпожа Гизела, кокетливо посматривая на меня, отобрала у меня шарики и показала, как надо их вращать в руке.

Господин Бенедикт разглагольствовал о ситуации на рынке искусства. Понимал я только треть сказанного им. Мой немецкий не вышел еще из зачаточной стадии.

— Вы, господин Ш., слегка опоздали. Два года назад в Лондоне работы советских нонконформистов покупали по несколько тысяч фунтов за штуку. Кое с кем заключили многолетний договор. А теперь волна прошла, мода на русских сменилась разочарованием. Потому что влиятельные американские торговцы, которые правят у нас бал, в искусстве действительно не понимают и ч е г о — решили этот русский проект прикрыть. И сделали так, что в вас стало невыгодно инвестировать. А это — смертный приговор. Да-с. Мне нравятся ваши работы, хотя они... как бы это сказать... элитарные. А сейчас это не в ходу. Нужно, чтобы каждый болван понимал, что нарисовано и для чего. И побрутальнее. Предмет. Цвет. Фигура. Такое покупают. А вы — перемудрили. А это сейчас выглядит старомодным. А ваш апломб, право, только смех вызывает. Небесный Иерусалим... кому он нужен, когда в настоящий Иерусалим каждый поехать может? Но вы не расстраивайтесь. У меня есть одно предложение... Как вам у нас, нравится? У нас еще и бассейн есть... в подвале. Хотите прямо сейчас искупаться? Мы будем рады, если вы нам составите компанию. Поплаваем, побрызгаемся, побудем детьми... Потом поужинаем и поговорим всерьез. А перед этим еще рюмочку абсента. Я пью его без воды и без сахара. Божественный напиток.

Не знаю, что со мной произошло, но я согласился на совместное купание. Хотя и понимал, что это глупо и может кончиться позитивным тестом на СПИД.

Меня заинтриговали слова господина Бенедикта о «предложении и серьезном разговоре».

Пошли в подвал.

По дороге, на лестнице я вдруг почувствовал, что второй бокал абсента может не остаться без последствий. Меня пошатывало, поташнивало... и совсем не понятно почему, захотелось ударить господина Бенедикта по затылку большой никелированной фигурой рыбака с круглой дыркой вместо сердца.

«У вас у всех дырки вместо сердца — думал я. — Рыбаки засранные... Я тебе покажу “апломб”. В морге будешь проповеди русским художникам читать, сволочь...»

Приступ злобы, однако, прошел еще до того, как я увидел волнующуюся голубую водичку в бассейне.

Рядом с бассейном можно было принять душ, вода стекала в дырку в теплом кафельном полу. Я разделся, почему-то не стесняясь чужих людей, встал под душ, прополоскал рот, намылился душистым мылом...

Ко мне подошла госпожа Гизела и стала тереть меня мягкой трехцветной мочалкой. Я воспринял это как должное. Половые органы она мыла мне рукой. Быстро добилась эрекции... а потом, весело хохоча прыгнула в бассейн. Брызги образовали на мгновение вокруг ее фигуры огромную корону.

Господин Бенедикт плыл брассом... фыркал и шумно дышал... его правильно поставленная улыбка источала достоинство и доброжелательность.

...

Поплавали. Побрызгались. Почувствовали себя детьми.

Под водой госпожа Гизела тихонько ласкала меня, а я отвечал ей тем же.

Вышли из воды. Господин Бенедикт подал мне шелковый халат с дракончиками и помпончиками.

Ужинали на верхней застекленной веранде, уставленной кадками с неизвестными мне растениями. Ели норвежских омаров под каким-то соусом, пили легкое вино.

После ужина у меня состоялся «серьезный разговор» с господином Бенедиктом.

Госпожа Гизела деликатно молчала, только незаметно для мужа делала мне глазки и иногда как бы случайно распахивала свой умопомрачительный халатик. Под ним было только полупрозрачное черное белье сеточкой. Я возбуждался и нервничал.

Говорил собственно только господин Бенедикт.

Прежде чем я его тут процитирую, хочу спросить кое о чем читателя. Знаете ли вы, что самое трудное для эмигранта, плохо владеющего языком своей новой родины?

Уметь различать «серьезную» и «не серьезную» речь. Почувствовать, где правда, а где ирония, юмор, сарказм. Это и на родном-то языке не всегда легко, а на чужом — невозможно. Почему я спрашиваю?

Потому что то́, что сказал мне тогда господин Бенедикт, вовсе не было «серьезным разговором». И его «предложение» не было «серьезным предложением», а было скотским притворством, враньем, издевательством, ловушкой для высокопарного самовлюбленного дурака, для меня. И в этот капкан я всунул своё эго, свой уд и голову.

— Дорогой господин Ш., ваше искусство меня убедило... Я хочу заключить с вами коммерческое соглашение на год. Не буду бросать слова на ветер. У меня есть готовый бланк договора, остается только вписать в него ваше имя и подписать. Вот он. Но прежде чем это сделать, объясню вам кратко ваши обязанности. Вы должны будете прожить весь год, начиная с завтрашнего дня, у нас в галерее. Вам предоставляется оплачиваемый двухнедельный отпуск. Но только после того, как вы отработаете у нас, по крайней мере, шесть месяцев. Рабочий день ваш — с десяти утра до шести вечера. Главная обязанность — рисовать и помогать нам в галерее. Убирать и чистить будет прислуга, вам придется подменять нас во время отпуска, разговаривать с покупателями, помогать нам развешивать картины для новой экспозиции. Кроме того, вы обязаны предоставлять нам для продажи не менее восьми цветных рисунков размером не меньше А4 в месяц. Авторское право на эти изображения останется у вас, сами работы станут собственностью галереи. Я оставляю за собой право рекомендовать вам стиль, материал, технику и цветовую гамму ваших рисунков. Мы предоставляем вам для жилья отдельную комнату на третьем этаже виллы со всеми удобствами, даже с небольшой встроенной кухней. Рисовать вы можете в большом зале галереи. Материалы, краски, холсты предоставим вам мы. Кроме того, мы будем платить вам по две тысячи марок в месяц и оплатим все необходимые страховки. За каждый проданный рисунок вы будете получать премию в размере десяти процентов от продажной цены. Хочу еще заметить, что я не слепой и видел, как моя жена весьма фривольно заигрывала с вами, и вы на это отвеча-

ли так, как ответил бы любой другой на вашем месте. Заявляю вам официально, что и я и моя жена являемся свободными людьми и вольны делать в интимной сфере то, что каждому из нас приятно. Поэтому не стесняйтесь.

...

Разумеется, я подписал такой договор. И намотал на ус последнее поучение.

Мне показали мою комнату. Я остался ею доволен. Мне пожелали спокойной ночи и оставили меня в покое.

Я сел в кресло у окна и стал смотреть на ночной Кёльн. Видел хорошо освещенный собор, несколько высоких зданий, телебашню, какие-то трубы на горизонте, из которых валил пар.

Я не знал, что думать, что чувствовать.

Радоваться? Да. Но все это — и вилла, и бассейн, и галерея, и госпожа Гизела с ее ласками, и странный господин Бенедикт, и предстоящий год труда, и договор — казалось мне чем-то вроде бутафории. Какой-то игрой.

Да... может быть, и игра. Но договор — вот он. На пре-красной бумаге. И подписи, и цифра прописью...

К сожалению, все это и было игрой. Жестокой игрой богачей с бедняком. И договор наш был филькиной грамотой. Если бы я хотя бы удосуужился тогда прочесть то, что подписываю... Но я доверял немцам.

Влез под атласное одеяло и задремал.

...

Но не заснул. Слишком был взволнован.

Через какое-то время дверь открылась и в комнату вошла женщина.

— Госпожа Гизела?

— Да, милый. Я пришла к тебе, чтобы провести с тобой ночь. Я принесла еще две рюмки абсента. Выпьешь?

Голос ее звучал как-то странно. Охрипла?

Мы выпили, я отвернул одеяло, и она нырнула ко мне... обняла меня крепко, схватила меня за член и засунула свой язык мне в рот... жадно целовала мне грудь и живот... взяла член в рот, массируя яички сильной рукой.

Я к таким энергичным ласкам готов не был и кончил через минуту.

И тут... в комнату вошел еще кто-то и зажег свет.

Это была госпожа Гизела!

А у меня в ногах сидел... скорчившись от гомерического хохота, господин Бенедикт... с моей спермой на напомаженных губах, в парике, в специальном бюстгальтере с накладными поролоновыми грудями, в шелковом халатике и женском белье.

Госпожа Гизела тоже начала смеяться. А потом вдруг закашлялась, надулась, как пузырь... и лопнула, оставив после себя только белые ошметки.

А господин Бенедикт начал танцевать джигу и прошелся вихрем по комнате и по потолку. Подлетел ко мне и заорал прямо в лицо, бешено вращая своими глазами-сливами: «Убирайся! Убирайся отсюда, кретин! Вызываю полицию».

Я схватил свою одежду и обувь и, пролетев молнией четыре пролета лестницы и опрокинув стоящие на ней металлические скульптуры, которые с грохотом упали и разлетелись на куски, выбежал на улицу.

Папку в суматохе забыл.

Когда я одевался, на третьем этажевиллы кто-то открыл окно и швырнул из него мне под ноги мою папку с рисунками. Я услышал смех и ругательства...

Рисунки вылетели от удара об асфальт из папки, как ласточки из норы на обрыве. Проезжающий в этот момент мимо меня красненький Opel Omega порвал часть рисунков, поволок их с собой. По оставшимся проехал тяжелый старый Мерседес и замазал их грязью...

Я сидел на тротуаре и смотрел, как машины уничтожают мой Небесный Иерусалим. Мою мечту.

Кажется, в эту горькую минуту я и понял, что такое на самом деле современное искусство.

### *Невыполненное обещание*

Третья похожая история случилась со мной позавчера.

Позавчера!

Из-за нее я и первые две истории вспомнил и записал. Сидя тут, в камере.



Да... Шатает меня, носит черт знает где, видите, в прошлое бросило... потому что будущего у меня больше нет... четыре стены вокруг, окно с решеткой... а кому прошлое интересно, да еще и чужое?

Третья история будет еще круче первых двух. Обещаю. И закончится весьма и весьма кроваво, так что если у вас нервишки... того... то лучше про животных что-нибудь посмотрите по телевизору. Про животных? Сказанул. Вот уж где кровяшка как вода льется... ад без конца... беспредельщина и каннибализм. Природа.

Неделю назад я получил по почте письмо, от поклонницы. Цитирую письмо по памяти (оригинал забрали полицейские):

Дорогой Ш., мой муж и я — верные поклонники вашей прозы. Давно мечтаем познакомиться с вами. Приглашаем вас к себе на ужин. Меню — жульен из шампиньонов и черепашьего мяса, жаркое из косули, тирамису с клубникой. Из питья — швейцарский абсент «Ангелик» с мадонной на этикетке, приготовленный по оригинальной технологии.

Посидим, поедим, поболтаем. Если у вас будет желание, расскажете нам что-либо о вашем творчестве, а мы познакомим вас с нашим особенным хобби. Хи-хи.

Будем ждать вас в воскресенье, начиная с шести вечера, в Шарлоттенбурге, на улице такой-то, в доме номер... Вход в подъезд — со двора. Лифт, третий этаж, квартира справа, там, где пальма и зеркало.

Приходите! Ждем!

Ли и Эд М.

...

Ехать в Шарлоттенбург мне, естественно, не хотелось. Отъездился я уже. Новых людей не хочу видеть, так же, как давно уже не хочу читать новые книги. Ну разве что моих знакомых писателей иной раз по диагонали почитаю — для того, чтобы было о чем говорить при встрече...

Верные поклонники моей прозы? Что-то не верится. Мазохисты? И это самое «хи-хи» меня озадачило. Может, психованная какая тетка? Писатели — как магниты железный мусор — притягивают к себе всяческих психопатов. И гнойных графоманов и великих прожектеров, революционеров, мечтателей и просто дураков. Рыбак рыбака...

И ее жульен с тирамису мне есть не хотелось, может и гастрит разыграться, буду мучиться потом целый год... из-за вкусной жратвы... обидно и несправедливо, другие вон как жрут... а я хоть и толстяк, а горло тонкое, как у аиста.

И упоминание об абсенте меня озадачило. Неспроста она его упомянула! Или у нее потрясающая интуиция или она что-то где-то обо мне вынюхала, и ей чего-то от меня надо... Хм... Что?

И это «особенное хобби» тоже как-то странно прозвучало в письме. Что она имеет в виду? На живца ловит?

Меня? Старика... почти без средств?

Что ей все-таки от меня надо? Душу что ли вынуть хочет и дьяволу продать? Так ведь давно продана, как и у всех у нас, бывших советских. Да... дилемма. Жаркое из косули — это звучит гордо. Последний раз ел на общем собрании товарищества художников «Латерне». Вкуснятина. Но тогда косулю эту Холькер сам в лесу пристрелил, бедняжку, свеживал... а затем сам и приготовил, в красном уксусе три дня отмачивал, обжарил и пять часов в духовке запекал... все, как полагается... мастер... паучий король. Вся квартира в аквариумах с пауками. А жены нет. Убежала от пауков.

Решил поехать в Шарлоттенбург. Если что не так... вильну хвостиком и слиняю.

Поехал.

Уже в с-бане начались знамения. Недобрые.

Собачка на меня вдруг залаяла. Не злая. Шпиц. Просто зашла в лае. Хотела укусить, но ее хозяйка оттащила. Чем я ее разозлил? Сидел себе мирно за два ряда от нее. Вот же скверная псина! Что-то она почувствовала. Излучение какое что ли? Неужели просто от мыслей голова начинает что-то такое излучать? Я ведь тогда об этом самом «особенном хобби» моих приглашателей подумал. И об этом гаденьком «хи-хи». Занесла меня фантазия далеко-далеко...

Что же это, даже подумать о таком нельзя? Начнешь излучать какой-нибудь ультрафиолет и псы на тебя накинутся как на зомби... а потом и люди.

А когда выходил из с-бана на остановке Шарлоттенбург ко мне нищий привязался. Молодой такой паренек. Худой как скелет, шея синяя, лицо как у птицы...

Глазенками сверкает, пальцами цепляется за мою куртку, кричит что-то. Я достал монетку — два евро, с портретом Данте, подал ему. Он монетку схватил... я заметил, что он ужасно на Данте этого похож, только грязен.

Я от него убежал. Мало ли что. Нищий догонять меня не стал, но прокричал несколько раз истошным голосом: «Не ходи туда!»

И пальцем своим костлявым показал как раз туда, куда мне идти надо было. А потом подбежал к другому прохожему и вцепился в него...

А когда я у входа звонил, чтобы дверь открыли, увидел над фасадом лепное украшение, вроде горгульи... голову оленя с рогами и с высунутым языком...

И сразу же догадался, что сейчас произойдет. Так и вышло — голова ожила, язык ее покраснел, глаза заморгали, а рога немного выросли. Гипсовый олень противно улыбнулся и кивнул. Так кивают старому знакомому. Или долгожданному гостю.

Опять занесло меня в фильм категории Б. Судьба.

Ну что же, посмотрим, что на этот раз придумали сценаристы. Развязать все узелки в конце будет трудно. А разрубить их топором у них не хватит мужества. Придется переключивать с больной головы на здоровую... или наоборот. Вручать топор персонажу.

Я поднялся на лифте на третий этаж и позвонил в дверь рядом с искусственной пальмой и треснувшим зеркалом в богатых бронзовых рамах.

...

Мне открыла седая женщина лет шестидесяти в простом открытом платье, не прикрывающем колен. Лицо ее показалось мне грубоватым. Прекрасно, впрочем, сохранилась дамочка. Зубы отбелены. Кожа ухожена. Сексапильная вполне.

Где-то в глубине коридора замаячил ее муж, неловко изображая своим приталенным торсом и узкими плечами смущение и гостеприимство...

Эд был лысоват. Горбонос. Худ. Под темной жилеткой — белая неглаженная рубашка. Брюки были, пожалуй, слишком широки для его худых бедер. Остроносые темные ботинки.

Эд курил сигарету и смотрел себе под ноги.

— Как же я рада! — воскликнула Ли.

— Как мы рады, — пробасил Эд и затанулся.

— Очень, очень приятно, — выдавил я, хотя в душе уже проклинал себя за то, что сюда притащился. Но приятный запах жаркого примирил меня с жизнью, и я даже смог изобразить на лице что-то похожее на приветливость.

Мы с Ли сухо расцеловались. Эд несколько раз поклонился на бок.

Прошли в гостиную.

Эта большая, метров сорок квадратных, комната поразила меня своей простотой, пустотой.

Два темно-синих кресла. Несколько стульев. Квадратный стол. На столе четыре тарелки с приборами, рюмки и зеленая бутылка. Два больших, зашторенных охряным полотном окна. На стене — зеркало. Под ним комод. На комод — графин с водой. Пол заляпан краской. Большой старомодный мольберт в углу. Несколько больших картин, прислоненных к стене лицевыми сторонами.

Видимо прочитав мои мысли, Ли сказала: «Эту комнату мы используем как мастерскую. И Эд и я — художники. Это наше хобби. Но наши картины мы вам показывать боимся. Начнете еще критиковать...»

Ага. Вот хобби и разъяснилось, работают, работают, а по уик-эндам немножечко малюют... а меня куда в с-бане занесло... мурашки по коже.

Вечер, наверное, будет смертельно скучный.

— Ну почему же, я ведь не житомирский податный инспектор... Чего меня бояться?

— Bravo! Это из Булгакова.

Тут только до меня наконец дошло, что она говорит со мной на выученном русском, правильно, но как-то безжизненно.

— Мы слависты. Живем в Бостоне. У нас годовой отпуск. Путешествуем по Европе. Были в России, Польше и Чехии. Уже три месяца в Берлине. Тут полно русских и поляков. Мы читали ваши книги. Очень интересно пишете, живо!

— Преподаете?

— Да, и преподаем. Я преподаю русский, польский и чешский. А Эд недавно прочитал годовой курс «Нарративный дискурс Набокова и Хоппер».

— Понимаю. Хоппер? Деннис? Фотограф из Апокалипсиса? Нет, конечно, Эдвард... да-да... Девушка на лугу. Этот тип, и его модели, и интерьеры, и маяки, и сама Америка — так одиноки и меланхоличны, непонятно, зачем они, собственно, нужны... ошибка человечества, как сказал Фрейд... и нарцисс Набоков понимает это, но, как эмигрант, не может позволить себе так показывать новую родину, не может ни на один процент стать маргиналом, он всегда должен быть совершенством, магом, гроссмейстером, поэтому он маскирует свою глубокую меланхолию и свое американское одиночество бабочками, шахматной доской и лолитками, которых по-видимому сам терпеть не мог, до того холодно он описывает горячий секс с ними... нашпиговывает свою прозу ледяными загадками... как баранину изюмом.

— Браво, браво! Очень, очень интересно. Только у Эда другой концепт.

Тут в нашу беседу вмешался Эд. Он жестами пригласил меня сесть за стол и что-то быстро сказал Ли по-английски. И одарил меня растерянной улыбкой. Ли убежала.

Судя по запаху, жаркое подгорело. Из кухни послышалось хлопотливое оханье Ли.

...

Вместо того чтобы сесть, я подошел к картинам, поднял одну из них и повернул изображением к себе. Почувствовал спиной и услышал, как дернулся и закричал Эд.

Не сразу понял, что собственно на ней изображено. А когда понял, то пристально посмотрел Эду в глаза. Я не был возмущен... я не ханжа... и мои сексуальные фантазии всегда убегали далеко от мира так называемых порядочных людей... мне было лишь интересно, фантазия это или реальность...

Но Эд был непроницаем.

На картине была довольно точно изображена та самая комната, в которой мы находились, ничего не было забыто, даже графин с водой на комодке стоял...

На одном темно-синем кресле развалился Эд, в той же одежде, что и сейчас... а на коленях у него сидел худенький мальчик-негритенок, обняв его длинными бедрами и руками, доверчиво положив курчавую головку ему на грудь. Его толстые губы вытянулись и как бы хотели поцеловать пуговицу жилетки.

На другом кресле сидела старушка Ли в знакомом платье и внимательно смотрела на Эда и мальчика. Правая рука ее была под платьем.

Вот так слависты! Славное хобби!

Эд вздохнул, закурил сигарету и подошел к открытому настежь окну, из которого было видно набережную Шпрее и парк за ней. По парку бегали турецкие дети, шныряли собаки и туристы, важно прогуливались зажиточные бюргеры.

— Какая идиллия, — сказал Эд, махнув рукой в сторону парка.

— Овечки бегают, не замечая того, что на них смотрит волк.

— Дорогой господин Ш., мы с Ли действительно прочитали ваши рассказы. Так что не надо тут строить из себя праведника. И вы, и я прекрасно знаем, кто тут на самом деле волк. Вы можете сколько угодно дурачить вашу русскую публику, но меня вам не обмануть. Я знаю, что вы законченный, бесстыжий и наглый развратник. И то, что вы предаетесь вашим порокам в тексте, а не в реальности, да еще и под различными личинами, доказывает то, что вы еще и трус.

— Так поступает любой писатель... в этом единственный смысл творчества.

— Вы редкостный циник, господин Ш., все ваши тексты — изощренное издевательство над публикой, которую вы втягиваете в ваш ужасный мир, состоящий из отчаяния и порока. Поэтому вы нас и заинтересовали.

— Рыбак рыбака? Знаем. Все эти инфантильные слова — «развратник», «циник» — не имеют для меня никакого смысла... Оставьте это сотрясение воздуха неофитам. Кстати, а мальчик-то где? В соседней комнате? Или уже в могиле? Полицию когда вызывать будем?

— Мальчик? Какой такой мальчик? Вы видите на этой картине мальчика? И кого еще? Хотите вызывать полицию из-за этой картины? А почему не из-за ваших рассказов? Напомнить каких?

— Не придуривайтесь, Эд. Вы зачем меня сюда позвали? Для шантажа? Или опытом поделиться хотите?

Эд не успел ответить, в комнату вошла Ли с блюдом жаркого, бросила украдкой взгляд на картину, вспыхнула, но сдержала себя, ничего не сказала, поставило блюдо на стол и убежала в кухню. Принесла минеральную воду, хлеб, тушеную красную капусту, клюквенный соус и обещанный в письме жульен. Пир на весь мир!

Мы с Эдом сели напротив друг друга, Ли — по правую руку от меня. Я спросил Ли подчеркнуто незаинтересованно: «А кому предназначен четвертый прибор?»

Ли не ответила... бросила беспомощный взгляд на мужа. Эд недобро сверкнул глазом и заиграл желваками.

— Что, Гоша... ведь так вас звали в детстве? Почуяли запах крови? Погодите, имейте терпение, все разъяснится в свое время. Мы еще абсент не пили. Вы кстати, других картин не видели, они, возможно, заинтересуют вас больше этой... кхе-кхе... девушки перед окном. Может быть, вы все-таки расскажете нам, что вы видите на этой картине. В подробностях. Это очень интересно...

Что это он за бред несет? Он что, что-то другое видит на картине? Никогда не верил в подобную мистическую чепуху. Хотя для Б-фильма самый раз. Как в «Пасти безумия». Не хватает только этого мордоворота Ктулху с осьминожьими щупальцами, растущими из пасти. Какой вздор!

...

Ели мы молча.

От десерта и кофе я отказался. Чувствовал, что предстоит жестокий поединок, не хотел перегружать себя.

После еды Ли убрала со стола все, кроме рюмок и бутылки абсента.

Явился сахар, специальные ложки и ледяная вода из холодильника.

Эдпил абсент, просто смешав его с водой. Ли, как и положено, цедила воду сквозь сахар. Я выпил грамм пятьдесят чистого.

Тут же закружилась голова. Затошнило.

Реальность как бы освободила меня от своего гнета, раздвинула свинцовые тиски. Захотелось взлететь и выпорхнуть через открытое окно на улицу, полетать над парком и рекой. Я бодро встал и повернул следующую картину... впился в нее глазами.

Эд и Ли тоже посмотрели на полотно... покачивали головами... хмыкали... добродушно улыбались. Очевидно, они не видели на нем ни жутких сцен сексуального насилия над детьми, ни пыток, ни казней.

Неужели Эд прав, и в моих рассказах я...

Или во всем виноват этот ужасный напиток?



## БАГРОВАЯ ПОЛОСА

Эту историю мне рассказал невзрачный, худенький, белобрысый старичок с смешной челкой... из русских немцев, с которым я познакомился в местном бассейне. Лет десять назад это было. Написал тогда, под впечатлением от его откровений, с полстранички текста... что-то вроде заготовки рассказа, «по мотивам», а потом листочек куда-то сунул. В книгу. У меня нет архива — ни бумажного, ни виртуального. Выбрасываю все, зачем копить мусор?

А сегодня... решил свою запись найти и, представьте, нашел... в «Разоблаченной Изиде» Блаватской. Зачем я эту старую запись искал? Вы будете смеяться. Вчера фильм посмотрел. Про ведьм. Напомнил мне фильм историю этого казахского немца. Захотелось кое-что проверить. Сравнить.

Изида... в Экибастузе. Бывают странные сближенья.

...

Не в хлорированной фиолетовой воде, и не в душе познакомился я с старичком, а в бассейновом кафе... после купания. Размялся слегка, поплавал... душа перестала болеть... захотелось пить и есть, решил съесть венскую сосиску и выпить безалкогольного пива.

Попросил разрешения сесть за его столик, остальные места были заняты наплававшими до изнеможения пенсионерами-аборигенами. Он кивнул.

Почему я подсел к нему? Потому что узнал в нем выходца из бывшего СССР.

Мы, бывшие совки, сразу друг друга узнаем. Как? По выражению лица. И по фигуре. И по одежде. В лицах бывших граждан СССР, и в их фигурах, и даже в шмотках всегда есть какая-то потерянность... ущербность... тоска, вырожденные или уродство, часто закамуфлированные наглостью, безвкусицей, тупым нахрапом.

Мой сосед по столику наглым не был. Одет был скромно. Хороший был видимо человек. От сохи. Трудяга. В СССР — безнадежный провинциал, в Германии — житель столицы. Но не дебилный, как многие другие... скорее занятый. И с сюрпризом. Впрочем, у кого нет сюрпризов в биографии? Только у того, кто их тщательно скрывает.

Не сговариваясь, чокнулись пивом в пластиковых стаканчиках... выпили. Тут он подмигнул мне заговорщицки и достал из кармана брюк маленькую бутылочку с синенькой этикеткой. Шнапс. Жестом предложил подлить в пиво. Объяснять мне ему ничего не хотелось. Я мигнул в ответ, взял у него бутылочку и капнул в свой стаканчик... капельку или две... показал на живот. Скорчил кислую мину. Больше, мол не могу. Он кивнул понимающе и вылил остаток себе в пиво. Заговорил со мной по-русски с ужасным казахским акцентом, воспроизвести который я не в состоянии.

Мы представились, звали моего нового знакомого — Витя... перешли на «ты», немного позлословили, как это принято у стариков... Собеседник мой ходил еще за одним стаканчиком пива. Достал еще одну бутылочку. И еще одну. Запасливый.

Через полчаса пошли к остановке трамвая. Медленно. Я похрамывал, Витя слегка покачивался. Ехать нам нужно было в разные стороны. Вите — в Марцан, а мне — в Кёпенник, где я тогда жил со своей подругой.

Недалеко от остановки наткнулись на женщину. Старую, уродливую, то ли пьяную, то ли нанюхавшуюся чего-то. Она, неловко шатаясь, танцевала сама с собой на тротуаре. Пела и гадко гримасничала. Когда мы проходили мимо, женщина пристально на нас посмотрела, а потом несколько раз смачно плюнула в нашу сторону и пролаяла что-то. Обругала «понаехавших отовсюду проклятых иностранцев». Немцы из бывшей ГДР тоже мгновенно узнают нашего брата, совчела... не даром прожили почти полвека под советским сапогом... они терпеть не могут «аусзидлеров», переселенцев из бывшего СССР, таких как мой новый знакомый, их агрессивных детей и их лузгающих семечки русских жен, а таких как я, «контингентных беженцев» и вообще... загнали бы в газовую камеру, будь на то их воля. Не любят они и за-

падных немцев. Конечно не все бывшие гэдээровцы нас ненавидят. Может, только половина или треть... я статистики не знаю... но достаточно. На себе испытал.

Смехота! А западные немцы считают жителей «новых земель» людьми второго сорта. Говорят, с них нечего взять, кроме анализа.

Мерзко все это, но что поделаешь? Пожили и восточные и западные немцы восемьдесят лет без войны... разучились ценить мир и спокойствие... уважать других людей. А тут еще мусульмане понаехали... Началась плохо контролируемая властями эмиграция с Ближнего Востока. Германия потихоньку превращается в восточный базар. Вот коренные народы Европы и расползлись по национальным конюшням. Тянутся к корням... а они давно сгнили. Экстремисты сеют ненависть. Скоро урожай начнут собирать. Недаром сейчас столько фильмов про зомби показывают. Чувствуют будущее киношники.

Я сказал своему новому знакомому: «Вот же ведьма! И по морде ее нельзя треснуть — срок могут дать».

Витя захихикал, поморгал, погладил челку... задумался... потом осмотрелся и предложил: «Вон, там, где шиповник, лавочка в тени, пойдем, сядем, в ногах правды нет, и я расскажу тебе про настоящую ведьму. На помеле она летать не могла, но... Про тещу мою покойную. Ты, писатель, вставь ее, паскуду, в роман. Обморочила по полной».

Я согласился. Хотя терпеть не могу пьяных излиятий бывших соотечественников. Рассказ о теще... что может быть банальнее? Я бы тоже мог много чего порассказать, да кому это нужно? Но домой не хотелось ехать... жара... на улице хоть дышалось легко, а дома — духота. Окна наши на солнечной стороне. В январе хорошо, светло, а летом — подохнуть можно. Привожу тут рассказ Вити как я его запомнил.

\* \* \*

Ты смотрел на мир из окна своего московского кооператива, а я — из барака в рабочем поселке на окраине Экибастуза. Разницу чувствуешь? Родился я еще при жизни Усатого. В спецпоселении. Школа, техникум, армия... В армии нас

не трогали, уважали. Называли фашистами. После армии — работа. Солярка, машинное масло, железяки, резина... запарка вечная... нервотрепка... травмы.

В свое удовольствие пожить мне на родине так и не пришлось. Колючая там была жизнь, ядовитая... И злая. Зато тут раздолье... только сколько оно еще продлится, раздолье-то.

В семидесятых я на разрезе работал. Бульдозера чинил. Зарабатывал неплохо. Пил, конечно. Как все. Потом влюбился и пить перестал. В Натку. Учительницей работала. Русского языка и литературы. Умница. Скромная такая. И застенчивая. Но с характером. Сделал предложение. Женился. Жила Натка в рабочем общежитии — потому что с мамашей своей, Таисией Петровной, вдовой бывшего директора разреза, не ладила. Работала Таисия Петровна на полставки бухгалтером...

Ну, поженились мы, а жить-то негде. В рабочем общежитии — срач. В родительском бараке — один туалет на срок человек. Алкаши, уркаганы и синюхи. Хотели комнату снимать. Но Таисия настояла на том, чтобы мы у нее поселились. После смерти мужа Таисию с дочкой из их трехкомнатной квартиры выперли. Дали двухкомнатную. С проходной комнатой, большой кухней и балконом.

Не могу без моей лебедушки... милые дети, я вас буду холить-лелеять, как у Христа за пазухой жить будете... Все брехала, ведьмачка.

Натка согласилась, а я... Что я был такое? Пацан.

Таисия спала в большой проходной комнате, а мы ютились в крохотной спальне, в которой только кровать да небольшой шкафчик помещались. Но мы и тому были несказанно рады. Своя комната! Хоть и рядом с тещей.

Отношения мои с тещей были нормальными. Не сердечными, но так... вроде все путем. Я помогал в хозяйстве. Если что принести, починить... Отдавал зарплату жене. Не пил. Не курил. Зубы три раза в день чистил зубным порошком. Руки только не мог отмыть... Но ногти стриг регулярно. Старался быть приветливым. А теща мне глазки строила, по плечу похлопывала, хвалила меня, когда гости приходили. У меня зятек — лучше всех! Без пяти минут начальник участка. Тоже врал.

И готовила вкусно. Не старая была еще баба. Лет сорока пяти. Полненькая. В самом соку.

Жили бы и не тужили, если бы не одна, как теперь говорят, — загогулина. Трудно мне об этом рассказывать, но мы с тобой не дети... скоро в могилу, чего стесняться-то. Милая моя была невинная девушка, а я — неопытный молодой дурак. Короче, в постели... ничего у меня не получалось. Не мог я сделать жену женщиной. Позорище.

Начинаю член вводить, и все вроде не туда... ей больно... невтерпеж.

Я горячий был и нетерпеливый... думал, я муж плохой, не могу жену возбудить, чтобы она там мышцы не сжимала как десятитонный пресс.

Натка в крик. Теща в дверь стучится. Наташенька, что с тобой?

А жена — в слезы.

Раз двадцать так было, я отчаялся...

Консультировался в урологии, с главврачом беседовал. Описал ему все. Он меня осмотрел. Сказал, такое бывает и иногда влечет за собой трагические последствия. Если поторопиться, значит, и дырку силой пробить... женщина может от кровотечения умереть. Бывали случаи. Запугал меня. Я решил Наташку не трогать.

А как же жить? Зачем женился?

Расписались мы в июне. А в июле Наташку в командировку послали. В Целиноград. На курсы повышения квалификации. В понедельник уехала. На две недели. А я стало быть один на один с тещей остался.

Первые дни все было как всегда. Я приходил с работы, принимал душ, Таисия меня кормила. Я смотрел телевизор, и в спальню уходил.

А в четверг... пришел я с работы поздно, усталый, злой, голодный. Думал теща уже спит, ан нет... ждет меня. Какая-то возбужденная. Щеки красные... вся лоснится и сверкает как яблочко. Покормила меня голубцами... рюмку налила белой... включила телевизор. Что-то веселое показывали, КВН что ли... нет, не КВН. Запретили уже. Забыл, что. А сама мыться ушла. Я сижу на диване, смотрю одним глазом телек, а другим сплю. Долго мылась теща. Вышла наконец из ван-

ной комнаты. В халате, на босу ногу. Волосы кудрявые распустила. Грудь — гора. Губы — как гранаты. Ресницы черные, а тени над глазами — синие. В общем, в полной боевой готовности баба. Сфинкс. Только на холеной полной шее — полоса багровая...

Села рядом со мной на диван. Улыбнулась... засмеялась... звонко так. Ресницами хлопнула. Посмотрела на меня как рысь.

А затем... халат расстегнула. Верхние пуговицы. И встряхнулась как молодая кобылица. Правая грудь ее вылезла из халата.

Я увидел розовый сосок правильной формы. Как-будто мастер выточил на токарном станке. А на конце соска — сверкнула капелька... молока или меда. И так меня к нему потянуло, что я... даром что стеснительный... положил голову теще на колени, схватил сосок жадными горячими губами и давай сосать. Она меня не оттолкнула. Набрался храбрости, вынул из халата и другую ее грудь и начал мять.

А через несколько минут я лежал на Таисии. В нашей с Наташкой супружеской постели.

Изъезженная была кобылка. Масляная. Муж-начальник постарался или кто ему помог, не знаю. Кончил я скоро. Но не остановился, а пошел по второму кругу. Безумствовал просто на бабе и ревел как носорог. Все сладкие радости, которые я с Наташкой не смог получить, все, все получил сполна. Заснули под утро. Таисия Петровна рядом со мной спала... тихо... как кошечка уютная.

В пятницу я на работу не пошел.

Три дня мы из постели не вылезали. В понедельник поехал на разрез. Возился с тормозами... а думал только о теще, о ее грудях, плечах и курчавых волосиках на лобке. О Наташке вообще забыл. Забыл о том, что женат.

Тело мое радовалось, сердце — как будто в солнечных лучах купалось. Обезумел вконец. Обворожила, ведьма. Вконец обворожила.

В следующую субботу Наташка из командировки приехала. Ждали ее вечером, а она утром заявила. Соскучилась, милая, вбежала в нашу спальню, хотела мужа обнять... а он на ее матери лежит. Голый на голой. Стонет и кончает.

Наташка — в обморок. Упала, повредила голову...

Умерла она через три дня в больнице. Внутреннее кровоизлияние произошло. Трепанацию сделали, да неудачно.

А я... даже не расстроился, когда узнал. Все плакали, я не плакал.

В ночь после похорон мы с Таисией совокуплялись как бешеные. Уморились. Заснули.

И снится мне сон. Будто сижу я в комнате Наташки в рабочем общежитии. На застеленной койке. А она со мной рядом сидит. И что-то смешное мне рассказывает. Анекдот какой-то. А потом головку потушила так и говорит печально: «Ты должен знать. Папа мой умер пять лет назад, а мать, после того, как узнала, что нас из казенной квартиры выселяют, повесилась. В спальне. Привязала бельевую веревку к люстре. Так что, решай сам, возьмешь ли в жены дочь удавленницы».

И вот... ты не поверишь конечно... я вдруг понимаю, что не сон это, а явь!

Что не было у меня ничего с Таисией. И быть не могло. Обворожила, мертвячка. С того света.

Ладно. Мне пора, пойду, старушка моя небось меня ждалась.

## ТРЕЩИНА

Наконец похолодало. Сколько же можно терпеть это пекло?

Каждый день 31–32, бывало и 36 градусов. А по ночам — духота.

Ненавижу берлинское лето. Жара тут какая-то тошная. Кажется, что не только воздух, но и само пространство раскаляется до бела в стеклянной чашке дня...

В этом медленном, но грозном, ежедневном росте температуры мне мерещится иступление природы... ярость ошалевшей планеты, леса которой горят и вырубаются, недра истощены, океаны — замусорены, воздух — загрязнен... планеты, на которой все гибнет по вине человека, живущего в массе скотской жизнью, но плодящегося с невероятной скоростью и грозящего отравить и уничтожить все живое, включая и самого себя. Превратить Землю в холодный и пыльный Марс или в пылающую уродину — Венеру.

Да, похолодало, стало легче дышать...

Поэтому нудные и долгие крестины моей младшей внучки в берлинской церкви «Воскресения Христова» пролетели незаметно. Подслеповатый усталый поп отчаянно бубнил по-старославянски, путал имена, то и дело кивал непонятно кому и крестился так, как будто чистил морковь ножом, крестные ходили вокруг купели с преувеличенно важным видом, боялись поскользнуться и уронить свои ошарашенные интенсивным экзорцизмом ноши, чужой младенец орал как резаный... русская девочка годков двух от роду повторяла как одержимая: «Не хочу, не хочу, не хочу...» И ловко отбивалась от цепких родительских рук.

Христос, похожий на карточного валета, смотрел на крещение с иконостаса с деланным энтузиазмом. Казалось, что ему подобные зрелища надоели уже тысячелетия назад.



Немцы успешно прятали недоумение и раздражение под приветливыми улыбками. У русских на лицах запечатлелось какое-то то ли искусственное, показное, то ли юродливое благоговение, не скрывающее свиной нахрап женщин и волчий оскал мужчин.

Когда спектакль окончился, все испытали облегчение. Религиозный бред выносим только в умеренных дозах.

Поехали на нескольких машинах в ресторан.

Остановились недалеко от входа в зоопарк. Ресторан располагался под застекленной крышей десятиэтажного здания. Вид оттуда красивый... внизу бегают дикие звери... на горизонте Марцан-Хеллерсдорф.

Расселись за двумя длинными столами. Подали шампанское. Выпили за здоровье и счастье малышки...

Тимо рассказал о своей новой клинике.

Эдик завел разговор о политической ситуации в Австрии. Франциска болтала без умолку.

Гюнтер все время улыбался, Гудрун хмурилась.

Подросток Марк томился от переизбытка взрослых с их скучными проблемами и хорошо выбритыми щеками.

Две мои внучки порхали по залу как бабочки.

Новокрещенная Иоханна мирно сосала грудь мамы.

На закуску смешной, слегка косоглазый официант принес несколько пирамидок с хумусом (желтый, светлый и красный, со свеклой) и лепешки. А через четверть часа на столе появились маленькие кусочки куриного мяса в ананасном соусе в приятных глиняных мисочках с кошачьими головами вместо ручек, салат и карамелизированные жареные баклажаны с рисом басмати на продолговатых белых тарелках с лебедами.

Мясо я даже не попробовал, а баклажаны были так вкусны, что я забыл о боли в спине и в колене, забыл о том, что держу диету, о том, что дал дочке слово вести себя на крестинах и в ресторане достойно и скромно помалкивать, забыл о том, что я в Берлине, среди немцев, моих новых родственников и друзей, о том, что жизнь, кажется, прошла, и непонятно, что делать дальше, стоит ли оттягивать или приближать конец... о том, что надо готовить себя к тому времени, когда придется из городской берлинской электрички пересаживаться в лодку Харона... менять Шпрее на Ахерон.

Вкус берлинских карамелизированных баклажанов напомнил мне вкус баклажана кавказского, которого я поджарил на костре из плавника на берегу Черного моря лет сорок пять назад. Проткнул лоснящийся овощ и несколько помидоров веточкой и сунул в синеватый танцующий огонек. Помидоры сразу треснули и выплеснули свой розовый сок, а баклажан долго стонал, потом зашипел и сердито выпустил из себя несколько струек пара... начал гореть. Я его потушил, разрезал, посолил и съел. Половину. А вторую половину съела Инга.

Да-да, она...

Милая, высокая, длинноногая. Легкая на подъем. Прекрасная пловчиха. Глаза зеленые с желтыми искорками. Губы — фиолетовые. Веснушки на лбу и носу. Легкий уральский акцент (немного на «о»). И золотая цепочка на шее.

У Инги было много поклонников, тогда, в конце июля 197... года, в пансионате МГУ «Голубая долина». Были молодцы и повыше и поатлетичнее меня. Но Инга их всех как-то быстро отшивала. Я украдкой посматривал на нее... в столовой и на танцах. Танцевала она только быстрые танцы, а от приглашений на медленные — вежливо отказывалась, хохотала, уходила. Потом появлялась.

После трех дней разведки, я набрался мужества и пригласил ее танцевать.

Инга, кокетливо поморгав зелеными глазами, согласилась, позволила себя обнять, доверчиво прижалась ко мне и даже ответила на мой дежурный сухой поцелуй.

Падает снег, рыдая, пел Сальваторе Адамо. Ты не придешь сегодня вечером...

Мастер! Многие растроганные и размягченные этой песней студентки, лишились благодаря ему невинности в колючих кустиках и на теплых камешках вокруг «Голубой долины».

После второго медленного танца («Сувенир» Демиса Руссо) и второго поцелуя, несколько более продолжительного, но все еще сухого, я предложил Инге пройтись по пляжу. Тут Шарль Азнавур запел свою «Богему». Мы обнялись и начали топтаться...

Вся эта инфантильная романтика еще на меня действовала. Я влюбился в Ингу. Третий поцелуй был многообещающий, но также сух, как и первые два.

Тогда, этой южной ночью, мне казалось, что Инга, которая была на четыре года старше меня, разделяет мое чувство. Смешная самонадеянность!

Повздыхав и помечтав о жизни на Монмартре, с сиренью, мольбертами, сюрреалистами и кофе со сливками, мы вышли на асфальтированную площадку перед входом в пансионат. Там призывно горели синие и розовые огоньки. Парочки сидели на деревянных скамейках. Слышался негромкий мужской бас, женское хихиканье... бульканье вина... Я сбежал в свою комнату, положил в тряпичную сумочку баклажан, помидоры, зажигалку и щепотку соли в газете, спустился к Инге.

Она взяла меня под руку, и мы направились к морю... шли не по бульвару, заросшему пальмами и акациями, а по грязной советской деревенской дороге, с лужами, камнями и всякой дрянью на обочинах. Млечный путь, впрочем, сиял и переливался перламутровыми сполохами... как в планетарии.

И тут произошло то, чего я втайне побаивался и ужасно не хотел испытать, особенно с любимой девушкой. В темноте нас окружили штук десять голодных и злых бездомных псов и начали рычать и лаять. Глаза их сверкали ярче звезд, а клыки казались мне размером с бивни мамонта.

Я поднял булыжник и бросил в большого ушастого пса. Хотел поразить его в голову. Кажется, попал... услышал жалобный скулеж... тут же поднял второй и уже собирался его метнуть... но тут Инга взяла меня за руку и сказала: «Не надо, милый, они не причинят нам вреда».

Затем она — только на мгновение — как-то странно напрыглась...

Что-то прошептала.

Я заметил быстро растущую тень, похожую очертаниями на огромную собаку...

Мне показалось, что глаза Инги стали размером с мельницу, и из них полетели в разные стороны зеленоватые искры. Я обрубел.

Из пансионата донеслась чарующая мелодия Джорджа Харрисона «My Sweet Lord», я обнял Ингу за талию и мы, танцуя, прошли сквозь кольцо почему-то притихших псов... Через несколько секунд — я обернулся... никаких собак не было на дороге. Только грязная вода поблескивала в лужах.

Вышли на пляж.

Не сговариваясь, сбросили одежду и вошли в теплую, иссиня-черную воду.

Ночное море втянуло нас в себя своим огромным ласковым ртом. И ласкало, ласкало наши молодые тела своими солеными губами...

После купания валялись на теплой гальке, смотрели в небо, обнимались.

Большого я и не хотел...

Но, повинувшись инстинкту («или делай, или хотя бы демонстрируй готовность и желание»), дотронулся несколько раз кончиками пальцев до лобка моей подружки...

Как будто засохшие водоросли потрогал.

Ее оливковые груди представлялись мне свернувшимися в спирали электрическими угрями. От прикосновения к ним меня било током. Я видел маленькие желтые молнии, вылетающие из ее сосков как из электрической машины.

Целовалась Инга очень сладко.

Я не сразу заметил, что ее длинный язык — раздвоен на конце.

Перед тем, как возвращаться в пансионат, мы развели костер из плавника и поджарили тот самый баклажан, который я несколько дней до этого — сам не зная, зачем и почему — украл на пансионатской кухне...

Наш повар, толстый осетин, которого все звали «Коби», заметил мою проделку, выпучил по-рыбьи глаза, захохотал, покачал большой лысой головой... потом протянул мне несколько розоватых анапских помидоров и прогудел: «Пожарь баклажан с помидорами и посолить не забудь. Объедение».

...

На следующий день, после неаппетитного коллективного завтрака, с серым невкусным хлебом, желудиным кофе, объявлениями пансионатского начальства и выговора-

ми, мы отправились вдоль моря в сторону Большого Утриша, прихватив с собой полосатое одеяло, алюминиевые колышки уголкем и простыню. Нашли безлюдную бухточку, разложили одеяло, укрепили колышки большими круглыми камнями, растянули на них простыню и легли. В тени, как баре.

О чем мы говорили, я не помню, а придумывать не хочу. Вероятно, о какой-нибудь чепухе.

Простыню нашу полоскал свежий бриз.

Море окатывало нас алмазными брызгами.

Чайки гоготали. Оглушительно звенели цикады.

Тело Инги казалось мне зеленовато-оливковым.

Ее кожа пахла водорослями, йодом, а шея — почему-то — дыней и яблоками...

В те времена было модно ставить друг другу засосы, и мы по очереди впивались друг другу в шею... как упыри... это возбуждало... плавки мои, порыжевшие на утришском солнце, норовили разорваться. Но Ингу их содержание явно не интересовало.

Ей хватало и неттинга.

Помню, заснул после долгого купания и поцелуев, а Инга углубилась в книгу.

А когда я проснулся... все уже было не так чудесно, как до моего сна. Паршиво было. Потому что между мной и Ингой развалился Боря Кипелов, по прозвищу «Кип», баскетболист, крашеный блондин, аспирант и известный на мехма-те «покоритель женских сердец».

С противной бородкой и сигаретой во рту.

От него пахло потом и агрессией...

Этот самый Кип любил в мужской компании рассказывать как «та» или «эта» «дала ему в рот»... С подробностями, от которых тошнило.

«Какого черта? — подумал я. — Какой дьявол принес эту грязную скотину в наше гнездышко? Мы же никому не сказали, куда пошли. Неужели Инга сообщила ему, где мы ляжем? Пригласила присоединиться? Или он по берегу тащился к водопаду и случайно нас увидел? Но я ведь так простыню натянул, чтобы нас с берега видно не было. Косо. Значит Инга проболталась. Специально. Сука».

Я сел...

Инга лежала на плече Кипа и играла его бородой. А он перебирал как четки ее цепочку. Инга и Кип говорили друг с другом так, как будто меня не было рядом.

— Что делает рядом с тобой этот недоросток?

— Он уже взрослый. Первый курс осилил. Мы с ним танцевали... болтали... тебя же не было. Я скучала целых три дня. А затем выбрала этого смазливового петушка, чтобы ты потом не ревновал. Он занятый. Про Эдгара По мне рассказывал. Говорил, что хочет стать художником.

— Я ему покажу сейчас По, засранцу! Глаз на жопу натяну и моргать заставлю!

— Не надо, дорогой! Он от страха описается. Вчера вечером пару местных собак встретили на дороге, так он так задрожал... я думала, заплачет и убежит.

— А кто тебе засос на шею поставил? Только не говори, что он, тогда я его сейчас же придушу, а тело глубоко в гальку зарюю. Его сто лет не найдут. Художник...

— Ну что ты, какие засосы, я тут недалеко от тира в колючки упала, поцарапалась. Загноились ранки... медсестра йодом прижигала... вот и пятнышки...

...

Тут Кип повернул ко мне свою огромную вихрастую голову, смачно плюнул мне в лицо и прошипел: «Исчезни, тля!»

Меня обожгло страхом и яростью.

Но я взял себя в руки, улыбнулся криво, кивнул, встал и купаться пошел. А Кип вдобавок запустил в меня бычком. Да так удачно, что на плавках дырочку прожег. На стороне ягодиц.

Сердце мое захлебывалось желчью от несправедливой обиды. Мне хотелось убить их обоих. Как она могла так говорить обо мне? И кому? Пошляку и дебилу Кипу, понимающему только язык грубой силы.

Язык грубой силы?

Вот и славненько!

Получишь, подонок, получишь ответ на этом языке.

Я хорошо понимал, что мои шансы на суше равны нулю. Выросший в хулиганской Казани костлявый гигант Кип меня ногами затопчет.

Но в воде — я его в десять раз сильнее. Потому что я плаваю и ныряю как рыба, а он... посмотрим, как он плавает.

Отплыл от берега метров сто и осторожно наблюдал оттуда за Ингой и Кипом. А те занялись любовью. Я видел только трясущуюся волосатую задницу Кипа и смутно слышал сквозь шум прибоя стоны Инги.

После любви Инга, видимо, задремала, а Кип решил ополоснуться. Вошел в воду и поплыл, неловко загребая своими огромными ручищами.

Меня он не видел. Потому что я был от него с солнечной стороны. К тому же я не поднимал голову над водой... и выдыхал в воду... Полагаю, он вообще забыл о моем существовании. Об обиде, нанесенной мне. Но я не забыл об обиде. Все мое существо жаждало мести.

Когда он отплыл метров пятьдесят от берега, я коварно напал на него... Сзади.

Я знал, как топить человека, мне это не раз показывали знакомые военные аквалангисты, с которыми я вместе тренировался в бассейне ЦСК, но ни до этого момента, ни после не применял этого знания на практике. Набрав побольше воздуха в легкие, я обхватил его сзади за шею левой рукой, а правой схватил его за вихры и надавил. Всем своим существом я толкал его в глубину. Кип бешено дергался, пытался отодрать мою руку от своего горла, страшно лягался верблюдскими своими ножищами, даже попытался укусить меня. Все напрасно...

Его пыл угас через минуту... он пустил пузыри... хлебнул черноморской водицы... еще... задергался уже в агонии и пошел ко дну. Но дна не достиг, а повис в воде, как астронавт в ракете.

Я смотрел на него без тени сочувствия. Этот негодяй унизил и оскорбил меня, плюнул мне в лицо, бросил в меня бычком, оттрахал у меня на глазах девушку, в которую я был влюблен. Он заслужил смерть.

Я всплыл, вдохнул, не поднимая головы из воды, и нырнул обратно к телу Кипа. Его уже отнесло течением мет-

ров на десять в сторону. Я схватил его за жилистую лапу и поволок под водой дальше от берега. Несколько раз выныривал, дышал, а потом упорно... тащил и тащил еще теплое тело

к подводному скалистому обрыву метрах в двухстах от берега.

Тришский подводный мир был мне хорошо знаком — не одно лето я нырял тут с маской и трубкой, охотился за крабами и доставал рапанов.

Я знал, что у обрыва, примерно на пятнадцатиметровой глубине, много небольших пещерок в скалах. Там прятались особенно большие крабы и обросшие разноцветными водорослями морские ерши сантиметров по сорок длиной. Настоящие чудовища.

Вот и обрыв.

Я нырнул, держа Кипа за руку... тут, кажется, и вход в пещерку...

Втащил в нее тело... Так... метров пять в глубину... Хватит, чтобы спрятать тело. Другого выхода вроде нет... Подходит.

Ты меня хотел придушить и в гальку закопать, а я тебя тут замурую...

Амонтильядо!

Минут сорок собирал камни... на суше я бы их и поднять не мог, а в воде, спасибо Архимеду...

Заложил ими вход в пещерку. Перед этим последний раз посмотрел на мертвеца. Глаза его были открыты, лицо искажено гримасой животной злобы. Заметил у него на шее золотую цепочку. Сорвал ее и обмотал вокруг указательного пальца, чтобы не потерять.

...

К Инге я возвращаться не стал, а поплыл, по большой дуге... прямо на наш пансионатский пляж. Пришел в «Голубую долину» босой, в одних плавках, но никто не обратил на меня никакого внимания. Принял душ, немного полежал на койке и помечтал. А вечером надел запасные сандалии, сходил в нашу бухточку и забрал одеяло, простыню и кольшки. Никаких вещей Инги или Кипа не обнаружил. Даже окурки там не валялись. Вопросительно посмотрел на темнеющее



море. И море прошелестело ветерком мне в уши: «Я сохраню твою тайну... Его не найдут... никогда... никогда».

Поздним вечером напился с знакомым однокурсником местным прогорклым и мутным вином.

На следующий день, за завтраком, поискал Ингу в столовой. Не нашел. Зашел в ее комнату, поговорил там с одной красавицей... Она сказала, что никакой Инги там нет и не было, и томно посмотрела на меня. Я описал ингину внешность... упомянул зеленые глаза, веснушки... тогда моя собеседница вздохнула и позвала всех четырех своих соседок. У всех у них были зеленоватые глаза и веснушки. Глупые девчонки начали хохотать, обсыпали меня пудрой, прицепили мне к майке синий бантик и предложили прийти к ним после отбоя.

А через две недели знакомый доцент сообщил мне в канцелярии факультета, что в списках нет аспиранта Кипелова, и что... студент с таким именем никогда не учился на мехмате.

Не было, значит, ни Инги, ни Кипа... Не существовало.

А чье же тело замуровано там, в подводной пещере, недалеко от Большого Утриша?

Об этом я думал, просовывая мизинец в дырочку на стареньких плавках...

Года через три я забыл эту историю.

...

На десерт нам подали горячие яблочные пирожные и итальянское мороженое «Джелато». Моя старшая внучка подарила мне крохотную коробочку с испанскими шоколадными конфетами. Гости разъехались по домам.

А вечером мне позвонили. В дверь моей квартиры в Марцане. Я посмотрел в глазок — у двери переминалась с ноги на ногу молодая женщина. Одета по моде. Черные колготки. Короткая юбка. Шляпка с вуалью. Открыл. Кажется, знакомая... кто это?

Зеленые глаза с желтыми искорками. Веснушки на носу...

Не может быть! Ей должно было быть за шестьдесят, а этой крале не больше тридцати... Ее голос разрешил все мои сомнения.

— Милый, как же ты мог меня не узнать? Неужели ты все это время думал, что я не догадывалась о том, что ты там под водой вытворял? Где моя цепочка?

И тут же наша чистенькая кафельная лестничная клетка начала превращаться в ту самую подводную пещеру. Стены местами позеленели, местами пожелтели, покрылись ракушками, несколько юрких рыбок проплыли по сгущающемуся воздуху... показался страшный силуэт утопленника... Он яростно смотрел на меня широко раскрытыми мертвыми глазами...

У меня не было ни секунды на размышления. Нужно было в корне пресечь...

— Цепочка? Простите, о какой цепочке идет речь? У меня нет никаких цепочек. Вы ошиблись адресом. Посудите сами, для меня вы — не что иное, как чужое воспоминание, чужая мысль, по ошибке пришедшая мне в голову. Во время еды. Вы даже не чувственное испарение, не ассоциация, не фантазия, у вас нет никаких прав и привилегий... ведь вы всего лишь — хм-хм — несколько царапин и осыпавшаяся краска на трубе парового отопления.

В этот момент неожиданно раскрылись двери лифта...

— С кем это ты разговариваешь? — спросила меня симпатичная соседка-толстунья, вышедшая из лифта с тремя своими любимцами — голубыми померанскими шпицами, которые, увидев меня, тут же начали противно тявкать. — И зачем ты трубу трогаешь? Там что, трещина? Надо управ-дому сказать, а то как рванет зимой...

## ЧЕРНЫЙ АСПИРАНТ

В рассказе «Трещина» я описал, как убил... утопил... одного сукиного сына. Кипа...

Да, утопил и тело спрятал в подводной пещере недалеко от Большого Утриша.

В тексте. Только в тексте убил-утопил... не забывайте это, господа! Хоть и неспроста.

С тех пор меня мучает что-то вроде авторского раскаяния... есть такое особенное чувство, которое завладевает иногда жестокими, но легкомысленными писателями, сурово расправляющимися со своими героями.

Может быть потому, что прототип Кипа — звали его конечно иначе, но я буду его и дальше называть этим фиктивным именем — я хорошо помню. Не забыл и реальную историю его гибели, оспариваемую любителями страшилок и легенд.

Как же капризно наше подсознание! После того, как я написал «Трещина» мне стало казаться, что безобразная эта история, подлинная история гибели Кипа, выставляющая кстати меня в далеко не лучшем свете, навязчиво требует, чтобы я ее рассказал.

Что же, терять мне уже почти нечего, расскажу...

...

Справедливости ради, должен заметить, что главная героиня рассказа «Трещина», Инга, ограбленная и униженная рассказчиком, ревность к которой и спровоцировала его на преступление — на самом деле ни к реальному Кипу, ни к его гибели отношения не имела. Ее я сделал из одной своей подруги, короткие летние отношения с которой ничего кроме радости мне не принесли, и были, как и все подобные отношения, банальными, даже скучными... хоть и сладкими как кавказское варенье из роз... Не пробовали?

Да, Инга... или другая летняя подруга, похожая на нее, много их было, является мне... иногда... тут, в Германии... приводит в замешательство.

Неожиданно и реально является... до того реально, что ее действительно можно перепутать с трещинкой засохшей краски на отопительной трубе на лестничной клетке нашего одиннадцатизэтажного дома в Марцане.

Но эти превращения... материализовавшиеся метафоры... это уже иная история, как говорят — «из другой оперы». Вернемся к Кипу.

...

Да, он действительно был аспирантом, баскетболистом с бородкой, вечной сигаретой во рту и крашеными блондинистыми волосами. От него действительно пахло потом и агрессией. И он действительно рассказывал о том, как та или эта давали ему в рот.

Но никаким «покорителем женских сердец» Кип не был, а все его многочисленные рассказы о французской любви «с той и этой» были обыкновенным враньем озабоченного совчела.

А был Кип — как и почти все молодые люди в те ужасные времена — похотливым козлом, готовым влезть на любую особь женского пола. Например, на дешевую проститутку с Сокола, после сношения с которой неизбежно «капало с конца», как у тульского самовара.

Или на жирную опустившуюся самогонщицу, подторговывающую краденым барахлом... После совокупления с этой дамой недостаточно было получить укол в задницу от хмурого врача-венеролога, приходилось еще и сдавать кровь из вены на «реакцию Вассермана».

Или на в дымину пьяную строительную рабочую за сорок, лежащую где-нибудь в бурьяне с раздвинутыми толстыми ляжками в рваных синих колготках и дающую всем желающим... что гарантировало получение так называемого «букета» или венка.

Слава богу, СПИДа во времена моей юности в СССР еще не было, иначе мы бы все подошли еще в студенческие годы.

Почему?

Много раз писал об этом... надоело повторять...

Потому что противозачаточные пилюли в государстве рабочих и крестьян в аптеках не продавались...

Потому что ни у кого из нас не было своего жилья.

Порнография и легальная проституция были строжайше запрещены...

А юные ламии, «девочки из интеллигентных семей», студентки и аспирантки, — по крайней мере девять из десяти — со студентами и аспирантами в постель до брака не ложились.

С доцентами или профессорами... такое бывало, редко, но бывало... по любви или из карьерных соображений, а с молодым человеком, даже с любимым... только после печати в паспорте!

К чему это приводило, к каким психическим и физическим травмам — можете себе сами представить, дорогие читатели.

Может быть из-за этого постоянного полового голода и его очевидных последствий, студенты и аспиранты МГУ — девять из десяти — были нечистоплотными, грубыми и мрачными пошляками. Втайне мечтающими об изнасиловании.

Вот и Кип был пошляком. И насильником.

Но в безвременной его гибели, в которой он конечно сам виноват, есть и небольшая доля вины интеллигентных девушек семидесятых годов ушедшего столетия. И лично — СССР.

...

Случай свел в одной комнате коттеджа в спортлагере «Ломоносов» трех человек: аспиранта второго года Кипа, его дружка, только что защитившего диплом на кафедре диффузов, по кличке Саня-Масяня, играющего рядом с огромным Кипом роль рыбки-лоцмана, и меня, закончившего первый курс, зеленого еще мехматянина.

Не знаю, осознанно ли, но Саня-Масяня предпочитал носить тельняшки... доводя этой полосатостью схожесть с рыбкой-лоцманом почти до совершенства.

Соседками нашими, живущими в комнате, выходящей на общую веранду, были студентки экономического факультета: Ирочка, Леночка, Олечка и Зурочка. Все милашки и хотушки...

Ирочка, Леночка и Олечка были москвичками, не без характерного для детей начальства декаданса (папы их работали, если память мне не изменяет, в руководстве Госплана, Госснаба и Госстроя), а трудолюбивая и целеустремленная Зурочка, дочь простого пастуха, закончившая десятилетку с золотой медалью в дагестанском ауле... жила в общежитии. Летом следующего года она должна была защищать диплом.

Не хочу повторяться и описывать жизнь неспортивных студентов в спортивном лагере... перейду к делу.

В тот день мы пили особенно много. Пульку начали писать часов в шесть вечера уже пьяные. Саня-Масяня, отец которого был профессором на химфаке и имел соответствующий доступ, выставил на стол двухсотграммовый флакончик с чистым спиртом.

Спирт обжигал глотку, как кислота. Наводил на печальные размышления о многолистной вселенной.

После второго глотка, я мысленно слетал на ракете к Юпитеру и долго наблюдал загадочное Красное пятно, показавшееся мне глазом сидящего внутри планеты дракона... После третьего — долетел до Сатурна, потрогал руками его кольца и возвратился на Землю только для того, чтобы глотнуть еще раз.

Масяня выпил только один раз, меняхватило на четыре глоточка...

Кип допил остаток. В слегка раскосых его глазах появилось странное выражение, породившее во мне тревогу и вызвавшее предчувствие беды. В голове шумело, мне казалось, что я качаюсь на огромной сетке, натянутой между землей и небом...

Сетка эта грозила порваться... и выкинуть меня из уютного мира вещей и элементов.

Спирт мы полировали местным вином без названия.

Закуски у нас не было.

Кип во время игры угрюмо молчал. Только злорадно хихикал, когда я или Масяня оставались без одной.

Вокруг его головы носились как дьяволы лукавые преферансные мысли.

Надо отдать ему должное, играл он очень хорошо. Даже пьяный. Масяня и я играли средне. Бог особенно несправедлив при раздаче талантов.

Масяня говорил без умолку. Речь его трудно воспроизвести, даже не буду пытаться, потому что это была болтовня ни о чем... с множеством междометий...

То не угроза и не дума...

Ну да, Масяня усердно подтрунивал над Кипом. Не щадил ни его внешнего вида, ни его происхождения, ни скромных научных успехов, но делал это так осторожно, деликатно, даже до подобострастности, что получалось, что он не подтрунивает, а сыпет и сыпет комплименты... как будто пелену взбивает. И гладит и лижет своего закадычного дружка или повелителя.

В восемь часов закончили пульку...

Масяня отыгрался, а мне пришлось заплатить Кипу пятерку, которую тот с удовольствием спрятал в карман шорт. Самодовольно похлопал себя по длинным худым бедрам... потом как будто вспомнил что-то важное... пробурчал: «Саня, друг, оставь нас с Димычем наедине, у меня к нему разговорчик есть... интимный, бля... пойди, потанцуй».

Масяня ревниво сверкнул влажными карими глазами и подчеркнуто медленно начал натягивать на ноги свои, тогда только недавно появившиеся у избранных «блатных», шикарные японские кроссовки. Надел свежую тельняшку, хмыкнул презрительно и исчез.

Я не знал, что Кипу было от меня надо.

Не успел поразмышлять на эту животрепещущую тему, потому что Кип вдруг схватил меня сзади за длинные, по моде, волосы и приблизил мое лицо к своей безобразной роже, похожей на поржавевшую и бородастую Луну.

Неожиданно я понял, что он смертельно пьян... или нет, не пьян... а впал в состояние делирия, или, как его тогда называли, «белочки».

Обезумел. Очумел. Слетел с катушек.

Таким я его еще не видел. Грубоватым, пошлым и агрессивным он был всегда. Но до сих пор держал себя в рамках приличия. А тут... может спирт так на него подействовал... или количество перешло в качество — пили мы без передыха две недели подряд. Все, что могли купить в гадком магазинчике по дороге в Гудауту. Портвейн... алжирское... водку. Кип пил раза в три больше, чем я и Масяня вместе взятые. И курил по три пачки местной Примы в день.

По вискам его катились капли пота, трясущийся рот был похож на трещину в скале, в которой живет саблезубый тигр, глаза покраснели.

В его правой руке я заметил опасную бритву.

Кип поднес лезвие бритвы к моему горлу, почесал ею мне кадык, скорчил зверскую рожу и просипел: «Ты, Димыч, сейчас пойдешь к нашим соседкам, и уговоришь одну из них взять у меня в рот. Сейчас, ублюдок. Иначе я вас всех порежу. И не вздумай кого-нибудь на помощь звать, сука... распорю брюхо и собственные кишки жрать заставлю. На уговоры даю тебе полчаса. Ну, что уставился... вали...»

...

Я, как тот чеховский землемер — такого реприманда не ожидал...

Читатель наверное хочет, чтобы я выбил каратистским ударом бритву из лапы осатаневшего баскетболиста и связал его подтяжками... или... убил бы Кипа тумбочкой... в целях самозащиты. И суд меня бы оправдал и еще наградил медалью.

Уверяю вас, я бы так и поступил, если бы позорно не струсил...

Я был уже на улице, но моя шея все еще ощущала холод металла... у сонной артерии.

К девушкам, которые, судя по веселому гомону, доносящемуся из их комнаты, устроили частный показ мод, я не пошел. Не хотел их пугать. За помощью к знакомым спасателям на водах не обратился. Потому что на самом деле не хотел, чтобы Кип кого-нибудь зарезал или был изувечен разозленными спасателями.

Предполагал, что единственным человеком, который мог бы уладить это дело без кровопускания и членовредительства был Саня-Масяня. И волк был бы сыт, и овцы целы. Спустился к открытой столовой, из которой доносилась популярная в то время песня Маккартни «Миссис Вандербилт»... Там танцевали. Поискал глазами Масяню. Не нашел. Хоп-хэй-хоп!

Что делать?

В панике выбежал на пляж. Масяня сидел на гальке, один, среди обнявшихся парочек, вздыхал и бросал в лило-



вую воду камешки. Сбиваясь и заикаясь, объяснил ему, в чем дело. Масыня не стал, как обычно, нести пургу, а проговорил неожиданно трезво: «Так и думал, что у него какое-то говно на уме... К девушкам не ходи, не геройствуй, Кип тебя на куски порежет. Я побегу к Семеньчу, попрошу его из Гудауты ментов и дуровозку вызвать. Только бы они не опоздали».

...

Приятно, когда кто-то другой снимает с тебя бремя ответственности.

Мне вдруг стало легко и хорошо. Я вздумал искупаться, очень тянуло в вечернее море.

Отошел на темную часть пляжа, сбросил с себя все и прыгнул с разбега в теплую черноморскую воду.

Отплыл от берега метров тридцать, лег на спину...

Глубоко дышал и смотрел на звезды. Казалось, их можно пощупать, вытянув руку из воды.

Забыл и про Кипа, и про девушек, находящихся в опасности, и про Масыню...

Очнулся от рева доносящейся из лагеря сирены скорой помощи.

После прикинул... оказалось, я больше сорока минут пролежал в воде.

Ну да, да, до сих пор стыдно...

А Кип, как я узнал от ставшей позже моей близкой подружкой Олечки (той, у которой отец работал в Госснабе), меня не дождался, и уже через четверть часа после моего ухода ввалился в комнату к бедным девушкам. С опасной бритвой в руке.

Девчонки конечно, когда его рассмотрели и поняли, что он хочет, завизжали и забились в углы.

Все, кроме бесстрашной горянки Зурочки. Она стояла посередине комнаты и мужественно смотрела в глаза обезумевшему идиоту. Мужество ее не подействовало.

Кип, «рыча, как бешеный медведь», вначале «как будто отбивался бритвой от невидимых чудовищ», а затем бросился на девушку. Повалил на пол, разорвал на ней платье, схватил за грудь, присосался ослиными губищами к ее белой шее.

Зурочка как могла защищалась. Ударила его маленьким кулачком по носу.

Кип полоснул ее бритвой по животу, грубо развел ей бедра...

В самый последний момент Зурочка умудрилась из-под него выбраться и как была, полуголая, босая, зажимая рукой длинную рану на животе, побежала к знакомым студентам-дагестанцам, жившим за семь коттеджей от нас.

А Кип набросился на другую жертву — Леночку. Но изнасиловать ее он не успел.

Трое дагестанцев ворвались в комнату наших соседок за полминуты до того, как туда же вошли Масыня и начальник лагеря Семеньч, толстоносый мужик лет пятидесяти пяти, крепкий хозяйственник, бывший когда-то директором тюрьмы... с большим гаечным ключом в руках.

Олечка рассказывала: «Это был такой ужас. Все что-то кричали дикими голосами. Наши тряпки летали по воздуху как взбесившиеся птицы. Дерущиеся умудрились лампу разбить на потолке. Поэтому главное сражение происходило в темноте. Минут пять сражались добры молодцы. Мы хотели только одного, чтобы этот придурок Семеньч не раскрыл кому-нибудь из нас случайно голову своим оружием».

...

Когда дагестанцы, Масыня и Семеньч наконец одолели Кипа и положили его на спину, оказалось, что он мертв. На его груди зияли две колотые раны. Правая его рука все еще сжимала открытую опасную бритву, измазанную кровью.

Семеньч тут же заподозрил в убийстве дагестанцев. Стал искать ножи. Но у дагестанцев никаких ножей не было. На допросе в гудаутской милиции они заявили, что «пришли на помощь женщинам, не хотели никого убивать».

Скорая увезла тело Кипа в морг, а Зурочку отвели в лагерьный медпункт, где опытная медсестра Даша, свояченица Семеньча, промыла и зашила ее неглубокую рану.

Комнату наших соседок тщательно обыскала милиция. Единственным колюще-режущим предметом, который она обнаружила, были валяющиеся под столиком длинные портновские ножницы, принадлежащие, кажется, Леночке... Она привезла с собой в спортлагерь хлопчатобумажную ткань, выкройку, нитки, иголки и ножницы и собиралась вместе с подружками сшить из нее макси-платье.

Кто же все-таки убил Кипа — так и осталось загадкой.

Может быть, он сам в неистовстве драки накололся на ножницы? Так, по крайней мере, объявил на общем собрании лагеря Семеныч... «для успокоения публики».

Дагестанцев все-таки задержали. Но через день отпустили. Все они были выходцами из бедных семей. Содрать с них что-либо было трудно.

Горевал по Кипу только Саня-Масяня.

\* \* \*

Так уж получилось, что «бедная эта история» на этом не закончилась, а — неожиданно для всех — получила фантастическое продолжение.

Через несколько дней, ночью, я проснулся от воплей Масяни. Тот кричал во сне: «Сгинь, черрррртов урод! Катись в ааад!»

Я разбудил его. Он долго смотрел на меня расширившимися от ужаса глазами, не узнавал. Потом узнал и спросил: «Где он?»

— Кто?

— Кип, он только что был тут и душил меня. Говорил, что я убил его ножницами, и что он за это задушит меня во сне.

— Очнись, Масяня. Это был кошмар. Кип — в морге. Мы живем в двадцатом веке, ты только что закончил мехмат МГУ. Синус икс по-прежнему меньше или равен единице. Все хорошо.

— Катись ты... Век... мехмат... синус... херня. Он был тут и душил меня, понимаешь? Посмотри, на шее пятна.

В этот момент мы оба услышали страшные крики и визг из соседней комнаты.

Напялил на себя шорты, постучал в дверь... никто мне не ответил. Прошел через нашу комнату на веранду и вошел оттуда в комнату соседок. Все четыре девушки не лежали на своих кроватях, а, сцепившись в человеческий ком, молча сидели на полу, в дальнем от веранды углу комнаты. Под одеялом. Вроде как прятались.

— Эй, девчонки, это я, Димыч. Вы почему так орали? От кого спрятались?

Никто мне не ответил. Попробовал стянуть с них одеяло. Не дали. Затем услышал глухой, срывающийся шепот Зурочки: «Ал-хамду ли Ляхи...»

Она молилась...

Сел на стул. Посидел несколько минут...

— Это я, Димыч, сижу в вашей комнате на стуле. Пришел, чтобы помочь. Если хотите, уйду. Что у вас тут стряслось?

Ответила мне Олечка.

— Уходи, нам ничего не нужно. Нам кошмар приснился. Ты уйдешь, и мы будем дальше спать.

— Не хочу вас пугать, но вон... Сане-Масяне Кип привиделся. Будто бы душил его во сне.

Зря я это сказал. Девочки окаменели. Минут через пять Олечка прошептала: «Уходи, пожалуйста, мы голые».

Ушел.

...

Лег на свою кровать. Заснуть не мог. Думал, думал, ворочался.

Заснул.

И снится мне сон. Вроде вчерашний день вернулся. И Кип опять бритвой по моему горлу елозит... И вот я на улице... но не иду искать Масяню, а к соседкам стучу... хочу их от Кипа защитить... и они пускают меня к себе.

В комнате у них все не так... никакой мебели нет, только ковер персидский на пол положен, на нем — блюда с фруктами... Девушки все голенькие, танцуют с пестрыми лентами в руках, бюстами и попочками трясут, хохочут. Я им рассказываю, что будет, а они мне не верят... смеются...

Я ишу, чем бы мне Кипа ударить, если войдет с бритвой... но ничего в комнате этой чудной нет подходящего... даже ножниц нет...

И вот слышу я тяжелые киповы шаги. Ближе и ближе. Слышу, как он глухо бранится...

Девушки режутся себе, как голубки, а у меня сердце в пятки падает.

И тут — откуда ни возьмись... в комнату входит начальник лагеря Семеньч с лассо в руках. Девушки ему приветливо улыбается, он им мельком так кивает, а потом — ни с того,

ни с сего — кидает лассо и ловит меня им за шею. И тут же затягивает петлю. Я пытаюсь ему объяснить, что не меня, а взбесившегося Кипа с бритвой надо ловить, но он меня не слушает... вставляет мне в рот кляп и связывает веревками.

И вот, стою я связанный и привязанный к столбу в лагерной столовой. А вокруг меня — все лагерные обитатели. Смотрят на меня презрительно, надменно, без сострадания... так как доктора наук — на срезавшегося студента на экзамене по математическому анализу.

А Семеныч толкает краткую речь. И заканчивает ее почему-то так: «Эпоха зверств черного аспиранта закончена. Главное здание МГУ может спать спокойно. Никто больше не потревожит студентов и аспирантов нашего славного университета! Черный аспирант пойман и будет сейчас публично казнен через ручную странгуляцию. Душить будет отличник гражданской обороны СССР Борис Кипелов. Наше дело правое, мы победили! Да здравствует наш великий вождь Иосиф Виссарионович Чихайвповидло!»

Вместо того чтобы рассмеяться, публика бешено аплодирует оратору.

Все жадно смотрят на меня. Многие высунули языки, с которых капает слюна. Все ждут палача.

Палач в остроконечной красной шапке подходит ко мне, накладывает мне на горло руки и начинает душить...

Шепчет: «Что, ублюдок, не захотел уговаривать своих проблядушек совершить человеколюбивый поступок... всего-то работы было на пять минут... а теперь сам попал в тиски... задую тебя, а потом распорю тебе брюхо и вытану кишки... брошу бродячим псам, пусть жрут».

Изо всех сил я стараюсь крикнуть: «Это Кип, Кип! Он — черный аспирант, а я только закончил первый курс...»

Но из-за кляпа я издаю только нелепое курлыкание.

...

Масяня разбудил меня ранним утром. Солнце только что взошло и освещало наш пляж волшебными зеленовато-розовыми лучами. Перед тем, как влезть в воду, мы выпили по стаканчику молодого красного вина.

За завтраком к нам неожиданно подошел Семеныч и сказал негромко: «Надо поговорить, хлопцы. Через двадцать минут у меня».

Масяня предположил, что менты еще чего-нибудь придумали, и нам придется в Гудауту тащиться и еще раз показания давать.

Я вспоминал свой сон и морщился, вся эта история мне порядком осточертела.

Пришли в его персональный коттедж, прячущийся в тени самшитов.

Семеныч пригласил нас сесть на стулья, сам он сидел в кресле...

Замялся... Потер несколько раз руки. Явно не знал, с чего начать. Таким мы хамоватого Семеныча никогда не видели.

Он был явно смущен, может быть даже испуган, и вовсе не хотел заставить нас что-то сделать или написать...

Голос его подрагивал, как хвостик у щенка.

— Мне сегодня утром, того, из милиции позвонили. Начальник отделения, Горидзе, кажется. Кадр вроде надежный... мурло как у павиана... Так вот, Горидзе этот мне сказал, что дежурного в морге... где наш... того... сегодня увезли в психическую. Плакал и рассказывал, что ночью его мертвяки душили и резали... и порезы показывал, но ему, конечно, не поверили. А тела Кипелова... того... там больше нет. То ли украли, то ли сам ушел.

Масяня не выдержал: «Сам ушел? Того... С пробитым ножницами сердцем? Как вы это себе представляете, Николай Семенович?»

Семеныч взъярился: «Не дерзи старшим, студент! Никак не представляю... А знаю, что в жизни много чего бывает. Бывает и такое, что в ваших университетах не проходят. Сам испытал. Короче... вы того... осторожнее... Мало ли чего... За соседками понаблюдайте, они девочки нежные... И — никому ни слова. Вольно, по домам...»

После разговора с Семеньчем мы пошли в магазин за спиртным.

...

А уже в Москве, на первой же лекции, мне рассказали, что в Главном здании МГУ по ночам стал показываться

мертвец, которого студенты прозвали «черным аспирантом».

Черные свои дела он, якобы, начал творить еще в июле, когда в общежитиях абитуриенты жили. А затем начал кошмарить и потрошить и студентов.

Называли и фамилии его жертв, но я их не запомнил. Будто бы он приходил по ночам, огромный, худой и черный, двери в комнаты открывал без ключа, подходил к спящей жертве и кромсал ее опасной бритвой, так что от человека оставались одни «кровавые лохмотья». Которые он выбрасывал в окошко. Или пожирал. Тут мнения расходились.

А девушек он, якобы, перед тем как кромсать, заставлял...

Милиция расставила по общежитию своих людей, на каждом этаже...

И вроде бы одного из них черный аспирант уже прикончил. Или двух.

Милиция была в ярости...

Ректорат в растерянности... закрыть общежития Главного здания нельзя — куда девать людей? Учебный процесс нельзя срывать... А если не закрывать...

Ректора вроде бы уже несколько раз распекали у Гришина. Он к этому не привык, получил инфаркт.

...

Я, честно говоря, во все эти ужасы не поверил. По универу вечно какие-то слухи бродили... О «синей женщине» рассказывали, о подпольных борделях для членов Политбюро, о подземном городе под МГУ, в котором живут инопланетяне.

И уж никак не мог я себе представить, что мифический «черный аспирант» — это и есть воскресший или еще какой такой Кип. Несмотря на свой приснопамятный сон, несмотря на опасную бритву... Не верил я во всю эту мистическую чепуху.

Не верил до тех пор, пока сам его не увидел. Е г о. Черного аспиранта.

А было это вот как. Как я уже писал, я подружился с Олечкой. Романчик наш, бурно начавшийся еще в «Ломоносове», на солнечном пляже... было не легко продолжать кру-

тить в Москве. Не только из-за занятий, отнимавших время и силы, но и из-за родителей, действовавших на нервы, из-за безденежья... из-за огромной и жуткой Москвы, разлегшейся между Юго-Западной, где обитал я, и Лосинкой, где жила моя пассия, пятидесятикилометровым зловонным минным полем, по которому носились миллионы неопрятных совков и отвратительных автомобилей.

Встретаться нам было негде!

Мы вечно сидели на каких-то лестницах... ходили в кино и там целовались.

Посещали театры, часами бродили по Пушкинскому музею...

Провожать вечером, после кино, Олечку на Лосинку было не только не безопасно, но и физически трудно.

Единственное место, где мы — изредка — могли остаться наедине, было, да, да, от судьбы не убежишь, общежитие рядом с Главным зданием МГУ. В Зоне А или Б, не помню. Комната, в которой жила умница Зурочка, когда та уезжала на каникулы в Дагестан, пустовала.

Хотя мне исполнилось восемнадцать, родители не позволяли мне ночевать вне дома. Послать их к черту я не мог, потому что жил за их счет... и любил их. И не хотел расстраивать. Но иногда...

Олечка тоже могла отсутствовать дома по ночам только в виде исключения...

После долгой и мучительной воспитательной работы с родителями, мы наконец встретились в комнате Зурочки.

Было это под Новый год.

Из окна открывался потрясающий вид на вечернюю предновогоднюю Москву, припорошенную свежим снегом.

Мы выпили легкого вина, пощebetали с полчаса, разделись и легли в кровать.

Моя любимая заснула у меня в объятьях.

И начала легонько похрапывать...

Я встал... приоткрыл окошко... закурил сигарету.

Машинально посмотрел вниз. Мы были, кажется, на семнадцатом этаже...

Невольно подумал о том, что лететь вниз придется долго. Даже попытался рассчитать по школьной формуле сколько. Запутался. Плюнул на формулу.



Посмотрел еще раз вниз. И тут мне стало не до формул. Потому что я увидел то, что, надеюсь, больше никогда не увижу.

Знаю, что вы, господа, мне не поверите. Может быть даже скажете, а получше он ничего не мог придумать?

Где-то на уровне шестого этажа по вертикальной университетской стене шел человек. Фигура его была строго горизонтальна. Шел, наплевав на все законы механики, которые я, несмотря на лень и хроническое нежелание учиться, знал наизубок. Так идти человек не может, тут же упадет и разобьется.

Но ОН шел. Большой, худой, черный.

Черный аспирант.

Шагал себе так, как будто университет осторожно положили на бок.

Шел он — прямо ко мне. Лица его и глаз видно не было, но я точно знал, что он смотрит мне в глаза. В его правой руке что-то блестело. Опасная бритва! Та самая.

Я не мог оторвать от него глаз... а он все шагал и шагал...

Легко-легко. Размахивая длинными бедрами.

Когда он был метрах в десяти от меня, я узнал в этой темной фигуре Кипа и приготовился к смерти.

Но он прошел мимо меня!

Почему — не знаю.

Прежде чем окончательно скрыться на крыше, еще раз пристально посмотрел мне в глаза и погрозил пальцем. Указательным пальцем левой руки.

Я закрыл окошко и осторожно лег рядом с Олечкой.

...

О «черном аспиранте» рассказывали еще какое-то время всякие небылицы.

Когда я заканчивал мехмат, о нем уже никто не помнил. Забыли.

\* \* \*

Прошло много-много лет. Я давно оставил родину. Потерял связь со всеми, кого когда-то знал или любил...

Рассказ «Черный аспирант» опубликовал года полтора назад...

А около двух месяцев назад получил неожиданно электронное письмо от профессора К. из Санкт-Петербурга... да, да, от Сани-Масяни.

Он писал:

«Дорогой Димыч, сколько лет, сколько зим... я не стал бы тебя беспокоить по пустякам. Со мной произошло что-то жуткое. Хотел тебя предупредить... Не знал, как с тобой связаться, а потом случайно нашел твой электронный адрес в интернете, там, где ты рассказы публикуешь. Прочитал рассказ «Черный аспирант», вспомнил все...

Спасибо, что ты изменил мое имя и кафедру, а не то меня наверняка кто-нибудь бы вычислил, пошли бы слухи, мои студенты смеяться бы начали... Я ведь еще преподаю, несмотря на возраст и болезни... В членкоры меня так и не выбрали, зато заслуженного дали...

Так вот, читал я лекцию в МГУ, на мехмате, как приглашенный профессор... на шестнадцатом этаже, помнишь, в большой аудитории. Материал был трудный... я на публику и не смотрел, все внимание сосредоточил на доске, боялся ошибку сделать в вычислениях. И только когда последнюю формулу написал, ради которой и мучился — взглянул в зал. Слушай сюда — аудитория была пуста! Только один человек сидел в последнем ряду!

Только один!

И это был ОН. Кип. Точь-в-точь такой, как тогда, в «Ломоносове». В шортах... Только почерневший весь, как мумия. В правой руке держал — опасную бритву.

Кип влез на стол... и по столам... по столам... неправдоподобно большими шагами... зашагал ко мне.

Мне стало плохо, я потерял сознание.

Потом мне рассказали, что я читал, читал лекцию, а когда вывел последнюю, искомую формулу, вдруг замолчал, уставился куда-то... а затем упал и начал хрипеть и биться. Вызвали скорую. В больнице диагностировали микроинсульт, только я им не верю, шарлатанам...

Вот что со мной произошло, друг. Никогда не верил в мистику... Прав был придуманный тобой Семеныч, не все, что в жизни происходит, изучают в университетах... В упомянутой тобой многолистной вселенной возможно все.

Не смейся надо мной, старым маразматиком, черкни, если будет что...

Такой-то и такой-то, профессор того-сего...»

Я ему ответил, но переписка наша заглохла. Как суп прошлого половником не перемешивай, а все равно прошлое настоящим становиться не хочет. Тянет назад... и ускользает в трясине времени.

А вчера получил я еще один имейл:

«Милый, милый Димыч, это я... та, которую ты назвал Олечкой. Как же забавно и необычно тебе писать... Мы не виделись сорок лет или больше, зареклась считать. Случайно натолкнулась на твой рассказ в мировой сети. «Черный аспирант». Прочитала и все вспомнила. Ты конечно слукавил, некоторые вещи специально пропустил и кое-что придумал... Но ничего, главное, дух тогдашнего времени точно описал... А-то сейчас пишут про наш родной Совок какой-то бред... вообще, у всех крыша поехала. С портретами Сталина ходят... боготворят плешивую крысу. Тебе трудно из-за бугра понять, куда тут все приехало... как безнадежно все и жутко... да что я... ладно. Так вот я хотела тебе написать, что ту, которую ты назвал Зурочкой, убили лет десять назад в Москве. Я была на похоронах. Бандиты... при ограблении. Ее ударили два раз в сердце... видимо заточкой. Бедняжка. Вспомнила я об этих двух ударах после того, как твой рассказ прочитала. Ножицы...

И та, которую ты назвал Леночкой, погибла при загадочных обстоятельствах еще в середине девяностых. Такая страшная у нас жизнь. Трудно это писать, ей перерезали бритвой горло.

Не хочу острить, но напрашивается сравнение — по России бродят миллионы твоих «черных аспирантов», и на службе и нет, и они готовы нас, простых законопослушных граждан, как это у тебя написано, «кромсать», превратить в «кровавые лохмотья». Очень боюсь революции или чего-нибудь подобного. У меня взрослые дети и шесть внуков. Что с ними будет? Сын в Канаде... а все остальные здесь».

## ПОЦЕЛУЙ КЛЕОПАТРЫ

Мы занимались любовью часа два. Или три. На часы не смотрели. У нее.

Засыпая, я слышал, как она прошептала мне на ухо: «Милый, я сбегая в Эдеку, надо купить еду, у меня холодильник пустой, дети слопали все перед отправкой в лагерь. Спи спокойно. Разбужу тебя к ужину...»

Что-то она еще сказала, но я не услышал... меня уже нес поток сна, как поезд в метро. Только не в центр или из центра нес меня поезд, а по искривленной, как поверхность Земли, бесконечной голубой дали неизвестного океана... на остров с павлинами.

Проснулся я... все в той же «розовой» спальне, все на той же, застеленной розовым бельем, кровати из магазина ИКЕА, стоящей как египетский саркофаг в ее середине. Среди благовонных свечей, горшков с розами и орхидеями и разной высоты стеклянных шкафчиков, похожих на небо-скребы, с пестрыми фарфоровыми фигурками, драпированными зачем-то голландскими кружевами.

С трудом разлепил веки... заставил себя приподнять голову, чтобы посмотреть под дверь... проверить, видна ли полоска оранжевого света из коридора. Не видна. Значит Магдалена еще не пришла из магазина... и можно еще немного понежиться на шелковой простыне, под легким, ласкающим тело как морская пена, одеялом.

Закрыл глаза и попробовал отключиться. Не вышло. Мешала какая-то мысль.

Пришлось встать. Ноги не шли, еле до туалета доплелся. Уронил шесть янтарных капелек...

Забрался в душ. Брр... холодная вода никак не хотела становиться горячей. Мыть себя — не было сил. Решил отмокать под боковыми струями...

Вышел из душа, заглянул в кухню. Никого.

С трудом справился с кофейной машиной. Сел с чашечкой эспрессо в руках в кресло, посмотрел на черную волнующуюся жидкость. Вспомнил кошмар, приснившийся мне перед первой поездкой на море: я сижу на песчаной дуне, а в море поднимаются вертикальные темные волны высотой с двенадцатизэтажный дом... они грозят раздавить меня.

Долго наблюдал настенные часы без стрелок, но с вращающимися циферблатами и со знаками Зодиака вместо цифр. Не мог понять, что они показывают. Понял. Около восьми вечера в доме Сатурна. Венера в Водолее.

Смог наконец сформулировать мучающую меня мысль.

— Магдалены уже три часа нет дома. Куда она делась? На Венеру улетела? Пропала?

Позвонил ей по мобильному телефону. Не ответила.

Выглянул в окно — машина на месте.

Начал размышлять.

Магазин Эдека — в пятидесяти метрах от входа в подъезд. Магдалена должна была вернуться домой через четверть часа. Или через двадцать минут. Эдека не музей, а дискаунтер. Смотреть там не на что, гулять по нему бессмысленно. Заходим мы туда редко, только если соль кончилась. Продукты мы обычно покупаем в био-супермаркете, но он от нас далеко, надо на машине ехать... ветровое стекло от наледи чистить... колесо менять. Но машина... вон... как стояла, так и стоит на стоянке, значит...

Знакомых повстречала, пошла с ними в кафе? Тогда бы позвонила. Магдалена добра и заботлива, не то, что я.

На обратном пути, с сумкой, остановилась с соседкой поболтать?

На улице холодно. Дождь со снегом. В квартиру к соседке она ни за что бы не пошла с тяжелой сумкой, я ее знаю. Значит болтает в подъезде... Проверим.

Открыл входную дверь и наострил уши. Тихо в подъезде. Только ветер воет, и дождь стучит по стеклу.

Где ее лешие носят?

Пропала?

Мысль эта почему-то принесла с собой не только беспокойство и тревогу, но и наслаждение... Надежду на что-то не-

сбыточное, прекрасное. Даже образ этой новой, чудесной жизни без Магдалены пронесся перед глазами, помахивая кудряшками и длинными фланелевыми рукавами.

За пять лет знакомства Магдалена ничего кроме радости мне не принесла... почти ничего...почему же ты... что мы такое...

...

Позвонил ее родителям в Чопау. Мать Магдалены проворчала: «У нас ее не было уже недели три. Вечно занята... а мы с отцом стареем, скоро на погост... Нет, и не звонила».

Куда еще позвонить?

Нашел в записной книжке Магдалены телефон зимнего лагеря, куда сегодня утром уехали два ее сына-оболтуса. Дозвонился, поговорил с замначальника. Тот не поленился, сходил в спортзал, к сыновьям... нет, они маму не видели, по телефону с ней говорили еще днем, сообщили о приезде. Нет, больше не звонила.

Попросил об исчезновении Магдалены ее сыновьям пока не говорить. Мало ли что. Вдруг она появится через пять минут... Возникнет из ничего как элементарная частица.

Куда еще обратиться? Ну да, на ее работу, в адвокатскую контору. На всякий случай. Возможно, ее срочно вызвали какой-нибудь конфликт улаживать... Магдалена — человек обязательный, и ее шеф любит спихивать на нее сложные дела. Несколько раз ночью будил.

— Любезная госпожа Ц., прошу вас срочно вмешаться... вы, с вашим тактом и умом...

Ответил автоответчик: «Вы позвонили не в наши рабочие часы... прошу вас связаться с нами завтра с одиннадцати до часу».

Хорошо устроились. Шефа беспокоить не стал, постеснялся. Старый, мстительный и трусливый... Ответит вежливо, а потом исподтишка отомстит Магдалене. Бывало уже.

Начать подружек обзванивать? Всех?

Одной все-таки позвонил. Той, которую хорошо знал.

— Что тебе надо?

— Ничего. Магдалена случайно не у тебя? У тебя вечно сборища... по вечерам.

— Раньше тебе это нравилось.

— Раньше было раньше. Магдалена не у тебя?

— Какие мы заботливые! Не узнаю тебя... Что ты в ней нашел? Она что, тебя купила?

— Ах ты дрянь!

— А ты — похотливый, лживый и гнусный кобель. Готовый лечь хоть на прокаженную, лишь бы дала.

— Именно такой... если на тебя ложился. Магдалены нет у тебя?

— Нет. Ищи свою суку на помойке, у Томаса. У него кажется свежая отравка из Амстердама.

Позвонил Томасу.

— Магдалена у тебя?

— Это кто, твоя адвокатесса? Какая у нее фигура? Не могу различать лица, прости... Приезжай, у меня тут полгорода... завинтим по полной...

Чертов торчок!

...

В одиннадцать ночи позвонил в полицию. Хоть и полагал, что они мой звонок серьезно не воспримут...

Так и вышло. Усталый мент заявил, что не понимает, что мне от него нужно... Скотина! Ужасно неохота было идти в полицию под дождем и снегом. Но я пошел. Город наш не большой, около половины двенадцатого был на месте.

Саксонская полиция — место негостеприимное, а для бывшего иностранца — даже опасное. Могут унижить, оскорбить или засадить на несколько дней, если в чем-нибудь заподозрят. Мне долго не открывали. Затем все-таки смиловались, впустили...

Сказал дежурному на входе, что женщина около пяти ушла в магазин рядом с домом и до сих пор ее нет. Он посмотрел на меня как на дохлую собаку и отправил в комнату 34...

Поднялся по широкой лестнице на третий этаж (где-то был лифт, но я его и искать не стал), нашел комнату 34. Постучал. Никто мне не ответил. Дверь была заперта. Сел на длинную деревянную скамью, стоящую тут видимо еще со времен кайзера Вильгельма. Погрустил. Мысли как капель-

ки падали на kloкочущее дно сознания и не могли подняться оттуда даже паром. Минут через пять появилась полицейская дама в униформе.

Пригласила в кабинет. Предложила сесть.

Я, как мог просто и кратко, изложил дело. Полицейская слушала меня без энтузиазма. Попросила показать паспорт. Сделала с него фотокопию. Что-то на ней написала.

Спросила: «Эта Магдалена Ц., она что, ваша жена?»

— Нет, но мы встречаемся уже больше пяти лет.

— Она ваша сожительница?

— Нет, только любовница, но мне не хотелось бы так ее называть.

— Госпожа Ц. замужем?

— Насколько я знаю, в разводе.

— У госпожи Ц. есть автомобиль? Где он? Номер помните?

— Стоит там, где и стоял, на платной парковке рядом полгорода с домом. Меган. Я проверил. У него уже неделя как спущена шина. Номер такой...

— Ее мобильник не отвечает? Позвоните для контроля прямо сейчас.

Позвонил. Никто не ответил.

— Госпожа Ц. трудоустроена?

— Да, она адвокат...

— На работу ей звонили?

— Никто не подходит.

— Номер ее мобильного телефона продиктуйте пожалуйста. И ваш тоже. И номер телефона ее начальника, если знаете.

Я продиктовал ей все, что она просила, она записала и ушла из комнаты. Через десять минут появилась.

— Мы вас проверили. Вы действительно находились последние девять часов на Глокенштрассе, а затем пришли сюда. А ваша дама около пяти покинула квартиру... Хм... Мы установили, где находится ее мобильник. Но сообщать вам подобную информацию не имеем права. Кто кроме нее живет в квартире?



— Два сына-подростка, но они в зимнем лагере. Я туда звонил около восьми, проверил, не поехала ли она туда. Она очень беспокоится.

— Где находится этот лагерь?

— В зоне отдыха, недалеко от замка Грабштайн, на озере.

— Ага... А где вы сами живете? По месту прописки?

— Да, в своей квартире, в доме на той же улице, мы соседи.

— Очень удобно. Почему вы собственно решили, что госпожа Ц. пропала? Ей что, грозили? Она склонна к суициду? Тяжело больна? У нее провалы в памяти? Может быть, кто-то ее шантажировал? Вы полагаете, ее похитили? Или она просто к подруге поехала? На такси. К другому мужчине? Или у нее есть какое-то, требующее абсолютной дискретности дело, она же адвокат... пришлось срочно вмешаться или... Мало ли что еще могло произойти? Вы ей не муж, она перед вами отчитываться не должна. Зачем вы пришли к нам?

— Моя интуиция подсказывает мне, что она попала в беду... нуждается в помощи.

— Интуиция? Хорошо. Но мне нужны факты. Хоть что-нибудь... А у нас кроме вашей интуиции ничего нет. Вы родителям ее звонили?

— Разумеется. Ни слуху, ни духу. Понимаете, ее нет нигде уже шесть часов... Она хотела купить поесть и ужин приготовить... и пропала.

— Как это «нет нигде»? Не на Венеру же она улетела! Где-то она есть... Ну ладно, я верю, что у вас добрые намерения... Поэтому я вас и выслушиваю, трачу на вас свое время. Давайте поступим по закону. Вот бланк заявления. Вы его заполните и мне отдадите. Но если вы это сделаете, то первое, что мы сделаем — оповестим о пропаже госпожи Ц. ее родителей, детей, ее шефа, затем придем к госпоже Ц. в квартиру с обыском. А потом и к вам. Может быть, вы как-то причастны к ее исчезновению...

— Что вы говорите... Я беспокоюсь, пришел к вам за помощью, а вы меня уже подозреваете в чем-то нехорошем...

— Если бы я вас подозревала, вы бы уже в камере предварительного заключения сидели!

Полицейская посмотрела на меня почти с негодованием.

Тут я проявил слабость... сказал, что заявления подавать пока не буду, что приду завтра, если Магдалена не объявится.

А про себя решил, что больше сюда — ни ногой. Чтобы ни случилось. Пока не посадили.

Посещение полиции оставило у меня в животе такое ощущение, как будто я отравился шпротами.

...

Переночевал у себя. Всю ночь меня мучил кошмар.

Мне снилась Магдалена, тонущая в луже с розовой пеной. Я подаю ей руку, чтобы ее из трясины вытащить... а она вместо того, чтобы схватить меня за руку... кусает меня за палец и говорит: «Если бы ты знал, как ты мне противен... я люблю другого...»

А на ее голове — заячьи плейбойские уши, и она ими гадко поводит.

Я кричу: «Ты сука!»

А она скрывается в розовой пене.

Навсегда.

Утром зашел в квартиру Магдалены. Убрался в спальне. Вымыл посуду и подмел на кухне. Погрустил...

Позвонил в ее контору.

— Нет, госпожу Ц. вечером не вызывали. Сегодня ее нет, она взяла отпуск на неделю. Что-нибудь случилось? Соединить вас с шефом?

— Спасибо, все нормально. Не заслуживающее внимания недоразумение.

Странно, об отпуске этом она мне ничего не сказала.

Поплелся в полицию.

Ну да, да, зарекался не ходить... но пошел. А куда еще идти, если человек пропал? Пусть и с заячьими ушами. Может быть, они что-то выяснили. Или несчастная Магдалена в морге лежит...

И опять... вместо страха и траура — надежда в сердце.

Попросил дежурного направить меня в комнату 34. Не хотел все заново объяснять.

В комнате 34 меня ожидал незнакомый мне толстый полицейский. В руках он мусолил копию моего паспорта, нерезкую фотографию Магдалены и еще какие-то бумаги...

Уже дело завели.

Полицейский проговорил торжественно: «Хотите подать официальное заявление об исчезновении человека? Нет? Так я и думал. Час назад мы говорили с шефом адвокатской конторы, в которой работает ваша... знакомая. Она взяла отпуск... Затем мы еще раз проверили, где находится мобильный телефон госпожи Ц.. Хотя это и против наших правил, мы решили сообщить вам, где, если появитесь. В Чехии, в городке под названием «Гора святого Непомука, утопленника». Со вчерашнего дня. Вероятность того, что и госпожа Ц. где-то там — не велика, но есть. Если бы ее мобильник был украден, она бы возможно его уже заблокировала. Съездите туда. Захватите фотографию. И деньги. Если столкнетесь с трудностями — обратитесь в тамошнюю полицию. В критическом случае — звоните оттуда нам. Пока у нас нет оснований объявлять госпожу Ц. в официальный розыск. Да, кстати, согласно нашим данным, ни вчера, ни сегодня на территории Германии не был обнаружен женский труп, который хотя бы отдаленно напоминал вашу знакомую. И в больницы она не поступала. Это конечно ничего не значит, но для вас это должно быть важно».

Важно, важно...

...

Гора святого Непомука, утопленника? Поганый городок...

Всех немцев оттуда после войны мстительные чехи поганой метлой вымели. Проезжал это место несколько раз по пути в Прагу... средневековье... Одни бордели для восточных немцев.

И чего ее туда понесло?

На поезде туда не доедешь. Значит, ее кто-то туда отвез.

Похитил и увез? Не верится.

Но если она сама, добровольно... туда с кем-нибудь поехала, отдохнуть недельку от меня, от конторы, от города К., то зачем ты беспокоишься... не в свое дело лезешь? Есть у тебя на это право, вечно лезть в чужие дела?

Надо было узнать в полиции, не арендовала ли Магдалена вчера машину. Наверняка они проверили. Сказали бы... или нет?

Или они уже начали со мной какую-то гнусную игру?

У подружки машину попросила? Прокатиться. Поесть ее любимые кнедлики с тушеной говядиной... попить Празд-  
роя...

Или с какой-нибудь подружкой и покатила... или с дру-  
гом...

В Прагу... а по дороге мобильник выкинула... она на та-  
кое способна.

Чувствительная, игривая и романтическая, в интимной  
сфере — не без фортелей и выкрутасов... ненасытная... а там,  
в этой опущенной Чехии, наверняка есть и мужчины-  
проститутки... и юноши... и все, что пожелаешь.

О чем мы с ней вместе мечтали... в постели... вчера, пе-  
ред ее пропажей? О мальчике? Девочке? Зловещем японце?  
О жестокой игре с пленницами? Или о веселой забаве с со-  
бачками и лошадками?

Кажется, я обвязал синей бельевой веревкой ее большие  
груды... и ездил на ней верхом...

Забыл... в голове — одна розовая пена.

...

Машины у меня нет.

Пришлось просить моего друга Петера, компьютерного  
дизайнера, работавшего дома, свозить меня в Чехию. Вы-  
слушав мою историю, добрый Петер сразу согласился по-  
ехать.

— У меня запарка, но денек-два выкрою для хорошего  
дела.

Года три назад он, кажется, и сам был влюблен в Магда-  
лену... Но получил отказ. Так, по крайней мере, она мне рас-  
сказывала... А на самом деле... кто его знает, что у них там  
было. Не стал тогда копаться-разбираться. Мерзко. Хоть  
в этом проявил великодушие. Первый и последний раз  
в жизни.

Часов в одиннадцать тронулись.

Маршрут простой. Из города К. по дороге 174, через  
Чопау и Мариенберг.

Красивая дорога, почти до самой границы — подъем.  
Только из-за тумана не видно ни зги.

Петеров лексус с шестицилиндровым мотором, басовито урча, развивал на некоторых участках скорость в 240 километров в час. По заснеженной дороге, в гололед!

Я просил Петера ехать помедленнее. Он кивал, тащился мне назло со скоростью 30 километров в час, посмеивался в козлиную бородку, собирал за собой хвост разгневанных водителей, а потом, беззвучно хохоча, уходил от них на желтой скорости...

Несколько раз нас, впрочем, догоняли и обгоняли богачи на БМВ и порше... И делали нам ручкой. Петер бесился...

На границе — никакого контроля. Объединенная Европа.

...

Спустились с Рудных Гор.

Климат сразу изменился — потеплело. Снега тут не было.

На обочине дороги стали появляться проститутки. В цветастых шмотках и в красных сапогах до бедер.

Петер называл их вишенками...

И вот, въехали мы в эту самую Гору святого Непомука. Никаких гор там кстати нет.

Ну и местечко! Как будто Мамай прошел. И не раз.

Большинство домов — в аварийном состоянии, многие оставлены жителями. Стены как будто ободраны... Окна забиты досками, входные двери — замурованы, крыши провалились. Отремонтированы были только несколько борделей и ресторанов.

Людей на улицах нет... машин на парковках тоже.

Внутренний голос сразу шепнул мне: «Нет, ее тут нету. Уматывай отсюда...»

Петер видимо тоже что-то почувствовал. Сказал: «Дааа... городок... найти тут кого-нибудь невозможно, а вот потерять можно... или потеряться... как бы мой лексус не угнали... бывшие товарищи».

— Давай зайдем в ресторан... вон, видишь вывеску... как он называется? «На диком Западе». С красным фонарем и интимным клубом на втором этаже. Там спросим... я покажу фотографию...

— Если ее похитила мафия... для борделя... то нам недобровать.

— Куда хватил! Кто будет пятидесятилетнюю тетку похищать, когда у них тут целый вишневый сад из молодых красавиц... в очереди стоят за клиентами.

— Дело вкуса... Магдалена сексапильнее любой молодой дуры... Или... все это как-то связано с делом, которая она ведет?

— Ты, что в курсе ее дел?

— Катись ты... конечно нет.

...

Вошли в ресторан.

У бармена, выряженного ковбоем, было неприятное, изъеденное оспой лицо. Швейк... только уродливый, циничный и озлобленный. И в штанах из кожи.

У трех или четырех посетителей ресторана... очевидно аборигенов... лиц вообще не было. Только огромные руки шахтеров и скулы древних ящеров.

Бармен посмотрел на нас хмуро... предложил выпить...

Я показал ему фотографию Магдалены. Спросил по-немецки, не видел ли он ее тут, в городке, вчера или сегодня. Рассказал про мобильный телефон.

Бармен ответил по-чешски. Говорил громко и язвительно. Отмочил, видимо, скабрзную шутку о пропавшей женщине. Аборигены глухо смеялись в кулаки.

Я еще раз показал ему фото и спросил его по-английски:

— Видел ее?

— Сходи в «Поцелуй Клеопатры», может быть, там найдешь свою старуху.

Молчащий до сих пор, обычно миролюбивый, Петер внезапно прорычал:

— Отвечай на вопрос, чешская скотина, видел или нет!

Я заметил в его правой руке монтировку с раздвоенным концом, которую Петер начал грозно поднимать. Бармен осклабился грязно и выхватил из кобуры на поясе огромный револьвер. Направил его на Петера.

Я взял моего дружка за плечи и попытался подтолкнуть его к выходу. В это время прогрехотал выстрел... Как будто в черепе граната взорвалась.

Представил себе Петера, истекающего кровью. Бьющегося в агонии.

Но Петер кровью не истекал, в агонии не бился.

Он стоял и недоуменно глядел на бармена. Нервно поглаживал монтировку.

А бармен неожиданного превратился из злого Швейка в Швейка доброго, но юродивого, и начал противно хохотать, обнажив нездоровые десны... показал нам свой револьвер... он был игрушечным, и стрелял пистонами.

Как мило!

Петер хотел врезать бармену по роже монтировкой, но я мягко его остановил... Потому что не хотел начинать поиски Магдалены с драки... да и аборигены многозначительно приподнялись со своих мест и угрюмо смотрели на нас глазами енотов.

— Не надо... не стоит мстить этому мудаку. Сам видишь, они тут в провинции поросли мхом и одичали... развлекаются как умеют.

Петер успокоился, позволил отобрать у себя свое оружие.

Мы выпили по стопочке холодной Бехеровки, запили ее светлым пивом, закусили ломтиками ананаса.

Швейк сказал на плохом немецком:

— Зайдите, зайдите в «Поцелуй Клеопатры». Там шеф — Марек, мой кузен, он хороший парень... с ним можно говорить... Он знает все, что происходит в городке. Если Марек скажет, что она сюда не приезжала, то не трудитесь и искать...

По выражению лица Петера я понял, что он не верит ни одному слову бармена.

Сам я не знал, что думать, что чувствовать. В голове у меня шумело от Бехеровки, а на душе полегло. Даже искать Магдалену расхотелось. Может быть, она уже — безгласный труп. Зачем же хлопотать, людей тревожить?

Ужасно хотелось выпить. Долго уговаривать Петера не пришлось. Мы выпили еще по четыре стопки Бехеровки и съели целый ананас. Ликер запивали пивом. Петер заказал местный грибной суп с картофелем.

Бармен, лыбясь и жестикулируя, уговаривал нас пойти «наверх, к девочкам, в сауну».

Скабречно улыбался, внушал, что «настоящие ковбои должны вовремя менять лошадей»...

Показывал нам свой товар. Вишенки его в черных чулочках застенчиво улыбались и просили оплатить им выпивку. Некоторым из них явно не исполнилось шестнадцать.

Я еще контролировал себя... дал четверем или пяти девушкам по десятке и показал им фотографию Магдалены.

— Нет, мы не видели эту женщину. Зачем тебе эта выдра, посмотри на нас...

Петер денег девушкам не давал, но я видел, как сверкали его маленькие серые глазки, когда он на них смотрел... иногда он поднимался со стула, подходил к окну, отдергивал тяжелую занавеску и проверял, не угнали ли «эти скоты» его автомобиль.

После восьмой стопки мир вдруг прояснился.

Искать никого не надо было, все были на месте. Я забыл, как выглядит лицо моей любимой. Любил ли я ее? Понимал ли?

Что за инфантильная постановка вопроса. Любил, не любил, понимал, не понимал...

Никто никого не понимает.

Я не подросток... отстаньте...

Магдалена — я чувствую это — холодный труп, а я еще живой. И вообще, зачем мне эта мертвая выдра?

У меня на коленях прочно обосновалась худенькая красавица... как же звали? Не помню...

Я целовал ее смуглое ушко с серебряной сережкой, избражавшей бабочку, а она все повторяла: «Пойдем наверх, папочка, я покажу тебе Луну и звезды в мой телескоп. Знаешь, где у меня телескоп?»

Она брала меня за руку и совала мой указательный палец себе в...

Волосы на ее лобке еще не выросли.

Хотел было подняться с ней наверх... но тут кто-то дал мне пощечину...

Я дернулся... смуглая красавица соскочила у меня с колен и убежала. Кто-то грубо плеснул холодным пивом мне в лицо. Это был Петер.



Он сказал: «Извини, старина, но иначе тебя было невозможно оторвать от этой маленькой шлюшки... Да, проверь-ка портмоне... На месте? ОК, пойдём... Сходим в этот херов «Поцелуй», поговорим там, а потом делай, что хочешь... Проклятая Бехеровка... Что-то этот гондон в нее наметал».

...

Вышли на улицу. Помочились на стену ресторана. Под холодной Луной. При свете звезд...

Потащились в «Поцелуй».

Хозяин борделя, маленький, чернявый, в немыслимом лапсердаке и черной ермолке с нитками, падающими на виски... то ли цыган, то ли еврей, встретил нас на улице. Видимо, бармен позвонил ему, предупредил о нашем приходе.

Радужно пригласил нас войти в дом через потайную дверку, провел узеньким коридором с цветными лампочками и непристойными фотографиями на стенах в крохотный кабинет с большим портретом Элвиса Пресли в сверкающем фальшивыми бриллиантами белом костюме на стене.

Расселись. Я показал Мареку фотографию Магдалены...

Он повертел ее в руках, а затем начал быстро-быстро говорить, кивать головой и отчаянно жестикулировать. Ниточки на его ермолке мотались туда-сюда.

Его английский был ужасен. Я плохо его понимал...

Петер хмурился...

Минут через десять Петер прошептал мне: «Он Магдалену тут не видел и гарантирует, что ее в городке нет и не было... настаивает на том, чтобы мы заплатили ему 100 евро... не понял, за что. Темнит и пугает... все время упоминает какой-то взрыв...»

— Черт с ним, заплатим. Если мы этого не сделаем, будем после думать, что не все сделали, чтобы Магдалену найти.

Петер подумал, кивнул.

Я вынул из бумажника новенькую зелененькую сотню и подал ее Мареку. Тот принял деньги так, как принимают причастие истово верующие неофиты. И тут же ушел куда-то.

Вернулся через минуту и положил на стол... Магдаленов мобильник.

Небольшой, овальный, изящный. Сиреневый. Я его тут же узнал.

Марек пояснил: «Проезжие цыгане продали мне вчера эту игрушку. Говорили, что нашли ее по эту сторону границы. Но где, когда не сказали. Клянусь Богом, это очень-очень горячо!»

Больше ничего мы из Марека не выпытали, как ни пытались.

Марек божился, что Магдалены в городке нет, жестикулировал и бил себя худеньким кулачком по впалой груди. На прощание предложил нам выпить по стопочке какой-то особой, красной как томатной сок Бехеровки. Подмигивал, уверял, что эта жидкость — душа Чехии.

Мы выпили, забрали телефон и ушли.

Залезли в Петеров лексус.

Я включил мобильник Магдалены. Просмотрел протокол звонков. Обнаружил следы своих попыток дозвониться до моей любимой, звонки из полиции...

Магдалена вчера звонила по этому телефону только один раз — в зимний лагерь. В полдень. Сегодня не звонила никому.

Воры тоже никуда не звонили, видимо боялись, что их тут же вычислят.

Я сказал Петеру: «Слушай, получается... у Магдалены телефон сперли, а она его не заблокировала. Странно».

— Может, и не заметила пропажу. Или не до того было. Возможно все. Надо поискать автомобили с номерами нашего города.

— Пойдем в полицию?

— Закрыта небось... уже поздно...

— Что будем делать?

— Надо где-то переночевать...

— Где?

— Поищем гостиницу.

...

Медленно-медленно поехали по улицам «Горы святого Непомука». Как назло, на городок спустился густой туман. Почти ничего не было видно. Петер включил желтые фары.

В таком освещении убогие домишки представлялись брустверами и крепостными валами неизвестной крепости на вершине горы... Крепости, которую нам с Петером непременно нужно было найти.

Плутали, плутали...

Почти одновременно поняли, что не нужно нам было пить эту красную жидкость, эту проклятую «душу Чехии». Что-то было в ней не то. Даже очень не то.

Чем дальше мы плутали по улочкам «Горы», тем фантастичнее нам представлялась архитектура городка. Могу поклясться, я несколько раз видел жутковатый, похожий на огромного краба, силуэт «Святой Софии» в Стамбуле... Петеру чудился кёльнский собор (он был родом из Кёльна)...

Мне стало казаться, что в машине едет третий человек. Посмотрел на заднее сидение лексуса. В полупрозрачном куске мыла величиной с ванну находилась... нагая человеческая фигура. Это была Магдалена!

Я слышал, как ее мертвые фиолетовые губы шептали: «Зачем ты убил меня?»

Спросил Петера: «Ты слышишь ее шепот... шепот Магдалены?»

— Нет, со мной говорит моя мертвая мать. Просит вырыть ее из могилы. Говорит, что так соскучилась... я сейчас сойду с ума.

Заиграла музыка. Что-то японское.

Темные окна домов неожиданно осветились загадочным красноватым цветом. Во всех них были выставлены детские игрушки... куколки... машинки... Они были подсвечены изнутри...

В некоторых окнах, как в витринах, сидели маленькие дети... Они вздымали ручки и манили нас к себе.

Я сказал: «Ты видишь игрушки и деток?»

— Вижу.

— Хочешь?

— Хочу.

...

Не знаю, как... но мы вернулись в «Поцелуй Клеопатры».

Искали потайную дверь, но не нашли. Вошли в розовые ворота, попали в прихожую с огромной неоновой скульптурой на стене (из светящихся трубочек были слеплены довольно противные срамные губы... наверное все той же египетской царицы). Там, на покрытом парчой троне сидела женщина в голубоватом платье с немыслимым разрезом на жирной лоснящейся спине. На голове ее сверкала алмазная корона. Женщина пахла дорогими духами. На ногах ее были хрустальные туфельки на невероятно высоких каблуках.

— А где Марек?

— Пардон? Нет тут никакого Марека.

— Как нет, мы тут с ним полчаса назад разговаривали... в кабинете где Пресли... нам сказали, что он тут шеф. Он поил нас «душой Чехии»...

— Души у Чехии нет, уверяю вас, только тело. А шеф тут только я. Меня зовут госпожа Клеопатра, и я — хозяйка заведения. Добро пожаловать в рай, милые мальчики!

— Ааа...

— Проходите, господа, проходите скорее, в салон. Вы сегодня — единственные наши гости, мы ждали вас, мы не заставим вас жалеть, что вы пришли сюда... Скажите мне только одно, чтобы потом недоразумений не было — Клеопатра раскрыла свои огромные глаза и наострила мясистые уши, похожие на биде, — сколько вы хотите тут потратить... Мы хотели бы угостить вас особенными, свежими сладостями. Но это дорого, как и все прекрасное.

Клеопатра многозначительно помахала у меня перед носом раздетой детской куколкой.

Я не понял ее намеков... но в глазах быстрее меня соображающего Петера заметил волчий интерес... ответил Клеопатре за себя и за него... деньги у меня тогда еще водились.

Госпожа Клеопатра удовлетворенно кивнула.

Мы прошли в салон. Там нестерпимо пахло чем-то сладким. Пороком?

На стенах и на потолке сияли, иногда подмигивая, срамные неоновые губы. Красные, оранжевые, сиреневые... Штук сорок. Разных размеров.

Меня это испугало, а Петеру даже понравилось. Он процедил: «Этот монструозный гротеск, этот электрический

секс-шок так интенсивен, он... как бы преодолевает саму вульгарность и становится объектом современного искусства. Неоновые трубки холодны и ядовиты... но заряжены особой энергией...»

Петер любил пофилософствовать.

Госпожа Клеопатра хлопнула в ладоши и закричала неожиданно звонко: «Девочки, Хана, Лола, быстро сюда... и маленьких красавиц зовите, гости заждались...»

...

В салон вбежали несколько молодых проституток в бикини... за ними, явно стесняясь, вошли четыре голенькие бо-соногие девочки лет пяти-шести с заячьими ушками на опрятных головках.

Петер схватил одну из девочек, поднял ее и впился жадным поцелуем в ее алый ротик...

\* \* \*

Около пяти Магдалена спустилась с четвертого этажа на лифте, в огромном зеркале которого было так удобно контролировать макияж и одежду, вышла на скользкую, заснеженную улицу и уже через несколько секунд впорхнула в Эдеку, обдавшую ее чувствительный саксонский нос целой гаммой запахов, некоторые из которых ей не понравились.

Магдалена поморщилась и начала искать бананы... не слишком спелые, не слишком незрелые, еще не желтые, но уже не зеленые...

Скептически осмотрела испанскую клубнику и голландские помидоры...

Положила в корзину пачку нежирного творога... кулек с изюмом... упаковку красной рыбы... и небольшую бутылочку яичного ликера.

И тут почувствовала спиной... что кто-то внимательно на нее смотрит.

Ей показалось, что взгляд этот прожигает в ней дыру. И тут же вспомнила, чей взгляд... единственный... был на это способен. Сердце ее упало и затрепетало. Она обернулась... и глазам своим не поверила...

Да, это был он... называвший себя в то далекое, баснословное время, Хосе Мартинесом. Все такой же высокий, стройный, подтянутый... только седой, с небольшими залысинами... и все с той же обворожительной «улыбкой гринго» на узком, породистом лице конкистадора.

Он? Действительно он? Вернулся с того света? Сколько лет прошло?

Нашла в себе силы взять себя в руки. Пошла к нему на встречу... как будто на цыпочках... но поскользнулась... и упала бы на пол, если бы он в последний момент не подхватил ее и не поставил на ноги.

Шептала: «Ты? Ты? Милый, родной, любимый...»

Он не отвечал ей, только гладил ее по голове и вытирал красивыми пальцами с ухоженными ногтями ее слезы...

...

Бросили тележку с продуктами в Эдеке...

Через десять минут сидели напротив друг друга за небольшим столиком с синеватой лампой в одном из центральных ресторанов города...

Магдалена не могла есть, только жадно смотрела на него... и пила белое вино маленькими глотками...

Она все еще не сумела осознать то, что исчезнувший двадцать три года назад в никарагуанских джунглях человек... самый-самый любимый... ненаглядный... ни с кем не сравнимый... тот, ради которого она была способна бросить детей, мужа и этого, нынешнего... русского, предать родину или кинуться в обрыв над речкой ее родного города, по краю которого они когда-то так любили прохаживаться... вернулся.

Вернулся к ней!

Что жизнь опять стала жизнью, а не последовательностью похожих друг на друга, как вызывающие изжогу апельсины из Эдеки, дней.

Что он тут, рядом, и она опять может смотреть в его прекрасные голубые глаза, слушать его теплый баритон и прижиматься щекой к его груди.

Как же это чудесно, что он не погиб тогда, не сгинул в этой бессмысленной бойне...

Хосе, не спеша, расправлялся с фрикасе из телятины с спаржей.

Он тоже был взволнован и рад... но, если бы Магдалена была в состоянии присмотреться к его лицу, она наверняка бы заметила лишние, недобрые тени на его висках и морщинки озабоченности на его лбу и в углах губ... поняла бы, что этому человеку что-то от нее надо. Не близости... нет, чего-то другого... И он мучается, потому что не знает, как наконец... перейти от всхлипов и восклицаний к делу, ради которого он и появился тут, в восточногерманском захолустье...

Скромность мешает мне описывать то, что происходило в следующие два часа между бывшими любовниками... но как раз в то время, когда наш уважаемый рассказчик пил свое эспresso, вспоминал свой сон про волны, размышлял и строил версии пропажи Магдалены... голые и потные Магдалена и Хосе лежали, обнявшись, в уютном номере роскошного отеля в центре города К. и Хосе, с успехом удовлетворивший свое и ее страстные желания, настойчивым шепотом объяснял Магдалене, что же он от нее на самом деле хочет...

Она же, еще дрожащая и млеющая, плохо понимающая его слова... твердила механически: «Да, да, да, я поняла, я сделаю, я поеду, передам пакет...»

...

Все необходимые дела Хосе завершил еще до их прихода в отель.

Тяжелый пакет, который ни в коем случае не должен был находиться в его машине, вообще рядом с ним, был приготовлен двумя его сообщниками.

Мобильный телефон Магдалены Хосе потихоньку передал третьему сообщнику, едущему в Прагу. Он должен был его оставить в каком-нибудь населенном пункте на чешской территории, на видном месте.

Еще из ресторана Магдалена позвонила по тамошнему телефону секретарше своего шефа, с которой имела особые, доверительные, почти интимные отношения, и ласково попросила ее задним числом оформить ей отпуск на неделю, что та и сделала, рано утром следующего дня.

В кармане Хосе лежал билет на ночной чартерный рейс в Катманду... Его физическое присутствие в Германии могло только навредить проекту. Потому что он уже много лет находился в розыске. Как террорист и убийца. И приехал сюда всего на несколько дней, по подложным документам, сбрив усы, изменив прическу и слегка подтянув кожу на лице.

...

Прощаясь с Хосе... Магдалена плакала, а Хосе... пытли-во смотрел ей в глаза и пытался понять, сделает ли она то, что он задумал.

В то время, когда Магдалена с пакетом в багажнике старенького пежо проезжала на автобане Лейпциг, наш рассказчик разговаривал с женщиной-полицейским в комнате 34.

Пежо Хосе угнал еще до встречи со своей бывшей возлюбленной... со стоянки, на которой машина стояла уже несколько недель... или лет... Заправил, сменил номера и оставил автомобиль на парковке отеля, в котором позже провел несколько сладких часов с Магдаленой.

Магдалена все еще не понимала, что делает... в какую трясину затянул ее Хосе. Цинично используя ее любовь...

Не понимала, что едет на краденой машине... что везет в багажнике мощную радиоуправляемую бомбу.

Поела и поспала несколько часов в машине в пригороде Гамбурга...

А около одиннадцати часов дня припарковалась недалеко от терминала Танго, в условленном месте, рядом с большим декоративным камнем.

К ней тут же подошли три молчаливых человека южного типа и забрали пакет из ее багажника. Положили его в аэропортовскую тележку и увезли.

После этого Магдалена, в точном соответствии с инструкцией, данной ей Хосе, запарковала машину в подземном гараже. И стала там, под землей, ждать своего воскресшего друга, который в это время уже подлетал к Катманду, чтобы вместе с ним улететь на остров в Карибском море...

Не хочу тянуть и потчевать читателя ненужными подробностями.



Магдалена не дождалась Хосе... ее труп с перерезанным горлом был найден в подсобном помещении рядом с гаражом. За час до этого в аэропорту прогремел взрыв, унесший жизни чуть ли не ста шестидесяти человек. Террорист-смертник привел в действие адскую машину в самом многолюдном месте четвертого терминала гамбургского аэропорта.

Труп Магдалены был обнаружен в то время, когда полиция прочесывала аэропорт в поисках других взрывных устройств террористов.

Полиция города К. довольно быстро отождествила убитую в Гамбурге женщину с той, которую искал этот нелепый русский эмигрант. Русского пытались найти, но безуспешно. Позже полицейские выяснили, что Антон и его друг Петер уехали в день взрыва в Чехию... где и исчезли бесследно после посещения бара и борделя в городке «Гора святого Непомука».

Через три недели они оба, впрочем, появились в городе К. Все это время они кочевали по притонам северо-восточной Чехии. Пили и блудили.

Потом у них деньги кончились.

## КОЛОМБО

Эта скверная история произошла с моим коллегой, художником, господином Зюссом, незаметным и тихим человеком, знатоком и собирателем старой немецкой графики и любителем природы Рудных гор.

Внешне Зюсс был так похож на актера Питера Фалька, исполнителя роли Коломбо, что его все и за глаза и в лицо звали Коломбо. И он на это не обижался. Как известно, Питер Фальк потерял еще в юности правый глаз и носил протез, а наш Коломбо был от рождения слегка косоглазым, что еще больше усиливало сходство с прославленным разоблачителем богатых и влиятельных убийц. Только характер у Зюсса был не такой, как у Коломбо, помягче, да и шевелюра подвела. Он был слегка лысоват, но фигура, черты лица, крабья походка... Даже его дурацкий автомобиль неизвестной мне марки напоминал машину киношного Коломбо — кабриолет Пежо пятидесятых годов.

Познакомился я с Зюссом на одном из ежегодных собраний саксонского Союза художников, дежурно скучном мероприятии не только в проклятом прошлом, на родине, за железным занавесом, но и в свободном мире. Во время мучительно долго длящегося финансового отчета нашего председателя Коломбо листал знакомую мне книгу Хартмута Бёме, посвященную критике различных интерпретаций знаменитой гравюры Дюрера «Меланхолия». После окончания доклада я подошел к нему и спросил, что он обо всем этом думает. Он сказал: «Тогда, в начале шестнадцатого века эта гравюра не вызывала вопросов даже у дураков, а сейчас умнейшие головы не могут понять, что же на ней изображено и что все это значит. Магический квадрат, полиэдр, ангелок, поддувало... Главная загадка “Меланхолии” именно в этом непонимании. В нас, а не в ней самой. Никакого тайного смысла эта гравюра не имеет».

Ответ этот мне очень понравился... мы разговорились.

Коломбо пригласил меня к себе в мастерскую, посмотреть его работы и коллекцию старинной графики. Я согласился. Сходил к нему, поллюбовался на его цветастые ландшафты... на мой иронический вопрос — где же он видел подобные виды, не на Занзибаре ли, Коломбо не ответил, только смущенно потупился. Пригласил его к себе.

Друзьями мы так и не стали, но время от времени встречались на различных выставках и изредка перезванивались.

И вот, некоторое время назад наши общие знакомые сообщили мне, что Зюсс задержан полицией. Идет расследование. Обвинялся он вроде бы в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней. А затем мне позвонил его адвокат, вальяжный циник, богач и известный в нашем кругу любитель современной графики, перед которым художники, внешне сохраняя маску недоступности и благородства, откровенно заискивали. Он попросил меня встретиться с ним и поговорить о задержанном, который «пребывает в крайне удрученном состоянии и нуждается в поддержке коллег».

Мы встретились в нашем артистическом кафе, украшенном африканской пластикой. Сидели за столиком под двумя огромными носорогами.

— Неужели он не может отбиться от такого абсурдного обвинения? Он скромный и порядочный человек!

— К сожалению, его обвинение переквалифицировали на более тяжкое — изнасилование и убийство малолетней, — с непонятным мне удовлетворением объяснил адвокат, нежно поглаживая рукав пиджака своего дорогого английского костюма из голубоватой шерсти, и добавил всезнающе, — может быть, вам удастся уговорить его рассказать следствию правду и показать, где он спрятал тело потерпевшей. Это упростило бы процесс и настроило бы суд на смягчение приговора. А если он и дальше будет заперяться, твердить, что он невиновен и болтать на допросах всякую чушь — получит пожизненное, и я ничего для него не смогу сделать. Даже на его психическую лабильность не смогу опереться в защите... Потому что экспертиза сочла его дееспособным и отвечающим за свои действия.

— Вы так уверены, что он виновен?

— Я ни в чем никогда не уверен. Я трезво оцениваю шансы на защиту. Господин Зюсс не идет на контакт. Он обиделся на весь мир и забаррикадировался. У него нет ни алиби, ни хоть каких-нибудь доказательств того, что он не совершал преступления.

— Я думал, это не его забота, что следствие должно доказать его вину... а не он сам — свою невиновность.

— Формально это так, на деле — никому неохота разбираться в этой темной истории. Марать руки в детском окровавленном белье, испачканном чьей-то спермой. У следователя есть на руках улики... убедительные улики. Есть мотив — педофилия. Они проверили — ваш скромный и порядочный Коломбо не раз наслаждался в интернете детской порнографией. Другие участницы кружка подтвердили, что Зюсс часто обнимал предполагаемую жертву руками и уносил ее из студии, где они рисовали. Девочка пропала между двумя и тремя часами. А ваш дружок объявился в галерее — около восьми. Где же он всю вторую половину дня торчал? Прокурору есть на чем построить обвинение. А у меня нет ничего, кроме его рассказней про то, что он потерял сознание в галерее, а очнулся на горе.

— А что если предполагаемая жертва жива?

— Это было бы чудесно. Ваш друг должен как-то помочь ее найти... хотя бы указать возможные направления поиска... дети болтают, когда рисуют... может быть, она рассказывала подружкам, что хочет сбежать из дома... из такого дома я бы тоже сбежал, отца нет, мать инвалид и алкоголичка живет с каким-то арабом, приторговывающим наркотой... уехать в Индию или пожить в подвале у дружка... хоть что-нибудь... а так... полицейские ее по-настоящему и не искали. А в машине вашего скромняги нашли кровь... ее кровь. Куда он ее увез, где зарыл? Или в заброшенную шахту бросил? Он их всех наперечёт знает.

— Ужасы какие!

— Именно.

...

На следующий день я отправился в построенную еще до войны тюрьму города К., которую до сих пор видел только из окна Административного суда западной Саксонии. Там мне пришлось заверять документы для продажи моей ленин-

градской квартиры. Мрачное здание с маленькими зарешеченными окошками и небольшая, поросшая травкой, площадка для прогулок. Тюрьма была окружена тремя стенами, металлической, каменной и еще одной металлической... на них потенциальных беглецов ждали оголенные электропровода и густые заросли колючей проволоки.

В окошках маячили угрюмые лица заключенных. Некоторые странно гримасничали и как будто кричали, но никакие звуки не доносились из мертвого дома.

...

Адвокат провел меня в тюремную пристройку... угрюмое двухэтажное здание без окон. Мы прошли по полутемным коридорам, напомнившим мне подвалы психиатрических клиник из фильмов ужасов, неприветливые охранники закрыли за нами несколько стальных зарешеченных дверей... как же они скрежетали и лязгали!

Вошли в унылую комнату, стены которой были выкрашены бледно-зеленой краской. Окна не было, вместо него на стене висело треснувшее зеркало в безвкусной рамке. Старое, пожелтевшее местами и как будто кривое. В середине комнаты стоял простой стол с тремя стульями.

Сели. Молча ждали. Наконец ввели несчастного Коломбо. Выглядел он неважно... руки тряслись, глаза бегали как мыши. Руки — в наручниках. Адвокат попросил сопровождающего его охранника в зеленой униформе снять с него наручники. Тот отказался. Адвокат не расстроился, произнес нараспев несколько общих успокоительных фраз, похлопал Зюсса по плечу, пожелал нам хорошего дня, оттряхнул пыль с рукавов пиджака, сверкнул глазами и энергично удалился.

Охранник сказал мне, что свидание не может длиться дольше часа, и ушел. Дверь за собой закрыл на ключ. Тяжелую железную дверь, тоже выкрашенную в бледно-зеленый цвет.

...

Мы сидели напротив друг друга. Коломбо обреченно смотрел в пол то выпучивая, то зажмуривая глаза, я заметил, что у него дрожат руки и губы.

Я был растерян, потому что не знал, как можно поддерживать коллегу, обвиняемого в изнасиловании и убийстве ребенка.

Проклятая комната наводила тоску. В зеркале мелькали чьи-то деформированные лица. Похожие на портреты Кошки и Дикса. Неужели это я или Зюсс?

— Тебя что, тут пытаются?

— Нет, нет, что ты... Просто на меня все это действует удручающе... тюрьма, камера, одиночество. И обвинение. Я потихоньку теряю себя. Привычная реальность, мой живописный «занзибар», ускользнула. Я не могу мечтать. Если я закрываю глаза, вижу перед собой всю ту же камеру. Грязные стены, исписанные заключенными, зарешеченное окно, которое нельзя открыть, железную койку и унитаза. Это теперь мой мир. Это теперь я.

Голос у него был такой, как будто он его несколько часов назад сорвал в крике... Коломбо громко шептал, то и дело запинаясь, кашляя и судорожно всхлипывая.

— Я позвал тебя, потому что... мне никто не верит. Адвокат, следователи, прокурор... Скоро я и сам перестану верить себе. Даже друзья... все отвернулись... все осуждают... раз задержан — значит виноват. А ты — я чувствую... ты поверишь.

— Давай, друг. Говори. Я затем сюда и пришел, чтобы ты смог выговориться.

— Спасибо. Помнишь, я тебе с полгода назад рассказывал, что мне дали место в галерее Л.? Временный контракт. Там выставки, а с часу до пяти в студии при галерее — детский художественный кружок. Дети приходят обычно полвторого. А уходят полпятого. Рисуют, клеят, лепят...

Директор галереи, Андреас, ты его знаешь, ужасный придира и педант, провел со мной инструктаж. Самое главное, говорил, соблюдай правило: «Ни при каких обстоятельствах не дотрагиваться до ребенка. Это — табу. Даже если хочешь показать, как нарисовать цветок — не бери ребенка за руку. Не гладь по головке. Не хлопай по плечу. Упаси бог дотронуться до груди, лобка или попки. Помни, жильцы соседних домов и прохожие смотрят через окна на то, что у нас происходит, завидуют, злятся, сплетничают, фотографируют и постоянно пишут на нас доносы. Этим тупицам мерзко само наше существование. Тебя посадят, меня оштрафуют, а галерею закроют».

Я обещал Андреасу, что никогда не прикаснусь ни к одному ребенку.

Детей обычно приходило немного — от трех до десяти. Шумели они жутко... но что поделаешь... дети. Восьми, девяти и десятилетние девочки. Исключением была одна Линда, ей было то ли двенадцать, то ли тринадцать. Длинная как жердь, костлявая, сильная, властная и наглая. Из-за нее я тут.

— Она?

— Да... она. Поверь мне, я ее не насиловал и не убивал. Разве я на такое способен? Даже в мечтах такого никогда не делал. Эта Линда меня невзлюбила. С самого первого дня. Потому что я не позволял ей обижать других девочек и беситься. Линда рисовала спокойно только полчаса, иногда час или дольше. А потом — то ли у нее начинали нервы шалить, то ли черти в нее вселялись. Начинала обижать тех, кто послабее, кто не мог себя защитить. Отнимала краски и карандаши... портила рисунки... в волосы могла вцепиться или плюнуть в лицо. Однажды нарочно обварила горячим чаем руку крошке Люси, которой еще и восьми нет.

Бесилась как буйно помешанная. Плескала краску на стену. Лаяла, мяукала. Мастурбировала, не снимая брюк, стонала... приставала к другим девочкам. Дралась и кусалась... Несколько раз хватала меня за... И все это — нарочно, искусственно, холодно, с расчетом, без капли настоящего клинического безумия. Сознательно причиняла боль другим девочкам и пакостила в студии. После нее приходилось долго убираться, мыть, чистить.

Как же мне хотелось снять ей штаны и отхлестать ее по тощей заднице ремешком! Дать ее пару пощечин. Но я ее не трогал. Только ругал... орал... просил, умолял... даже полицию грозил вызвать. Никакого эффекта это не оказывало. Линда хохотала и строила мне рожи. Раскрывала пасть с огромными передними зубами и оттягивала пальцами веки.

Два месяца я терпел этот кошмар. Потом решил изменить свое поведение. И изменил. Как только Линда переставала рисовать и начинала проявлять агрессию, я хватал ее двумя руками, поднимал, нес к входной двери и вышвыривал из галереи. Разумеется, по возможности, не причиняя ей вреда. Она лягалась, бешено орала, но назад не просилась. Не пинала ногами дверь, окна камнями не била. Уходила куда-то. Когда я ее нес, мне казалось, что я несу огромного извивающегося удава.

Надо отдать ей должное, рисовала она лучше остальных девочек. Не только потому, что была старше других... а просто... у нее был врожденный талант. Ее рисунки и лепные фигурки я показывал на вернисажах гостям галереи. Хотя, если присмотреться — и в них можно было заметить ее агрессию и холодное безумие. На рисунке и в пластике — это интересно... добавляет выразительности, экспрессии, а в жизни...

Три недели назад мы лепили «охотника с собачкой в лесу».

Я своего охотника, собачку и два дерева вылепил еще дома. Получилось неплохо. Охотник был правда немного страшноват, с огромными усами и бровями, а собаку можно было перепутать с ланью. Ничего. Детям легче лепить, если у них перед носом — образец, готовая композиция.

Девочки мои увлеклись работой. И Линда — поначалу — тоже. Я отошел от них и открыл книгу. Минут сорок в галерее царил мир. Дети молча трудились, я читал. Благодать!

Но тут... у Линды опять начался припадок злобы. Она сплющила охотника Сузи. Затем сломала фигурки Люси. Бросила на пол мое творение и затоптала его ногами. Собачка отлетела в сторону и Люси ее подобрала. Линда отняла собачку у Люси и раздавила. Люси и Сузи заплакали. Я успокоил их, обещав восстановить их работы, и пошел по направлению к Линде, рыча, театрально вытянув вперед руки. Вроде как великан. Так я всегда делал, чтобы маленькие дети смеялись...

Линда, однако, мне не далась. Выбежала из студии. Я пошел за ней. А она... подбежала к первой же попавшейся картине Вилли, живопись которого мы тогда показывали в галерее, сорвала небольшой холст в подрамнике со стены и ловко бросила его в меня. Закрутила так, как закручивают летающую тарелку, фрисби. И попала мне в лоб.

Как будто тяжелым молотком ударила. Я потерял сознание. Произошло это примерно в полтретьего.

А в себя я пришел — не в галерее, а на вершине Лисьей горы. В Чижиковом лесу. Около семи! Смеркалось уже. Я сидел на полуразвалившейся лавочке и смотрел на город. В двух шагах от нашего знаменитого обрыва. Там, где каменоломня. Если бы я туда свалился, меня бы и не нашли никогда.



Как я попал на Лисью гору, понятия не имею. Не знаю, где и как провел четыре с половиной часа. Время это как будто вырезано из моей жизни.

Спустился с горы, нашел автобусную остановку... В автобусе все смотрели на меня как на сумасшедшего. Грязный... кровь на лбу и шишка.

Одна старушка предложила помощь. После она меня опознала.

Вышел в Зонненберге, ты эту остановку знаешь. Между бывшим кинотеатром Метрополис и домом, где в сороковых годах людоед жил.

Машина моя все еще стояла на парковке у Лидла. Я заметил, что одно из боковых стекол разбито. Не совсем, а как будто кто-то выбил из него камнем небольшой треугольник.

Дверь в галерею была заперта. Кто ее запер? Когда?

Ключи от галереи я всегда ношу на шее. Другие ключи — только у Андреаса. Значит — или я сам закрыл галерею или он. Больше никому.

Вошел. Вымыл лицо и руки. Осмотрел галерею. Все вроде в порядке. Только одна картина, та самая, валялась на полу. Я ее повесил на место... Заметил на паркете несколько пятен крови. Затер их мокрой тряпкой.

В студии — обычный хаос. Прибрался... Пропылесосил пол. Сел в кресло и мучительно напряг память... попытался вспомнить... что же произошло после того, как я отключился. Ничего не вспомнил.

Тут в галерею позвонили. Полиция! Оказывается, они уже тут были, но не стали ломать дверь и ушли.

Полицейские небрежно обыскали помещение, ничего не нашли... кроме того места, где я кровь затер... Светили синим светом, о чем-то между собой шептались, фотографировали... На улице, в нашем мусорном баке обнаружили какие-то тряпки. Осмотрели их и радостно закивали. Кровь. Задержали меня и отвезли в участок. Взяли у меня кровь на анализ. Допрашивали часа два, убеждали сознаться и рассказать, где я спрятал тело. А я не понимал, в чем я должен сознаться, какое тело... голова страшно болела. Я просил дать мне обезболивающего, но они не дали. Зачитали мне уже ночью какое-то постановление, заставили что-то подписать и привезли сюда.

С тех пор я разговаривал только с двумя следователями, адвокатом и вот сейчас говорю с тобой. Да, еще мама приехала из Цвикау, привезла пирожные и теплое нижнее белье. На ночь меня приковывают к постели. Шнурки от ботинок забрали. Охранники обращаются со мной грубо, один сказал несколько дней назад: «Мы тебя сегодня ночью удавим, детоубийца. А потом повесим на полотенце... все подумают, что ты сам удавился».

В моей машине обнаружили следы крови. Крови Линды. Теперь мне — конец. Мне все равно. Я готов подписать любое признание. Но сам рассказывать ложь, как я насиловал, убивал и тело прятал — не буду. Следователи возили меня три раза по окрестностям, водили по Чижикову лесу в наручниках... спрашивали — не могу ли вспомнить, где тело зарыл. Грозили подвергнуть лечению электрошоком. Орали. Невыносимо все это. Я, кажется, помешался. Вижу в сумерки в камере какую-то рогатую морду. А по ночам ко мне в камеру приходит Линда.

— Послушай, Коломбо, я ведь не прокурор, я на твоей стороне. Передо мной комедию разыгрывать не надо.

— А я не разыгрываю комедию. Мне, как видишь, не до шуток. Пожизненное светит. Приходит. Каждую ночь. Если не веришь — лучше уходи.

— Верю, верю. Как так «приходит»? Через дверь что ли?

— Нет, прямо из стены входит в камеру. Как привидение. Но она не привидение, она настоящая.

— Так... входит в камеру через стену. Настоящая. А почему ты охранника не позвал?

— Я пытался, но она в воздух дунула, и я застыл как статуя. Не мог ни рукой, ни ногой пошевелить, ни словечка произнести...

— И что же она в твоей камере делает?

— Иногда — в синицу превращается и начинает по камере летать... а иногда раздевается и...

В этот момент в комнату вошел охранник и объявил тоном, не допускающим возражений: «Свидание закончено».

Меня препроводили к выходу.

...

Разумеется, я не поверил Коломбо.

Все то, что произошло с Коломбо до удара картиной по голове — скорее всего, было правдой. Мне приходилось ра-

ботать с детьми, и я знаю, что в любом детском коллективе есть своя Линда. И то, что Коломбо очнулся вечером на Лисьей горе, — маловероятно, но возможно, чего не бывает!

Но появление Линды в тюремной камере... синица... все это было похоже на бред отчаявшегося человека.

Что же все-таки произошло после того, как Коломбо потерял сознание?

Откуда в мусорном баке появились тряпки со следами крови?

Кровь в автомобиле?

Трудно себе представить, что Коломбо зарезал девочку, а потом снял с нее одежду и, вместо того, чтобы избавиться от нее, бросил в мусорный бак, прекрасно зная, что ее там тут же найдут. Мог бы где-нибудь сжечь одежду или зарыть.

Итак... пофантазируем... Коломбо сознания не потерял, а схватил Линду, изнасиловал и зарезал. Потом зачем-то сорвал с нее запачканную кровью и спермой одежду, отнес ее на улицу и бросил в мусорный бак, а голое тело увез на машине в Рудные горы и где-то коварно закопал. Для полного счастья, испачкав сидение машины кровью...

Все это ухитрился сделать так быстро, тихо и скрытно, что дети в студии и любопытные соседи ничего не заметили, ничего не услышали. Приехал назад в галерею, отпустил детей. Поставил машину на стоянку. Кровь на сидении вытирать не стал. Побежал в аффекте к Лисьей горе. Забрался на вершину, сел на лавочку, заснул и проснулся около семи. Из-за уколов совести вытеснил из памяти страшное событие. Но совесть не унималась! И мертвая Линда ожила и стала приходить к нему в камеру, летать по ней синицей, раздеваться и пугать его рогатой мордой. Очень правдоподобно!

...

На следующий день опять позвонил адвокат.

— У меня есть идея. А не сходить ли вам к матери Линды? Поговорить с ней?

— Может быть, лучше вдвоем ходим. Имеете вы на подобные беседы право?

— Да, но лучше будет, если вы пойдете один. Я ей позвоню, представлю вас как моего помощника, договорюсь о времени встречи и перезвоню вам. Согласны?

— Согласен.

— Как вы нашли моего подзащитного?

— Он не виновен. Галлюцинирует и психует от тоски и одиночества.

— Он вам рассказал про синицу?

— Рассказал.

— А про рогатую ведьму?

...

Мы встретились с адвокатом у дома, где жила Линда.

Адвокат посмотрел на меня неожиданно колюче и сказал: «Я читал протоколы бесед матери Линды со следователями. Что-то она скрывает. Дурочкой прикидывается. Мол — с меня какой спрос, я инвалид. Будьте осторожны, не злите ее. Постарайтесь, как можно больше узнать о Линде. Может быть, она проговорится... и невольно подскажет нам, где искать девочку... или ее труп».

— Вы упоминали араба. Поговорить с ним?

— С ним будьте еще осторожнее. На него в полиции — досье. Почему-то его не арестовывают... жернова Фемиды мельт медленно. Не забывайте... в современной политической ситуации... следствию в десять раз легче обвинить в изнасиловании и убийстве малолетней и осудить немца, чем беженца из Сирии.

— Вы это серьезно?

— Очень серьезно.

— Понял.

...

Адвокат уехал на своем черном Мерсе. А я позвонил, нажал на ржавую кнопку.

Мне открыли только после десятого звонка. Я поднялся пешком на пятый этаж по давно не мытым лестницам, украшенным окурками, использованными презервативами и пустыми пивными банками. По дороге слышал истеричный лай какой-то собачонки, непристойную ругань, стоны космического оргазма, музыку неонацистов и адские завывания циркулярной пилы.

Рядом с открытой дверью стояла, опираясь на костыль, полная женщина с ужасными, покрытыми язвами, опухшими ногами. Пахла она потом и перегаром. Недоверчиво и зло смотрела на меня поросычьими глазками. Я представился. Показал для важности членский билет Союза ху-

дожников. Женщина, назвавшая себя Хайди, помусолила билет в своих жирных руках и отдала его мне с такой гримасой... как будто это был не билет, а только что вырезанный из живота аппендикс.

Мы прошли в гостиную, я сел на нечистый диван с торчащей из него пружиной. Хозяйка дома уселась в кресле напротив. Из соседней комнаты доносилась арабская музыка и ритмичные женские стоны. Пахло сладким дурманом. Я вспомнил наставления адвоката и начал беседу издалека.

— Хорошая погода сегодня!

— Что?

— Хорошая, говорю, погода. Это подарок — такой теплый октябрь. Листики желтые и красные. Вы из дома-то выходите?

— Что?

— Может быть, мне сходить в магазин, купить вам чего-нибудь?

— Не надо. Уходите поскорее.

— Не могли бы вы что-нибудь рассказать о вашей пропавшей дочери? Что она любила есть? Какие книги читала? Были ли у нее друзья?

— Зачем вам?

— Чтобы понять, что она за человек.

— Какой такой человек. Она пацанка. Книжки? Книг у нас нету. Нам не до книг.

— Есть у вас компьютер?

— Издеваетесь? Пора вам убираться.

— Может быть, вы мне хотя бы комнату ее покажете?

— Нет у нас детской комнаты. Только спальня, гостиная и кухня. Линда тут, на диване спит. Какое вам до всего этого дело? Разнохивать пришли?

— Спит? Можно мне только краешком глаза заглянуть в спальню?

— Нельзя. Там мой друг. Он не любит посторонних. Катись, или он тебе козью морду сделает.

— А кто стонет?

— Телевизор.

Я понял, что разговор никакого результата не принесет. Встал, поклонился... сделал вид, что направляюсь к выходу,

а сам быстро приоткрыл дверь в спальню и заглянул в нее. Хайди истошно завизжала и попыталась треснуть меня костылем по голове.

Я увернулся, а затем быстро покинул квартиру на пятом этаже. Побежал, рискуя жизнью, по поганой лестнице вниз. За мной следом несся визг Хайди. На втором этаже хозяйева выпустили собачку на лестницу... и гнусная эта тварь вцепилась зубами мне в икру. Я отодрал от себя собаку и изо всех сил швырнул ее в стену.

Вылетел из подъезда как жаворонок из клетки и побежал домой.

Рана оказалась неглубокой. Залил ее перекисью водорода.

После этого позвонил в полицию.

Когда полиция ворвалась в квартиру Хайди, мертвецки пьяная хозяйка дома все еще сидела в кресле. Рядом с ней лежала пустая бумажная упаковка крепленого красного вина. В спальне ее до невменяемости обкурившийся друг продолжал трахать раком «изнасилованную и убитую» Линду. Линда стонала как морской котик, а когда ее оторвали от любовника — злобно вцепилась в волосы полицейскому и плюнула ему в лицо.

...

Коломбо выпустили из тюрьмы только через неделю.

Следующие полгода он провел в психиатрическом стационаре. Из галереи уволился. Поклялся больше никогда не работать с детьми.

Посещение страниц с детской порнографией — оказалось фейком, позже признанным «непростительной ошибкой» несмотря на то, что уличивший Коломбо полицейский информатик упрямо утверждал, что никакой ошибки не было, и ссылался на данные провайдера.

Испачканное менструальной кровью Линды нижнее белье бросила в мусорный бак ее мать. Как она уверяла, «случайно, в состоянии алкогольного опьянения».

Что случилось после того, как Коломбо потерял сознание в галерее и до того, как он очнулся на Лисьей горе — так и осталось невыясненным.

Девочки из кружка показали, что Коломбо пошел за Линдой и больше в студию не заходил. Они услышали его

глухой стон, заглянули в зал, увидели лежащего на полу окровавленного Зюсса, испугались и убежали. Люси рассказала все дома матери, та позвонила в полицию.

Позже Коломбо говорил мне, что он в это потерянное время летал на шабаш ведьм и видел там дюреровскую Меланхолию, целующую в зад Большого Черного Козла.

А у меня появилась новая версия. Кто-то притащил бесчувственного Коломбо на гору и хотел сбросить с обрыва, но в последний момент не решился совершить убийство. Уверен, что это был араб. Но идея наверняка принадлежала Линде. Также как и идея впрыснуть в салон автомобиля Зюсса через дырку на боковом стекле несколько капель ее крови.

Дружка матери Линды не осудили. За что? Девочке уже исполнилось тринадцать, и она смогла убедить судью в том, что отдалась арабу добровольно. И с согласия матери.

...

Когда все улеглось и даже начало забываться, мне снова позвонил вальяжный адвокат. Я-то думал, что его заинтересовала моя новая графическая серия, которую как раз тогда показывала переехавшая в новое помещение галерея Л. Но действительность, как всегда, обманула. После короткого обмена любезностями адвокат промурлыкал: «Боюсь, ваш Коломбо вас надул. На самом деле все было вовсе не так, как вы вероятно думаете. Разглашать подробности я не имею права. Но для вас, так и быть, сделаю исключение...»

## ДЕМОН

Молния не била, гром не гремел, серой не пахло.

Он появился так обыденно, естественно, что было даже обидно, хотя и я не корпел месяцами в библиотеке над старинными фолиантами, не искал заветной формулы, не твердил наизусть латинские заклинания, не чертил пентаграммы... только пригласил его.

Мысленно.

Точнее — кивнул. В ответ на реверанс бетонной стены в подземном переходе, очередной приступ удушья и злоеущий танец фонарей на Алексе, напомнивший мне «действие праотцов» из «Весны священной».

Позвал я его... когда совсем отчаялся. Осознал, что не могу справиться с самим собой.

Хотя долго пытался научиться это делать.

Он не торопился.

Пригласил я его еще вчера, а появился он только сегодня, 31-го октября... соблюл, так сказать, традицию.

Когда я выходил пол-одиннадцатого из моей крохотной библиотеки, его там не было... ручаюсь... а когда через четверть часа опять в нее вошел, он стоял у моего письменного стола и листал мерзкими своими лапами альбом моего любимого художника.

Он не поздоровался, только кивнул спрятанной в капюшон головой, чуть не уронив жаровню, в которой тлели угольки, повел длинным носом, поскрипел полиэтиленовыми крыльями и железным круглым животом, поморгал подслеповатыми глазками, поправил пенсне... и ткнул мохнатым черным пальцем в репродукцию. Проткнул бумагу почерневшим кривым когтем.

Мог бы этого и не делать, я знал, что он явится в этом, хорошо знакомом мне образе. Столько времени простоял рядом с оригиналом в Картинной галерее...



— Жаровню, может быть, снимете с головы... Да и стрелу давно пора вытянуть из пуза, накапаете кровью мне на ковер. А он больших денег стоит. Так по крайней мере продавец утверждал. Перс.

— Не извольте беспокоиться, я ничего тут не испорчу. Мое тело, как вы, надеюсь, понимаете, состоит не из вашей материи. А перс ваш врал, ковер так себе.

— Из какой же вы состоите материи? Из темной, что ли?

— Именно. Точнее, из особенной хтонической субстанции, как говорят наши магистры.

— Магистры? Это те, которые в желтом домике клизмы ставят?

— Те самые.

Он говорил, слегка потрясывая толстенным пупырчатым хвостом или удом, картинно разлегшимся все на том же ковре. Как огромная редька, живущая отдельной от ее владельца жизнью.

Позже я понял, что его явление в форме босховского демона было не уступкой и не изъявлением покорности, а своеобразным подарком. Видом своим он как бы говорил: да-да, я — именно тот, кого ты вызвал. Кого ты всегда звал, не только вчера. Я — ответ на все твои вопросы. Твоя последняя надежда. Посмотри, я принял эту форму только для тебя, учитывая твоё положение и... хм... заслуги перед нами... хотя ты и не один из нас... Приятно побаловать смертного... пошутить... хотя, что тут смешного....

Очень лестно.

Я спросил его, хорошо ли он понимает по-русски. Ответ его меня не удивил.

— Время тянете? Незачем. Я ничего от вас не хочу, упаси бог, кроме того, что вы сами хотите мне отдать, потому что вам тяжело нести эту ношу... Вы меня пригласили... не забывайте это. Да... мне все равно, на каком языке вы изъясняетесь... я понимаю все человеческие языки... а моя речь, как это у вас говорят, автоматически переводится на язык моего собеседника. У нас, знаете ли в отделе переводов такие асы сидят... Гиены и крокодилы... Обзавидуетесь. Так что не трудитесь формулировать... не хитрите, отбросьте дурацкую риторику... я ощущаю и слышу все ваши мысли... эмоции... ре-

акции... желания. Даже те, которые... как это... ну да, невысказанные... и даже вами не осознанные. Да-да, вы можете оторвать мне голову или руку... Но вы стоите передо мной обнаженный... я вижу вас насквозь... вижу кости и кристаллики соли... бляшки в сосудах... камешки в желчном пузыре... пора кстати вам позаботиться о здоровье и выбрать себе новое тело... спешите, завтра уже не сможете... знаю содержание тех ваших потайных мыслей, с которыми вы не делились ни с кем... которые вы даже бумаге не доверяли никогда... Не забывайте, в нашем мире все эти ваши... багатели... материализуются, и принимают любопытные формы... И поверьте, их лицемерие не доставляет мне никакого удовольствия. Все одно и то же. Вы, люди, удивительно скучные существа... даже если вы нашли философский камень... как будто природа или Старик, ах, простите, естественный отбор или высшая воля... неважно кто... всех вас по одним и тем же лекалам начертили... Вы, как это у вас называется... программы... Скучно не только ваше добро, скучно и ваше зло. Колода-то одинаковая. Ну, картишки, ясное дело, вы получаете при сдаче разные... Кто — талант, а кто и три, а другой — хреном по лбу...

— Держу пари, ваша колода не сильно больше нашей... Что же я могу предложить вам в ответ на вашу помощь, если вам все известно и вы все видите и слышите? Если у меня вместо бессмертной души — программа? А моя жизнь — для вас только партия в подкидного дурака? Мои карты — на столе. На кой черт вы тогда хлопочите, толкуете со мной про темную материю, если я не представляю для вас никакой ценности?

— Ха-ха-ха. Вы забыли про джокер... он-то и есть ваша главная ценность... И еще... смотрите повыше ваших домашних тапочек, мне ли вас учить... Пути Его неисповедимы. И намерения того, кто с обратной стороны тоже... да, того, которого вы только называли Монсеньором... и умудрились довести до бешенства своим упрямством. Он играет в свою игру. А я только исполнитель... так что не будем тратить время на пустопорожнюю дискуссию... вот кстати и бумаженция. Текст короткий... Прочитайте, подумайте, поразмышляйте... а завтра вечером — подпишем, и дело в шляпе.

Вы возвратитесь в свой мир и забудете обо всем, мне про-  
фит... Да, забыл сказать, прошу вас больше не просить меня  
надевать этот маскарадный костюм! Уж если вам так при-  
спичило, согласен на рога, копыта и зубастую пасть. У нас на  
складе все это имеется в изобилии. Могу и черным пуделем  
к вам прибежать. Как у классика. Или Королем мух. Бегемо-  
том. Не хотите? Ладно, ладно, шутка. Мы ведь с этим чуд-  
ным образом так намучились, собирали по сусекам. Намуд-  
рил ваш мазила. Как будто специально для вас старался.  
Костюмеров пришлось пригласить придворных... а у них го-  
норары... не поверите... Позвольте выкинуть все это на по-  
мойку, а-то в животе бурчит как в кастрюле, голову жжет  
чертова жаровня, и стрела свербит?

— Валяйте.

И он тут же принял обличие невысокого смуглого муж-  
чины в ковбойке и джинсах...

На голове его была техасская шляпа, на которой колы-  
халось роскошное петушиное перо.

Как же он был смешон!

И ты ждешь помощи от этого мелкого беса?

Он видимо прочитал мои мысли, нахмурился, сухо кив-  
нул на прощание и исчез.

Растворился в воздухе.

Я мог бы его вызвать еще раз и наказать за невежли-  
вость, но не хотел возиться и не был уверен, что у меня полу-  
чится.

Небольшой, исписанный вручную листок пергамента  
лежал у меня на столе. От него отлетали синие искорки. Не  
мог не потеатральничать, мерзавец...

Прочитал текст по диагонали. Написан так, как будто  
его писали авторы «Молота ведьм». Но содержание ясное.  
Придется подписывать. Ага, кровью.

## УЖАС НА ЗАБРОШЕННОЙ ФАБРИКЕ

Началось это, новое, лет двадцать назад. Постэмиграционная прострация меня уже не мучила, а даже доставляла известное удовольствие. Мучило не раз описанное «раздвоение» оставившего родину невротика. Как ни пытался я соединить тело и дух, все напрасно... витал то в метре, то в километре от собственного тела. Зачастую и в другой стране или на другом континенте. Но кое чего я добился — оставленный московский мир и мой все еще мечущийся в нем двойник перестали тянуть меня к себе и являться в снах. Прошлое больше не догоняло меня, отстало... как бегун, вздумавший соревноваться с поездом... бежит, бежит по параллельной путям тропинке, потом сдает... теряет скорость... и вот, его уже и не видно за набежавшими холмиками, покрытыми кудрявыми деревцами. И непонятно, был ли он вообще.

Тогда и произошла «встреча». На заброшенной бумажной фабрике.

Неожиданная и непреднамеренная встреча непонятно с чем... унесшая в небытие мою подругу и разрушившая мою прежнюю жизнь.

Да, встреча... в месте, в котором ни я, ни какое другое живое существо из нашего мира ни при каких обстоятельствах не должно находиться. А я вперся туда... да еще и не один.

Жил бы себе и жил.

Нет, полез поперек батьки в пекло.

А все эта... моя тогдашняя... бедняжка Розы... Розмари Ким. Мягкая и обходительная дама, похожая на жену Ленона. Она уговорила меня съездить в замок Грабштайн. Хотя он пользовался дурной славой среди местных жителей, и она это знала. Проклятое место.

В воскресенье поехали.

Подмораживало уже, но желтые и красные листочки еще не опали. Красиво было и свежо.

Мне ехать не хотелось... лень... хандра...

Неохота было загонять гуляющий где-то в Тоскане дух в телесного болвана. Собираться... одеваться... Поехал только потому, что не было сил отговаривать Розы от поездки... да и наш полумертвый город опостылел.

Розы вела свой маленький желтый фольксваген с гордостью и удовольствием. После Объединения она заработала достаточно денег не только на машину, но и на небольшой домик с гаражом на окраине, и на многочисленные туристические поездки по всему миру, в которых я ее иногда сопровождал, и даже на шмотки от Христиана Диора, которые покупала в Париже. Для дочери беженцев вовсе не мало. Хотя и домик и автомобиль были куплены в кредит.

А я и этого себе позволить не мог. Гражданство сменил, но так и остался Обломовым. Только без имени и капитала. Тратить жизнь на такие мелочи...

Ехать недалеко, минут сорок... по проселочным дорогам.

В пути Розы восхищалась осенними саксонскими ландшафтами, и впрямь красивыми, но меланхоличными... лишенными чего-то главного... рассказывала мне что-то о замке... из путеводителя, который она сама и составляла.

Я дремал. Наслаждался тем, что завтра не надо идти на работу, думать о нудных и бессмысленных делах... Летом закончился мой контракт с городским Музеем, а следующий начинался только через полгода.

С трудом разлеплял веки, когда Розы будила меня, чтобы показать очередной «уютный саксонский уголок», старый домик, «похожий на пагоду» или дерево, «трепещущее в бледном золоте осени».

...

Приехали. Запарковались недалеко от замка.

Часовую прогулку по его недрам я описывать не хочу, тошно. Одно и то же... люстры из рогов убитых оленей... пыльные сундуки, резные комоды, скромный алтарь-триптих из закрытой полстолетия назад церковки неподалеку, несколько чудом уцелевших реликвий в серебряных фут-

лярах, печки с синими и зелеными изразцами, доспехи, алебарды, портреты господ с охотничьими трофеями, шпалеры, фрески...

И висячие сортиры.

Представьте себе, господа, вы делаете свои дела, рискуя провалиться в пропасть, а моча и экскременты растекаются по благородной стене вашего родового замка. А как же жители нижних этажей? Читал, не помню где, что воняли эти «рыцарские замки» так, что владельцы, пожив годик в одном замке, оставляли его, переезжали в другой, потом в третий... А холопы их годами чистили стены, выгребали завалы. Здорово придумали графы и бароны!

Пока ходили по замку, думал о мифическом проклятии. Ничего зловещего не заметил и не почувствовал. Все было как-то убого... чувствовалось, что замок часто перепродавали и очищали от всего ценного новые хозяева.

Рози торжествовала, забралась в бывшую графскую кровать с ногами, когда смотрительница вышла. Подруга моя была маленького роста, но даже для нее эта помпезная деревянная кровать была коротка. Рыцари видимо были лилипутами.

Испытал облегчение, когда мы вышли наконец на воздух. Захотелось посидеть, выпить кофе...

В маленьком замковом дворе помещался ресторанчик... там подавали пиво и мясо дикого кабана, которого тут же на огромном вертеле жарили два актера в средневековых одеждах палачей — обтягивающих полосатых трико и зловещих курточках с характерными разрезами. Палачи то и дело поглаживали свои огромные бутафорские мечи, обменивались скабресными шуточками и поддразнивали туристов. Видимо, считали, что это придает больше достоверности их роли. Рядом с ними плясали несколько шутов с бубнами в руках... а роскошная красавица-блондинка в розовом платье играла на лютне.

Рози заказала себе сливовое пирожное с взбитыми сливками и кофе. А я оскоромился... еще и кружку темного радлера выпил. Веселиться так веселиться!

Кабанину подали с тушеной морковью и сельдереем. Вкусное мясо, но жестковатое.

За средневековое сопровождение с нас содрали вдвое больше, чем все это стоило.

Поковырял в зубах. И опять задремал. Несмотря на лютю и бубны...

Но с Розы разве поспишь? Потащила гулять по окрестностям.

Если бы мы после еды домой поехали, судьбы — и ее и моя, сложились бы иначе. Хотя, кто знает, может быть, мы бы в автомобильной аварии погибли. Или умерли бы вечером от заворота кишок. Розы еще вчера испекла ореховый торт. Очень жирный.

...

У Розы была с собой камера, тогда еще не цифровая, обыкновенная, мыльница. И ей захотелось непременно сделать хорошую фотографию замка для малотиражной экологической газетенки, выпускаемой в городе чахлой Зеленой партией. «Чтобы и свет, и тени, и вода, и стены, и башенки... все было видно... и чтобы замок торчал и гремел как колокол на фоне синих небес». Так она говорила, моргая своими милыми раскосыми глазками.

Стали искать подходящее место. И быстро поняли, что лучше всего сфотографировать замок с третьего этажа заброшенной бумажной фабрики на другой стороне реки.

Перешли реку по висячему мостику. Мостик качался, как бы предупреждая, но мы не поняли его сообщения.

Я рассказал Розы дурацкую советскую шутку о том, почему лучше строить мост вдоль, а не поперек реки, она долго хохотала.

Шалила и радовалась жизни.

Я шел за ней и пытался не отставать от самого себя.

Подойти к зданию фабрики было нелегко. Его окружал высокий забор с колючей проволокой. Нашли дырку... видим подростки пробили... топорами что ли...

Или бездомные. Над проходом кто-то провидчески написал на стене: «Тут плохо. Вам тут не место! Катитесь!»

И нарисовал по-декадентски вытянутый череп. А на нем маленькую мышку с скрипкой в лапах. Мышка грызла свою скрипку. Внутри скрипки кто-то сидел, виден был

только один глазок, с ужасом смотрящий на мышку из резонаторного отверстия на деке.

Вышли на густо заросший кустарником фабричный двор.

Похоже, фабрику эту закрыли сразу после войны. Я заметил несколько не заделанных пробоин от снарядов. Из трещин на старом асфальте выросли высокие деревья. Несколько березок ухитрились прижиться на изрядно потерпевшей от дождя и ветра крыше.

На обшарпанных стенах фабрики висели таблички с надписями.

Вход в здание фабрики строго запрещен!

Карается законом!

Охраняемое культурное наследие свободной земли Саксония.

Не входить! Опасно для жизни!

Я почувствовал присутствие чего-то необычного, необыкновенно мощного.

Нам бы бежать оттуда, сломя голову...

Но мы пошли дальше.

Во мне пробудился азарт кладоискателя.

— Слушай, Роза, ты ведь сама мне рассказывала, что в замке нашли сокровище. Старый владелец спрятал кучу золота, картины, статуи и фарфор перед тем, как от русских драпать. Замуровал ценности, хитрец... Наверняка эта фабрика тоже ему принадлежала. Может быть, он тут второй клад спрятал? Ценные бумаги, серебро, платину. Власти это знают, поэтому эту дурацкую кирпичную коробку и не сломали до сих пор... забором огородили, боятся, что «черные копатели» клад найдут и тайно вывезут. Или наследники выроют и твоей любимой Саксонии не достанется ни пфеннига.

— Клад тот, в замке, после Объединения отдали наследникам. Хотя местные власти и сопротивлялись как могли. Судились. Так что, был бы второй клад — его бы уже откопали. Гляди, вон там толстенная доска отбита...

Протиснулись внутрь.

...

И опять... не было ни страха, ни даже опасений... только волнующее чувство присутствия чего-то крупного, полного



энергии, может и не от мира сего. Я ощутил прилив сил, сонливость исчезла... хотелось танцевать... пробежался туда-сюда как молодой ослик по огромному пустому пространству бывшего цеха... пространству, залитому светом, льющимся из доброй дюжины огромных двойных окон, прорезанных в стенах. Танцевал и искал глазами сокровище, что конечно было глупо.

Посередине цеха стоял ряд тонких металлических колонн, на которые опирались слегка вогнутые рельсообразные металлические балки. Сводчатый потолок напоминал внутренность коробки шоколадных конфет. Цех производил впечатление добротности, не без инженерного и архитектурного изящества сделанной производственной машины. Клад я не нашел, но обнаружил громадные весы... несколько ржавых платформ на колесиках и колоссальных размеров ванны.

Я заметил, что и моя подруга воодушевлена и ведет себя как-то странно.

Сорокапятилетняя Роза прыгала по залу как юная козочка и напевала какую-то корейскую песню... До этого, я ни разу не слышал, как Роза поет на своем родном языке. Контрольно.

Потом она вдруг села на корточки. Лицо ее сияло... руки она сложила на груди ладонями вверх. Будда?

Я подошел к ней и ласково похлопал ее по плечу.

Мы нашли лестницу и начали подниматься.

Лестница зияла жуткими провалами...

...

Зал-цех на втором этаже выглядел точно так же, как и на первом.

Поднялись на третий. И тут все то же. Окна. Свет. Пустота.

Но что-то было не так. Усилилось чувство присутствия чего-то чужого, ужасного, астрономически мощного... и уже через несколько мгновений это чувство стало невыносимым. В ушах сухо защелкали электрические разряды, а в глаза по громадным готическим сводам полетели сотни сине-розовых шаровых молний.

Перед нами... из ничего... возникла зыбкая, как бы сделанная из живого серебристого металла, конструкция. Чем-

то она напоямила биомеханические скульптуры шестидеся-  
тых. Розы затряслась и заскулила. Я окаменел.

Через мгновение конструкция пропала с резким щелч-  
ком.

Розы как загипнотизированная отошла от лестницы...  
сделала всего несколько шагов... и перешла невидимую гра-  
ницу... оказалась в зоне действия того... страшного.

Ее тело затянуло в мясорубку.

Непонятная сила подхватила ее и повесила в воздухе...  
ее одежда и обувь слетели с нее, осыпались искорками...  
и несчастную голую Розы растянуло на всю длину зала как  
сосиску, потом, с невероятной скоростью сосиска эта завяза-  
лась странными подвижными узлами... затем стала пло-  
ской... а в воздухе повисла сложная математическая фигура,  
состоящая из нескольких листов Мёбиуса, переплетенных и  
пульсирующих.

Через несколько секунд она схлопнулась со страшным  
треском.

Опять появилась серебристая конструкция...

Затем все пропало.

Залитый светом зал бывшей бумажной фабрики был  
пуст.

В воздухе пахло так, как пахнут электромоторы...

Сам не знаю, почему, я погрузился в эйфорию, как после  
интенсивного оргазма.

Ошарашенное сознание и сметенные чувства не поспе-  
вали за реальностью.

Борясь с неожиданным приступом тошноты, я шагнул  
назад к лестнице и присел на каменный пол.

Подруги моей я больше никогда не видел. Тогда я это  
еще не осознал и не скорбел по ней.

...

Разумеется, я пытался объяснить себе, что происходит.  
Но не мог.

Я никогда не увлекался мистикой и научной фантасти-  
кой, но видел кое какие художественные и документальные  
фильмы... поэтому предположил, что нахожусь не в бывшем  
цеху бумажной фабрики, а внутри какого-то, неизвестного  
человеку магического устройства...

Космического дезинтегратора материи?

Портала межгалактической связи?

Или попросту — у входа в ад?

Но это, увы, было не так. Сейчас я с уверенностью могу это утверждать, потому что за последующие двадцать лет пережил много-много чего. Этот зал не был чем-то, что можно описать подобными продуктами человеческой фантазии... он был и есть нечто неопределимое и непознаваемое... то, о чем мы смутно догадываемся в детстве... иногда даже видим просвечивающие сквозь обыденность странные серебристые контуры той самой загадочной конструкции... ощущаем ее присутствие...

В зрелые годы мы теряем способность видеть и чувствовать сверхъестественное...

И даже не ощущаем это как потерю, как драматическое отсутствие чего-то, быть может, самого важного в жизни... без чего существование является ущербной пародией на само себя.

...

Последнее, что я видел на третьем этаже бумажной фабрики, было неожиданно возникшее на стене между ближайшими ко мне окнами голографическое изображение нагой женщины. Откуда оно взялось?

Картинка была большой... метра два с половиной в высоту. Женщина походила на Розу... но это была не она... лицо ее скрывала страшная маска, превращавшая эту нагую женщину в чудовище.

Образ этот преследовал меня еще несколько лет после происшествия на фабрике. Являлся, то тут, то там. Я не знал, что манифестирует эта женщина, что она для меня... наказание... напоминание... сигнал.

Изредка я вижу ее и сейчас.

Голографическая «Роза» смотрит на меня из окон домов, с рекламных плакатов, я вижу ее на фасадах домов, в арках и проходах, даже на стенах церквей и экране монитора.

...

Я вышел из здания фабрики, пролез через дырку в заборе, побрел к осиротевшему фольксвагену. Надо было по-

звонить в полицию, назваться, все им честно рассказать... Мобильника у меня еще не было, но на парковке стоял уличный телефон-автомат.

Честно рассказать?

Кто бы мне поверил? А стал бы настаивать... заперли бы в дурдоме. Навсегда.

Поэтому я повел себя трусливо, но как показало будущее, правильно.

Подъехал к дому Розы, открыл двери ее гаража, закатил туда машину, прошел через дом к входной двери и вышел. Перед этим включил свет на кухне, спальне и в коридоре. И съел два куска орехового торта.

Домой добрался на автобусе.

Ночью сжег воскресную одежду и обувь в цинковом корыте. Сбрил бороду и шевелюру. Остриг ногти. Хорошенько вымылся. А через два дня подал в полицию заявление о пропаже Розы.

Перед этим два раза приезжал к ней домой. Оба раза заходил внутрь дома и оставался там несколько минут. Пил кофе из двух чашечек.

На допросе в полиции показал, что, да, в последний раз видел Розы после возвращения из совместной поездки в замок Грабштайн в ее доме, в воскресенье. Да, обратно вел машину сам, привез ее домой и ушел. Вышел из ее дома, побежал к подходившему автобусу. Да, на звонки не отвечает... да, у меня есть свой ключ, и я заходил к ней домой, но там Розы не обнаружил. Нет, с пропавшей фрау Ким мы не ссорились, да, у нас была интимная связь, но никаких брачных или имущественно-финансовых отношений не было. Мы были хорошими друзьями и только, жили порознь. Нет, насколько я знаю, детей у фрау Ким нет, а родители умерли. Да, она работает в бюро одна. Без секретарши. Нет, с ее работодателями в Бундестаге я не связывался, но думаю, если бы она была в командировке, позвонила бы. Нет, ни на какие вещи или средства Розы я не претендую... да, дом и фольксваген принадлежат ей, нет, ничего не знаю о ее акциях. Да, у меня нет своего автомобиля, но есть велосипед, которым я давно не пользуюсь. Да, ключ от ее дома готов отдать полиции.

Один из дознавателей, не помню, как его звали, сказал мне, когда мы были одни в комнате: «Я не верю ни одному твоему слову. Тебя спасло только то, что деньги, драгоценности и акции фрау Ким оказались на месте. Если мы найдем хоть одну, крохотную улику, посадим тебя как убийцу».

Мне захотелось с ним поиграть.

— Может быть, вы мне назовете мотив... у нас с фрау Ким не было большой любви, но не было и разногласий... разве что... меню на завтрак, она, знаете ли, обожала ливерную колбасу, а я терпеть ее не могу. Зачем же мне убивать ее? Из-за ливерной колбасы? Поверьте, я обычный человек, хоть и родом из России, никаких зловещих тайн у меня нет, мертвецов в подвале тоже... Я не умею лгать, у меня нос дергается.

Следак тяжело посмотрел на меня и повторил: «Не верю ни одному твоему слову. Ты психопат, мог убить и без мотива. Я это чувствую. Просто так убил. Для удовольствия. А потом навертел самому себе черт знает что... искусствовед. Но меня ты не проведешь. Будем проверять все мелочи... Кое-что у нас уже есть, но для предъявления обвинения этого недостаточно».

— Что же у вас есть? Или секрет?

— Почему секрет. У нас секретов нету. Соседка видела, как машина в гараж въезжала. Но сидел в ней — ты один. Опознала по фотографии. Куда тело спрятал?

— Может, Розы пригнулась... и соседка ее не разглядела...

— Не рассказывай сказки. Вот подписка о невыезде. Распишись и проваливай.

...

До процесса дело так и не дошло.

Но «встреча» на бумажной фабрике не осталась для меня без последствий.

Первые месяцы мне сильно не хватало Розы... Она приносила в мою жизнь порядок и доставляла мне много радости. Теперь мое психическое равновесие было нарушено, и я начал разрушать сам себя... начал опять нюхать кокаин... Но с этой напастью я справился сам...

В полицию меня вызывали еще раз десять. Кто-то из ментов рассказал о пропаже Розы прессе, желтая город-

ская пресса опубликовала ее фото. И мое. Несколько раз мне пришлось отбиваться от назойливых газетчиков, кричащих: «Зачем вы убили вашу любовницу? Где спрятали тело?»

В городе шептались. Некоторые знакомые женщины перестали отвечать на мои звонки и здороваться. Мужчины относились ко мне как к опасному психопату, что, впрочем, не мешало им заводить со мной шапочные знакомства. Позвонил референт из городского музея и сообщил, что мой контракт не продлят, а несколько художников отозвали в письменной форме приглашения выступить на открытии его выставок.

Напоследок все тот же мрачный дознаватель официально объявил мне, что дело прекращено. А потом добавил от себя: «Я своего мнения о тебе и этом деле не изменил. Подожди, когда-нибудь мы найдем труп... или ты еще кого-нибудь убьешь, и мы тебя уличим и посадим. Сгниешь в тюрьме...»

Я ответил, что в настоящий момент никого убивать не собираюсь, но если опять подружусь с дамой, любительницей ливерной колбасы, то за себя не ручаюсь.

Следак так на меня посмотрел, что я тут же заткнулся и поспешил покинуть неприятное здание городской полиции с немецким вариантом «рабочего и колхозницы» на фасаде.

...

На самом деле мне было вовсе не до шуток. Меня мучило не только отсутствие Розы, к которой за три года знакомства привык как к пуховой подушке, и потеря работы.

Проклятый «дезинтегратор», как я сам для себя начал для простоты называть серебристую машину, убившую мою подругу на фабрике, опалил меня своим излучением — и мне вдруг открылось то, что обычно от человека скрыто. Для его же блага.

Я видел и слышал странные, страшные вещи и получил способность иногда изменять действительность. Моя жизнь больше не была линейной последовательностью минут и часов, меня то и дело «кидало» в различные реальности, принадлежащие неизвестным мне мирам. Единство моего «я» было нарушено.

Во время разговора с враждебным мне полицейским, я явственно видел небольшого красноватого дракона, кусающего его сердце. Дракон этот заметил мой интерес и гадко подмигнул мне свои вараньим веком.

Пройдя через стеклянные двери магазина «Реве», оказывался не среди арбузов и дынь, салатов и готовых мясных блюд, а среди темных песчаных дюн, по которым ползали неизвестные мне существа с геометрически правильными прямоугольными телами...

Супрематизм на печке...

Не раз я просыпался ночью не у себя в кровати, а стоя рядом с очевидно неземным конвейером, подвозящим ко мне голые, как бы резиновые, куклы, похожие на людей, скрещенных с лягушками и страусами. Моей работой было — оживлять их наложением рук на их головы и произнесением специального заклинания-мутабора...

Существа эти, ожив, соскакивали с движущейся ленты и отправлялись на заправочную станцию, пить керосин. И меня звали с собой. И я кивал им своей лягушачьей головой, вздымал вполне человеческие руки и переступал с одной страусиной ноги на другую.

Молоденькая и застенчивая девушка по вызову Менди превращалась во время коитуса в злобно рычащего и уродливого неандертальца мужского пола, и мне приходилось спешно выбегать из спальни, дрожа от страха. Когда же я через несколько минут приходил назад, прелестная Менди спрашивала меня: «Милый, почему ты остановился как раз тогда, когда у тебя начинался оргазм? У тебя еще остался снежок?»

## РЕЛИКВИЯ

Я не злодей. Однажды в июне мне удалось с помощью телекинеза предотвратить лобовое столкновение двух скоростных поездов.

Я сидел на лавочке на любимой яблонево́й аллее и наслаждался видом расцветающих деревьев... почувствовал что-то... и понял, что на пролегающей метрах в четырехстах от аллеи железнодорожной ветке через несколько секунд произойдет катастрофа.

Мне удалось понизить скорость обоих составов... остальное доделали насмерть испуганные машинисты. Вы бы видели, как изумленно они глядели друг на друга из стоящих нос к носу локомотивов!

А я смотрел на лишенных добычи ангелов смерти, летающих вокруг да около как стая стервятников, согнанных с трупа буйвола голодной львицей.

Один из них подлетел ко мне, приняв вид голубого волнистого попугайчика. Несколько раз облетел вокруг головы. Я понял, что он хочет, поднял руку, и он сел на мой согнутый указательный палец, посмотрел на меня лукаво, несколько раз клюнул руку, и прощелтал: «Это не пройдет тебе даром! Не пройдет! Мы отомстим. погоди, попляшешь как уж на сковородке! Не пройдет... не пройдет... уж... родке...»

Улетая, он повторял свою угрозу.

Я потерял его из виду, но там, где он исчез, в небе появилось что-то вроде темного кольца, и это кольцо увеличивалось и приближалось ко мне. Вскоре я услышал яростный клекот тысячи птиц, из которых это кольцо состояло. И вот... это уже не птичье кольцо, а огромная, спускающаяся с неба, сковорода. А у меня... исчезли руки, тело вытянулось... я стал ужом, попытался ускользнуть... но кто-то крепко схватил меня за бока и бросил на сковороду, прямо в шипящее масло.



Не знаю, долго ли длилось мое мучение... очнулся я на перроне... по путям рядом со мной мчался товарный поезд... цистерны... в двадцати сантиметрах от меня бешено выла и свистела смерть... всжи-всжи-всжи... она влекла меня к себе.

Нашел в себе силы отойти от края. Прошелся по платформе, огляделся. Место какое-то необитаемое... длинный барак, с одной стороны до крыши заросший кустарником, еще один барак, вросший в землю, электрические мачты, провода... метрах в двухстах — развалины старинной башни... сердце сдавило. Неужели меня закинуло в Россию? Это хуже сковородки... Прочитал название станции — Розенхайм. Отлегло. Обознался. Изгаженная русскими гарнизо-нами Саксония тогда еще местами выглядела как моя покинутая родина.

Задумался. Голова работать не хотела. С трудом вспомнил, что Розенхайм — это небольшой городок, на окраине которого на скале, нависшей над речкой Полдау, и стоит этот чертов замок Грабштайн. И смотрит окнами на бумажную фабрику. Неспроста я тут...

Решил идти к замку.

Вышел в город по подземному переходу.

Городок как городок. Двухэтажные аккуратные дома. Рыночная площадь... ратуша не без претензии... кирха с колокольней... а где же люди то? Никого на улице нет. И огней не видно. Только подумал и сразу наткнулся глазами на мигающую огоньками вывеску с улыбающейся свинкой: «Мясная лавка Мюллера». Внутри виднелся продавец в белом халате и заливчатой шапочке.

Вошел, поздоровался... пахло в магазинчике хорошо, свежей ветчиной... продавец симпатичный... чисто. Купил вареную сосиску с булочкой. Мясник спросил меня, с чем я хочу ее съесть.

— Нет, не надо ни горчицы, ни кетчупа, вкус отбивает... да, заверните в салфеточку, я съем ее по дороге в замок. Кстати, как к нему отсюда пройти?

Мясник, когда услышал слово «замок», перестал выглядеть симпатичным. Перекосил лицо... побагровел...

— Что тебе в нем надо? Потанцевать захотел? Хочешь что-нибудь украсть, ты, русский? Может быть тебе лучше на бумажную фабрику сходить? Там тебя уже ждут.

Я не стал выяснять с ним отношения, ушел... Пожелал ему мысленно превратиться в свинью.

Представил себе мысленно карту, сориентировался по Солнцу, и пошел на юг. И уже через минуту увидел силуэт замка. В дымке.

Из оставленной мной лавочки еще долго доносилось хрюканье и визг.

По дороге не встретил ни одного человека. Но видел несколько автомобилей. Из одного из них на меня смотрела Роза.

...

Входной билет в замок мне продала знакомая смотрительница, соскучившаяся видимо по людям.

— Вы сегодня первый посетитель. Ресторан закрыт на ремонт, и к нам никто не идет. А где же ваша жена? Такая обаятельная женщина... Я ее и вас запомнила... тогда уже подумала — эти люди придут еще раз. Ах... боже мой, что же я говорю... простите... я знаю... тут была полиция... и в газете... Мне что же... надо вас бояться?

— Это как пожелаете. Разрешите представиться, Антон Сомна. Бывший москвич... путешественник по нижним мирам. Работал в городском Музее, охранял мебель Ван де Вельде на вилле и экскурсии водил... так что я ваш коллега. Пришел проведать ваше собрание... А в газетах — все врут. Фрау Ким не была моей женой, я не крал ее бриллианты, не рубил ее топором, не расчленил тело и не прятал его в заброшенной шахте в Рудных горах рядом с Янтарной комнатой. Я поджарил его и съел за обедом. А сюда притащился в поисках новой жертвы...

— Ах, боже мой!

— Извините за неуместную шутку, я совсем забыл, что саксонцы слишком долго жили под советскими и потеряли чувство юмора. Уверяю вас, я совершенно безвреден... только вашего мясника в свинью превратил...

— Верю-верю. Его не надо превращать... он и так... А я кстати не саксонка... приехала сюда уже после Объединения. Я родилась в деревушке на севере... под Фленсбургом... вы еще в наших диалектах не разбираетесь, а местные сразу узнают... Я Анна. Анна Флеминг.

— Очень приятно. Ну что же, госпожа Флеминг, проспектик я ваш уже читал, посоветуйте мне... между коллегами... что мне у вас повнимательнее посмотреть.

...

Смотрительница обрадовалась, что кто-то нуждается в ее помощи, и предложила провести меня по замку и «все подробно рассказать». Я от этой чести вежливо отказался, не терплю, когда кто-то мной управляет... посмотрите налево, посмотрите направо... объясняет... навязывает свою точку зрения... пичкает ненужной информацией... Бедняжка вся съезжилась и начала «своими словами» пересказывать мне то, что я уже знал... я ей не мешал... но и не слушал, что она говорит. Потому что вдруг вспомнил, что «встреча» состоялась, что я понятия не имею, как оказался на станции Розенхайм, что, возможно, я нахожусь не в замке, а в параллельной вселенной, а сексапильная фрау Флеминг совсем не та... не то, что я вижу перед собой. И тут, как бы в подтверждение моих слов, вместо смотрительницы возник мясник из лавки. Он был в кожаном фартуке, забрызганном кровью, в одной руке держал поросенка, в другой длинный тонкий нож... Мясник полоснул поросенка ножом, слизал кровь с лезвия лиловым коровьим языком и грубым низким голосом прорычал: «Потанцевать захотел, русский? Приглашаю!»

Подскочил ко мне, обнял, встал в позу и запрыгал со мной, как с куклой, в каком-то диком гопаке.

Стоило мне моргнуть и злое видение исчезло.

Смотрительница все еще продолжала свой рассказ об экспонатах замка, а я стоял перед ней и делал вид, что внимательно ее слушаю.

Закончила она свой рассказ так: «Обязательно обратите внимание на нашу знаменитую реликвию — палец святого Вита. В Саксонию этот предмет прибыл из Франции еще в девятом веке. Хранился в различных монастырях. Был куплен или отобран у монахов первым владельцем замка, рыцарем Дитрихом фон Арвеле в четырнадцатом веке. С тех пор хранился тут. Но никто этого не знал, потому что рыцарь спрятал свое сокровище в особом тайнике в капелле, вырубленной в базальтовой скале... Чтобы открыть тайник, нужно было вынуть тяжелый камень... После того, как в конце восьмидесятых годов тут нашли сокровище... да-да, то самое...

весь замок обыскали, простукали, просветили рентгеном... и случайно нашли этот тайник... Мы специально не заостряем внимание публики и прессы на этой уникальной вещи, боимся, что привлечем воров... но на самом деле она — самый старый и ценный экспонат нашей коллекции. Да, кстати, сегодня — пятнадцатое июня, день святого Вита... Раньше все в этот день танцевали. Найдете его под массивным стеклянным коллаком, в зале номер девять, в красном углу».

— А что, этот самый палец как-то связан с проклятием замка Грабштайн? Или это все басни для дошкольников?

Смотрительницу этот вопрос смутил. Ей явно не хотелось говорить на эту тему. Подумав минутку, она выпалила, очевидно воспользовавшись готовой формулировкой чужого авторства: никакого «проклятия замка Грабштайн» не существует. Это выдумки распространяли среди местного населения сотрудники музея в начале двадцатого века. Чтобы привлечь публику. И преуспели. Даже вы, человек родом из России, слышаны о проклятии. Ну да, в замке за восемь веков его существования много чего произошло... кто-то видел привидения... были и убийства, и самоубийства, и смерти при загадочных обстоятельствах... но они произошли не из-за какого-то мифического «проклятия», а из-за тщеславия, жадности, ревности одних и бесправия других... И маленькая серебряная коробочка с тремя косточками и обрывком кожи, называемая реликвией святого Вита, не могла и не может конечно послужить причиной драматических событий.

Она была великолепна в своем возмущении.

Я решил использовать ее порыв и затронуть самую важную для меня тему. Постарался не выдать голосом волнение и жгучую заинтересованность.

— А что вы слышали о бумажной фабрике... той, что через реку? Имеет она какое-то отношение к замку и его проклятию?

Собеседница моя смутилась еще сильнее, миловидное лицо ее стало пунцовым, ручки сжались в кулачки... она бросала на меня разгневанные взгляды... еще немного и бросилась бы на меня и начала царапаться. Кошечка.

— Если я затронул запретную тему, не отвечайте.

Демарш мой запоздал. Госпожа Флеминг проговорила каменным голосом, не без сардонических модуляций: «Не

надо притворяться, господин Сомна. Наша сотрудница, не буду называть ее имени, видела, как вы пошли тогда после посещения музея в сторону фабрики... А возвращались вы один. Без вашей жены... простите, приятельницы. На фабрике была полиция. Они там искали тело. Мы все это видели из окна и переживали. Может быть, бедняжка все еще лежит там, где-нибудь в подвале, а вы тут подлюю комедию разыгрываете? Как это цинично! Уходите, или я в полицию позвоню».

— Звоните, я не против. Уйду, уйду, только для начала взгляну на витов палец.

Оставил смотрительницу в самых расстроенных чувствах.

Походил по музею. Нашел окошко, из которого по-видимому «сотрудница и коллега» подсматривала за мной и Розы. Дырка в ограде находилась с другой стороны здания, отсюда никак нельзя было увидеть, как мы зашли во двор. За фабрикой — еще какие-то заброшенные производственные строения, а дальше — парк, переходящий в лес. Тут искать и искать... Прочесали видимо парк и фабричные подвалы, если они вообще существуют, а на третий этаж и не поднимались... Потому что лестница неисправна... можно шею сломать...

Если бы они видели то, что я видел, со мной говорили бы иначе. Убили бы, чтобы молчал.

Неожиданно наткнулся на ту самую реликвию в красном углу...

Палец святого Вита. Это имя мне было известно, потому что я посетил в свое время собор его имени в Праге и прослушал там долгую нудную лекцию, которой потчевали туристов тамошние экскурсоводы. Не много осталось в памяти... мученик... юноша... красавец... убит во времена Диоклетиана... в чем-то его заживо варили, но он остался невредим, как они все... неужели в эту чепуху христиане верят... лев его есть отказался... потому что был сыт или Вит был невкусный... нет, больше ничего не помню.

...

Палец лежал в небольшой серебряной трубочке, долженствующей изображать эту крайнюю часть тела. Трубочка покоилась в открытой деревянной коробочке, обитой золо-

том. Все это — под стеклянным колпаком, действительно массивным, прикрученным к массивной же металлической витрине.

Ничего особенного!

Внезапно моя правая рука как-то неестественно дернулась.

Пальцы ее сжались в кулак, потом напряженно разжались. Потом то же произошло с моей левой рукой. Ноги — и тоже импульсивно, судорожно начали сгибаться и разгибаться...

На стене висела ржавая рыцарская палица. Без труда выдрал ее из крепления... и треснул по стекляшке, которая разбилась с жалобным писком.

Зачем я это делаю, не понимал.

Схватил реликвию и положил в карман... в голове мелькнуло — за порчу музейного имущества — год, за кражу реликвии — три. Надо было убегать... или идти в полицию с повинной. Вместо этого я, дергаясь как паралитик, вышел на свободную от экспонатов середину зала номер девять и начал там танцевать.

Танцем это назвать было трудно, но я танцевал. Корчась, гримасничая, неконтролируемо выбрасывая ставшие такими длинными руки и ноги, немислимо сгибая спину и шею...

Откуда-то прибежали два палача. Те самые, в пестрых трико.

Потом появились и шуты, и девушка с лютойней, и рыцарь Дитрих фон черт знает что, и смотрительница...

Все они кричали, пытались схватить меня за руки...

Но ничего у них не вышло.

Я танцевал, танцевал, танцевал... прибавил скорости и задора, участил ритм и заплясал так быстро, что они меня перестали видеть.

Перед ними кружилось что-то вроде смерча, а когда он внезапно перестал вертеться, середина зала номер девять была пуста.

Пустая деревянная коробочка лежала на каменном полу.

## РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР

Ральф намазал ломтик своего любимого, овсяного с отрубями, хлеба — сливочным маслом, а поверх масла положил чайную ложечку абрикосового мармелада... откусил немного, так, чтобы захватить мармелад, и начал медленно жевать.

Медленно жевать он привык во время голодного детства, которое устроила ему его помешанная на экономии и здоровом питании мать. Чем дольше жуешь, тем дольше длится потом ощущение сытости.

Глотнул любимого, ямайканского, с синей маской на глянцевой этикетке, кофе, черного, но с сахаром. Посмаковал... улыбнулся и благосклонно посмотрел на свою жену Лени, младшую его на двенадцать лет, и до сих пор, несмотря на свои сорок пять, привлекательную и худощавую... Надежную кобылку, на которой он проскакал последние, счастливые, после двух ужасных браков, закончившихся скандалами и унижительными для Ральфа решениями бракоразводного суда, четырнадцать лет. Бездетную, но оптимистичную, веселую и охотно экспериментирующую с ним в постели. Последнее время они предпочитали ролевые игры. Паррафилия перерастала в нежное дурачество...

Сегодня утром Ральф изображал старого ворчливого плантатора, а Лени — разогревшую его холодную кровь рабыню, негритянку-малолетку. С психическими отклонениями. Она так билась, квакала и хрипела, что Ральф испугался и попросил ее быть потише...

А вчера — негритянкой был Ральф, а плантатором — Лени, которой для успешного завершения игры пришлось воспользоваться известным техническим приспособлением, крепящемся на талии... Ральф кричал искусственным детским голоском: «Не надо, масса, не надо, мне больно...»

А Лени не смогла удержаться... расхохоталась, и чуть все не испортила.

После катарсиса, впрочем, хохотал и Ральф...

...

— А не сходить ли нам на Рождественский базар? Что ты думаешь, милая? Как никак, сегодня первый день Адвента... И погода солнечная... Выпьем по стаканчику глинтвейна... посмотрим на этих идиотских щелкунчиков... на вертящиеся пирамиды... Жареной колбаски хочется пожевать...

— Я куплю тебе там наконец шерстяные носочки. Твои все с дырками.

— Вот, вот... купим носки, посмотрим на пирамиды, винца попьем... И еще я хочу купить грецкие орехи... килограмм пять... помнишь, в прошлом году покупали? Польские. Черненькие такие, но внутри — чистые, и в три раза дешевле наших...

— Ах, дорогой, я боюсь покупать пищевые продукты у этих людей... они какие-то грязные... говорят, они так нас ненавидят, что даже в тесто плюют, когда пекут хлеб на продажу в Германию... бог знает, что они в эти орехи насовали.

— Мне то же самое говорили про официантов в Париже... Если они слышат немецкую речь, обязательно плюют в суп. Может, это все вранье? Хотя нас действительно никто не любит. А за что нас любить?

— Ах, не надо об этом. Надоело уже... И еще я хочу попробовать новые крепы, мне Сюзанна рассказывала, что наш замороженный француз приготавливает, месье Леонид... с ванильным мороженым, брусничкой, клубничкой, ликером и ромом... Из каштановой муки.

Лени закатила глаза и зачмокала. Ральф заметил, что она опустила верхнюю, тонкую свою губу — на нижнюю, пухлую. По животу Ральфа прошла невольная судорога.

— Вот и изумительно! Я буду глинтвейн пить, а ты крепы есть...

Сказав это, Ральф встал, погасил свечу на рождественском венке, собственноручно сделанном трудолюбивой Лени, наклонился к уху жены и прошептал заговорщически: «А сегодня вечером я хочу быть инопланетянином-насилыником... Грубым, дерзким и ненасытным...»



— Клингоном? Тогда мне придется стать девочкой Сил из «Особи». Согласен?

— Ну нет, мне жалко твою спинку... оставайся сама собой, а я буду злобным греем.

— У греев кажется... глазки большие, а между ног...

— А у меня все будет ровно наоборот, голова маленькая, а член...

...

Начали собираться. Ральф был готов к отходу через пять минут, а Лени только через полчаса. Макияж, шляпка, сапожки... одну только сумочку выбирала минут десять... Женские заботы.

На базар решили идти пешком... потому что непонятно, где парковаться. Понаехали, небось, на своих паршивых Рено, пенсионеры из своих крысиных нор.

Пошли.

По дороге Ральф посматривал на фасады отремонтированных после Объединения шикарных домов, построенных в начале двадцатого века, и вспоминал, в каком плачевном состоянии они были во времена ГДР. Не только дома, но и мостовые, и фонари, и редкие в немецком мире неоновые рекламы, казалось, хвастались своей новой, добротной, надежной западногерманской плотью.

Оранжевые черепицы на крышах веселили глаза... а утробное ворчание мощных моторов БМВ и Ауди радовало уши и наводило на мысли о возможностях, подаренных историей бывшим водителям Трабантов и Вартбургов. Хорошо знающий своих соплеменников Ральф никогда не верил в то, что они смогут этими возможностями воспользоваться, но это знание уже не портило ему настроение. Сколько можно думать об одном и том же, терзать себя...

Старший сын Ральфа, Штефан с женой Синди умудрились выцыганить в банке кредит на открытие магазина сувениров. Получили деньги, сняли помещение на бульваре Брюль... компактное, удобное... купили мебель и товар... пригласили на открытие всех своих знакомых... дали объявление в местную газету... на радио... на открытии одетая в претендующее на «национальную» одежду безумное платье с воланами Синди раздавала детям конфеты и воздуш-

ные шарики, Штефан жарил для взрослых нюрнбергские сосиски... выставил восемь ящиков пива «Курфюрст». Устроили беспроигрышную лотерею. Выигрышами были наборы для литья оловянных солдатиков.

Через год примерно они позорно обанкротились...

Ральфу пришлось доставать из тайного заглазника пятнадцать тысяч... иначе Штефана еще бы и посадили. Синди дала последние, отложенные на похороны, деньги старушка-мать.

Теперь Синди бухгалтерша в Мюнстере, куда ее увез новый муж, Михель, владелец авторемонтной мастерской при автосалоне. А Штефан начал было колотиться, потом завязал... и живет то ли в Канаде, то ли в Новой Зеландии. Валит лес или овец пасет. Отношения между отцом и сыном, и так неважные, после банкротства магазина сувениров совсем испортились... Ральф конечно не смог удержаться от нотаций и поучений... сын не хотел все это слушать. Даже за глаза обвинял отца в своих бедах. Потому что Ральф — работал в Ратуше... и, по мнению Штефана, был одним из тех, кто «придумывает эти правила и налоги». Он имел в виду правила аренды недвижимости и особые налоги, которые в Германии устанавливаются городскими администрациями.

Эти правила и налоги, как считал Штефан, и разорили его уютный семейный бизнес.

На самом деле, виноваты были не налоги, а полная неподготовленность бывшего гражданина ГДР, по профессии инженера-конструктора швейных машин, и его жены, недоучившейся журналистки — к ведению торгового дела. Но разве кто-то добровольно признает свои ошибки? Гораздо легче свалить вину на других. Это делают и частные лица, и партии, и правительства...

Ральф первые десять лет после Объединения работал в отделе образования и спорта. Работу эту он получил, потому что еще в студенческое время организовал в городе протесты против лишения Вольфа Бирмана гражданства ГДР. За это его выгнали из технического Университета. Через пятнадцать лет Ральф был обласкан новой властью.

Помогал школам поднять зарплату учителям, искал спонсоров для постройки стадиона и ремонта бассейна.

Зарабатывал поначалу немного, но затем, после того, как еще десять лет проработал директором «Фабрики культуры», в которой наряду с городскими административными учреждениями, библиотекой, галереей современного искусства, минералогическим музеем, театральной кассой и несколькими магазинчиками, была и своя кондитерская, и рыбная лавка, и два кафе, и три ресторана, и парикмахерская, и даже несколько отделений банков... вдруг осознал, что не знает, как потратить деньги. К тому времени он уже щедро помог всем родным и близким, и не близким... Решил, что пришло время тратить деньги только на себя и жену. Потому что жизнь проходит.

Купил фрак, Мерседес для себя и Тойоту для Лени, снял шикарную квартиру на Кассберге, с индивидуальным лифтом, подземным гаражом и террасой, подарил Лени золотые часы Ролекс за семь с половиной тысяч евро, а самому себе — за пять. Начал покупать кофе по цене тридцать пять евро за пачку. И маринованных угрей.

...

Семейная жизнь Ральфа удалась.

До настоящей пугающей старости было еще далеко.

Другие дети Ральфа — дочка и сын выросли и работали в Баварии. Раз в месяц звонили отцу.

На могиле его родителей красовался солидный мраморный памятник.

Работа нервировала в меру.

Отношения с бургомистром, бывшим одноклассником, были задушевными. Иногда, они даже пили вместе пиво в «Золотом петухе». Не все члены городского совета были его друзьями, но даже во врагах Ральф чувствовал интуитивную поддержку властной корпорации. Между собой они позволяли себе роскошь враждовать, интриговать, изредка и пожирать себе подобных... но для всех остальных — они были сплоченной группой управляющих, связанной множеством невидимых для непосвященного связей... Полулегальные гешефты, совместные поездки... Лазурный берег, Сардиния, Гштад, Санкт-Мориц... дружба семьями... общие враги... путаны... банки...

Ральфа приняли в Ротари-клуб и городскую масонскую ложу.

Было отчего радоваться жизни по дороге на рождественский базар...

Единственное, что омрачало прогулку, было нахлынувшее на него ни с того, ни с сего неизвестное до сих пор Ральфу чувство — ему вдруг показалось, что все, что он видит вокруг себя — как бы не настоящее. Не настоящий день. Не настоящее солнце.

Ролевая игра? Кого и с кем?

И ты сам — тоже не настоящий. А какой? Пластилиновый? Может быть.

Театральные декорации? — спрашивал он самого себя, глядя вокруг себя и посмеиваясь.

Нет. Тут небо и горизонт. Нарисованы? Слишком хорошо. Так не бывает. Все бывает.

Кино? Тоже нет. Скучно. Какой я герой? Никакой.

Сексуальная фантазия? Чья...

Нет, скорее, это описание в тексте. Неопределенное... безответственное...

И дома на заглавные буквы похожи. Даже не на наши...

Кто-то пишет про меня, — смутно догадывался он, — и он имеет власть сделать со мной и со всем этим... все, что ему заблагорассудится. Черт побери, до чего странное и неприятное чувство.

Эй ты, там...

Бедняге Ральфу стало казаться, что это чувство его охватывало в жизни не раз... что вся его жизнь приснилась ему сегодня ночью. Или — за несколько секунд до пробуждения.

Кризис среднего возраста?

Ипохондрия своего рода?

...

Как раз тогда, когда Ральф и Лени, оба высокие, стройные, импозантные, в длинных дорогах пальто, Ральф с белоснежным шарфом, Лени с огненно-красным, подходили со стороны Кассберга к Рыночной площади, на которой располагался базар, произошло нечто... что отвлекло Ральфа от неприятных мыслей о пластилиновом мире, но заставило вспотеть от ужаса.

В длинном и узком окне городской Ратуши Ральф увидел нагую женскую фигуру с отвратительным лицом. Огромный нос начинался на лбу, а заканчивался на подбородке. Глаз и губ видно не было.

Ральф решил, что он окончательно и бесповоротно чокнулся. В отчаянии спросил Лени: «Посмотри на башню... над Роландом, в окне... видишь фигуру? И тебе, вообще... не кажется, что все ненастоящее?»

В это время они как раз входили на базар через щедро украшенные разноцветными лампочками ворота, через которые можно было бы провести боевого слона. Лени уже нашла глазами палатку с носками и чулками... и рвалась к ней. Поэтому она не приняла всерьез слова мужа и даже не взглянула на башню.

Ральф уже пожалел, что спросил жену... зачем ее мучить... отпустил ее с миром и зажмурился...

Затем посмотрел на башню еще раз... вот Роланд... вот и окно... пустое!

Померещилось...

Ральф погладил свою красивую седую голову со стрижкой ежиком, ему почему-то захотелось закурить, хотя он не курил уже лет тридцать.

Ну, голова у меня настоящая...

Понюхал воздух. Пахло жареными сосисками.

И воздух настоящий. И нос.

Подошел к Лени. Та перебирала и щупала бежевые и темные носки, соединенные вместе в три или в шесть пар.

И носки настоящие!

— Милая, я пойду, поищу глинтвейн и орешки...

— Только не уходи далеко, если потеряюсь, я позвоню.

— Хорошо. Но я не взял с собой мобильник. Иначе замучают звонками.

— Тогда встретимся у большой пирамиды. Ее отовсюду видно.

Ральф отошел от носочного киоска, прошел метров двадцать пять и вдруг застыл как вкопанный. У небольшой палатки с глинтвейном.

Та же страшная нагая дама с огромным носом как ни в чем не бывало разливала в белые фарфоровые кружечки горячую черную жидкость, пахнущую перегаром и корицей.

Нет, все-таки театр!

Посетители базара забирали свое пойло... платили ей, получали сдачу... так, как будто у нее обычное человеческое лицо, а не чудовищная образина... как будто она нормально одета. Вероятно, они видели ее иначе, чем Ральф. И именно это, а не ее нагота и безобразие испугали его. Он не хотел становиться отщепенцем-кверулантом, уродом-ясновидающим...

Еще меньше Ральф хотел бы стать героем пьесы. Надутым Гамлетом или озабоченным Фаустом. Он, особенно сегодня, и особенно тут, на рождественском базаре, хотел быть как все... хотел быть простым бургером, пришедшим на базар попить глинтвейна и поесть жареной колбаски...

Протер глаза, пощипал себя за худую жилистую руку...

И обратился к автору: «У тебя совесть есть? Крути кино назад».

Горько посмотрел на небеса, потом малодушно скосил глаза в сторону и отошел от киоска с глинтвейном. Вернулся к Лени, которая как раз протягивала продавщице двадцать евро.

Продавщице?

Ральф поднял глаза... да, его страх оправдался... эта продавщица... это тоже было она. Жуткая нагая. Чудовище.

И Лени не видела этого!

Ральф быстро повернулся к ней спиной и ахнул...

Все продавцы и продавщицы во всех киосках... все они были...

Болезнь прогрессирует, — подумал Ральф, — быстрее, чем я привыкаю к ее симптомам.

И тут же получил подтверждение этому.

Не только продавцы, но и все посетители базара, даже маленькие дети и старик в инвалидной коляске — превратились в эту... нагую фурию.

И Лени тоже.

Только он один оставался самим собой. Собой ли?

Поразительно, но все эти существа вокруг него продолжали делать то, что делали до своего превращения. Торговались, беседовали друг с другом о семейных делах, пили глинтвейн, что-то искали, находили... бывший ребенок все так же орал... а нагая на месте старика вертела колеса инвалидной коляски.

Лени-чудовище стояла рядом с Ральфом и держала в руках шерстяные носки.

Это уже слишком!

...

Затем этот странный, больной и неестественный мир стал на глазах у Ральфа разрушаться.

Вначале зашатался Роланд на башне. Гранитные его глаза раскрылись, он несколько раз моргнул, задрожал и отчаянно громко затрубил в рог. После чего упал и ушел под землю. Перед этим превратившись в огромную багровую букву «R».

Ушла под землю и пирамида.

За ними последовало и здание Ратуши и все окружающие рыночную площадь дома, ставшие строкой неизвестного Ральфу текста...

Зашатались киоски-слова... запрыгали как мячики-буквочки обнаженные женщины... все провалилось...

И вот... Ральф один на поросшем темным вереском поле, похожем на лист шершавой бумаги.

Солнце черное и в зените. Как распухшая точка.

Не слышно ничего, кроме завывания ветра и постукивания по клавишам.

Ральф понял, что жизнь его кончилась, и спросил непонятно у кого: «Почему исчез мой мир? В чем моя вина? Ведь я не делал никому ничего плохого, только работал, любил, зарабатывал деньги и тратил их. Помогал близким. За что ты меня так наказал?»

Никто ему не ответил.

Ральф глубоко вздохнул и закрыл глаза...

На листе появился печальный мягкий знак...

И тут же открыл их.

Прямо передо мной показалась и тут же пропала охваченная серебристо-фиолетовым сиянием машина, похожая на биомеханическую скульптуру.

Я сидел в огромном зале на третьем этаже бывшей бумажной фабрики.

В длинном пальто... на шее у меня был повязан белый шарф. Со стены на меня пристально смотрела безглазая голографическая Роза.

На дворе трещал цикадами июнь.

Я снова был в своем времени, в своем милом кошмаре...

Спустился по лестнице с провалами и направился на станцию Розенхайм.

Проходя мимо замка Грабштайн заметил, что из верхнего окна на меня смотрит смотрительница, прекрасная фрау Флеминг. Приветливо помахал ей рукой и послал воздушный поцелуй.

Вскоре услышал знакомое хрюканье из мясной лавки.

Еще два поворота, и я на станции. Тут подземный переход. Вот и платформа.

Подошел поезд.



## МОНСЕНЬОР

Вошел в вагон, поднялся на второй этаж. Занял свободное место у окна. Расслабился.

Состав мягко тронулся. Надал. За окном понеслись назад полюбившиеся за годы жизни в Саксонии картинки — холмы, заросшие буками, аккуратно обработанные поля, деревянные башенки для охотников, современные великаны — ветряные электроустановки, с шизофренической плавностью вращающие свои белые лопасти.

Подремал минут пять... а когда открыл глаза, обнаружил, что напротив меня сидит непонятный человек в длинном летнем пальто, украшенном небольшим значком в форме герба. Узколицый, породистый, очкарик. В маленькой феске песочного цвета.

Из-под пальто выглядывал характерный белый воротничок католического священника.

Руки у незнакомца были, как у многих представителей поповского сословия, неестественно белые. Кольцо на указательном пальце, тоже с гербом. Нос — длинный, тонкий, изогнутый. А глаза серые, спокойные. Но с потайной мыслью.

На ногах его вместо ожидаемых элегантных туфель — были популярные тогда роликовые коньки.

Неожиданно он заговорил. Баритон его отдавал в металл.

— Чудесный день, господин Сомна.

— Чудесный, чудесный. Только вот день ли это? Впрочем, не важно. Откуда вы знаете мое имя, падре на колесиках?

— А откуда вы знаете, что я священник? По одежде судите? Я могу вам и другой воротничок продемонстрировать... пеньковый.

На одно мгновенье... человек в черном пальто превратился в ужасный разлагающийся труп, болтающийся на виселице. На голове его сидела синеватая ворона и клевала мертвецу глаза.

— Довольно, довольно, туше. Прошу вас не мучить меня подобными фокусами. Идите вон, к молодым девочкам, удивляйте их... а у меня нервы слабые.

— Знаем-с. Наслышаны. Хотя слово «нервы» пожалуй неуместно для того, кто прошел через третий этаж бумажной фабрики и остался в живых... Также как и «меня». Какого собственно «меня» вы имели в виду? Замученного вами до смерти Ральфа? Или любовника несчастной госпожи Ким? Что, труп так и не нашли? Вы все еще под судом? Или вам надоел этот криминальный сюжет, и вы его бросили, толком даже не начав? Или ваше «меня» относится к Дитриху фон Арвеле, дурацкую игрушку которого вы так нагло присвоили? Где она, кстати? В кармане? А может быть, поднимай выше, самого сиятельного императора Диоклетиана, великого гонителя христиан? Вы ведь недавно нанесли ему визит... изнутри, так сказать. И тоже, не без потерь для его казны...

— К дьяволу этого далмата, любителя капусты. Кстати, он не был таким уж плохим начальником... хотел империю восстановить, порядок... новый «золотой век» устроить... Термы построил недалеко от вокзала. Что вам от меня надо? Я устал, хочу поспать полчаса... Катитесь туда, откуда притащились, прямо в ад... А не то я вас в черную кошку превращу и на горящую крышу заброшу. А сам я приеду в город, пойду домой и приму ванну...

— В черную кошку на горячей крыше? Как оригинально. Ха-ха-ха. Ничего, ничего мне от вас не надо, любезнейший вы наш путешественник «по нижним мирам»... Мне — ничего, мне ни от кого ничего не надо... Ваш мир мне давно осточертел. Я такой же как вы — мне главное, чтобы меня не трогали... и я тоже хочу в ванну... книжечку почитать... того же Евсевия Кесарийского, доброго вашего друга... кости старые погреть... колено вот разболелось... старая история... но моему братству кое что от вас надо, да... оно меня и прислало... пришлось влезть в этот... в поезд... какая первобытная машина!

— Катитесь, катитесь, к черту, вместе с вашим братством! Не мешайте добрым людям дремать и в окошко смотреть.

— Добрым людям? Это вы — добрый человек? Или другие пассажиры? Весь ваш мир — только ложь и бутафория. Понимаю, вам лень концентрироваться после приключения на базаре, да еще и в чужом теле... Придется поработать

за вас... Вы минутку назад обратили внимание на двух очаровательных невинных девушек... да, щебечущих там... в уголке. Как они прекрасны, какие точеные носики и подбородки... ботичеллевские волосы... совершенство, а знаете, чем они занимаются, когда... никого нет рядом? Как бы поприличнее выразиться... хм-хм... они лижут друг другу анусы... и... фу, как неаппетитно... испражняются при этом. И как страстно лижут! До беспамятства... И как стонут! А вы меня в ад посылаете. А он тут, всегда с нами... Под боком! Вон там, с другой стороны, видите солидного толстяка с мальчиком лет семи? Это папа с сыном. Ездили в гости к бабушке. Видите длинный такой сверток в сумочке? Это бабушкин подарок, духовое ружье. Чтобы внучек птичек мог пострелять... Папа — добрый человек, владелец небольшой лавочки, продает ортопедическую обувь... а сынок его школьник, хорошист, поет в церковном хоре... Аве Мария вытягивает, что твой соловей... Добрые люди? А знаете, что этот папа делает в их расчудесной домашней сауне, когда мамы дома нет? Зовет туда сына... раздевает его... целует его алый ротик... смазывает вазелином ему... продолжать? И сыну это очень нравится... папа и друзей иногда приглашает в сауну...

— Катитесь к черту со своими соловьями и саунами! Вы вуайерист, а не священник! Пусть все делают, что хотят. Взрослые и дети. Вам-то что?

— Мне ничего! Вуайерист? Да! Но только по долгу службы... А воон там, в конце нашего ряда, видите... старушка шапочку вяжет... Добрая такая. Она отравила крысином ядом двух своих мужей... пыталась отравить и соседку, к которой приревновала любовника. Но та выжила. Как же ее жертвы мучились! А ей все сошло с рук. И никаких

укоров совести, представьте... никаких... А напротив нее сидит такой умный-умный дяденька с усами... полный и важный... он действительно умный, успешный в прошлом писатель... социальные романы писал, по одному в год... с сюжетом и психологией... во времена ГДР он был «ИМ», стучал себе и стучал для Штази... да как квалифицированно... умно... всех друзей заложил... и знакомых... и знакомых друзей... и не покаялся... и с собой не покончил, когда его публично разоблачили... наоборот, он гордится собой... считает себя патриотом... уверен, что рано или поздно будет востребован и в новой Германии... и не без оснований... только, увы, еще до этого счастливого момента он умрет от удара... сразу после сытного ужина в ресторане... печально...

— Хватит, хватит тут разоблачать и проповедовать, все не без греха... К делу, пожалуйста.

— Вы так невежливы! Что же, к делу, так к делу... Мне поручили... хм... передать вам предложение принять участие в дискуссии... или в совете... в кругу избранных лиц... и для этого вы должны через час прибыть в Святую Землю... вот письмо, там инструкция... как и что... сами прочтите...

Он вынул из внутреннего кармана конверт, сверкнувший оттиснутой на нем золотой короной с зеленой змейкой, и подал мне.

— В дискуссии? Любое коллективное обсуждение напоминает мне свальный грех или комсомольское собрание. Единственным его результатом обычно является — неприязнь или вражда. Не знаю, почему говорю это вам, но для меня равно невыносимы и «вещание» гения... и «свободное демократическое обсуждение» проблемы в коллективе, члены которого всегда интуитивно ищут вождя-погоняльщика... и виноватых во всем врагов. Для того, чтобы отдать вождю свою свободу и поучаствовать в публичной казни... Или жертве.

— Ээ... потяни меня за палец... да вы еще и философ! Как вы разболтались... в поезде... с неизвестным... Прочитайте письмо, там все сказано... У меня нет больше сил и желания говорить с вами.

В его тоне слышалось раздражение и нетерпение. Он встал и лихо укатил от меня по проходу. Даже не попрощался. Вышел на следующей остановке.

Я положил письмо в карман и опять задремал. Посмотрел только на адрес отправителя.

Адреса не было, но отправитель был указан. «Братство святого Флориана».

Эти слова ничего для меня не значили.

...

Поезд подъезжал к городу.

С левой стороны от железной дороги улицы убегали вверх, на пологий холм...

Остроконечная колокольня, казалось, протыкала небо... на седлообразной вершине холма рос «Чижиковый лес», по узким тропинкам которого я часто катался на велосипеде. Однажды я повстречал там обнаженную женщину, игравшую на маленькой дудочке. Я посмотрел на нее с вождением, а она превратилась в птицу и улетела.

С правой — пятиэтажные дома, толпясь и волнуясь, массивными жилыми каскадами спускались к городской речке, параллельно которой мы ехали. Недалеко от реки стоял дом старинной постройки, на третьем этаже которого располагалось мое логово.

Но домой в тот день я так и не попал.

Неодолимая потребность заставила меня заглянуть в недавно отремонтированный вокзальный ватерклозет. После успешного посещения стерильной кабинки, без единой надписи на стенах... вышел в туалетный зал... но вместо покрытых зеленоватым кафелем стен и сверкающих писсуаров увидел перед собой готические своды, витражи и знаменитую «Розовую кафедру», с которой еще Лютер проповедовал.

Что за гротескная чертовщина?

Какая глупая сила кинула меня из вокзального туалета в городской собор? И зачем?

...

В соборе этом, в своей древнейшей, подземной части еще сохранившем несколько романских колонн с стилизо-

ванными львами, пантерами и райскими птицами на капителях, я, разумеется, бывал и раньше. Излазил его вдоль и поперек. Его внутреннее пространство не было испорчено барочными переделками, как это произошло со многими другими немецкими церквями. Стрельчатые крестовые своды звенели... колонны были собраны в пучки... на некоторых из них крепились статуи. С наружной стороны стены собора поддерживали мощные аркбутаны, опирающиеся на контрфорсы.

Во времена Реформации обезумевшие толпы сломали и сожгли в соборе все, что можно было сломать и сжечь. Вымели из храма вместе с ложными святынями и самого Сына божия и его Мать. Уничтожили труд поколений честных ремесленников — кузнецов, ювелиров, художников, резчиков по дереву...

Остались один на один с евангельскими текстами... и Лютером. Чертовы кретины!

Позже прихожане и клирики, сохранившие с риском для жизни немногие церковные сокровища, принесли их назад в собор... откуда их новой волной разрушения вымела 30-летняя война, эта бессмысленная, безумная бойня.

А еще позже с востока приволокся Иван и установил в городе сталинские порядки. Настоящие нацисты уже сбегали на запад, пришлось ему отыгрываться на оставшихся.

Слава богу, немецкая деревянная скульптура русских не интересовала... они и свою-то родную пожгли после революции, а на немецкую у них и времени не было, надо же было за молодыми немочками, часами, радиоприемниками и фарфорами охотиться... Одна знакомая старая немка рассказывала, что русские врывались в дома и кричали: «Ури-ури!»

Кроме русских побежденных германцев грабили в этой части страны — чехи и поляки, о которых та же знакомая говорила: «Эти изверги еще хуже иванов».

И несмотря на все это — в соборе сохранились кое-где расписанные красками деревянные статуи... распятия, резной многостворчатый алтарь, несколько дюжин картин более или менее близких по стилю к работам Кранаха и его школы, знаменитая Пиета работы мастера Петера Бройера

и легендарная «Розовая кафедра» с многочисленными фигурками из розового порфира...

Для меня собор олицетворял то, единственное, захватывающе интересное, что осталось в Германии от прошлых времен. Там, под готическими сводами, защищенный от современности толстыми холодными стенами по бокам и потертыми каменными и бронзовыми надгробьями под ногами, между миром мертвых и Небесным Иерусалимом я чувствовал себя самым собой, а не каким-то пошлым «эмигрантом», приехавшим в Европу поесть вкусные сосиски и потрахать немок, как думали обо мне местные.

Поэтому, оказавшись в соборе, я не растерялся, а занялся тем, чем всегда тут занимался — начал неспешный обход... медитативную экскурсию... подошел как обычно вначале к древнему деревянному распятию недалеко от главного входа.

Распятый Иисус был ужасен... к голове его был приклеен парик из настоящих человеческих или конских черных волос. Огромное, не пропорциональное тело висело на длинных тонких руках. Пальцы на руках отсутствовали, были как бы отрублены. Вены на руках и ногах баскетболиста вздулись. Нарисованная кровь расплзлась струйками по всему измученному телу трехметрового гиганта. Выразительное худое лицо было искажено гримасой смерти... Я не удивился, когда услышал стоны, кашель... а потом и глухой голос статуи.

— Ты много раз спрашивал меня, что же произошло тогда, после моей казни. Пора тебе узнать правду. Ничего особенного... я умер... и воскрес... А теперь... посмотри на меня... на мое тело... если бы ты знал, как мне больно... как неудобно существовать в этой изъеденной жучками деревяшке... они грызут меня... проклятый терновый венец сползает на глаза... туристы пьются по десять часов в сутки... Хочешь ли ты такого бессмертия? А другого у меня нет.

...

В этот момент кто-то взял меня под руку. Это был тот самый священник. Только одет он был иначе... В пурпурную сутану. И все еще на роликовых коньках.

Он легко приподнял меня... и прокрутил вместе со мной рискованный пируэт. Как опытный фигурист. Затем поставил меня на пол. Перед глазами у меня все поплыло, но он не дал мне упасть...

— Вы, господин Сомна, я вижу, письмо так и не распечатали? Ну что же... тогда придется... Он подхватил меня и крутанул еще раз.

— Прошу вас, перестаньте! Иначе меня в храме вырвет. Вижу, вас за короткое время моего отсутствия повысили в чине! Как вас теперь называть? Ваше катающееся превосходительство, крутящееся преосвященство, бегающее высокопреподобие или святейшество на колесиках?

— Как мило! Если вам так хочется, зовите меня Монсеньор. А теперь... прошу вас не дергаться и слегка поджать ноги.

Он обхватил меня сзади, приподнял, и мы покатались... сквозь колонны и стены... и... как будто так и надо... вкатились в другой, незнакомый мне, храм-ротонду.

Внутри большого помещения, увенчанного грандиозным куполом с круглой дырой посередине, из которой лился яркий свет, стояло еще одно, небольшое здание, какой-то чудовищно неправильной, даже отталкивающей архитектуры. В стенах его были пробиты эллипсоидальные отверстия. На его крыше было сооружено что-то вроде башенки с сильно сплюснутой луковкой.

— Это бредовое сооружение — Кувуклия, построена на месте склона срытого холма, в котором по преданию находилась пещера, в которой похоронили Иисуса, — пояснил мой спутник. — Мы находимся в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Прошу вас вести себя тут соответственно.

Он подмигнул мне, повернулся к Кувуклии задом, задрал свою сутану, спустил нижнее белье и показал Гробу Господню тощий зад. Пустил ветры. Затем как-то неестественно быстро привел себя в порядок, стал опять благообразным и продолжил говорить.

— Встреча с членами Братства состоится в бывшей каменоломне или цистерне, там, внизу, где, согласно легенде, мать императора Константина Елена нашла Животворящий Крест. Тот самый, на котором распяли Христа. Всего



нашли три креста. Всех их подкладывали к больным. Только один из них исцелял. Так-то.

Я, хоть и был слегка ошеломлен, нашел в себе силы и сказал:

— Это по-вашему «вести себя соответственно»? Вы вульгарны. Сильно же вы в него верите, если так ненавидите... даже странно. И еще — прошу вас в следующий раз использовать авиатранспорт. Катание сквозь стены мне как-то непривычно. Уши можно поцарапать...

— Ах, профессор, вы обознались, приняли ритуал моего сословия за мое личное отношение... И не забывайте, я должен верить в Его силу, в Его меч, потому что моя сила — есть только ее отражение, мой меч — только тень Его меча... да-да, тень, но этой тенью я могу превратить в пыль стены потолка тутошних! Уберете Его, уберете и меня. И вам останется рациональный мир избитых истин и бесконечной скуки... мир, в который вы так радостно погрузились. Турик.

— Это ли не избитая истина?

Монсеньор мне не ответил... Видимо, его «ритуал» требовал продолжения.

Он преобразился... вырос, показал рогатую козлиную голову и раскрыл свои громадные темные крылья... Взлетел... И медленно облетел несколько раз Кувуклию, не спуская с нее глаз... казалось, что он хотел испепелить ее взглядом...

Потом приземлился рядом со мной и тут же стал прежним... священником.

Лицо его выражало благоговение и почти светилось.

Я вспомнил цитату из Добротолубия: «Дьявол лукав и многолик».

Добавил от себя: «И консервативен, как постаревший политик».

Мы двинулись вниз по широкой лестнице.

Прошли освещенную магическим красноватым и зеленоватым светом, льющим из сотен висящих лампад, капеллу с двумя могучими византийскими колоннами посередине и несколькими алтарями, и по узкой лестнице спустились в подземный зал, формой напоминающий сильно

деформированную полусферу. Верхнюю ее часть как будто изгрыз клыками заключенный здесь тысячу лет дракон.

Я ожидал увидеть там членов братства святого Флориана в красных одеждах, капюшонах, с какими-нибудь атрибутами в руках... вроде щитов, шлемов или трезубцев...

Каково же было мое удивление, когда вместо этого, я увидел... большой круглый, подсвеченный снизу, стеклянный аквариум с золотыми рыбками, плавающими кругами вокруг невидимой оси.

У меня зачесались лопатки. Вокруг аквариума водили хоровод погруженные в глубокий транс обнаженные женщины, как будто сошедшие с полотен Поля Дельво. Тяжелые их груди колыхались как головы Гидры. Танцующие смотрели широко открытыми, как бы незрячими, глазами на какой-то предмет внутри аквариума.

Болезненное предчувствие кольнуло меня в сердце. Грубо оттолкнув одну из них, я прошел к аквариуму и прижался носом к стеклу.

Так и есть! В середине аквариума крутилась в маленьком, поблескивающем ртутью водовороте — серебряная трубочка с мощами святого Вита из девятого зала музея замка Грабштайн!

Вокруг нее крутились и танцевали фигурки-куколки. Два палача, шуты, красавица с лютой и миловидная госпожа Флеминг. Она глумливо улыбалась и манила меня к себе.

Я отпрянул от аквариума... заметил, что Монсеньор опять превратился в крылатого дьявола и летал вокруг аквариума. Прямо надо мной. Он смотрел на меня своими адскими черными глазами, хохотал и норовил схватить когтями... Хохот его напоминал раскаты грома.

Хоровод распался... женщины обернулись уродливыми старыми ведьмами...

Еще через мгновение они бросились на меня, дико визжа...

Я попытался убежать, но не смог сделать ни шага. Панический страх парализовал мою волю...

Ведьмы повалили меня... накиннулись скопом... их длинные ногти и острые зубы вонзились в мое тело...

...

Внезапно все стихло.

Я открыл глаза и узнал залитый ярким июньским светом зал на третьем этаже заброшенной бумажной фабрики.

Я сидел на каменном полу, в руках держал серебряную трубочку. Прямо передо мной находилась живая мерцающая конструкция — дезинтегратор. Повинуясь инстинкту, я бросил трубочку в одно из его жерл, из которых вырывался синеватый огонь.

Дезинтегратор проглотил реликвию... и через несколько секунд исчез.

У меня как будто камень свалился с сердца...

Я встал и посмотрел в окно. Вид на замок Грабштайн был действительно великолепен.

## ЯЩЕРИЦА

Человеколюбие оставило Руди Хайнца после того, как он понял, что Германия будет и дальше принимать беженцев. По миллиону в год.

В молодые годы он побывал в арабских странах, и был поражён нищетою, суеверием и восточной осатанелостью населения... стал жертвой мошенничества и воровства. Отравился арабской едой и страдал несколько лет от последствий отравления. Пожил год в турецком районе Берлина и натерпелся там грубостей и унижений.

Ему не хотелось, чтобы его прекрасная страна превратилась в какой-то задрипанный «халифат».

Последнее время им все чаще овладевала слепая ярость. Потому что он твердо знал — хотя таких как он в Германии миллионы, правящие «демократические» партии и правительство всегда будут действовать вопреки его воле и гнать и гнать сюда мусульман. А его и его единомышленников — всячески травить и оскорблять на телевидении и в прессе, называть неонацистами.

В новую партию — «Альтернатива для Германии» Руди не верил.

— Как только они получают власть и богатство, разжиреют, погрязнут в коррупции и забудут свои обещания. Побегут на поклон к саудитам и станут такими же, как сегодняшние — коллаборантами, национал-предателями.

Ярость Руди, как кипящий бульон в скороварке, искала выхода.

И нашла.

Он убил ребенка — мальчика.

...

Прямо перед балконом квартиры Руди, выходящем на тихую улицу города, росло дерево. Руди не знал точно, что это за дерево... каждую весну оно цвело розовато-оранжевыми пушистыми цветами и радовало Руди. Сакура?

Цветов было много, так много, что не хотелось верить глазам... Казалось, бабушка связала огромную шапочку из цветов и надела ее на дерево.

Около недели продолжалась эта цветочная оргия, затем цветы коричневели, опадали... дерево делалось просто деревом, по его веткам сновали воробьи и синицы, которых Руди кормил очищенными от скорлупы семечками.

В тот день Руди чувствовал себя особенно одиноким, несчастным и яростным. Его единственная дочь не звонила уже месяц, самому ей звонить она Руди запретила. Дочь его жила в Голландии, не работала, покуривала травку, с последним своим мужем развелась шесть лет назад. Что она там делает целый день? Бедняжка.

Боролся с одиночеством как умел... вспоминал жену, оставившую его сразу после Объединения, работу, которую потерял так давно, что даже забыл лица сослуживцев, рисовал птиц... перерисовывал их из книжки к себе в альбом. Слушал музыку. Не выбирал, какую придется... Радио в форме гриба он получил бесплатно от какой-то благотворительной организации за однодневную автобусную поездку в Виттенберг, на торжества по случаю Года Лютера и Реформации.

Компьютера у него не было. Руди был рад, что мог из своей нищенской пенсии оплачивать скромную двухкомнатную квартиру в плохом районе города. Денег едва хватало на еду и лекарства.

Пообедал готовым морковным супом за евро двадцать из магазина Пенни напротив, в который настриг ножницами немного зеленого лука с собственной плантации на подоконнике... полежал в ванне, заснул, поспал в теплой водичке, вымылся...

Захотел подышать свежим воздухом, вышел на балкон, проверил, полна ли кормушка. Подсыпал корма и посмотрел на дерево.

Стояла типичная немецкая зима, бесснежная, теплая и гнилая. Дерево сбросило листья и лоснилось от сырости. На вершине его сидел мальчик. Увидев его лицо, Руди испугался...

Руди не понимал, чего он собственно боится... мальчишке было всего лет восемь... расстояние от балкона до дерева, метра четыре, можно было преодолеть только по воздуху.

Да и не стал бы этот чужой мальчуган вредить Руди...

Руди испугал не мальчик, а его присутствие... чужое, назойливое присутствие... почти на его балконе, на его территории. Руди ушел назад в гостиную и осторожно посмотрел на мальчика через жалюзи балконного окна. Мальчишка сидел на вершине дерева и деловито ломал ветки своими маленькими, сильными не по годам руками. Безжалостный... циничный... разрушитель.

Даже тут, за стеклом, Руди слышал треск ломаемых веток.

Руди узнал его — это был сын неприятных, смуглых людей с грубыми лицами, жителей соседнего подъезда. Кто они были, Руди толком не знал, но предполагал, что это румыны, принадлежащие к какому-то этническому меньшинству. Гагаузы?

Соседка рассказывала, что они приехали в Германию три года назад как беженцы и остались... как-то смогли убедить немецких чиновников в том, что их преследуют на родине из-за их национальности.

— И живут теперь человек тридцать в двухкомнатной квартире... Наверное обманули этих легковверных идиотов-бюрократов, не знающих мира, как их все обманывают. Наша страна превратилась в выгребную яму для гнилого сброда из Восточной Европы... а теперь Германия стала еще и приютом для дезертиров из Афганистана и Сирии. Устроили бойню в своих странах, а теперь хотят испоганить все тут, в Европе. Проклятая Меркель! Это она пустила сюда эти полчища негодяев. Ну ничего, когда-нибудь эта самовлюбленная сука ответит за все.

...

Руди бессильно смотрел на мальчика, ломающего его любимое дерево. Он знал по опыту — слова бесполезны. Это грязное животное не слезет с дерева, не перестанет ломать ветки, даже если Руди его попросит. Даже если он встанет перед ним на колени.

Звонить в полицию тоже бесполезно. Раньше Руди часто звонил туда, когда видел что-то отвратительное и хотел предотвратить еще худшее.

Кто-то привязал собаку к уличному столбу и ушел, и несчастное животное лаяло и выло от страха... начало кидаться на прохожих...

Группа маленьких хулиганов, явно турецкого или арабского происхождения, кидала камни в хромую старушку...

Несколько восточных людей выгрузили сломанную мебель и отвратительно пахнущие мешки с мусором прямо на газон, метрах в тридцати от входа в его подъезд. И уехали. Руди не успел записать номер...

Полицейские давно уже знали его голос и имя и на его вызовы не ездили.

Руди чувствовал себя беззащитной жертвой произвола хищных и алчных чужаков. И этот мальчишка на дереве принадлежал к н и м.

Руди казалось, что он слышит, как дерево плачет как ребенок, которому ломает пальцы садист... Его охватила слепая белая ярость.

Руди пошел на кухню, открыл холодильник, и достал оттуда пачку разноцветных вареных яиц. Открыл в гостиной дверь на балкон, несколько раз примерился... не хотел, чтобы его с улицы видели... и запустил в мальчика первое, желтое яйцо.

Не попал. Яйцо просвистело метрах в полутора от маленького негодяя, тот даже его не заметил.

Второе яйцо, синее, ударило в ствол... взорвалось как маленькая безвредная граната... остатки яйца упали на газон.

Зато третье, красное яйцо, попало мальчишке между глаз.

Тот вскрикнул, испугался, что станет кривым, прижал к большому месту нечистые ладони... потерял равновесие и рухнул вниз.

Приземлился неудачно. Кольшек невысокой металлической ограды прошил насквозь его грудную клетку.

...

Под деревом лежал окровавленный труп ребенка.

Руди был потрясен. Он не хотел убивать.

Из соседнего подъезда выбежали две толстые коротконогие женщины в цветастых платках, встали на колени и начали голосить. Они вздымали к небу руки. Руди смотрел на них из окна.

— Жалко пацана. Это его мать и бабушка... теперь они визжат, как свиньи. Надо было сына воспитывать, а не приставать к туристам на Алексе. Тогда он остался бы жив, и дерево радовало бы всех нас еще сто лет. А теперь их сына и внука сожрут черви.

Через четверть часа приехала скорая помощь, тело мальчика забрали в больницу.

...

Руди надеялся на то, что никто не заметил его стрельбы яйцами по мальчику на дереве.

Но это было не так.

В критический момент родной дядя мальчишки, по роду занятий карманный вор, случайно посмотрел в окошко. Увидел что-то красное, ударившее его племянника по лицу. Видел, как мальчик падает прямо на проклятый штырь. Вышел на улицу после того, как увезли тело и все стихло.

Догадался, что это красное — прилетело с балкона гадкого седого немца с сумасшедшей физиономией, который однажды сделал ему замечание... что-то вроде: «Прошу вас, не бросайте мусор во дворе... для мусора — мусорные баки, вон, всего в нескольких шагах...»

Дядя нашел на месте падения племянника несколько кусочков красной яичной скорлупы и желтка... Все понял... И решил не обращаться в полицию, а попробовать пошантажировать немца. Если получится, выдрать из него пару тысяч. Ведь все они — богачи, не то, что мы...

Времени дядя терять не стал... прошел в соседний подъезд по пожарному проходу на последнем, одиннадцатом этаже... нашел входную дверь квартиры Руди и позвонил.

...

Когда Руди услышал звонок, его сердце сжалось... чутье подсказало — звонит тот, кто знает, что он виноват в смерти мальчика.

Посмотрел в глазок — какой-то неприятный тип... ага, узнал... этот тоже из соседнего подъезда, это тот, который все время кидает окурки из окна и сорит во дворе... Что ему надо?

Открыл, но внутрь не пустил.



В кармане у Руди был большой складной нож, купленный на птичьем рынке за десять евро. Руди не собирался его использовать... но нож придавал ему уверенности в себе.

А дядя сразу решил схватить быка за хвост.

— Я видел. Ты кинул яйцо. Мальчик упал и умер. Ты убийца.

— А ты дурак, шел бы вон.

— Пойду в полицию и расскажу.

— Иди.

Дядя испугался, что шантаж не удастся. Решил поработать корпусом. Попер на щуплого Руди брюхом. Как японский борец. Одолеп немца. Протиснулся в квартиру. Закрыл за собой дверь.

Хотел что-то сказать... наглым, требовательным тоном...

Но тут... получил неожиданный страшный удар ножом в горло. Руди, несмотря на свои семьдесят лет, был еще крепок. Ударил снизу-вверх. Поблескивающее лезвие вошло в голову ворвавшегося в его дом мерзавца.

Неудачливый шантажист захлебнулся кровью... выпучил глаза... упал. Начал биться и хрипеть.

А Руди ловко надел ему на голову полиэтиленовый пакет с надписью «ЛИДЛ» и завязал на шее шнурком от ботинок. Минуты через три дядя умер.

На резиновый коврик Руди, защищающий ламинат его узенькой прихожей от уличной грязи на ботинках хозяина и редких гостей, натекло с пол-литра крови.

Руди после этого, неожиданного и для него самого, удара ножом, ничего не соображал, действовал инстинктивно.

Пан или пропал.

Вытащил труп с пакетом на голове на лестничную клетку, втащил в лифт, поднялся на одиннадцатый этаж, перетащил дядю волоком в его подъезд и втащил в лифт. После чего отправил лифт с телом на первый этаж, а сам ушел домой. Окровавленный пакет и шнурок забрал с собой.

Отнес коврик и пакет в ванную. Смыл кровь. Разрезал их ножницами на куски и унес в близлежащий лесок. Нашел подходящее дупло и засунул в него резиновые треугольники. Забил дупло землей.

Нож бросил в канаву с илистым дном. Туда же кинул шнурок.

На всякий случай выкинул и свои домашние тапочки.

Пришел домой.

Еще раз тщательно проверил прихожую — искал капельки крови. Не нашел. Мокрой шваброй быстро-быстро вымыл пол перед входной дверью и в лифте и переход в соседний подъезд.

Немецкий бог спас Руди — никто не видел его стараний.

Запер квартиру, вышел из дома через задний вход и уехал в свой загородный домик.

И, хотя пассажиры автобуса казались ему страшилищами, в пути успокоился, пришел в себя, ярость его на время улеглась.

Вернулся домой через четыре дня.

В почтовом ящике нашел приглашение на беседу в Крипо. Был там допрошен без пристрастия. Это была формальность, следовательно был уверен, что румына убили свои в криминальной междоусобной разборке.

...

Недели через три Руди убил беженца-сирийца.

Сириец шел в свое общежитие. А Руди возвращался с прогулки. Ему показалось, что сириец зло и насмешливо на него посмотрел.

Он подошел к нему и ударил его, как и соседа, ножом в горло. Сириец не ожидал такого от седовласого дедушки. Осел, заливаясь кровью, и упал лицом вниз. Похрипел немного и затих.

Внезапно Руди понял, что стал серийным убийцей. Руки его, с уже показавшимися старческими пятнами, были в крови... Колени болели. Ломило поясницу. Дыхание было затруднено от волнения. По спине катил холодный пот.

Зачем он убил этого парня? Какая кошмарная бессмыслица!

Руди первый раз в жизни засомневался... в окружающем его мире, в самом себе... А не проверяет ли кто меня? Вон березка оставшимися желтенькими листиками трепещет. Она тут зачем? Она настоящая? Или она декорация?

А эти ужасные трехэтажные кирпичные дома с трехцветными флагами в окнах. Они настоящие? Их жители

живут... или только едят, спят, ходят на работу... Нет, они не люди... мы все не люди... мы ящерицы...

Как бы отвечая его мыслям, к Руди на всех парах приближалась разверстая огненная пасть размером с колокольню... из пасти несло горелым мясом... доносились истошные вопли...

Руди зажмурился, но пасть его не тронула... исчезла...

Он услышал смех. Обернулся.

Позади него стоял человек в длинном пальто с выглядывающим из-под него характерным белым воротничком. Он смеялся и поглядывал на Руди лукаво. Затем дунул в воздух, и все остановилось. Машины, едущие по шоссе метрах в ста от них. Трактор, тащивший на прицепе тесаный лес. Вороны, деловито ищущие корм на поле. Застыл и пролетающий над ним самолет, несколько минут до этого стартовавший в Тегеле. И зимнее белесое Солнце застыло в сером небе. Застыл и Руди. Двигаться мог только он, этот загадочный свидетель третьего убийства нашего героя.

Человек в длинном пальто подошел к Руди и внимательно посмотрел на него. Заговорил низким неприятным голосом.

— Как глубоко вы вживаетесь в роль! Три убийства! Из жалости к самому себе... какая убедительная мотивация! И какая непроходимая тупость! Срисовывал птиц из книжки в альбом... Завидно, право. Вы отравили своей посредственностью само пространство. И эту жизнь, себя, и похожих на вас выроdkов, вы решили защитить? Так? И как резво начали... как яростно... Наказываете воду (он показал рукой на скрюченного сирийца) за то, что ваши инженеры проявили милосердие и открыли шлюзы. Bravo!

Тут он опять расхохотался. Его хохот стучал в уши и виски Руди, как молоток.

Руди начал терять себя, преобразаться. От его личности и от его фигуры, как от гипсовой статуи стали откалываться куски... а дьявол все бил и бил его молотком... пока от Руди не осталось ничего, кроме маленькой дрожащей ящерицы.

Человек в пальто достал из кармана серебряный футляр в форме трубочки, открыл его, ловко поймал им зверька и завинтил крышечку. Положил трубочку в карман.

Дунул в воздух, отчего все вокруг него пришло в движение, и исчез.

## СОГНУВШИЙСЯ ЧЕЛОВЕК

Во второй части рассказа «НЛО в Берлине» я описал то, удивительное, незабываемое, что наблюдал из окна берлинской городской электрички (с-бана) лет десять назад. Ничего не придумал. Не преувеличил. Мне, разумеется, не поверили. Сочли «капризом писателя».

А одна знакомая критикесса настоятельно мне рекомендовала умерить пыл своей фантазии... «А-то в ваших рассказах так много неправдоподобных событий... В них не веришь... От них устаешь. И герои ваши сексуально озабоченные! Ужас какой-то. Вы должны думать позитивно! У вас все сюжеты кошмарные. Напишите повесть про счастливых пенсионеров, живущих насыщенной духовной жизнью. Вы можете».

Знакомый писатель, известный в прошлом бабник и лолитчик, добавил от себя: «И, пожалуйста, не пиши больше о мужеложстве и онанизме!»

...

Неприятно быть атакованным доброжелателями... да еще и ниже пояса. Что же думают о моей литературе враги, если друзья советуют мне писать о духовных пенсионерах и не писать о мужеложстве... о котором я кстати никогда и не писал, из-за полного незнакомства с предметом. Только один пронзительный рассказик написал о несчастном голубом юноше. «Голубизна» его там — не главное. Главное — отчуждение ранимого человека от мира и его институтов, об этом и рассказ.

И онанизмом мои герои занимаются... умеренно. И только тогда, когда по-другому, с любимым человеком, ничего не получается... так что и тут речь идет не о рукоблудии как таковой, а об отчаянии, одиночестве и все о том же отчуждении — от близких и друзей, от общества и от богов, навсегда покинувших страждущее человечество.

Я попытался напомнить критикам, что писательская работа, создание «сюжетов», «сцен», «диалогов» и «литературных героев», таких или сяких, — сама по себе уже есть дерзкая фантазия... чудовищное преувеличение, делание из мухи слона, блеф, выдумка, ставящая все с ног на голову...

Что какой-то жалкий НЛО, летающий непонятно зачем по сивому берлинскому небу, по сравнению с самим наличием «персонажей» и «рассказчика», этих... хм... не существующих, недоделанных людей... людей ли... нет, лишенных бытия недоносков, не существующих, но реальных, иногда до болезненности, — мелочь, малозначительная деталь декора, и только. Также как и их сексуальные прихоти. Пусть себе бесчинствуют гомункулусы нам на забаву! Они ведь не ваши жены, мужья или знакомые, а наши общие подопытные кролики, выкидыши так и не преодоленного человечеством когнитивного диссонанса. Обитающие к тому же в «архетипической глубине», по словам одного из сионских мудрецов.

Они наши лоты в преисподней. Куда вы сами ни за что не захотите спуститься, уверяю вас, дамы и господа.

Сами даты их жизни — не годы, а страницы в оглавлении.

...

Да и вообще, мне ли вам объяснять, что важнее всего в рассказе не сюжет, и не герой и не его либидо... а то, непознаваемое, что так трудно определить или подделать.

Вибрация смысла... и самой жизненной субстанции...

Стиль... точнее — обаяние стиля... как в Декамероне или в романе Стерна.

И метаморфозы, происходящие не только с персонажами и их миром, как у Бруно Шульца, но и с нами и с нашим миром в процессе чтения...

Из-за этого мы не можем оторваться от книги... а вовсе не из-за «фантазий, ужасов и кошмаров» и не из-за латентной педерастии рассказчика.

...

Но критики меня не слушали, продолжали пинать.

И я... изнемог, сник, смалодушничал и... умерил пыл, стреножил фантазию, отрубил топором крылья музе (как

же она орала!) и принес соответствующую клятву во всемирном Храме реализма, позитивного мышления и семейных ценностей.

Так мол и так. Перед лицом моих товарищей... торжественно обещаю...

Мне выдали свидетельство. С водяными знаками — стоящий на задних лапах лев пожирает трепетную лань (в канцелярии Храма объяснили, что лев символизирует то-то, а лань...).

Витиеватые подписи членов Совета старейшин Общины реализма, старых маразматиков, так похожи на готическую вязь!

На печатях видны масонские знаки — циркули, линейки и почему-то корона из кукурузных початков...

Решил свой следующий рассказ написать в реалистической манере. Без фантазий и излишеств. Без сюжета! Обойдемся. И без «лирического героя». Плевать на него. Осточертел. Просто напишу о том, что случилось вчера. Только вы мне все равно не поверите.

\* \* \*

Так вот... еду я в все том же с-бане. Во втором вагоне, считая от машиниста. Или в третьем.

Доезжаю до станции Лихтенберг. Никаких эмоций не испытываю. За окном холодный секущий дождь, сыро и гнусно. По улицам олени бегают. Лица немногих пассажиров — заспанные, не привлекательные, крыс напоминают...

Как видите, никаких фантазий или фата-морган! Все реально, как в порге.

В Лихтенберге в мой вагон вошел только один, вроде бы ничем не примечательный мужчина. Лет пятидесяти семи. Куртка, джинсы, черная вязаная шапочка. Не богач, но и не бездомный. Обычный. Только роста большого. Крупный мужчина.

Двери за его спиной закрываются, а он вместо того, чтобы пройти дальше в вагон и занять место у окна... благо мест полно... делает вот что... медленно как бы кланяется... сгибает туловище, опускает голову ниже и ниже и в конце концов

дотрагивается лбом до нечистого пола вагона. Рядом с валяющейся серебряной оберткой от жвачки. И остается так стоять. На ногах и на лбу одновременно. Фигура его напоминает арку или магнит, такой, каким мы в детстве играли. Только большой, темный и живой.

А затем... мужчина этот, все еще стоя в этой дикой позе, очень громко и отчетливо три раза издает какое-то жуткий звук. Что-то вроде: «Хррак».

Голос у него низкий... как бы и не человеческий... как будто он робот, медведь или экзотическая птица.

Потом он так же разогнулся, как и согнулся. Медленно, но легко.

Это он что, стебается так? Циркач? Шиз? Наркоман?

Я всмотрелся в его побагровевшее от прилившей крови лицо. Ничего особенного. Выбрит не чисто. Не без восточной крови. Прыщики на носу и на лбу.

Нет, нет... было в нем кое-что особенное. Было.

Лицо его было похоже на маску. А что под ней — не понятно. Глаза не видящие. Густые брови — как приклеенные. Рот резиновый. Grimасы неестественные, как в фильме ужасов.

Вот... он опять согнулся, коснулся лбом пола... Даже удар был слышен.

Хррак! Хррак! Хррак...

Опять проорал громко, ясно, резко, агрессивно. Как будто этот его крик или рык должен был предварять что-то важное или страшное. Может, это обратный отсчет?

Я испугался... подумал, этот тип покланяется, поорет, а затем на людей с мачете бросится... раскромсает на куски... здоровяк... случилось такое с полгода назад в поезде под Вюрцбургом... или бомбу на поясе взорвет.

А потом... я заметил то, что меня испугало, пожалуй, еще больше бомбы или мачете. История повторилась... Как тогда в вагоне с-бана никто никак на НЛО не отреагировал, так и сейчас... Никто вокруг меня никак не отреагировал на поклоны и крики этого жуткого типа. Сидевшие напротив школьники даже глаза в его сторону не скосили, уставились в свои смартфоны как замороженные и ничего вокруг себя не замечали... Старушка, дремлющая всего в трех метрах от не-

го — тоже никак не отреагировала. Только вздыхала и морщила нос, похожий на пуговицу. Семейная пара средних лет с другой стороны шепталась, шепталась... он показывал ей что-то на пестрых рекламных листках... а она согласно кивала.

Берлин, как известно, не подарок... европейская латрина... тут всякие люди встречаются... все это знают... держат себя в руках... стараются без нужды не привлекать к себе внимание. Но все-таки странно.

А он, тот... все сгибался, мел черными волосами пол и хрракал, хрракал...

Неужели я один его вижу и слышу?

Мурашки по коже...

На следующей остановке — Нёльднерплатц — мужчина вышел, в вагон вошли студенты и школьники и своим щебетом и воркованьем отвлекли меня от неприятных мыслей о согнувшемся человеке.

...

Забыл сказать. Ехал я тогда в аэропорт Щёнефельд, встречать одного знакомого знакомых, который должен был мне кое-что передать. Кое-что весьма необычное.

Да, да, весьма необычное и ценное.

На остановке Осткройц я вышел, поднялся на эскалаторе на верхний этаж и успел ввинтиться в уже отходящий поезд с-бана на Цойтен.

Там было тесно и душно. Пахло потом и несвежим дёнером-кебабом.

Передо мной стоял бородатый парень и ел это изобретение немецких турок. В роскошной его бороде застряли куски пищи. Я узнал и чесночный соус. Бее...

Парень ел, не торопясь, беседуя с худенькой девушкой, которая тоже что-то жевала. У девушки не было бороды, но были подслеповатые глаза, некрасивая фигура... лицо ее не скрывало типичные для берлинцев туповатость и серость. Она явно не была ни студенткой, ни туристкой... работала... и по-видимому не много получала, бедняжка. Собеседник ее, напротив... обладал, несмотря на юные годы, солидным брюшком, одет был почище, посматривал на нее покровительственно и немножко пакостно. В маленьких его глазках роились желтоватые искристые мушки... Наверное, уже от-



трахал ее, и не раз. Она ему дает, потому что надеется на брак, а он ее презирает и никогда на ней не женится. Обычное дело.

После того, как он доел дёнер, обсосал со свистом жирные пальцы...

Неожиданно я понял, кого он мне напоминает. Ким Чен Ына, сына балерины, великого наследника, а ныне, председателя, маршала и прочая... главу любимого государства русских патриотов, Северной Кореи.

Берлинский Ким Чен Ын достал из сумки еще один дёнер в упаковке, тоже не свежий, судя по запаху. Начал пожирать и его.

Неожиданно бросил взгляд на меня и заметил мою невольную брезгливую гримасу. И тотчас же бородатая его рожа... осклабилась высокомерием и злобой... он наклонил голову и прорычал: «Хррак, хррак, хррак...»

Затем согнулся, опустил голову ниже брюха... его позвоночник хрустнул... и он бессильно повалился на пол. Его спутница присела рядом с ним, попыталась его поднять, щупала пульс.

Двери вагона раскрылись, и я вышел.

Ноги несли меня... подалее от бородатого и его спутницы.

...

Через минуту к противоположной платформе подошел поезд на Шёнефельд. Я вошел в вагон и занял место у окна. Поезд тронулся, а цойтенский поезд так и остался стоять... видимо, машинист ожидал прибытия скорой.

После станции Альтглинике мой вагон опустел, только какой-то инвалид дремал в своей коляске на другом конце вагона.

Я закрыл глаза... представил себе, что лечу над Тихим океаном. А внизу — дельфины прыгают, играют. И перламутровые барашки на аквамарине...

Внутренний голос прошептал мне: «Не расслабляйся...»

Тут ко мне подскочил клоун в пестрой одежде. Юркий и гадкий. Видимо, из другого вагона притащился. Показал мне фиолетовый язык с белыми пупырышками... начал танцевать...

Мерзкий этот паяц, своим кривляньем явно имитировал земные поклоны. Отплясав, нагло попросил у меня денег.

Денег я ему не дал. А он, когда понял, что ничего не получит, скорчил плаксивую мину и... залился притворными слезами. Черными, как воронье крыло. А затем, гадко паясничая, заорал во всю глотку: «Хррак! Хррак! Хррак!»

И смылся.

...

Перед самым аэропортом ко мне подкатил на своей коляске тот самый инвалид.

Посмотрел на меня, сморщился как старый лимон и пропищал пропитым, гнилым голосом: «Газеты читаешь? Новый господин пришел на Землю. Он тебя видит, он видит все! Что уставился, кусок дерьма! Ты сдохнешь раньше меня. Дай десять евро, ублюдок!»

А затем, мне показалось — неожиданно для себя самого — выпучил глазищи и заревел: «Хррак! Хррак! Хррак!»

Быстро поехал к выходу. Даже не оглянулся.

Мне так хотелось догнать его и опрокинуть коляску, но я не стал этого делать.хлопот не оберешься. Пусть живет.

Вышел из поезда и побрел, как и все, к аэропорту вдоль изящно изогнутой стеклянной стены. Сырой и холодный ветер залезал через все щели под одежду как гнус. В ушах гремело адское эхо.

...

В терминале А было еще больше народу, чем в поезде на Цойтен. Многие сидели прямо на полу, вытянув ноги. Через эти ноги прыгали дети. Пахло плохо переваренной пищей.

Прислонился к колонне, задремал.

И тут же проснулся. Посмотрел на табло. Самолет из Неаполя приземлился десять минут назад. Значит скоро из-за матовых стеклянных дверей выйдет господин Му, китаец, который должен передать мне подарок, музыкальную шкатулку. В ней должен быть спрятан... Нет, не кокаин. Нечто гораздо более интересное.

Но вместо господина Му из дверей выкатился на поворачивающемся хромом одноколесном велосипеде знакомый клоун с фиолетовым языком. Подкатил ко мне, разинул

пасть и заревел: «Подарочка ждешь, ублюдок? Профукал еще одну жизнь, мутерфикер? Он уже ждет тебя у мясорубки! Зубками будешь скрежетать! Пока они не выпадут. Хррак! Хррак!»

Откуда он взялся? Гадать и раздумывать не было сил. Я ударил его ногой, но сразу же почувствовал, что это сон... что никакого клоуна на велосипеде передо мной нет, что я все еще стою в зале ожидания, прислонясь к нечистой квадратной колонне.

...

Двери открылись, и из них вышел какой-то итальянец с огромным чемоданом. Вокруг его жилистой небритой шеи был обмотан длинный шарф с желтыми квадратами. На костлявом пальце сверкал перстень с розовым топазом, величиной с куриное яйцо. Художник, музыкант, режиссер или какой-нибудь другой шут гороховый...

Все европейские бездельники с претензиями едут и едут зачем-то в Берлин. Надеются тут вволю потусоваться, обкуриться, обколотся и при okazji содрать с до сих пор комплексующих фрицев деньгу. И многим это удается. Мне не жалко, деньги не мои... а немцы... сколько их ни обманывали всевозможные проходимцы со всего мира — а они и дальше принимают... и платят, платят... Такой уж это народ, или на цугундер, или в ресторан. Или эсэсовцы, или лакеи.

Когда двери открылись, чтобы пропустить итальянца, я увидел моего китайца... в сопровождении двух полицейских. Его вели куда-то... Обыск? Неужели нашли?

Придется тут весь день проторчать.

Действительность в который раз меня обманула. Му вышел через четверть часа. Вспотевший, взволнованный, но, как он выразился, «без потерь».

Узнал меня сразу (мы виделись два раза при схожих обстоятельствах). Отвел в уголок. Опасливо огляделся. Ловко достал из глубины чемодана шкатулку, отдал мне и прошептал: «Будьте осторожны с этим товаром! Горячая штука. Может и убить...»

Вежливо поклонился и исчез.

Я положил шкатулку в сумку и потопал к с-бану. Опять вдоль изогнутой стеклянной стены.

По дороге видел, как моего китайца какие-то азиаты за-таскивают в бежевый БМВ. Другие уже открыли его чемодан и выбрасывали его содержимое. Цветастые трусы и рубашки, летящие в разные стороны, превратили на несколько мгновений серый пасмурный берлинский день в импрессионистическую картину. Показалась полиция.

Му отбивался, но отступил перед превосходящими силами противника. Последнее, что я видел, были его печальные глаза. Мне показалось, что он даже кивнул мне с заднего сидения машины... осторожно, чтобы не заметили его похитители. Я кивнул ему в ответ... Полиция подоспела как всегда вовремя... бежевое БМВ уже мчалось в облаке выхлопов и мерцающих радужных капелек по направлению к автобану. Номерные знаки его были залеплены грязью.

На тротуаре валялся изнасилованный чемодан и пестрые азиатские шмотки.

...

Прошел подземный переход. Решил обмануть судьбу и поехать в город не на с-бане, а на обычном поезде. На Десау. Он доходит отсюда до Восточного вокзала минут за двадцать пять.

На перроне замерз. В поезде отогрелся.

Подошла контролерша. Многозначительно на меня посмотрела. Как будто что-то обо мне знала. На билетик и не взглянула, зато приклеилась взглядом к моей сумке... хмыкала как-то неопределенно, заглядывала мне в глаза почти кокетливо.

Улыбнулась. Посверкала фарфоровыми щечками и сказала: «Я чувствую, чувствую его. Он прекрасен, как только что отшлифованный бриллиант. Он греет мне сердце, как вы, должно быть, счастливы, везунчик! Возьмите, возьмите меня с собой. Я готова ехать с вами и с ним хоть на край света!»

И показала пальчиком на мою сумку. Я пожал плечами...

Контролерша отошла от меня и продолжила проверку билетов. Несколько раз послала мне воздушный поцелуй. Пассажиры стали на меня смотреть. Тоже как-то странно. Железно-бетонные, флегматичные обычно немцы вроде как размякли... растаяли...

Некоторые дружелюбно улыбались... другие осуждали.

Один коротышка, одетый в музейную униформу (есть такой тип среди коротышек — яростные правдоискатели), гневно пялился какое-то время на меня, затем встал, подошел ко мне и прохрипел: «Ах ты, ублюдок! Скрыться задумал? От него? А шарик в лузу не хочешь получить? Хррак! Хррак!»

И вот... это уже не коротышка, а клоун с пупырчатым высунутым языком.

Нет, это Ким Чен Ир с бородой и дёнером! В инвалидной коляске, со сломанным позвоночником...

Хррак! Хррак!

Он тянет ко мне свои жирные толстые пальцы, хочет вырвать у меня из рук сумку с шкатулкой...

Хррак! Хррак!

Открыл глаза. Никого рядом со мной не было. Хмурая контролерша проверяла билеты у пассажиров. Коротышка спокойно сидел на своем месте, читал Шпигель.

Показалось, почудилось? Но контролерша... коротышка... они ведь не видение, не фантазия...

Стало быть, некоторые индивидуумы чувствует это. То, что в шкатулке спрятано. Сквозь шкатулку и сумку чувуют, как собаки наркоту.

А как же таможня в аэропорту? Ничего не почувствовала? Почему?

Потому что каждый видит и чувствует совершенство по-своему. Одному кажется, что это перстень с изумрудом, другому — кусочек пергамента с кумранским текстом, третьему — осколок чаши Грааля, а четвертому — оно представляется как дуновение ветерка в июльскую жару. Прохладная водичка чистой речушки в Калифорнии. Чудесная раковина на пляже. Улыбка юной красавицы-островитянки. Антоновское яблоко.

На Восточном вокзале я пересел на свою линию с-бана.

Поезд ехал медленно. Я смотрел в окно, на безрадостные ландшафты восточного Берлина. На бездарную архитектуру. На лужи на скверном асфальте. Занес же черт...

Просунул правую руку в сумку и гладил потихоньку шкатулку, которая нагрелась и как бы ожила. Вибрировала и тихонько звенела колокольчиками. Я знал, это не шкатулка ожила, это проснулось то, что лежало в ней, в маленькой серебряной трубочке. То, что согрело сердце контролерши и вызвало припадок ярости у коротышки.

...

Вагон был полон возвращающихся с работы раздраженных усталых людей. Большинство уставились в свои смартфоны, некоторые читали, слушали музыку, остальные дремали. Мне казалось, что темная одушевленная масса, заполнявшая собой вагон, тяжело дышит как огромная каракатица, выброшенная океаном на берег...

Всю свою жизнь я пытался не стать частью этого измученного бессмысленным трудом темного народа, этой задыхающейся каракатицы. Сохранить единственное, что имел — маленький лучик... во что бы то ни стало остаться в свете, не дать поглотить и переварить себя рыбьим желудком общества. И преуспел в этом нелегком деле.

Всю жизнь трудился и вырастил, выкристаллизовал из сотни тысяч свободных овальных минут свое сокровище, волшебный кристалл. И наслаждался властью игрой света на его прекрасных гранях...

Протянул его людям. Берите, радуйтесь... я дарю его вам!

А они его не взяли... только мрачно посмотрели на меня, поверчивая у висков длинными синеватыми щупальцами с присосками, похожими на васильки.

Васильки обвилились вокруг моей головы...

Врач нажал на большую красную кнопку. И вся вселенная затряслась.

А кристалл мой рассыпался в прах.

И вот... мне тепло. Нагота нежит. Сердце мое трепещет в ожидании долгожданного освобождения. Сквозь полуоткрытые веки в мои зрачки льется таинственный голубовато-серебристый свет.

Я сижу по-турецки на каменном полу, в затопленном ярким солнечным светом цеху бывшей бумажной фабрики, той, что недалеко от замка Грабштайн. В окна — видны синее небо и зелень огромных вязов.

В руках у меня — музыкальная шкатулка.

Передо мной стоит тот самый мужчина из берлинского с-бана. Согнувшийся человек. Его черные кудри касаются пола. И он кричит от боли.

Позади него дрожит и переливается неземным светом колоссальная машина. Это дезинтегратор времени и материи. Башня, растающая в иное измерение.

Ее хозяйева опять заставили меня прожить чужую жизнь, а теперь вернули к источнику, к началу.

Меня зовут Антон Сомна, я умер много лет назад в Саксонии и с тех пор странствую в нижних мирах полусмерти.

Теперь я знаю, что хочет от меня согнувшийся человек. Ведь он — это я. Он просит освободить его от этой роли. Ему неважно. Сейчас, сейчас...

Открываю шкатулку, достаю серебряную трубочку... и бросаю ее... так, как запускают сделанные из тоненьких деревянных реек и бумаги модели самолетов... осторожно, с любовью, но изо всех сил... в пышущее голубой плазмой жерло машины.

А потом прыгаю туда сам.

## ГЛЮК

Мой приятель Алекс был влюблен в железную дорогу.

В милых женщин он, конечно, тоже иногда влюблялся... и переживал, как и все мы, соответствующие счастливые моменты в начале и мелодрамы в конце...

Амуры, впрочем, Алексу часто надоедали и он держал долговременные паузы на клубничном фронте... страсть же его к железной дороге не проходила никогда.

Субстанции обменивались свойствами, и его страсть получала тяжесть рельсов и целеустремленность стального пути, а современные электровозы — дополнительные лошадиные силы его молодого сильного тела.

Одна из разгневанных его пассий, перед тем как хлопнуть дверью и покинуть Алекса навсегда, прошипела: «Ты должен спать с паровозом, а не с женщиной, кретин!»

Полагаю, Алекс так бы и поступал, если бы это было физически возможно...

На стене в холостяцкой его спальне висела не фотография обнаженной полногрудой красавицы или нью-йоркского небоскреба, мимо которого проносится роскошный открытый кадиллак, которым правит длинноногая блондинка в остроугольных очках по моде шестидесятых, помахивающая платочком свободной левой рукой, а увеличенная до полутора метров в ширину карта узкоколейных железных дорог Саксонии начала двадцатого века, на которой он помечал красным фломастером закрытые станции и заброшенные ветки, а синим — восстановленные. Рядом с картой висели сделанные им самим фотографии — тепловозы, электровозы, машинисты, кондукторы, пассажирские и товарные вагоны, рельсы, стрелки, слагбаумы, вокзалы... знаменитые мосты, и снесенные — как ажурный Грайфенбахбрюкке и действующие, такие как, например, кирпичный виадук Гельчтальбрюкке... во всем великолепии своих 29 римских пролетов...



Алекса не смущало то, что это замечательное свидетельство инженерного искусства Германии середины XIX-го века стало после Объединения любимым местом для совершения самоубийств романтически настроенными подростками. Один раз с него прыгнули в восьмидесятиметровую пропасть сразу три мальчика из близлежащего городка. Взявшись за руки и распевая какой-то адский гимн... Ходили слухи о матерых сатанистах, «свивших» себе якобы где-то недалеко от виадука «гнездо», регулярно устраивавших там «черные мессы», мучивших кошек и собак и уговаривающих молодых людей с легким сердцем расстаться с теперешней, бессмысленной, мещанской и тупой капиталистической жизнью и перенестись в потусторонние владения «Великого темного мастера», где их ожидают весьма некошерные удовольствия и особые приключения.

Фаталиста Алекса не смущало вообще ничего.

Ну да, какие-то полоумные дети прыгают с моста. А он-то тут при чем? Каждый живет как может. В пропасть, так в пропасть. Значит, судьба. Все равно помирать. Но прежде, чем это случится, надо успеть вдоволь покататься на железной дороге...

Он вызубрил названия всех саксонских железнодорожных станций, помнил как таблицу умножения высоту и длину множества железнодорожных мостов, легко различал марки локомотивов и вагонов, побывал в депо и музеях. Прилежно изучил не только железные дороги Германии и Австрии, по которым часто ездил в командировки, но и других стран. Прокатился на поезде через всю Канаду, совершил рейд по Австралии — от Аделаиды до Дарвина — на знаменитом поезде ГАН, доехал по Транссибирской магистрали до Владивостока (где его обокрали, украли не только деньги и документы, но и дорогую коллекцию моделей советских локомотивов в масштабе один к сорока пяти, которую он купил у разорившегося коммерсанта), регулярно навещался в Швейцарию, чтобы поглазеть на горы и покататься на ее знаменитых альпийских железных дорогах... пожертвовал деньги на «паровую зубчатую железную дорогу Фурка». Посетил экзотический остров Занзибар, на котором по слухам Германская Восточноафриканская компания построила в

конце девятнадцатого века железную дорогу. Дорогу эту он так и не нашел, но прожил несколько недель в гареме, состоящем из пяти прекрасных чернокожих женщин. Показывал позже слайды. И лечился у знакомого венеролога.

На книжных полках в его огромной гостиной можно было найти только несколько книг, это были — различные железнодорожные справочники и альбомы, остальное место занимали — пять или шесть сотен моделей его любимых локомотивов, включая знаменитые паровозы фирмы Мэрклин, изготовленные в конце XIX-го века... и огромная коллекция почтовых марок всех времен и народов, посвященных железной дороге.

...

Алекс — шеф и владелец небольшой, но богатой посреднической юридической фирмы (чем она занимается, я так и не смог понять, несмотря на все попытки Алекса объяснить мне это на простом немецком) и может позволить себе подобные причуды.

Живет он в саксонском городе К., в котором мы с ним и познакомились после того, как он заказал мне несколько рисунков с футуристическими локомотивами.

Наезжает Алекс по делам и в Берлин.

Тут он скучает... потому что Алекс, при всей своей железнодорожной космополитичности, несколько провинциален, и чувствует себя в нашем городе — слегка не в своей тарелке. Всякий раз, когда это чувство усиливается до болезненности, он звонит мне и предлагает совершить совместную экскурсию... обычно — сходить в Политехнический музей или побродить по городу или по окрестностям... главное, чтобы рядом проходила хоть какая-то железная дорога. Вот и тогда, поздней осенью 201... года, он неожиданно позвонил и заявил, что торчит уже две недели в Берлине, что устал и измучен и климатом и упрямством проклятых пруссаков, хочет сделать паузу и пообщаться со мной... сообщил, что ему пришла в голову чудесная идея... побродить по заброшенному Парку развлечений на берегу Шпрее, заодно и проверить, в каком состоянии находится тамошняя развлекательная железная дорога, когда-то называвшаяся «Экспресс Санта-Фе».

Я не возражал, только напомнил, что мы не в России и не в Занзибаре... что в парке, наверное, есть служба безопасности, что нас, скорее всего, не пустят... а если мы просто перелезем через забор, то поймают, оштрафуют и опозорят.

На это он ответил, с удовольствием коверкая по-саксонски слова:

— Так именно и было бы, если бы в парке не работал мой старый знакомый. Бывший однокурсник и также, как и я член «Немецкого общества любителей железной дороги». Он обещал встретить нас у ограды, провести внутрь, показать несколько интересных руин и позволить нам гулять столько, сколько мы захотим... Дал слово оповестить коллег и шефа о нашем посещении... и уговорить их потерпеть нас несколько часов... и главное — оставить служебных собак в вольерах.

Собак?!

...

На следующий день мы встретились на перроне станции с-бана Плентервалд, с которого так хорошо видны разновысокие дома поселения Вайсензидлонг в Ной-Кёльне, превратившегося в последние годы в социальную болячку.

Холодный ветер быстро прогонял с перрона пассажиров, вокруг было пусто как в Сахаре, только на перилах сидели несколько птиц неизвестного мне вида. Они бойко чирикали, видимо заклинали низко висящее над горизонтом солнышко. Чтобы согреться и не дать тьме поглотить себя.

Договорились мы встретиться в три часа дня. Я приехал без пяти три. Алекса не было видно. Он опоздал всего на четырнадцать минут. Что для него — достижение.

Мы обнялись как умели (я толстяк и коротышка, а Алекс — атлетический гигант), покивали головами, выпучив глаза, саркастически похлопали друг друга по плечу, покрикали... покашлиали...

Зарядились друг от друга новой энергией и беззаботно предались разврату общения.

Спустились по нечистой лестнице в холл, расписанный граффити... с разбитыми стеклами... стекла, видимо, долго били камнями, в одной из зазубренных дырок торчала птичья тушка... под ней краснела, как ленточка, запекшаяся кровь...

Вышли на воздух и побрели, не торопясь, по улице, застроенной доблестными строителями ГДР одинаковыми четырёхэтажными социалистическими бараками.

По дороге болтали и сосали леденцы на палочке в форме разноцветных дракончиков, которые Алекс привез из города К. Леденцы эти делал... один странный человек... по прозвищу Зеленый тролль... на своей домашней кухне. Алекс знал, что я их люблю, и привез... это было приятно. Знак внимания...

Я тоже принес с собой кое-что. Стекланный шарик, во внутренностях которого катался по кругу крохотный жестяной поезд. Купил игрушку на блошином рынке за сорок евро. Когда я подал ее Алексу, он от восторга чуть не взлетел. Пообещал взять меня с собой в следующее железнодорожное путешествие. По Южной Америке. Я вежливо отказался. Москиты. Джунгли. Пустыни. И летающие тараканы. Боже упаси!

Попросил Алекса рассказать об общих знакомых...

— Вроде бы ничего не происходит ни с кем. Как будто нас, там внизу, выкинуло из потока жизни... Только стареют все... как и положено... Ах, да, Аннета Б. покинула город три года назад. Живет теперь на острове Рюген. Называет его своей Атлантидой. Открыла там художественную галерею и продает макраме, которые сама и плетет... По ее словам — зарабатывает кучу денег, только скорее всего врет... У нас испоганила все, что могла, теперь там, на острове, вербует поклонников... интригует... Ты знаешь, она... умудрилась занять у меня на переезд деньги. Три с половиной тысячи. Я не хотел давать, но дал... уговорила.

— Ты дал деньги Аннетке? Ты же знаешь, что она никогда не отдаст. И еще придумает про тебя какую-нибудь особенную гадость... в благодарность за твою доброту.

— Да... она... это умеет... Гипнотизирует... и прелестями трясет. Она сказала, тебе теперь деньги все равно не нужны... Рассказывала мне про всех... с душераздирающими подробностями. И про тебя. Как ты после... захотел в...

...

Алекс часто замолкал... прямо в середине фразы... задумывался глубоко, морщил красивый римский лоб... голубые его глаза теряли колочность, стекленели... становились мертвыми.

Мне представлялось, что он не говорит... а плывет по реке времени... но то и дело попадает в водовороты, которые его утягивают в глубину... в омуты прошлого... из которых, как из царства мертвых, его выносит на поверхность жизни не слабая воля, а благосклонность богов... может быть даже какая-то специально для таких случаев сконструированная высшими силами метафизическая железная дорога...

— Ты с ней спал?

— Месяца четыре вместе жили. Я даже квартиру снял на Кассберге... С видом на тюрьму... Аннетка купила дюжину разных стеклянных шкафчиков... Расставила всюду синие и зеленые вазочки и своих любимых бегемотиков из слоновой кости... на стены повесила эти чертовы макраме... тысяч пять только на бегемотиков потратили... Из Африки нам их присылали... с посылными... Через Югославию... Четыре месяца... Больше не выдержал, замучила сменой настроений... всю кровь высосала... один раз, когда меня не было, продала несколько локов, думала я не замечу (Алекс опять погрузился в омут прошлого, помрачнел, молчал минуты две, вспоминал)... и мою кошку не кормила, когда я в путешествия уезжал. Из мести, что ее с собой не брал.

— Агату? Ревновала, понятное дело. Ты, кажется, кроме нее никого по-настоящему не любил...

— Да, любил мою милую кошечку. Как же мне ее не хватает...

— Купи новую.

— Нет, таких как Агата больше не бывает. Помнишь, как она мурлыкала?

— Помню. И когти ее тоже помню.

— Да, а неуловимый Джо попал в историю. Чуть не отправился редиску снизу смотреть... Отдыхал он как обычно в Пуэрто-Рико. Загорал, купался. Виллу снял вместе с двумя красотками... Они его ублажали-ублажали... а у одной из них был ревнивый жених. И этот жених придумал вот что... представляешь, Джо замутил там нудистское партí... пришло много народу выпить на халяву шампанского и потрахаться... а этот самый жених... купил где-то воздушный шар и накачал его специальным газом... подогнал, пригласил гостей в корзину, а когда поднялись метров на сто... выпустил газ...

Алекс опять замолчал.

— Не замолкай, интересно!

— Позже расскажу. Смотри, вон там... Нас уже ждут.

...

На другой стороне улицы стоял... похожий на Алекса человек, настолько похожий, что я поначалу растерялся. Помахал нам рукой.

Близнец? Алекс никогда не рассказывал мне ничего о брате-близнеце. Странно.

Мы перешли улицу.

Да... те же темные кудри... веснушки на розовой, как бы собачьей, коже... то же открытое, немного наивное, немецкое лицо с крупными глазами, прямым носом, режущей выдающейся челюстью и тонкими бесцветными губами...

Тот же рост, те же широкие плечи, длинные бедра... те же голубые джинсы и та же элегантная курточка. Только под курточкой у Алекса была сиреневая рубашка, которую украшала темная бабочка с желтыми пупырышками... а у близнеца рубашка была цвета хаки, а бабочка — синяя, с белыми пупырышками.

Договорились одинаково одеться, чтобы удивить меня? Алекс любил дурацкие шутки.

Близнец дружески поздоровался с нами, пролаял что-то непонятное на берлинском диалекте, обнялся с Алексом, и мы тронулись.

Несколько минут шли по дороге, замощенной голубоватым камнем. Затем проводник наш остановился у столба... с полуметровым металлическим жуком на вершине, нажал на нем какие-то кнопки, приложил к маленькому стеклянному окошечку большой палец правой руки.

...

И все вокруг нас изменилось.

Свет стал другим. Или воздух начал иначе его преломлять?

Само пространство изменилось, стало казаться, что мы идем внутри большой стеклянной призмы.

И полумертвый ноябрьский лес... позеленел, ожил, наполнился ароматами и звуками.

Изменение произошло и со мной... Тоска, гложущая меня уже несколько лет, прошла. Я ощутил прилив сил.

Алекс ничего не заметил, потому, что как раз тогда, когда его близнец нажимал на кнопку — погружался в один из своих омутов.

Двойник же его лукаво на меня посмотрел и едва заметно улыбнулся...

...

Мы свернули на лесную тропинку.

Форсировали непонятно откуда взявшийся тут овраг.

Несколько раз пробивались через колючие кустарники и бурелом. Близнец расчищал дорогу мачете.

По моим расчетам, мы должны были уже четверть часа назад достичь цели. Но мы шли-шли-шли...

Мне не хотелось больше в этот Парк. Видел картинки в интернете. Скука. Убожество. Как и все, что осталось от ГДР.

Мне хотелось и дальше идти по этому лесу... внутри призмы... чувствовать себя молодым и здоровым... и ни о чем не думать.

...

Вспугнули спящего оленя.

Олень вскочил, посмотрел на нас сердито, пробормотал короткое немецкое ругательство (клянусь!), помотал грандиозными ветвистыми рогами и прыгнул... приземлился метрах в двадцати от нас и умчался как скорый поезд.

Миновали еще один овраг. На дне его протекал ручей. Когда я его перепрыгивал, мне показалось, что снизу, из кристальной глубины на меня смотрит знакомое женское лицо. Наваждение.

А еще через несколько минут дорогу нам вдруг преградил... слон, размером с товарный вагон. Нет, не слон. Мамонт! Бивни винтами. Шерсть клокастая. Глаза красные от гнева. На брюхе мамонта была дверь. В двери было вырезано небольшое окошечко. Оттуда на нас внимательно смотрели две ручные вороны. Искусственные их глазки поблескивали как жемчужины.

Мамонт поднял хобот и затрубил... а затем... исчез.

А это что такое? Вокруг толстой ветки бука обвился пятнистый питон. На некоторых его пятнах проступала эмблема магазина Альди.

У корней дерева копошился... дикобраз. На крысиной его морде я заметил круглые роговые очки.

Рядом с ним порхали три слепяще-синие бабочки величиной со стопу иети.

Может быть тут, на берегу реки — микроклимат?

Или проклятый близнец привел нас потайным путем в частный зоопарк под стеклянным куполом, о котором никто не знает?

Вроде «Тропического дома» в Ботаническом саду?

После того, как у нас над головами пролетел, величественно поводя крыльями, огромный орнитохейрус, я решил, что свихнулся. Орнитохейрус бормотал: «Посторонние в Парке явление нежелательное. Надо сообщить дирекции и пресечь надругательство... Хррак-хррак-хррак...»

Алекс и его спутник шли себе, как ни в чем ни бывало... жестикулировали, вспоминали студенческие проделки, гоготали... восклицали.

Все движения руками и ногами они совершали синхронно.

В какой-то момент... две симметричные фигуры, маячившие у меня перед носом... наложились друг на друга... слились... стали одним человеком.

Этот образовавшийся из соединения двойников человек вывел меня за руку из густого кустарника на аккуратно заасфальтированную полянку.

...

Перед нами посверкивал в лучах полуденного солнца как бы игрушечный вокзал развлекательной железной дороги. Станция называлась — «Пальмира». На перроне росли пальмы. На одной из них я заметил обезьяну. Она ела большое красное яблоко и чесала у себя под мышкой...

На узеньком рельсовом пути стоял поезд, состоящий из смешного красно-зеленого паровоза и трех открытых пассажирских вагончиков, заполненных веселыми пассажирами. Все они были нагими...



Некоторые пританцовывали, другие пели... у многих в руках было итальянское мороженое и цветные воздушные шарик.

Гамадрил-машинист в смешной фуражке стоял рядом с паровозом на всех четырех, распуша свою роскошную шевелюру. Открывал пасть, украшенную длинными клыками, и пускал в воздух из специальной машины мыльные пузыри размером с арбуз. Увидев нас, он заторопился... быстро влез в кабину паровоза и дернул за шнур. Загудел гудок. Протяжно... А затем прогудел несколько пассажиров из оперы Гуно «Фауст».

Несколько больших черных птиц взлетели с веток вяза.

Мой спутник потянул меня за руку... втащил в последний вагон... мы нашли два свободных места.

...

Поезд тронулся.

Я был ошарашен. Нудисты. Гамадрил. Фауст.

Поезд отлакирован, а вокзал — сияет свежими красками. В заброшенном Парке?

И почему вокруг все цветет как в конце мая?

А на душе так тепло и радостно?

Откуда взялись эти пассажиры?

По дороге сюда мы не встретили ни одного человека.

Пассажиры?

Нет... это были не живые люди, а большие деревянные куклы. И в руках они держали деревянное мороженое.

Как же это я обознался?

Попытался зачем-то вспомнить, какую рубашку носил Алекс, а какую его близнец. Но не вспомнил. Перед носом носилась синяя стрекоза... Отвлекала, путала мысли...

Я попытался отогнать ее, как отгоняют назойливую муху. Не тут-то было.

Она села мне на живот и пролепетала: «Как же вы невежливы, господин артист! Разве вы не видите, кто я?»

И вправду это была не стрекоза, а Люси, моя недолгая калифорнийская подруга, выдумщица и забавница, молодая, привлекательная, в белом белье. Она сидела у меня на коленях и жеманилась.

Прощебетала: «Посмотри, как тут прекрасно! На острове мормонов всегда лето... переезжай ко мне, будем любить друг друга как в доброе старое время».

Поцеловала меня в лоб и пропала.

В воздухе не осталось даже пара.

Только тепло ее губ...

...

Потешный наш поезд долго поднимался по спирали на вершину пологого холма.

Я жадно смотрел на живописные окрестности. Хотел насладиться каждой мелочью. Чувствовал, что еще немного... и все это пропадет... исчезнет, как исчезла несколько минут назад моя бывшая подруга... как исчезает все...

Я видел густо-зеленые леса, многоводные реки... долины... хрустальные города... на горизонте — синели заснеженными вершинами горы.

На одной полянке... совсем недалеко от нас... скакали... прыгали... ревели... огромные, неизвестные мне твари... розовые и гнусные. Они играли... с беззаботно резвящимися и не замечающими их голыми людьми. Подбрасывали их как мячики.

В небе над нами мягко скользили летающие тарелки с овальными окнами. Оттуда смотрели на мир... своими умными темно-фиолетовыми глазами... загадочные неземные существа.

...

Я показал рукой на поляну и спросил моего спутника:

— Что это за твари?

— Спроси лучше сам себя, они твое порождение. В леденцах было только немножко ЛСД. Вот тебя и глючит. Зеленый тролль называет это коктейлем счастья.

— Где твой близнец? Куда он делся?

— Не было никакого близнеца. Тебе померещилось.

— А почему тут все сверкает?

— Я забыл тебе сказать, что часть парка новые хозяева уже отремонтировали.

— А мамонт откуда?

— Мамонт резиновый. Валяется тут уже двадцать лет. Твое воображение его оживило и поставило перед тобой... и так со всем.

— А тарелки?

— Тарелки собрали из алюминия для хохмы... прошлые хозяева, а ты сам вознес их в небеса...

— А пассажиры почему куклы?

— Это для проверки вместимости поезда... обычная практика.

Спрашивать его о том, почему вокруг нас бабочки порхают и сирень цветет... в середине ноября... было бесполезно. Он бы все свалил на меня. И возможно был бы прав.

...

Как я и предполагал, чудесный мир вокруг нас был недолговечен.

Мы больше не ехали на поезде, а сидели в четырехместной кабине колеса обозрения в бывшем Парке развлечений. Колесо крутилось с неприятным скрежетом и свистом... как будто ныло или ворчалось... мы медленно поднимались к высшей точке.

Никаких холмов и долин вокруг нас не было.

Пропали горы, чудовища, тарелки и другие миражи.

Город вернулся на свое место как резинка рогатки после выстрела.

Вечерело.

Шпрее внизу еще голубела...

На другом берегу — белела колоссальная цементная фабрика похожая на святилище Исиды.

За ней поднимались мощные корпуса теплоцентрали Клингенберг.

У моста через Шпрее по воде гуляли три дырявые металлические фигуры ростом с межконтинентальную ракету.

В центре города торчал проткнутый спицей граненый пузырь телебашни...

Все буднично, знакомо...

Как на старой фотографии.

Место проживания. И возможной кончины.

Откуда-то до меня донеслась сирена скорой помощи.

И тут... я вспомнил...

Вспомнил, что Алекс уже пять лет лежит в коме в больнице города К. после жуткой железнодорожной аварии, произошедшей в Рудных горах. Машинист заснул и пропустил красный сигнал. Автоматическая система не сработала. Произошло лобовое столкновение пассажирского поезда с товарным составом. Алекса буквально четвертовало, а сидевшую рядом с ним Аннету раздавило как мандарин.

Что Аннету похоронили на городском кладбище рядом со стадионом, и я даже присутствовал на похоронах, и многие плакали...

А бедного Алекса собрали по частям хирурги, но восстановить его здоровье так и не смогли.

Что несчастные его родители не знают, останавливать ли аппарат жизнеобеспечения.

Что его коллекция локомотивов и марки давно проданы, а фирма обанкротилась.

...

Кто же сидит напротив меня на грязном и рваном сиденье, в ржавой и скрипучей кабине этого ужасного колеса?

Почему мне так неприятен его пристальный взгляд?

Куда делась его бабочка?

Откуда взялись на его шее воротничок католического священника, а на ногах — роликовые коньки?

Жизнь кончается, скоро ночь, холодно.

Ветер разгоняет колесо все быстрее и быстрее...

Его вой и скрежет раздирают барабанные перепонки.

Мы поднимаемся все выше и выше.

— Добрый вечер, падре!

## КРЫСОЛОВ

Есть люди-сороки. Я именно такой человек. Нахожу и подбираю то, что блестит.

Всю свою жизнь я находил на улицах, в подъездах, в местах общего пользования и в общественном транспорте золотые колечки, сережки, цепочки, медальоны... однажды нашел литой серебряный портсигар с Лениным и Сталиным на крышке. Его у меня отобрала мама.

Первый раз я нашел скромную советскую драгоценность — позолоченный кулон с кроваво-красным искусственным рубином — когда мне было лет пять. На Ломоносовском проспекте, в Москве. Кулон валялся в снегу и чарующе сиял отраженным и преломленным светом. Ярче снежинок и сосулек. Я поднял его, вытер о пальто и отдал своей няне. Няня разохалась: «И что это такое? И что мне теперь с этим делать?»

Я научил няню: «Ты сходи в булочную, дай это кассиру и возьми эклер».

Няня подарила кулон своей болтливой подружке, которая всегда носила розовый платок на голове. Та выпросила. Говорила, что кулон подходит к платку.

Где он теперь? Где няня? Где ее подружка? Где ее платок?

Два раза я находил золотые часы. Массивные, дорогие изделия. Оба раза отдавал их водителям — в анапском автобусе и в берлинском трамвае. Сомневаюсь, что часы нашли своих владельцев, но совесть моя чиста... часы эти, как та луковка из притчи, остаются моей единственной надеждой. На что? На милость высших сил, разумеется. Помру я, поставят меня перед Богом и Он спросит меня, вздыхая: «Ты хоть что-нибудь хорошее в жизни сделал, мерзавец?»

А я ему и отвечу: «Грешен, грешен, Господи, обыкновенная история, но часики-то те, помнишь, не присвоил, в карман не положил, хотя и тянуло очень... А обзывать Царю небесному не пристало».

Три раза! Три раза я находил одну и ту же золотую серьгу с бриллиантом размером с горошину, принадлежащую нашей соседке с третьего этажа. Первый раз — в подъезде, у почтовых ящиков. Моя всезнающая жена сразу определила: «Наверняка это серьга фрау Форстер. Только у нее хватило бы денег на такой диамант. Все остальные в нашем подъезде — бедные как церковные мыши. Пойду к ней и спрошу».

Приходит назад и говорит: «Её, её! Как же она обрадовалась! Подарок дочери, разбогатевшей на Репербане, у нее там сексшоп. Тебе обещала бутылку бренди купить».

Не купила.

Второй — у подъездной двери. А третий раз, метров за сто пятьдесят от нашего дома, на дорожке, ведущей к трамвайной остановке. В грязи. Я сразу узнал эту серьгу с обломанным крючочком... сам отнес ее хозяйке, получил «тысячу благодарностей». Но себе дал зарок — в четвертый раз не отдавать, а пойти к ювелиру на Банхофштрассе и загнать. А на вырученные средства купить себе наконец полное собрание сочинений Гессе.

Четвертого раза не было, фрау Форстер умерла. Серьги ее и остальное барахло забрала ее дочка, та, с Репербана, крупная блондинка... с недобрым взглядом и руками как боксера.

Да, да, я находил даже жемчужные ожерелья... не очень дорогие... и тайне от жены продавал их в ломбарде. Оплатил так наши совместные поездки в Рим и на озеро Гарда. Как же в нем приятно купаться! Плынешь и на заснеженные горы смотришь. И вино там замечательное. Чудесное озеро. И Рим городок не плохой. Пьяццо, палаццо и фонтан Треви... Только в автобусах много народу. Давка. И в метро такая духота, что подохнуть можно.

Находил золотые и серебряные вещи я не из-за какого-то особенного дара и не из-за мифического «притяжения» золота к особым людям, я — никакой не особый, а всего лишь потому, что при ходьбе чаще всего смотрю в землю перед собой. Так что погружаться в неглубокие воды Пактола, спасшие Мидаса от голода, мне не нужно.

Да-с... когда хожу, думаю о своих делишках, представляю себе что-нибудь интересное, какую-нибудь сцену, ландшафт или картину, и смотрю в землю. Но как только натыкаюсь взглядом на что-то блестящее — автоматически выхожу из задумчивости и поднимаю предмет, если он того стоит. Обычно блестит какая-нибудь дрянь — пробка, льдинка, осколок стекла, кусочек фольги, слюдяной след от умершей улитки, канцелярская скрепка или колечко от ключей. Но мне на глаза попадались, помимо вышеперечисленных ценных предметов, — броши, браслеты, нательные крестики, запонки и старинные карманные часы с боем... Часы эти, правда, не ходили и не били, и я, наигравшись с ними, выкинул их на помойку. Один раз я нашел секундомер, изготовленный на известной в ГДР часовой фирме Рула. В рабочем состоянии. Секундомер лежит у меня дома на полке уже лет пятнадцать. Я часто включаю его... слушаю его уютное тиканье и слежу за кончиком секундной стрелки. Что-то есть в ее круговом движении магическое. На язык просятся различные метафоры, но я воздержусь.

...

Способность моя находить ценные безделушки, или, если вам угодно, склонность... однажды чуть не погубила меня. Какой-то могущественный и коварный ловец человек поставил ловушку, и я в нее попал... и спасся... сам не знаю, как.

Я заканчивал тогда третий курс университета, учился неплохо, подрабатывал в оптической лаборатории, меня хвалили научные начальники.

А на самом деле, я был полностью дезориентирован... бродил по жизни как пьяный в густом тумане, метался между возлюбленными, разбрасывался и шатался, как когда-то проклятые большевики, мучился и мучил других... не знал, как жить дальше. Потому что окончательно и бесповоротно понял, что астронома из меня не выйдет никакого. Даже плохонького. Потому что я вовсе не тот человек, за которого меня принимали и за которого я сам себя принимал. Не было у меня терпения и желания просиживать долгие ночные часы у телескопа, месяцами обрабатывать результаты... работать в коллективе, соблюдать трудовую ди-

сциплину, делать карьеру. Да и сама работа астронома — была, как оказалось, вовсе не тем, о чем я мечтал. Это я понял, проработав два месяца в обсерватории в Крыму. Романтично конечно, но... звезды и туманности далеко, и черт бы их всех побрал.

Надо было начинать жить с начала, но как... я и понятия не имел. К тому же в советском государстве у человека в моем положении выбор был простой. Либо надо было продолжать учиться и погибать от отвращения к себе и своей профессии, либо уходить из университета. Во втором случае меня, по тогдашнему обыкновению, уже через несколько дней забрили бы в армию, защищать Совдепию, которую я ненавидел лет с пятнадцати.

Армия... Унижения, побои, муштра, уставы, мытье сортиров, кроссы, учения...

Бесмысленная, мучительная потеря времени. Жизнь раба в обществе агрессивных идиотов. Младшие офицеры из провинции и старослужащие-деды, наверное, страшно обрадовались бы появлению в казарме интеллигентного, трусоватого толстяка-москвича с претензиями, выгнанного из университета. Над таким можно и нужно было бы всласть поиздеваться. Могли бы и убить или искалечить. Радость эту я им доставлять не хотел. Где-то впереди уже маячила эмиграция. По-хорошему, надо было уезжать из страны советов... я чувствовал, будущего у меня тут нет. Но сделать из этого чувства соответствующий вывод, заказать и получить приглашение из Израиля и подать документы на отъезд из СССР — у меня не хватало духа. Потому что я был робок. Боялся... Ведь просто так взять и уехать было невозможно. Нужно было бороться. Рисковать. Уходить в отказ и страдать от уколов и ударов мстительного государства рабочих и крестьян, люто ненавидящих тех, кто хотел его покинуть. Я твердо знал, что, подай я заявление на выезд, жизнь будет испорчена не только у меня, но и у моих близких, в то время об эмиграции еще не помышлявших.

...

Гулял я как-то раз... в прекрасный майский день по Ленинскому проспекту. И предавался тягостным размышлениям. Прогуливал лекции. Шел в сторону центра от Калужской заставы. Насвистывал какую-то мелодию. Чтобы



не упасть духом, представлял себе бедра и грудь знакомой студентки-кокетки, с которой уже разок поцеловался в научной библиотеке. У нее были большие, навывкате, раскосые глаза и чрезвычайно породистые руки. Папа ее вроде бы происходил из ханского рода... и имел чин генерала КГБ.

На Ленинском было шумно. Воняло выхлопными газами. Захотелось на природу. Только-только распутившиеся листочки посмотреть. Можно было в Нескучный сад заскокочить. Или — в Донской. Гулять в одиночку в Нескучном саду я не хотел. Поэтому свернул направо и двинул на восток, как декабристы, по улице Стасовой. Через пять минут увидел перед собой красивую колокольню с надвратной церковью.

Прошел сквозь арку в монастырь, который тогда, в семидесятые, никаким монастырем не был. В Новом соборе работал музей... в Старом соборе, кажется, еще служили, в крепостных стенах уже не жили люди, а некрополь, тогда еще не осчастливленный могилами Деникина и Солженицына, находился в таком состоянии, в каком его оставили ограбившие и закрывшие монастырь большевики. Многие надгробья покосились, просели, другие были расколоты, усыпальницы — осквернены. Все, что можно было украсть или испоганить — было украдено и испоганено.

Посетил знакомые мне могилы. Дружески кивнул Чаадаеву. Посидел на черном камне Бехтеева, замечательного иллюстратора «Дафниса и Хлои». Обошел вокруг Старого собора, поприветствовал мятежного патриарха Тихона и несчастного Амвросия, погибшего во время чумного бунта. Подошел к любимому каменному распятию. Полюбовался на скорбящих ангелов. Потрогал дерево жизни. Понюхал клейкие листочки. Сорвал одуванчик, поцеловал его и насладился его божественной желтизной.

А потом, сам не знаю зачем, вошел в один из склепов. Не помню, кто там был похоронен, наверное, какой-нибудь военачальник или видный чиновник конца девятнадцатого века. Меня привлекла масонская символика на еще не до конца разгромленном мраморном фасаде — всевидящее око в треугольнике, лучи, голгофа, мертвая голова, циркуль, отвес, молоток... Несколько изящных колонн поддер-

живали обветшалую кровлю в форме вытянутой пирамиды. Железная дверь со следами взлома была не заперта. Внутри склепа пахло фекалиями.

Когда я в начале двухтысячных годов снова побывал в Донском, этого склепа там уже не было. И не только его. Многое пропало, как будто ветром сдуло.

Возможно, когда воры украли последние мраморные детали постройки, усыпальница развалилась... или ее позже срыли за ненадобностью. «Зачистили», как теперь говорят в России. Какое мерзкое слово! Как и другие их слова.

...

Я вошел в склеп — без какой-либо задней мысли в голове. Просто так.

Внутренние стены и потолок небольшого, пустого — ни гробов, ни урн, только мусор нового времени, — квадратного в плане помещения были выкрашены небесно-голубой краской. Мне показалось, что эта странная, явно не советская голубизна должна была скрывать что-то — фрески или надписи. Золотые буквы, священные изображения, пентаграммы.

Потрогал неровную поверхность стены рукой... отколу-пал кусочек краски... и в этот момент заметил, что в углу склепа что-то призывно блеснуло. Наклонился, посмотрел... ничего нет. Оптический обман?

Пол склепа был покрыт чем-то, похожим на грубый темный линолеум. Поверхность его напоминала спрессованную молотую пробку, скрепленную смолой или каучуком. В углу, там, где блеснуло, напольное покрытие было изодрано и отошло от кирпичного пола сантиметров на десять. Кажется, там кто-то уже не раз рылся. Может быть, клад искали?

Сунул руку под линолеум. Пошарил. Ничего. Только пепел, пыль и гадкий черный жир...

Нащупал что-то вроде шарика размером с крупную виноградину.

Вытащил. Ба! Да это перстень! Печатка. Золотая?

Вышел из склепа на улицу, нашел лужу на дорожке, вымыл в ней перстень. Оттер грязь носовым платком. Нет, не золотой. Серебряный? Нет. И не бронзовый. Станный металл... серебристый, легкий. Титан?

Что же изображено на печатке? Грязь так глубоко въелась...

Отмыл. Вот незадача. На печатке — крохотный треугольник с всевидящим оком и цифры под ним. 2020.

Это что, номер ложи? Шифр? Закодированное по номерам букв в латинском алфавите имя?

Двадцать — число неприятное. Слишком правильное и круглое.

Не удержался, надел перстень на безымянный палец. И...

...

И ничего не произошло.

Майский день был все так же зноен и весел. Пчелы жужжали. Бабочки порхали. Деревья шелестели новыми листочками. Мощные овальные плечи и купола Нового собора так же, как и прежде, таранили голубое пространство. Мертвый Чаадаев не вылез из своей, покрытой чугуновой плитой, могилы. Бородатый Жуковский все так же хмурился и мрачно смотрел куда-то со своего зиккурата. Я все еще был студентом МГУ. Время и пространство...

Ничего не изменилось. Но я испытал что-то вроде шока. Почему?

Потому что вдруг осознал, что все эти идиллические картины — не что иное, как мое воспоминание, фикция, мираж, далекое прошлое. А на самом деле...

А на самом деле я сижу на земле, грязный, оборванный, старый и беспомощный.

И вдобавок — болезненно истощенный. Я голоден и страшно хочу пить.

И вокруг меня нет ничего, кроме земли.

Ни могил, ни церквей. Ни дерева, ни кустика...

Только земля... как будто взволнованная... хаотично бугрящаяся... застывшее море из пепла и грязи.

Посмотрел на свои руки. Грязные, худые, покрытые пигментными пятнами, уродливые. Ногти ужасные. Ноги — обуты в грубые черные ботинки. Брюки с заплатами. Ватник. Такой потертый и грязный, как будто в нем несколько эков уже оттянули пожизненный срок на лесоповале. На голове — ушанка. Засаленная, вонючая... За спиной у меня пустой рюкзак из прорезиненной парусины. Пахнет противно. Зачем он мне?

Седая, давно не мытая борода. Во рту — потрогал языком — осталось только пять или шесть зубов.

Но серебристый перстень-печатка — все еще на безымянном пальце.

...

С трудом встал и начал карабкаться на невысокий холмик. Тяжело... одышка.

На вершине его я заметил что-то похожее на лежащий на боку церковный купол. Это был большой обломок луковки, которая некогда украшала Новый собор. Поверхность ее была в звездочках. А холмик, стало быть, был тем, что осталось от собора.

Что же тут произошло? Атомная война? Тотальное уничтожение каким-нибудь неизвестным мне оружием?

Если этот холмик — остаток Нового собора, то где же Старый, где могучие крепостные стены, где колокольня, надвратная церковь Тихвинской богородицы...

Где город, где Москва?

Ничего не видно. Только земля со всех сторон. До горизонта. Холмы, холмы... овраги.

Что за ерунда?

Спустился и медленно побрел...

Кое где валялись похожие на спутанную бороду великана кучи мусора... обломки мебели... смятые и поржавевшие кузова автомобилей... заборы... оконные рамы... битая посуда... портреты Ленина... пропагандистские лозунги. Коммунизм победит! Все это было покрыто толстым слоем грязи.

Видел и трупы. Обугленные, маленькие... как будто детские.

Кто их сжёг?

Несколько раз кричал. Звал на помощь. Ответа не было. Только ветер завывал, завихряясь на скатах и косогорах. Иногда мне казалось, что я слышу далекий волчий вой. И какое-то злоещее клацанье.

Пахло пожаром и гнильем.

Неизвестность пугала больше, чем ужасная действительность.

Начало темнеть.

Сел на корточки, начал вертеть перстень вокруг пальца.

И тут меня осенило. 2020 — это не номер, не код, и никакая не загадка...

Это дата. Год. Кто-то соорудил временную ловушку. Я попал в нее... надел этот волшебный перстень, и меня занесло в будущее. В постапокалиптическую эпоху.

Занесло? Дичь.

Нет, нет. Наоборот. Я прожил долгую жизнь. Хорошую или плохую, не помню. А потом случилось то, что случилось. Русская цивилизация погибла. Я случайно уцелел в бойне. От прошлой жизни у меня остался только этот перстень, который я когда-то нашел в масонской усыпальнице. И теперь я брожу там, где когда-то был монастырь, и вспоминаю прошлое. Клейкие листочки.

Правдоподобно, но критики не выдерживает. Если у меня пропала память, то почему я хорошо помню то, что было до моего посещения склепа с небесно-голубыми стенами? Помню детство в Доме преподавателей, помню Вторую школу, помню профессоров марксизма-ленинизма, все помню, даже маршруты автобусов 144-го и 642-го. Помню задачки, которые на вступительном экзамене решал. Помню, как звали Сведенборга. А что потом было, после того, как перстень надел, — не помню. Все забыл. 45 лет жизни. Так не бывает. А то, что ты видишь вокруг себя, это бывает?

Задремал. На корточках.

...

Проснулся — все в том же кошмаре, как в карцере.

Ноги затекли, кости ломило. Еле встал, встряхнулся и опять побрел. Надо было найти воду. Или сдохнуть.

Рассудил так: если я действительно в бывшей Москве, недалеко от Донского, то на северо-западе от меня должна протекать Москва-река. Примерно в километре от монастыря.

С трудом сориентировался по Солнцу, еле видному в густом коричневом мареве.

Пересек долину между двух параллельных рядов холмов (когда-то она была Ленинским проспектом) и быстро достиг того, что должно было быть Москва-рекой.

Русло реки простиралось передо мной, но воды в нем не было. Только жиденький ручеек вился по его дну. Ура!

Подошел к ручейку. Встал на колени и опустил голову в воду. Напился.

На берегу заметил красноватую плесень и незнакомые мне оранжевые грибы на тоненьких ножках. На их шляпках, поросших темными волосками, было что-то, напоминающее глаза стрекоз. Размером с двуххвостовую монетку.

...

В кармане брюк я обнаружил кусок шоколада. Откуда в этом убитом мире мог взяться шоколад? Понятия не имею. Съел. Шоколад был не сладкий. И вообще это был не шоколад, а неизвестная мне масса, чуть-чуть пахнущая керосином. Ничего, съедобно.

Пошел по сухому руслу реки — в сторону МГУ.

Миновал величественные руины Метроста.

Поднялся по пологому склону бывших Воробьевых гор там, где прежде был эскалатор, и сразу увидел огромный холм пирамидальной формы. Все, что осталось от МГУ.

Подошел к нему поближе.

На вершине его поблескивала сильно деформированная пятиконечная звезда на обрубке шпиля. Стеклообразные грани отсутствовали, только несколько осколков торчали на изогнутых металлических ребрах. От колосьев не осталось ничего.

Недалеко от нее торчала голова «сталевара с молотом и шестеренкой», бессмысленной и неуместной скульптуры, прежде гордо восседавшей на двадцатиметровой высоте. Голова эта была дырявая и сплюснутая, казалось, она гаденько смеется. Рядом с ней валялся четырехметровый кусок металлического герба СССР.

...

Тут я услышал странный писк. Писк доносился из-под земли, из недр пирамиды.

Поверхность ее была покрыта многочисленными отверстиями. Норы?

Из одного отверстия выползла крыса. Похожая на обыкновенную, берлинскую, но с дефектами. Ног у нее было шесть. А на голове алела отвратительная опухоль. К тому же животное было слепое.

Не знаю, почему, но я вдруг ощутил в себе неодолимое желание поймать ее. Сперва застыл, как каменный. Затаил дыхание. А затем бросился на нее как леопард, поймал ее руками и бросил в свой рюкзак.

Вот, оказывается, для чего я его ношу... я — крысолов.

Весь день ловил крыс на университетском холме... Подстергал, прыгал, хватал.

Несмотря на усталость и одышку.

...

Память частично вернулась ко мне.

Я вспомнил, где находится вход в подzemелье, в котором еще теплилась человеческая жизнь. Там я мог помянуть мою добычу на тот самый «шоколад», который выжившие умельцы изготавливали из мазута.

Место это было там, где раньше находился вход в метро «Университет».

Пришел туда уже в сумерки. Рюкзак мой был полон и неприятно шевелился. Одна из крыс умудрилась прокусить твердую как фанера парусину, я видел ее длинные желтые нижние зубы, застрявшие между волокон. Изогнутые, как бивни у слона.

...

У свинцовой двери сидел на стуле человек без лица. На коленях у него лежал подрагивающий мешок.

Он сказал: «Почему ты опоздал, опять бродил по монастырю?»

— Не твое дело.

— Сколько на этот раз?

— Ты же знаешь мою норму. Как всегда — 35.

Он раскрыл свой мешок, и я опорожнил в него содержимое моего рюкзака. Из мешка послышался бешеный писк и сопение...

Крысу, прокусившую мой рюкзак, пришлось отдирать рукой. Прежде чем бросить ее в мешок, я посмотрел на ее открытую пасть. Она была ужасна. Похожа на изуродованного человека. Алая, вся покрытая маленькими черными паразитами.

Человек без лица вынул из кармана большую плитку мазутного шоколада, разломал ее. Отсчитал и подал мне 5

прямоугольных кусков. После этого он открыл дверь своим ключом, буркнул: «До завтра» — и ушел. Дверь за собой захлопнул.

Прежде чем он закрыл дверь, я расслышал доносящийся из подземелья скрип вентиляционной машины. Вспомнил, что в те времена, когда меня еще пускали туда, за дверь, видел однажды, как она работает. Десять потных грязных голых мужчин тяжело бежали как белки в огромном колесе. Два верзила подгоняли их бичами. Один из бегущих вдруг остановился, схватился за грудь и упал. Крутящееся колесо провернуло его один раз, а затем кинуло его труп прямо под ноги верзилам. Один из них тут же унес его куда-то и вернулся с новым бегуном. Остальные бегущие, казалось, не заметили смерти товарища. Продолжали бежать.

Подошел к отдушине. Она была тут... недалеко от двери. Круглая решетка, сваренная из стальных прутьев разного диаметра, закрывала вход в подземелье, из которого валил пахнущий невымытой кожей и испражнениями пар.

На решетке лежали несколько трупикиков неизвестных мне птиц, облепленных белыми червями. По моему телу прокатилась волна тошноты и слабости. Сел на землю и съел еще один кусок этого дьявольского шоколада.

Когда полегчало, встал, плюнул в отдушину, и побрел к ручью.

...

Только опустив голову в воду, я понял, как хочу пить. Открыл под водой рот и глотал, глотал...

Когда поднимал голову, заметил краем глаза огромную тень слева.

И в тот же момент моя оторванная от тела каким-то невообразимым чудовищем голова начала подниматься на воздух. А обезглавленное тело качнулось несколько раз и упало в ручей. Я даже успел разглядеть отвратительную морду монстра, похожего на гибрида Брежнева и гиены, и струйки крови, хлынувшей из оборванных артерий, но не успел испугаться.



Моя прежняя жизнь возвратилась. Я очнулся, стоя у могилы художника Перова, автора «Проводов покойника», картины, лучше всей остальной суровой русской живописи отображающей судьбу человека в России. Перстень был почему-то не у меня на пальце, а в руке. Я сжимал его изо всех сил, как будто кто-то собирался разжать мне кулак и забрать его, а я этому противился.

Солнце все так же светило, бабочки так же порхали, листочки шелестели.

Быстро отыскал склеп и засунул перстень под грязный ободраный линолеум, туда, где он лежал до того, как я его нашел.

Поехал на последнюю лекцию в университет.

Теперь я знал, что со мной и с моей родиной будет в 2020 году. Предаваться тягостным размышлениям больше не было необходимости. Я решил окончить курс в университете, устроиться на работу и уехать из страны, как только представится возможность. Возможность представилась только в 1989 году. Лучше поздно, чем никогда.

...

Странное мое приключение начало потихоньку забываться. После злоключений в первые годы эмиграции я и вовсе забыл о том, что какое-то время ловил крыс на развалинах города, в котором родился, после атомной бомбардировки. И о том, что мне, возможно, придется пережить это еще раз и кончить жить в пасти чудовища. Вспомнил я о загадочном кольце и о том, куда оно меня перенесло, несколько дней назад, после того как справил с семьей в уютном берлинском ресторане новогодний праздник. И решил записать все, что еще помню.

Да-да, вот и наступил этот самый 2020 год. И я — довольный жизнью немецкий пенсионер, а не московский крысолов, рыщущий среди нор на развалинах Московского Университета. Собираю марки, гуляю по лучшим европейским музеям, купаюсь в Средиземном море.

Атомный апокалипсис к счастью так и не произошел.

Хотя, после того, как американцы сняли с Европы «ядерный зонтик», Германия и начала осуществлять ускоренную программу создания собственного атомного оружия. А пожизненный президент России объявил о проведении через две недели внеочередных маневров стратегических ракетных сил сдерживания.

Совсем забыл. Мои состоятельные дети подарили мне туристическую поездку в Россию. Золотое кольцо, Псков, Новгород, Москва. Вылетаю завтра.

## ГРАФФИТИ

Как приятно и весело жить на родине, общаться с соотечественниками, говорить на родном языке и вдобавок — въехать в новую, чистую двухкомнатную квартиру с молодой женой-милашкой!

Комнатки у нас правда небольшие, крохотная уютная спальня, пятиметровая кухонька с шкафчиком, столиком и двумя табуретками, на стене картинка — портрет кота, вместо правого глаза у него — окошко, сквозь которое видно волшебный пейзаж с королевой и фламинго — из «Алисы в стране чудес», и гостиная, в которой едва уместились книжные полки, два кресла, стол и диван. Все это, правда, не новое и не шикарное, потому что жена не работает, а моей зарплатой служащего туристического агентства едва хватает на то, чтобы сводить концы с концами.

Шеф сказал недавно мне и напарнику: «Чтобы лучше жить, надо больше работать. Контракты нужны. А в вашу нору клиенты и не заглядывают. Может вам у входа встать и начать их зазывать? Как на Репербане?»

Сам бы встал и зазывал, сволочь. Ну да, клиентов у нас не много. Только это не потому, что наше бюро — нора, а потому что у них денег нет в нью-йорки или мельбурны летать. Так и сидят себе всю жизнь в городе. Кризис проклятый... террористы, войны... мы тут не при чем. Но разве шефу что объяснишь? Тупица во фраке. Гусь.

Да, мы с женой люди бедные... и не гордые... рады тому, что есть... и радость нашу не омрачает то, что квартира наша на первом этаже двадцатизэтажного дома и из всех ее трех окошек видно только глухую стену стоящего в пяти метрах от нас супермаркета, уже год как закрытого. Так что дома у нас всегда сумерки, а за продуктами приходится ходить на рынок, который от нас в полутора километрах. Там все дорого и продавщицы грубиянки. Хамят и обсчитывают. Булочка там стоит два франка. Фунт сливочного масла — восемь. А я в месяц зарабатываю четыреста пятьдесят.

Жили мы экономно, но мирно и счастливо.

Танцевали под патефон. Часто смеялись. По воскресеньям ездили на переполненной городской электричке на рыбалку. Ловили золотых карасей на близлежащих озерах. Загорали, компенсировали как могли отсутствие солнечного света у нас дома. Но вместо карасей нам почему-то все время попадались на крючок пятнистые треххвостые слизняки и тритоны. Вечерами читали друг другу до трухи зачитанные книги из моей детской библиотеки. Других книг у нас не было. Телевизора тоже не было, зато у нас был старый ламповый приемник с зеленым глазом. Слушали новости и симфонические концерты. Спать ложились в девять. Любили друг друга. Изможденные страстной игрой, засыпали. Я спал хорошо, а жену часто мучила бессонница. Она просыпалась в час волка и не могла заснуть до утра.

...

Мери не раз предлагала мне нарисовать на стене супермаркета граффити. Я ведь много лет назад баловался аэрозолями и она это знала. Рисовал-то я рисовал, но ничего путного из этого не вышло. Мери хотела видеть из окна радостную картинку...

Море, волны, кораблик плывет, непременно парусник, островок с пальмами, пляж... и чтобы на островке жили он и она — он похож на молодого Марлона Брандо, она на Бетти Дейвис — а по пляжу бегали несколько загорелых голых детишек с растрепанными золотистыми волосами. Чтобы там стояла хижина, а рядом с хижиной паслись на лужочке несколько коров и пони. И чтобы в гриву пони были вплетены красные и оранжевые ленты.

И чтобы бабочки летали и стрекозы. И солнышко светило...

Чтобы в море рыбки плавали, осьминоги разные, медузы и дельфины, а на земле чтобы цветочки, цветочки, ромашки-васильки...

А где-нибудь в уголке — обязательно мрачноватый Джон Леннон в красных круглых очках. И улыбающаяся Йоко Оно в кепочке.

А над всем этим чтобы ангел летал. Желтый как Будда.

На стене супермаркета, однако, граффити уже было нарисовано, и давно, так что краска местами облетела — я предполагал, что его нарисовали предыдущие жильцы нашей квартиры, обкуренные хиппи с испорченным вкусом и дурными манерами — три brutальные гориллы, сидящие по-турецки, в два человеческих роста каждая, в солдатских касках и противогазах. В лапах у обезьян — фотокамеры, а на их коленях лежит обнаженная девушка с синей кожей. На заднем плане — мрачный индустриальный пейзаж.

Где же эти уличные художники трубы и фабричные корпуса у нас увидели? Похоже на нефтеперерабатывающий завод. В нашем городе уже лет десять как закрыты все фабрики и заводы. Прогорели. Проданы конкурентам. Здания их разрушены. Руины разровнены бульдозерами. На их местах разбиты парки, посажены сады. Защитников природы у нас много, только толку от них мало. Ничего не растет на отравленной почве кроме какой-то белесой плесени. Даже муравьи не живут на этой земле...

Да-с, лежит себе эта нарисованная красотка и пристально смотрит со стены прямо в окно нашей гостиной. И гориллы тоже упорно сквозь стекла противогазов на наши окна пялятся. Пугают.

Недобрый знак.

Я, когда мне маклер квартиру показывал, как увидел глухую стену и эти морды на ней, и эту, синюю, сразу отказаться хотел... но одумался... с нашими-то деньгами выбирать не приходится. Сняли, что смогли... Надоело смертельно жить в гетто, в неотапливаемом бараке в обществе тещи, распущенной ворчливой стервы-алкоголички и ее кошмарных мажоров.

Да-да, бедность проклятая!

А когда на наш город опускается здешний сернистый туман, а случается это тогда, когда ветер из Канады дует, с рудников, — взгляд синей Венеры со стены супермаркета становится как-то особенно загадочен и зловец.

А гориллы — в неверном туманном свете — как будто подрагивают. Дрожат и глухо бурчат что-то в своих противогазах.

Так и живем — как большая семья — жена, я, синяя девушка и три огромные обезьяны...

Чтобы нам увидеть небо, надо открыть окно, высунуться и посмотреть вверх.

С одной стороны — громадная стена нашего дома, бетонные блоки да окна. С другой — двухэтажный супермаркет. А между ними бежевая полоска неба, исчерченная черными линиями — это провода. У нас всюду провода.

Однажды я видел там, наверху, Луну.

Ночь была ясная, дом наш выглядел особенно мертво... ведь в нем никого, кроме нас и соседей по лестничной клетке нет... лестница, ведущая наверх, давно заколочена, лифт не работает... в нашем городе много оставленных жителями башен... они пустые и страшные, некоторые уже упали.

Да, Луна светила всюю, и в ее свете мне показалось, что голубые глаза синезожей фурии со стены супермаркета сверлят мне на переносице дырку... гипнотизируют... внушают мне какую-то мысль, которую я не могу понять... и вот... что это? Она ловко соскочила с мерзких коленей своих телохранителей-приматов и, вытянув руки, медленно полетела ко мне... тело ее стало полупрозрачным... она улыбалась.

А гориллы стянули со своих морд противогазы и гоготали... показывали мне свои острые зубы и щелкали допотопными камерами. Они снимали ее.

Удивительное чувство, когда наяву бредишь. Заставил себя очнуться...

Протер глаза, облил голову ледяной водой в ванной — горячей у нас не было уже месяца три — и ушел в спальню. Мери мирно спала на нашем двуспальном ложе, которое я сам сколотил из краденых в брошенных домах деревяшек. Три дня, помню, потел, собирал, красил, лакировал... а когда лак высох, и я положил на мое детище на последние гроши купленные мягкие матрасы, а Мери постелила свежепостиранное белье — льняные простыни и пододеяльники, а потом осторожно легла на кровать и легким кивком головы пригласила меня лечь рядом... радости моей не было предела. Всю ночь мы любили друг друга, только под утро утомились. Выпили припасенное для особых случаев шампанское. Мери забеременела.

Жена суеверно боялась и обезьян и эту синюю диву... однажды она, волнуясь, поведала мне громким шепотом... будто видела ночью, во время бессонницы, как нарисованные фигуры, все вместе, вчетвером, сходили со стены и заглядывали потом к нам в окна. А синяя девица пыталась своими длинными пальцами утопленницы открыть форточку в гостиной. Жена слышала, как ее ногти скребут деревянные рамы.

«От этих звуков меня затошнило, пришлось бежать в туалет, а когда я вернулась, все было как всегда... стена, граффити, по тротуару собака неслась бездомная, а разбитый фонарь, ну тот, справа, то загорался, то тух. На проводах сидели, как статуи, несколько ворон. Их тени казались мне раскачивающимися великанами. Я долго не могла прийти в себя. Пришлось принять успокоительное. А оно на плод плохо влияет...»

Я тогда успокоил жену и задумался о том, от чего придется отказаться, чтобы купить ведро краски и большую плоскую кисть... Решил сэкономить на обедах.

И, о, радость! Купил через несколько дней и краску и кисть, и замазал наконец проклятых обезьян. Теперь у нас из окон было видно только серую стену. Точнее — большой серый прямоугольник на глухой бурой стене.

...

Невозможно предугадать, откуда придет следующая напасть.

Наши соседи — старуха Никки и два этих оболтуса, Тим и Том — все трое выказали свое недовольство уничтожением граффити перед нашими окнами. В грубой, унижительной для меня и Мери форме. Не перед их носами, заметьте, маячили эти зверюги, а перед нашими. Моим и жены. Какое их дело?

Никки заявила Мери, что «без милых животных и их синекожей красавицы опустела не только стена, но и сама наша жизнь в этом проклятом Богом месте стала еще более скучной, бессмысленной и безнадежной», что «она, конечно, не надеялась на то, что мы, ее новые соседи, люди заведомо чуждые и искусству и тонким метафизическим материям, способны оценить этот маленький живописный шедевр не-

известного мастера... но не ждала, что варварское и не одобренное другими соседями уничтожение произведения искусства произойдет так скоро!»

Мне бы она не посмела подобное сказать... я бы ей ответил, еще как ответил бы. Я могу и пожаловаться! У меня есть связи в известных кругах. Со мной шутки плохи! Чертова ведьма!

Тим и Том, эти вечно торчащие дома бездельники, безработные или вечные студенты — говорят даже, они не просто приятели, а... — устроили мне нечто вроде обструкции. Когда я выходил на лестничную клетку, они уже ждали меня, стояли рядом, оба в одинаковых голубых костюмах с розовыми галстуками и бойскаутскими значками на лацканах, смотрели в потолок и возмущенно мычали. А потом сейчас же доставали краски и кисти и начинали быстро-быстро замазывать серой краской две пестрые картинки на своих измызганных мольбертах. И так — неделю.

Как же я сразу не догадался? Не наши хиппари, а эти фанфароны небось и нарисовали и обезьян и синюю девушку. Надо было у них разрешение попросить на уничтожение шедевра, объяснить. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Зато жена будет спокойна, а мне чертовщина мерещиться перестанет.

...

Недели через три после уничтожения обезьян началось это...

Распад. Регресс. Падение.

Я вдруг обнаружил в нашей гостиной пепельницу. Полную окурков. Пахли они омерзительно.

Представляете себе? Я целый день работал в нашем бюро, выслушивал длиннющие рассказы этих старых сов, вдов чиновников городской администрации, моих единственных клиенток. Одна рассказала мне в деталях о том, как изменял ей ее муж, раздражительный сенильный старик в брюках с лампасами и шляпе с плюмажем, кавалер каких-то паршивых орденов, которыми наше щедрое отечество награждает знатных взяточников и коррупционеров, почти полностью разграбивших городскую казну за время долгой и безупречной службы. Другая облюновывала меня подробностями ее



разрыва с влиятельным любовником, случайно приходящимся ей родным дядей. Третья рапортовала о своих злоключениях в Таиланде, жара ее, видите ли, замучила, и крылатые тараканы одолели. А местные смуглые мальчуганы так и не захотели, даже после того, как им посулили золотые горы, возлечь на ее прелые тела... Четвертая вынуждена разорвать с нашей фирмой контракт на трехнедельный круиз по Карибскому морю. Потому что она в последний момент нашла более выгодное предложение. Пятая требует возместить ей моральный ущерб... который она якобы понесла от некрасивого жеста араба в Ливане, который «угрожал ей соковыжималкой, называл ее американской вонючкой и показывал обнаженный зад».

И после всех этих мучений я прихожу домой, надеясь обрести покой и получить мою маленькую капельку счастья... к моей любимой жене, с которой мы тогда как раз собирались вместе перечитать «Приключения Гекльберри Финна», главу про «ангела смерти», и что же я замечаю на столе в гостинной?

Пепельницу, полную окурков. Кто тут курил?

Я, конечно, и виду не подаю... а Мери берет эту пепельницу и опорожняет ее в мусорный мешок, а затем кидает в него еще какой-то мусор... а пепельницу тщательно моет и прячет в шкафчике с посудой.

Значит, у нас дома творится что-то нехорошее.

...

Ничего я Мери тогда не сказал. Ни об окурках, ни о пепельнице, ни о моих подозрениях. Решил затаиться и наблюдать, что бы ни случилось.

Два-три дня ничего вроде не происходило. Мы жили как обычно, а Гекльберри Финна дочитали до того места, где Гек и Джим отправились по Миссисипи на плоту.

Мери неожиданно сказала: «Знаешь, Патрик, кажется, ты зря замазал обезьян и девушку, интересная была картинка, занимательная... Синяя девушка чем-то напоминала мне мою умершую сестру, Элоизу. Когда я готовила на кухне, то смотрела на нее и делилась с ней моими мыслями. И она мне отвечала... А теперь стало и впрямь как-то пусто... Этот се-

рый прямоугольник перед носом — еще хуже обезьян и фабричных труб. Может, ты все-таки купишь краски и нарисуешь море и остров?»

— Ты же сама боялась этой картинки! Остров с хижинной? Я больше десяти лет не рисовал. Не осилю... Пони, дети, Ленон.

— Просто ты ничего не хочешь для меня делать! Я весь день в доме убираю, чищу и готовлю. Ношу под сердцем твоего ребенка. А ты торчишь в этом ужасном бюро и точишь лясы с этими старыми курицами. А потом не можешь исполнить даже самой маленькой моей просьбы. Ты эгоист.

— Обратись к этим придуркам-хиппарям, к Тиму и Тому. Они тебе нарисуют таинственный остров и лошадку с цветочками.

— Как тебе не стыдно, шовинист! Они не придурки, а очень чувствительные и интеллигентные молодые люди. Собираются поступать в докторантуру Школы искусств в Миранде.

— Они педерасты и мужеложники!

— Это их частное дело!

— Это они тут травку курили, когда я на работе был? И ты с ними покуривала?

Разговор этот ничем хорошим для меня не кончился. Мери обиделась. Я даже начал замечать в ее взглядах на меня — легкое отвращение. Да, я стал противен своей собственной жене, которую любил, ради которой жил. Хотя и не мог упрекнуть себя ни в чем, кроме нескольких резких слов о наших соседях.

Счастье потихоньку ушло из нашего дома.

По вечерам мы сидели в разных углах нашей убогой квартиры. Спал я на софе в гостиной. По ночам вставал и смотрел на стену супермаркета. На серый прямоугольник на фоне угольно черной стены. И мне казалось, что сквозь краску проступают контуры обезьян в противогазах... и просвечивают синие глаза обнаженной красавицы.

...

Недели через две после нашего разговора, Мери перестала готовить и убираться дома.

На полках начала скапливаться пыль, на полу — грязь.

Туалет пах нестерпимо. По кухне поползли тараканы.

Сил на уборку и готовку после мучительно долгого рабочего дня у меня не было. Служанку нанять я не мог, не было средств.

Первое время я еще пытался сам подметать, мыть, варить суп и жарить яичницу.

Пробовал кормить Мери, но она отталкивала ложку с супом или выплевывала на пол то, что я всовывал ей в рот.

Жизнь моя стала не просто печальной, а невыносимой. Мери сидела весь день в нестиранной одежде в кресле и смотрела в окно. На стену. Что-то бормотала и напевала. Качала головой с немывтыми, клокастыми волосами.

Она болезненно похудела, а живот ее наоборот, вырос до размеров большого лунного глобуса, украшавшего когда-то физический кабинет нашего колледжа.

...

Когда у Мери начались схватки, я сидел в бюро. Мой шеф как раз пришел объявить мне и моему напарнику, симпатичному индийцу Чангу, что наше бюро закрывается и мы уволены. Чанг был доволен. Сказал мне, что уедет назад в Индию и попробует там открыть туристическую фирму. Звал меня с собой. Я не понимал, что он говорит. От плохой еды у меня уже несколько недель болел желудок. Меня тошнило.

Я приволокся домой оглушенный и испуганный. По привычке хотел рассказать Мери, что произошло. Открывая входную дверь, вспомнил, что не говорил с женой уже четыре месяца.

Мери не было дома!

На линолеуме в гостиной я обнаружил большую лужу неизвестной мне жидкости. Лужа пахла кровью. В беспамятстве, ничего не соображая и корчась от боли, я вышел из дома и побежал в близлежащую клинику.

Там мне сообщили, что Мери привезли в больницу на своем старом Форде Тим и Том, что у нее были осложненные дистрофией и сердечной слабостью роды... неправильное положение... пуповина обвилась вокруг горла младенца... кровотечение... закончившееся смертью плода и матери. Персонал клиники просит принять соболезнования...

Я был так оглушен горем, что потерял сознание и упал на мраморный пол.

Жизнь продолжалась.

Ходить на работу было не надо.

Я сидел день и ночь в том же кресле, что и моя жена, и глядел на стену супермаркета.

Ко мне регулярно приходили три обезьяны и синяя девушка с голубыми глазами.

Обезьяны рассаживались на нашей софе и смотрели невидимый телевизор, а синяя красавица садилась ко мне на колени и целовала меня в губы.

Есть я перестал, аппетита больше не было. Пил воду из-под крана.

Ловил в кухне тараканов и отрывал им головы и ноги.

Через два месяца пришли полицейские, зачитали мне постановление суда и объявили, что я должен оставить квартиру. Я сказал им, чтобы они убирались. Запустил в них патефоном.

Два дюжих сержанта взяли меня под руки, вывели из дома... притащили на какой-то пустырь, избили и бросили в грязную канаву.

## ИНЕС

У меня в руках был чемодан — и я знал, что это все, чем я владею на земле. В чемодане хранились мои рисунки и несколько любимых книг.

Когда-то, еще в моей московской жизни, у меня и впрямь был такой, старинный, с металлическими заклепками на углах чемодан, и в нем я действительно хранил свои рисунки тушью. Куда-то он потом делся, исчез... или я его просто выкинул... не помню... но в том моем позавчерашнем сне чемодан вернулся ко мне, налился тяжестью тысяч бумажных листов и... и тащить его во сне было также трудно, как и в бодрствующем состоянии.

Да, во сне... я вылез из круглого отверстия в стене дома, похожего на дольмен... и пошел по тротуару широкой улицы, по обеим сторонам которой стояли одинаковые дома, тоже похожие на огромные дольмены или скворечники. Без окон, с круглыми, грубо вырубленными в массивных бетонных стенах, отверстиями. И вот, иду я по выложенному громадными плитами тротуару, тащу чемодан.

Автомобильного движения на улице нет, но в темно-коричневом небе, прорезанным зловещими золотистыми волокнами, летают странные самолеты... они напоминают мне детские игрушки, сделанные из полированного дерева... на носках у них пропеллеры... они производят несносный шум, эти бипланы... уродливые, несимметричные машины.

Я подхожу к перекрестку... и вдруг осознаю... что не знаю куда идти... что забыл, где я живу.

Это приводит меня в ужас. Я начинаю бегать туда-сюда... я мечусь как угорелый... в ночи... по этим бесконечным улицам, среди ужасных одинаковых домов, похожих на дольмены.

Теряю где-то свой чемодан и не сожалею о потере.

Неожиданно сам для себя забегаю в внезапно открывшийся передо мной туннель... я бегу по туннелю и мне кажется, что кто-то преследует меня и вот-вот вопьется мне в спину зубами... выбегаю на квадратную площадь.

Посреди ее стоит монумент — огромная, отлитая в бетоне игральная кость, а на ней восседает обнаженный мужчина — колосс с головой и клювом тукана. Длинная его шея изогнута, голова запрокинута, он смотрит в небо прямо над собой.

Я пробегаю под его двадцатиметровыми бедрами и оказываюсь перед домом с полукруглой надписью на фасаде — ПОЛИЦИЯ. Открываю маленькую дверцу и попадаю в зал, на противоположной стороне которого стоит письменный стол... за ним сидит симпатичная дама и читает какую-то казенную бумагу. Я иду к ней, под ногами у меня хрустит песок.

— Меня зовут Антон Сомна, я забыл, где я живу. Не могли бы вы мне помочь?

Полицейская дама кивает мне почти благосклонно.

— Покажите паспорт, господин Сомна.

Я вынимаю из кармана толстую книжечку — и подаю ее блюстительнице порядка. Я знаю, что в паспорте мой адрес не указан, но верю в силу ее власти, верю, что она умеет читать между строк... терпеливо жду... а она листает мой паспорт и водит по его испещренным печатями страницам рукой, как будто читает книгу для слепых. Она кладет паспорт на стол, открывает один из ящиков письменного стола и достает оттуда толстую пыльную книгу... ищет страницу... находит... и кивает удовлетворенно.

Смотрит на меня... в ее взгляде — ледяное презрение. Пауза затягивается. Зыбучий песок у меня под ногами начинает затягивать меня в свои жуткие недра. Я хватаюсь за стол... умоляюще смотрю на полицейскую даму... я готов простить ей ее презрение ко мне... мне только нужно узнать адрес... я хочу домой... лечь в теплый угол и забыться сном.

Наконец она прерывает молчание.

— Господин Сонма, вашего имени нет в списке. Но я нашла рапорт полиции Миранды. Вы умерли во сне тридцать четыре года назад, и с тех пор незаконно бродяжничаете в нижних мирах... Поймите, вам нет места среди нас! У вас нет тут пристанища. Я не могу разрешить вам вечно странствовать!

Она говорит, а ее приятное лицо искажается, превращается в морду тукана, за ее спиной отрастают крылья. И вот, она уже раскрывает свой огромный клюв и взлетает.

И зал оглашается ее невыносимым клекотом и скрежетом ее когтей.

...

Проснувшись в холодном поту на узкой койке, я решил во что бы то ни стало снять собственное жилье. В тот же день направился в общину и попросил секретаршу порекомендовать мне квартирного маклера. Она спросила меня, есть ли у меня деньги, и, услышав утвердительный ответ, тут же позвонила куда-то. Потом передала трубку мне. Меня спросили о квартплате, которую я готов платить и районе, в котором я хотел бы жить. Я ответил. Попросили подождать, сказали, что перезвонят.

Через полчаса некий господин Брукнер назначил мне встречу на завтра.

Я прибыл на место встречи на четверть часа раньше указанного времени, чтобы не спеша осмотреться.

Нда... улица, как улица. Не широкая, шагов двадцать. Движение довольно бойкое. Выхлопами воняет и чем-то еще более тошнотворным. Ацетоном? Серой?

Дома солидные, построены еще до Первой мировой. Все пятиэтажные, с высокими двускатными крышами, стоят блоком, без пустот, облицованы зеленоватой керамикой. Фонари старинные, покосившиеся, газовые что ли? Почему их не поправят?

Дома напротив покинуты жителями, подъезды заколочены досками, на окнах — фанерные щиты. На одном из них граффити — синий череп, высунувший длинный раздвоенный язык. На другом — портрет печального Цезаря. На его лысой голове диадема, он одет в ночную рубашку. Цезарь положил свою тонкую руку на деревянный подлокотник, на его плече сидит гриф.

...

Господин Брукнер, несколько старомодный джентльмен среднего роста, прибыл точно в назначенное время. Вылез из своего черного пикапа, молодецки притопнул ногой, дернулся как-то неестественно, огляделся, потрогал горло, по-

сверкал золотым перстнем на мизинце, криво, но учтиво поклонился, приподняв свой рыжеватый цилиндр, и уверенно показал мне, куда идти. Обошлись без рукопожатия.

Нырнули в темную арку. Пахнуло гнилью. Справа — три ступеньки и дверь в подъезд. Тяжелая, замызганная, снизу как будто обгрызенная крысами. В подъезде попахивало кошатиной. Предлагаемая мне квартира — единственное жилье на первом этаже. Рядом — нежилое помещение, в котором во времена ГДР помещался танцзал, а до войны — бордель «Кэтти Крузе»... все девки там были толстые как свиньи, но одеты как куколки, в пестрое шелковое полупрозрачное белье... и размалеваны соответственно, пояснил Брукнер.

Маклер потряс увесистой связкой ключей, открыл входную дверь, впустил меня, зашел сам, и тут же начал, слегка заикаясь, расхваливать квартиру, или, как он ее называл, — студию. При этом почему-то ходил по кругу, как цирковая лошадь, даже не ходил, а медленно бежал, поднимая с пола облака пыли и встряхивая крупом, отчего нелепо, горбом, вздымалась, показывая свою клетчатую изнанку, серая пелерина на его пальто. Несколько раз кудахтанье маклера прерывалось ржанием или бляньем.

— Недалеко от центра! Парк, кирха, городской пруд — все рядом! Гуляйте, молитесь, лодку возьмите на станции и гребите себе, сколько хотите! Бе-еее... Конечно, не шик! Но для несемейного мужчины хватит. Я слышал, вы художник! Нам сейчас тут только художников не хватает! Ну что же, продадите кучу картин, разбогатеете, снимете себе квартиру на Касберге. Или купите виллу. Пригласите меня тогда на пельмени. Все русские едят пельмени и борщ! И пьют водку. Я знаю, меня приглашал ваш комендант. Я потом болел три дня. Что? Вы не пьете? Чудесно! Будете жить долго-долго! И-иии-го-го! До автобусного вокзала — сто метров, до железнодорожного — десять минут идти. До Мюнхена ехать — шесть часов, до Берлина — два с четвертью. Только не работает дорога, у нас наводнения, знаете ли... Рядом кондитерская, за углом — Эдека, за другим углом — угольная торговля, не придется везти уголь издалека. Мой вам совет — покупайте брикеты. Не берите ужасный польский уголь. От него



только вонь, как от вашего социализма. Да, да... отопление печное, но зато... небывало низкая квартплата! Где еще вы снимете студию за двести десять? Даром, даром, отдаю! Только для вас. Залог — пятьсот. На всякий случай... Я надеюсь, вы не замажете помещение красками, не спалите дом и купите домашнюю страховку. Гонорар маклера — сто пятьдесят. Заплатите залог, гонорар и квартплату за два месяца вперед — и въезжайте хоть сегодня. Прямо сейчас! Можно наличными, под расписку. И кровать от прошлого жилья, настоящий палисандр, достанется вам! Спите на здоровье как бог во Франции! Вот и ключи! И-и-и-ии-го-го!

Маклер увидел в моих руках купюры и заржал особенно громко.

Подбоченился, подпрыгнул и щелкнул ножкой о ножку. Пелерина взлетела как орел, но тут же приземлилась на его плечи. Брукнер чихнул, задохнулся, закашлялся, потрогал горло... вручил мне три ключа, глянул многозначительно на меня потерявшими глубину глазами безнадежного кокаиниста, и сказал доверительно, как на исповеди: «Да, совсем забыл, вас тут ожидает один очаровательный сюрприз!»

После чего стремительно покинул квартиру, не забыв впрочем уже с лестничной клетки напомнить мне о том, что я должен зайти завтра в десять в его бюро и подписать договор об аренде. Я был рад больше не видеть его сумасшедшего кружения, не слышать его резкого, похожего на птичий глосса, то по-опереттному подобострастного, то мелодраматически-угрожающего, от которого у меня зудело в ушах.

Обошел еще раз мою студию.

Две комнаты. Первая — вроде как прихожая. В ней — стол, стул, черный от грязи умывальник, на котором лежала поржавевшая опасная бритва, изготовленная кажется еще до отставки кайзера, газовая плита на две горелки, печка... отделенный от остального помещения тонкими стенками туалет без двери, открытый душ, унитаз, а на стене еще два писсуара, в одном из которых валялись окурки, а к пожелтевшей внутренней стенке другого прилипли несколько лобковых волосков, не похожие на знаки вопроса. Окна в прихожей не было. Точнее, было — небольшое застекленное окошечко, но не на улицу, а во вторую комнату.

Чтобы войти из прихожей во вторую, главную комнату студии нужно было открыть ключом английский замок. Что за фантазия?

Вторая комната была просторной, светлой, метров тридцать пять квадратных... или сорок... три больших старинных окна выходили на улицу.

Только теперь я заметил, что форма этого помещения была, мягко говоря, необычной. Неправильный пятиугольник! Основанием ему служила длинная стена, прорезанная окнами. Примыкающие к основанию стены не составляли с ним прямого угла. Из двух оставшихся стен — одна была коротенькая, а другая — длинная и кривая, вогнутая. Очевидно за ней и помещались танцзал и — Кэтти Крузе. Потолок не был горизонтальным, а как бы скатывался от основания к вогнутой стене. Стены комнаты явно не выдержали бы проверку отвесом, а покрытый растрескавшимся линолеумом пол в студии вздымался небольшими волнами.

Но самым странным в этой комнате была не ее форма, а железная винтовая лестница в темном углу, не ведущая никуда, исчезающая в потолке и возможно винтящаяся дальше в квартире надо мной и выше, до самой крыши.

Упомянутая маклером кровать стояла под окошком в прихожую. Старый ее, покрытый радужными пятнами, матрас прохудился и потерял изначальную форму. Я присел на краешек кровати и несколько раз сильно ее качнул. Кровать жалобно заскрипела, но не сломалась. Обрадовался — не надо покупать новую! Денег у меня было в обрез, средства на переезд дала мне одна пожилая немка, Габи, с которой я познакомился в нашей общине. Сунула мне в карман тысячу двести марок и прошептала: «Отдадите, когда найдете работу. Я все эти прелести проходила, знаю, что такое нужда».

У меня не хватило сил отказаться от помощи, уж очень гнусна была жизнь в общежитии. Я поблагодарил Габи и поцеловал ее в хорошо пахнущую щеку. Она покраснела.

Потом мне рассказали, что Габи — венгерская немка, что советские после освобождения Венгрии арестовали ее и отправили в Воркуту, из которой она вернулась только через десять лет.

Рядом с оконцем в прихожую, висели настенные часы с маятником. В простом деревянном футляре, вверху — круглый циферблат, под ним — прямоугольное окошко, сквозь которое было видно качающийся маятник с латунным диском на конце, размером с блюдце. На часах стоял нелепый деревянный голубь, грубая кустарная поделка. Я решил выкинуть и часы и голубя — терпеть не могу вечного тиканья, этого назойливого напоминания о конечности бытия, не люблю и голубей.

...

Процедура подписания договора заняла минут двадцать.

Маклер говорил без пауз, трогал себя за горло, объяснял мне преимущества сданной мне площади, нервно крутил перстень на мизинце, пророчил мне великое будущее, напращивался на водку и пельмени, мычал и ржал. Хорошо хоть по кругу не бегал.

Я стоял рядом с его столом и смотрел вниз. Казался себе самому живой Пизанской башней. В Германии я — бесправный беженец — живо выучился тому, чему никак не мог научиться на моей советской родине, — молчанию и смирению перед лицом торжествующей пошлости. Днем перевез в студию мои пожитки из общежития. Как мог прибрался в своей новой берлоге. Накупил химии, вымыл окна, отскреб отвратительные багровые наслоения на полу рядом с плитой, вычистил заросший плесенью душ, вымыл туалет, и стол, и стул, и кровать... протер влажной тряпкой покрашенные масляной краской стены, с трудом преодолевая брезгливость, разрезал старый матрас на четыре части, вынес их из дома двумя носками и всунул в мусорный бак. Сходил в мебельный, купил новый матрас и два комплекта фланелевого постельного белья с лиловыми грушами и яблоками, приволок все это в студию, уложил в кровать новый матрас и постелил.

Съел булочку из темной муки, попил горячей кипяченой воды, принял душ, залег в постель и открыл книгу — Женщина на Луне. Читать не смог, заснул как убитый. Видел сон. Будто бы стою я — огромный деревянный истукан — в степи, на голове у меня монгольская шапка, в руках — булава и держава. А недалеко от меня стоит женщина-скелет с огромным светящимся животом, похожим на яйцо.

Проснулся ночью. Часы на стене показывали половину третьего. Сразу заметил — голубь пропал. Улетел? А может быть, его тут и не было никогда? Прислушался. Улица была тиха, машины еще не ездил, птицы не пели, хотя должны были петь в начале июня. Мертвая, неестественная тишина.

Пошел в туалет. Решил воспользоваться писсуаром. Вот и сюрприз — в писсуаре валялся окурочек! Как же он туда попал? Я же тут несколько часов назад все сам вымыл, вычистил.

Лег и провалился в тот же сон. Только теперь я был не статуей, а голым до пояса, босым пастухом. И я должен был бичевать свое костлявое тело плетью и подниматься по лестнице. По той самой, винтовой. Выше и выше. А наверху, на Луне, меня ждала лежащая в песчаных дюнах женщина с неохватным животом и с ногами, уходящими, как горная гряда, за горизонт.

...

Разбудил меня какой-то шум. Кто-то чем-то гремел, басовито хохотал и даже запел песню. Я протер глаза... в пред-рассветных сумерках моя комната показалась мне декорацией экспрессивного немого кино. Кабинет доктора Калигари.

Грохот и пение явно доносились из прихожей. Я заглянул в окошко... и увидел несколько физиономий. Как будто больных желтухой. Они с любопытством смотрели на меня. Я нашел в себе силы встать и натянуть брюки. Вышел в прихожую. Там обнаружил троих голых до пояса мужчин... двое брились и одновременно делали гимнастику, третий чистил зубы и напевал... они представились мне как Шульце, Кюнце и Мюллер. Это были мои соседи по подъезду. Толстенные мордочки господ Шульце и Кюнце напоминали рыла бобров или енотов. Он владели похоронным бюро. Рассказывая об этом, они почему-то застенчиво хихикали и предлагали мне заключить со мной сделку... я плачу им пять тысяч марок, а они — все хлопоты возьмут на себя, когда закончатся отпущенные мне Богом странствия. Кажется, их вовсе не смущало то, что они оба были лет на тридцать меня старше.

Господин Мюллер был похож на поставленную вертикально жужелицу. Когда он сказал, что работает в полиции, мне в голову пришла известная цитата: «Хищный от природы характер он прикрывал маской хорошего парня, презрение к закону — мундиром».

На мой робкий вопрос, что они собственно тут делают, незваные гости ответили не без удовольствия: «Вы, кажется, не поняли, господин Сомна... это помещение не принадлежит вам, а является туалетом общего пользования жильцов нашего дома. Это возможно и прискорбно, но это так, а если вы нам не верите, прочитайте внимательно договор, который вы вчера подписали!»

Мне оставалось только с позором ретироваться в свою комнату.

Кое-как заклеил окошко в прихожую-туалет газетой, оттащил кровать подальше от окошка и прилег. И вот, я снова там, на Луне. О, ужас! У меня нет тела, я — голова, и я качусь по пыльным дюнам, и вместе со мной катятся еще тысячи голов. И все мы ворчим и катимся, вроде как свита, за брюхатой женщиной, идущей впереди... нашей повелительницей... ее длинные черные волосы развеваются на лунном ветру... вот она подняла руки, с безвольно опущенными кистями и запела протяжную гортанную песню.

...

Долго спать мне не дали.

— Господин Сомна! Господин Антон Сомна, я знаю, что вы тут, откройте!

— Входите, не заперто.

Ко мне ввалился человек-жук, старший полицеймайстер Мюллер... в новеньком зеленовато-бежевом мундире. Господин Мюллер извинился за то, что меня потревожил, а потом заявил мне, что кровать, на которой я спал, принадлежит ему. Он якобы получил ее в наследство от отца. У него сохранилась квитанция, доказывающая, что кровать эта, кстати, вовсе не палисандровая, а изготовленная из американского тополя, была куплена его отцом в 1933 году в Дрездене. К вящему своему неудовольствию, он обнаружил в мусорном баке матрас с его кровати в разрезанном виде. В связи с этим он подаст жалобу в местное Управление внутренних дел на незаконное использование мусорного контейнера и на частичное уничтожение его собственности.

Я попытался было оправдаться, сослался на маклера, но господин Мюллер был непреклонен. Тогда я предложил Мюллеру сейчас же забрать его собственность вместе с но-

вым матрасом из моей студии. Это решение не понравилось господину старшему полицмейстеру, он побагровел и заявил, что готов продать мне кровать за три сотни марок и отозвать жалобу. Глядя в его мигающие белесые глаза, я вдруг понял, что эта кровать никогда не принадлежала ни ему, ни его отцу.

Предложил ему семьдесят пять. Больше у меня не было. Мюллер взял деньги и удалился, тяжело вздымая и опуская длинные конечности и яростно сжимая и разжимая мандибулы.

На дворе все еще не рассвело. Я закрыл глаза. Во сне меня посетила фрау Хэнне, жительница четвертого этажа. Она заявила ко мне обнаженной. Фрау Хэнне томно посмотрела на меня и, ни слова не говоря, легла на мою постель и развела свои полные бедра, на внутренней стороне которых темнели многочисленные синяки. Несколько больших синяков я заметил и на ее большой отвислой груди. Ее нагое тело напоминало мне вареную курицу. Фрау Хэнне произнесла нерешительно: «Не подумайте чего такого, господин Сомна, это все причуды треклятого Мюллера».

И крепко сжала меня ляжками.

После ее ухода, я запер дверь в прихожую на замок.

...

Проснулся я оттого, что кто-то положил мне руку на лицо и прекратил доступ воздуха в нос и рот. Я дернулся, судорожно вздохнул.

— Тихо, тихо, мой мальчик, куколка моя, все хорошо.

Говорила стоящая рядом со мной женщина. Худая как смерть и длиннорукая. Ее лицо напоминало тот синий череп на улице. Темное узкое платье без бретелек едва закрывало ее плоскую грудь. Длинный сосок ее правой груди торчал как мизинчик.

— Кто вы? Как вы вошли сюда?

— Меня зовут Инес Зибель. Я не вошла... я была тут всегда. Ты можешь звать меня просто Инес. Инес. Инес...

Ее голос действовал на меня гипнотически.

Меня больше не интересовало, как она зашла в закрытую на ключ комнату. Ни ее внешний вид, ни ее присутствие в моем жилище не волновали меня. И этот мрачный дом и

безумные его обитатели, и эта полумертвая улица, и сам тяжелый промышленный город К., как будто висящий у меня на шее с тех самых пор, как я вышел на перрон его вытянутого как гроб вокзала — все это вдруг перестало меня давить и мучить.

Я услышал, как шелестит лунный песок, гонимый космическим ветром, я почувствовал, как Инес положила одну свою холодную, костлявую руку на мое лицо, а другую — на сердце, и даже не вздрогнул, когда больше не смог вздохнуть.

## НОЧЬ В КВАРТИРЕ МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА

Квартилаты в престижных районах Берлина выросли за последние десять лет на половину. Дорогие, роскошные квартиры подорожали процентов на тридцать, куда же дороже? А дешевые, одно- и двухкомнатные, — в два-три раза!

Несмотря на это подорожание — на каждый показ новой квартиры в Берлине приходят от двадцати до пятидесяти конкурирующих между собой претендентов. Такая неприглядная картинка.

Когда я — в начале нового века — переезжал из Саксонии в Берлин, картинка была другая, мирная, патриархальная...

Я искал себе тогда дешевую двухкомнатную квартиру, по возможности в западной части Берлина, в центре. После почти тринадцати лет жизни на территории бывшей ГДР, хотел стать западноберлинцем и восточную часть города посещать исключительно как турист. Денежный мой лимит был — 310 евро в месяц. Сейчас на эти деньги и комнату в коммуналке не снимешь в центре. А тогда... этого было достаточно для аренды небольшой холостяцкой конуры. Сотни тысяч людей с деньгами со всей Германии и Европы еще не приехали жить и веселиться в город на Шпрее. Западный Берлин еще не был до конца ассимилирован восточным. Но блеск и лоск шестидесятых уже потерял...

...

Искал квартиру я около месяца, листал газеты, просматривал соответствующие страницы мировой паутины, ездил на встречи с маклерами... и в конце концов нашел прекрасную двухкомнатную квартиру в Вестфальском квартале, недалеко от снесенной в пятидесятые годы синагоги, с лоджией, в хорошем состоянии, с встроенной кухней... За 300



евро в месяц. Въехал в нее и жил в ней около года, написал там свои первые рассказы, вошедшие позже в книжечку «Меланхолия застоя».

Целыми днями гулял по западному Берлину, заходил в художественные галереи и музеи, фотографировал... пил кофе на Курфюрстердаме...

Знакомств к сожалению не приобрел... они с неба не падают... А делать тут то, что я тринадцать лет делал в Саксонии, то есть углубляться в берлинскую культурную жизнь, сверлить и бурить, постоянно предлагать себя, критиковать, провоцировать и лезть во все художественные драки, с единственной целью обратить на себя внимание, мне не хотелось. Сил на всю эту суету уже не было. Да и желания тоже.

...

Квартира моя была не без недостатков.

Моя соседка — а мою гостиную от ее отделяла только одна, не несущая стена — безработная беженка из Чечни, каждый день часов по двенадцать смотрела телевизор... и громкость устанавливала такую, чтобы слышать чертов ящик в любом углу своей квартиры, которую она постоянно пылесосила, чистила и блистила...

Ночью она спала.

Но по ночам — на обитаемой крыше соседнего дома темпераментные студенты из Латинской Америки устраивали нелегальные танцы... обычно до восхода Солнца. Музыка играла очень громко, спать было невозможно...

Я чувствовал себя так, как будто я нахожусь в фокусе гигантской акустической линзы. Потихоньку сходил с ума и бесился.

Хладнокровно вызывал полицию... лукавые латиносы однако быстро нашли противоядие. Один из них всегда стоял на стрёме — и как только замечал подъезжающую полицейскую машину, звонил по мобильному телефону своим друзьям, которые тут же выключали свои мощные динамики... и прятались, как мыши от змеи. В нашем огромном дворе воцарялась блаженная тишина.

Длилась она обычно около пяти минут. Когда полиция уезжала, динамики включали еще громче, чем до ее

появления... видимо молодежь желала отомстить жалобщикам, показать им, кто настоящий хозяин нового мира... ночи и тишины...

Любопытно, звонил в полицию только я, мои соседи по дому полицию не тревожили. Немцы — народ терпеливый, спокойный. А я — нервный.

После десятого моего звонка — полицейские приезжать перестали, а мне пригрозили завести на меня дело... за ложные сообщения о шуме. Мои рассказы о нехитром трюке латиносов берлинскую полицию не убеждали... возможно потому, что по моему акценту они сразу и безошибочно узнавали во мне бывшего жителя СССР, а таковых немецкая полиция не только не жалует, но и ставит в своей неписанной иерархии куда ниже латиноамериканцев. Может быть и заслуженно. Короче, пришлось мне мою чудесную квартиру оставить и переехать в тихий и мещанский восточно-берлинский Кёпеник. Да-да, туда где так много прекрасных озер и где когда-то произошла милая история со знаменитым «Капитаном».

...

Ночное происшествие, о котором я хочу рассказать, произошло как раз в то время, когда я, измученный вынужденной бессоницей, подыскивал себе новую, по возможности тихую, жилплощадь в Берлине.

Нашел вроде бы подходящую квартиру на сайте одной берлинской фирмы по продаже недвижимости. На Кауерштрассе. Жил такой господин, Кауер, мечтавший воспитывать немецких подростков времен Пушкина в национально-патриотическом духе.

Фирма обращалась к потенциальным покупателям так: «Если вы не хотите сразу покупать нашу квартиру, то арендуйте ее на три года. Даем гарантию, у нас вам очень понравится».

Позвонил по указанному в объявлении телефону. И на следующий день встретился с маклером, который, как я предполагал, поедет со мной в Шарлоттенбург и покажет мне двухкомнатную квартиру на четвертом этаже в доме на Кауерштрассе. Маклер, молодой человек, одетый не без претензии на роскошь (остроносые ботинки, длинное темное пальто, белый шарф), оглядел меня критически с ног до го-

ловы... особенно долго осматривал мою, тогда еще не сбри- тую рыжую бороду, и заявил, почему-то усмехаясь, что пол- ностью мне доверяет... Вручил два ключа (от подъезда и от квартиры) и добавил, что я могу сам туда съездить, когда за- хочу, но через четыре дня он хотел бы или получить ключи назад, или подписать со мной договор об аренде квартиры на три года. О задатке он почему-то и не заговаривал.

Меня это устраивало... потому что я, наученный горь- ким опытом, хотел бы проверить, тихо ли там, на новом мес- те... поздним вечером и ночью. Сделать это можно было только «явочным порядком».

...

Я поблагодарил белый шарф за доверие, взял ключи и поехал домой.

А вечером, прихватив с собой надувной матрас, белье, одеяло и термос с кофе, пошел пешком на эту самую улицу, Кауерштрассе, благо идти было от меня всего-то двадцать минут. Хотел переночевать в новой квартире и утром ре- шить, подходит ли она мне.

Пришел.

Нашел искомый шестиэтажный дом, номер уже не пом- ню. Крысино-серое здание. Жутковатое. Единственное неот- ремонтированное на этой улице. Честное слово, новенькая, облицованная голубоватым кафелем, блочная девятиэтажка в московском Ясенево, в которой я получил в 1978-м году свою первую квартиру, показалась бы рядом с этим мрачным архитектурным уродом — виллой в Голливуде. Говорил мне один старый знакомый, проживший в Западной Европе лет тридцать: Великим счастьем для тебя будет, если ты на За- паде сможешь сохранить уровень твоей московской жизни. Гляди, пропадешь... утонешь как глупая лошадь в болоте. Тут ты все еще король, а там будешь парией.

...

Вошел в подъезд.

Ну и амбре!

Воняло там... сильно воняло... но не кошачьими и чело- веческими мочой и экскрементами, как воняют подъезды на моей оставленной родине, а давно не стиранным бельем и протухшей пищей.

Безработные эмигранты — народ не гордый... решил стерпеть, если квартира подходящая.

Поднялся на четвертый этаж... вот и дверь... замок. Так... когда-то его вырезали из двери пилой... нехорошо. Удара плечом наверняка не выдержит.

Вошел. Закрыл за собой дверь.

И внутри тоже воняло. Но как-то иначе. Еще гаже.

Обошел квартиру.

Первым делом заглянул в туалет. Толчок грязный. Вычистим. Ванна такая, как будто в ней много лет купали слонов. Источник вони — явно не тут, уже хорошо.

Кухня маленькая. Кухонная мебель — оригинальная, шестидесятых годов двадцатого века. Впитавшая в себя все запахи готовящейся тут полстолетия стряпни. Лоснящаяся от испарений и жиров... И тут, если денек поскоблить и подраить, сменить линолеум и покрасить стены, можно будет готовить и есть. Воняет не то, чтобы очень...

Две комнаты.

Маленькая — выходит окном на Кауерштрассе, по которой и сейчас, в одиннадцать вечера бегут непрерывным потоком ревушие автомобили. В синеватых облачках выхлопных газов. Тут можно будет сделать, после косметического ремонта, компьютерный кабинет. Поставить два стола от Икеа, крутящееся кресло. Работе городской шум не мешает. А проветривать буду по ночам.

Большая комната с балконом!

Сразу понял, источник вони — тут. Линолеум в углу — угольно черный и с багровыми разводами. Даже силуэт лежащего человека виден. Неправильный какой-то.

Вышел на балкон. Луна светит. Воздух чистый. Благодарь. Тишину нарушает только гул большого города. Как будто из-под земли доносится шум огромных работающих машин, как в фильме «Метрополис». Но ни телевизора от соседей не слышно, ни музыки с танцуплек.

То, что надо!

Погодите, а что это там, внизу? Похоже на надгробья. Ага, кладбище. Небольшое. Гектар или два. Ну что же... мертвые хотя бы не танцуют по ночам и не пылесосят с утра до вечера.

Решил переночевать в большой комнате... в лунном свете...

Освещения не было, лампу я с собой принести не догадался, даже фонарик не взял, придется сидеть в темноте...

Разложил матрас подальше от темного угла с разводами. Постелил. Глотнул кофе...

Забылся.

...

Прежде чем продолжить рассказ, должен сделать небольшое отступление.

Посмотрел я недавно один фильм ужасов, с Джоном Кьюсаком в главные роли, по сценарию Стивена Кинга. Хороший фильм, можно даже до конца досмотреть.

Главный герой — как это часто бывает у Кинга — терзаемый нечистой совестью, ищет сюжеты для книги о «потусторонних явлениях»... посещает отели, в которых якобы водятся привидения... Не без труда снимает пользующийся дурной славой номер 1408 нью-йоркского отеля «Дельфин». Дерзко призывает там злых духов... которые не заставляют себя ждать.

Из ниоткуда появляется съеденная несколько минут назад шоколадка, радио начинает зловещий обратный отсчет минут, краны в ванной ошпаривают героя кипятком, оконные рамы ни с того ни с сего падают, картины оживают, по вентиляционной шахте ползает труп... на героя нападает тетка с молотком, телевизор показывает тягостные для него сцены семейной жизни, героя терзает громкий детский плач, перерастающий в рев ада, из трещин на стенах номера струится кровь, мертвецы выбрасываются в окошко, комната превращается то в жаркий, то в ледяной ад, то в водяную пучину... кажется нет ни одного клише, не используемого Кингом для запугивания несчастного писателя и услаждения торжествующей, хрустящей попкорном публики...

Грехи главного героя материализуются. Умершая дочь к нему приходит, потому что он винит себя в ее смерти... дочь стонет, плачет, мучает отца, и мать, и зрителей... брошенный героем-эгоистом в доме для престарелых отец является ему, чтобы его укорять... оставленная жена...

Так вот, хочу предупредить читателей, все еще ожидающих от моего рассказа нечто подобное. Не дождетесь!

Так что можете с легким сердцем прервать чтение! Займитесь чем-нибудь приятным. Цветочки понюхайте. Полистайте рыболовный журнал. Спланируйте путешествие в Гонулулу... Я не Стивен Кинг. Не умею фантазировать. О развлекательной стороне моей литературной продукции не думаю вовсе. Описываю только то, что сам видел и пережил.

...

Ну вот... лежу я на надувном матрасе в пустой комнате, смотрю на Луну сквозь балконную дверь, слушаю шорохи и представляю, как я тут буду спать на своей софе.

Место неплохое... до Цоо и Кудама — рукой подать, театры, квартплата приемлемая... Западный Берлин... вроде тихо... только воняет тут, в этой комнате, как-то особенно... изуверски мерзко.

Принюхался еще раз... и вспомнил, что так пахнет. Не похороненные мертвецы.

Наконец-то до меня дошло, почему эlegantный маклер сюда и заходить не захотел... брезговал, сволочь, а меня послал осматривать квартиру.

Позже прочитал где-то, что ТАК квартира воняет, только если в ней кто-то умер и долго лежал и разлагался. Полгода или дольше. Тогда насквозь прованивают и стены, и пол, и потолок... и запах этот невозможно уничтожить никакими ремонтами.

Стал гадать — был мертвец мужчиной или женщиной.

Мужчиной. Потому что к трупному запаху тут примешивался еще и табачный. Табак он покупал дешевый, гадкий... Женщина такой курить не будет.

Значит, жил-был какой-то немец. Может быть, бывший солдат Вермахта. После войны водитель автобуса. Или крановщик. Технолог с фабрики Сименс. Или зазывала из публичного дома на Кудаме...

Вышел на пенсию. Весь день сидел дома, курил, смотрел футбол и пил пиво. Одинокий, старый и никому не нужный. Потом ослеп. Умер. Может быть, упал, сломал бедро или позвончик и так не смог позвонить в скорую. Так и лежал, скрючившись.

А единственный его сын ему никогда не звонил, никогда его не навещал (ага, вот и «брошенный отец», никуда не убежать от Стивена Кинга). Потому что папаша его только

орал на него, избивал мать, пьянствовал и гулял на стороне. Соседи к нему не заходили, они и сами были такими же как он никому не нужными стариками и старухами.

И труп лежал и лежал. В жутком черном углу этой самой комнаты.

Крысы его грызли. Кровь растекалась в разные стороны. Отсюда и багровые разводы.

Пенсию мертвецу переводили на счет в банке автоматически. Автоматически и снимали с его счета квартплату и прочие платежи. Через полгода запах у входной двери стал невыносимым, соседи в полицию позвонили. Полиция выплила замок, открыла дверь и обнаружила труп. Тело забрали и сожгли. Мебель и прочее барахло поскорее выкинули...

Проводить дорогостоящий ремонт фирма-владелец квартиры не захотела. Решили пустить сюда жить какого-нибудь бедного жильца, который бы сам отремонтировал помещение... авось запах потихоньку и выветрится... Тогда можно будет и квартплату поднять... «Даем гарантию, жить у нас вам очень понравится»...

Опять попал в ловушку. Сколько уже их было тут, на прекрасном Западе. Не хочу перечислять. Глупая лошадь.

Решил уйти домой прямо сейчас. Ночью.

Но все ворочался на матрасе... никак не мог заставить себя встать... и убраться отсюда. Хотя и воняло нестерпимо и даже начало казаться, что чертов мертвец все еще лежит там, в темном углу. Как черный мешок.

Даже глухие его стоны услышал.

Сейчас он встанет и похромает ко мне... роняя на нечистый пол свои внутренности...

На голове его шлем с огненно-красным гребешком... в левой руке меч.

...

Как раз тогда, когда я решительно скинул с себя одеяло... ко мне постучали.

Нет, не во входную дверь... а в балконную.

В обманчивом лунном свете я разглядел фигуру чело-века.

Кто это? Вор?

Вор стучать не будет, а разобьет стекло и влезет. Значит, не вор.

А может быть, все-таки вор, проверяет, есть ли кто дома...

Привидение, мертвец, вампир, оборотень или еще какой-нибудь выходец с того света?

Не верю в привидения. Да и зачем духу стучать — он же может войти и сквозь стену.

Встал, завернулся одеялом и, стараясь не смотреть в темный угол, которого боялся куда больше балконного посетителя, подошел к двери...

На балконе стояла бомжиха. Грязная, страшная, в отвратительной одежде...

Старая или молодая — не разобрал.

Как она забралась на балкон четвертого этажа? Забралась. И барабанила в стекло. Настойчиво, но не очень громко.

Что мне было делать? В полицию звонить не хотелось.

Открыл балконную дверь.

Женщина, ни слова не говоря, проскользнула в квартиру... как собака или лисица...

И тут же кинулась в туалет.

А я сел, как был, в одеяле, обратно на матрас. Не удержался, посмотрел в темный угол. Никого там не было... только багровые разводы на почерневшем линолеуме, казавшиеся в лунном свете перламутровыми.

...

Я слышал, как она мылась... потом стирала белье. Минут через сорок вышла... в ужасной черной куртке на голое тело. Босая. Постиранное белье развесила, как могла — в туалете и на дверях.

Села рядом со мной... спросила хриплым, низким голосом:

— Ты кто?

Я назвал себя.

— Сигареты есть?

— Нет.

— Мартин где?

— Он что, тут жил?

— Жил. Где мебель, вещи?

— Не знаю. Выбросили, наверно. Я — новый жилец.

А ты кто?

— Я Магда.



— Ты бездомная?  
— Да, но прописана — тут.  
— Мне маклер сказал, квартира сдается.  
— Пусть твой маклер сам себя в жопу...  
— Как ты влезла на четвертый этаж? Почему снизу не позвонила? Я бы открыл.

— Я звонила, звонок не работает. Пожрать у тебя есть что?

— Ничего нет. Кофе есть горячий. Сладкий. На, пей.

Магда жадно выпила мой кофе. Я наконец разглядел ее лицо. Худое как смерть.

Страшное, измученное, злое лицо. Наверное колетя. А чтобы деньги заработать — проституирует.

— Хочешь палку кинуть? Дай двадцатку и вперед. В любую дырку.

— Нет, не хочу. А двадцатку дам тебе и так.

— Богатый?

— Нет, мне тебя жалко.

— Трахни меня, я чистая. Я не привыкла принимать подарки... У меня есть для тебя сюрприз... любишь сюрпризы?

Магда взяла мою руку и резко сунула ее себе в промежность. Я руку отдернул, но успел почувствовать там то, что там никак не должно было быть.

Магда громко захохотала...

Сбросила с себя куртку...

В следующее мгновение я пожалел, что впустил ее в квартиру.

Голая Магда заревела как гиена, кинулась на меня... несколько раз ударила сухоньким кулаком по лицу... начала душить. Острые как стекло ногти впились мне в горло.

Я был в шоке. Зачем она... он... делает это? Зачем? Я впустил ее в квартиру...

Только когда я испытал страшный приступ удушья... во мне проснулись сила и желание защищаться. С огромным трудом я отодрал ее худые, крепкие, как стальные клещи, руки от моего горла, не позволил ей вцепиться когтями мне в глаза, в нос, в уши.

Мы колотили друг друга кулаками, локтями, коленями. Мне казалось, в драке участвует кто-то еще... третий... Мартин?

Сцепились в бьющийся комок...

После пяти минут отчаянного боя, мне удалось наконец завернуть ей руки за спину, а потом и закрутить ее в куртку. Трудно было удерживать озверелую чертовку и одновременно раздирать на полосы мою майку. Но я осилил и это. Связал гадину.

А в рот ее вставил кляп.

Самое время было звонить в полицию. Не позвонил. Впал в протрацию и просидел, ничего не делая, минут тридцать.

Магда затихла, закрыла глаза. Заснула?

Попробовал с ней поговорить. Вынул у нее изо рта кляп.

— Какого черта ты на меня напала?

— Пососи, козел вонючий.

— Если кто тут и вонючий, так это ты и твой мертвый сожитель. Которого ты оставила тут протухать.

— Пососи... дерьмо собачье, русская свинья.

Магда набрала в рот побольше слюны и плюнула мне под ноги.

Мне захотелось сделать ей больно. Очень больно.

Мое, обычно довлеющее себе, нравственное чувство отступило в доисторическую, магическую тьму...

Я слышал безумные крики шамана... видел танцующие на стенах тени...

Необоримое, острое как бритва плотское желание превратило меня в зверя.

Я опять засунул ей в рот кляп. Затем широко расставил ей ноги и привязал их к батарее парового отопления. Когда я все это проделывал, бомжиха бешено лягалась и мычала.

...

Руки ее были круто завернуты за спину. Бедрá раздвинуты. Она была в моей власти.

Я рассмотрел ее тело. Худое, жилистое, крепкое. У Магды были широкие плечи, узкие бедра, небольшая женская грудь со смуглыми острыми сосками. Член, как у мальчика лет двенадцати, а под ним, вместо яичек — вульва взрослой женщины. Лет ей было около сорока... кожа на руках не была исколота. Странное существо. Гермафродит. До этого видел такое только на картинках.

Вынул из брюк узорчатый ремень... и начал ее хлестать...

Сколько времени я это делал — не знаю. Законы человеческого общежития не имели для меня больше никакого значения. Я был от наслаждения.

Вокруг меня плясал хоровод бомжей... они трясли бубнами и размахивали как дубинами колоссальными фаллосами. За бомжами шли живыми дергающимися в такт рядами бесчисленные солдаты... ехали неуклюжие грузовики, тащившие на прицепах тяжелые толстые ракеты... тысячи прожекторов буравили пахнущее гарью небо. Уродливый кобальд с безумным лицом кричал в микрофон: «Хотите ли вы тотальной войны?»

В какой-то момент, я осознал, что лежу на своей пленнице, насиую ее, кусаю ей губы и пью ее кровь.

\* \* \*

Встал, оделся, завернул в окровавленную простыню ее подозрительно маленький, не больше детской куклы, труп, вынес его из квартиры... и бросил в Ландверканал.

Вернулся в квартиру на Кауерштрассе и лег спать на матрас. Никто в ту ночь больше меня не беспокоил.

...

Проснулся с чудовищной головной болью.

И с ужасным чувством непоправимости содеянного.

Приготовился идти в полицию, хотел учинить явку с повинной, как Раскольников. Попрощался со сладкой европейской жизнью.

И только когда, после долгих стараний, так и не нашел в квартире никаких следов пребывания тут Магды, догадался, что все это было сновидением, кошмаром, порожденным ужасным запахом.

Когда отдавал ключи маклеру, посоветовал ему найти для этой квартиры жильца-некрофила.

## ЧАТТАНУГА

После долгих, бедных и унижительных лет безработицы я получил работу. В небольшом рекламном агентстве.

Интервью со мной его шеф провел по телефону. Чудак. Чем-то я ему понравился. Может, его рассмешил анекдот про сторожа и шампиньоны, который я ему рассказал? Сразу предложил начать работать у него. В следующий понедельник, в восемь утра. В новом здании неподалеку от Восточного вокзала. В комнате, из окон которой, по его словам, было видно бывшую Берлинскую Стену, расписанную художниками-энтузиастами. Целующиеся в засос Брежнев и Хоннекер, убогий гэдэеровский автомобиль Трабант, пробивающий Стену, фабричные здания, трубы, ошалевшие толпы людей и всевозможные пестрые чудовища, символизирующие не помню что...

Шеф сказал, что эти картинки хоть и наводят на скорбные мысли о судьбе человечества, но помогают понять психологию клиента, покупающего, например, противозачаточные пилюли или порошок для борьбы с вредными насекомыми.

...

Новая работа! После восемнадцати лет безработицы. Какая неожиданная, но желанная перемена!

Хотя... придется пять раз в неделю рано вставать и кататься туда-сюда на ужасном берлинском общественном транспорте. Каждый день торчать в душной комнате с чужими людьми по восемь часов. Терпеть их запах, фальшивые улыбки, банальные мотивации их поступков и их тошнотворные шутки.

Зато карман не будет больше вечно пустым. Не нужно будет покупать булочки по 14 центов и рыбные палочки по полтора евро за пачку в магазине Нетто.

После первой же зарплаты на новом месте я пойду в магазин Реве, куплю булочки с изюмом по 39 центов и мясо крабов. Поджарю его в оливковом масле и съем с сладкими желтыми перцами, фаршированными тушеной печеню те-ленка и рисом дядюшки Бена.

Буду пить настоящий дорогой горячий шоколад. Горьких швейцарских сортов... с миндальными и мускатными орешками. Густой как пудинг.

Надеюсь, это прибавит мне самоуважения, уверенности в завтрашнем дне и улучшит пищеварение. И продлит мое эфемерное существование на этой чудесной планете, которую мы так упорно превращаем в свалку. Если меня конечно не доведут до безвременной кончины стресс, неизбежные коллективные трапезы в ресторанах, с стриптизершами и фокусниками, невыносимо долго длящиеся дни рождения, регулярные нотации и проработки начальников, бессмысленные курсы повышения квалификации...

И еще — ревность, интриги, зависть, злоба, тупость, наущничество и прочие негативные проявления человеческой натуры, особенно ярко проявляющиеся у двуногих бескрылых в процессе хорошо оплачиваемой совместной трудовой деятельности.

...

Как же приятно стать богатым!

Куплю себе раскладной электросамокат.

Давно мечтал об этой полезной вещице, ведь с самокатом — другая жизнь. Ты больше не пешеход, как все эти неопрятные люди с мрачными лицами, бесцельно слоняющиеся по улицам Марцана с собаками и без. У тебя есть цель.

Вышел на улицу, влез на самокат и покатил на работу... или в магазин, за покупками. Ты не какое-нибудь восточно-германское или ближневосточное, задыхающееся в своей незначительности, чмо! Ты хоть и постаревший, и подурневший, но человек. Человек с деньгами!

Пусть и с бритой головой, неизбывной тоской в сердце и маленьким ножиком в кармане.

А в эс-бане самокат можно сложить и спрятать в сумку, чтобы не мешал.

Сумку буду ставить на колени, включать смартфон и играть всю дорогу в шарики-стрелялки. Главное — не смотреть по сторонам!

Сниму новую квартиру. В Шарлоттенбурге. Буду заходить во дворец и гулять по парку королевы Софии. Посещать собрание графики Бергрюна. И музей сюрреализма.

И новая мебель не помешает. Старая похожа на облезлую черепаху, из которой пружины торчат.

Плазменный телевизор, компьютер, колонки...

И вещичек надо подкупить. А то все брюки и носки с дырками. Курточку присмотреть пофасонистее. Костюм строгий. С полоской.

Дюжину белых рубашек куплю. Туфли. Перстенок с зеленым камешком. Или с синим. И золотые запонки.

Загляну вечерком на улицу Ораниенбургерштрассе.

...

Только вот... смогу ли я что-нибудь полезное делать на работе? Смогу ли выполнять заказы? Придумаю ли новую рекламу для противозачаточных пилюль? Не уверен. И Хоннекер с Брежневым мне вряд ли помогут. И фабрики. И чудовища.

Башка что-то плохо варит последнее время. Исчезла острота восприятия. Вместо ясной, четкой картины — туман. Сумерки. Раздражаюсь часто по мелочам.

Тело как будто стало чужим. Неповоротливым, вялым. Как личинка в коконе.

Сны вижу мучительные. Город странный снится. Люди — вроде как плоские. А все дома — белые и похожи на чайники. А я среди них как таракан бегаю, ищу свою самку.

С полезным — понятно. А бесполезное делать сможешь? Высосешь из пальца рекламу к стиральному порошку?

Не знаю, но заниматься чем-то бесполезным мне все же милее... не так позорно срезаться, показать некомпетентность.

Вот... идут два розовощеких близнеца-бутуза в новых матросских костюмчиках по набережной. Неожиданно с неба спускается роскошная летающая тарелка. Мальчики пугаются и падают на асфальт. А там — лужа. Поднимаются, отряхиваются. Их костюмчики — в ужасных грязных пятнах. Близнецы в отчаянии. Что скажет строгая мама? Из ле-

тающей тарелки выходят улыбающиеся двухголовые инопланетяне, в руках они держат — посверкивающие как бриллианты коробки стирального порошка Doppelpack... Через полчаса близнецы возвращаются домой. В безукоризненно чистых костюмах. Их встречает радостная мамаша. У нее — две головы и четыре руки.

...

Нашел вход в здание. Поднялся на седьмой этаж. Подошел к кабинету шефа. Там должен был собраться «наш сплоченный коллектив единомышленников для краткого представления нового креативного сотрудника и раздачи приказов».

Было ровно восемь часов утра и жарко как в Африке...

Как они меня примут?

Руки у меня подрагивали, как хвост у бездомной собаки.

Во рту набегала слюна, хотелось плюнуть...

В коридоре висело огромное зеркало. Бегло осмотрел себя.

Так... забыл погладить брюки. Подмышками рубашка промокла от пота. И еще немного — на спине. Галстук мятый. Сандалии нечистые. На носке правой ноги белеет дырка размером с центовую монетку.

Вытер лоб платком, прокашлялся, постучал и, не дожидаясь ответа, вошел в кабинет.

...

Вау! Не кабинет, а овальный зал...

С дорогим паркетом, хором и росписью на потолке. Херувимы, серафимы и целый сонм каких-то героев-силачей.

Гомоэротическая лепнина с копиями, знаменами и пушками...

В зале звучала музыка. Старая запись. «Чаттануга Чу-чу» в исполнении оркестра Гленна Миллера. Все присутствующие танцевали.

Сотрудники агентства и сам шеф оказались очень старыми людьми. Сильно за 80. Лысые или седовласые старцы в смокингах и жуткие напудренные старухи в бальных платьях. Шеф — во фраке и в черном цилиндре, обернутом атласной красной лентой. На ленте — золотая бляшка в форме мертвой головы. Многозначительно мне подмигнул и кивнул.

И последнее, самое удивительное — в кабинете находился средних размеров паровоз с пассажирским вагоном. Стоял на рельсах.

Паровоз то и дело гудел и сипло выпускал пар из своих механических легких. Казалось, что он кого-то ждет. Из его кабины выглядывал веселый негр-машинист. Сверкал белыми зубами и жевал жвачку.

И это — рекламное агентство? Тут я должен работать над рекламой стирального порошка? Подходящее место.

Поначалу остальные будущие мои коллеги меня не замечали, потом, очевидно, заметили. Но музыку не выключили, танцевать не перестали... знаками пригласили меня присоединиться.

Я вышел на середину зала, закрыл глаза и начал ритмично сдвигать колени влево и вправо... а потом попытался отбить чечетку. Не получилось. Чуть не упал из-за острой боли в лодыжке.

Танцевал и терзал себя мыслями.

Что я буду делать в этой компании, среди этих танцующих мумий, карточных королей и пиковых дам? Я, человек, которому опротивела жизнь. У меня нет никаких идей. Все давно прогорело. У меня болят суставы. На душе мутрно. Мне омерзительна реклама. Противен весь этот меркантильный мир, катящийся в пропасть.

Может быть, лучше покончить с фарсом, достать потихоньку нож из кармана и перерезать себе горло? Красное пятно в середине зала и скрюченная лежащая фигура придадут ему драматическую завершенность.

Затем... о наваждение, о печаль...

Ко мне подошла высокая пожилая дама в железной зубчатой короне, с закрытым сиреневой вуалью лицом, взяла меня за руку и повела за собой.

Она увела меня в вагон.

За нами в вагон зашли и все остальные. Чинно расселись на деревянных сидениях. Отрешенно смотрели перед собой. Молчали. Перебирали пальцами четки.

Шеф в цилиндре снял со стены старомодный микрофон и проговорил в него несколько слов. Из динамиков прохри-



пело: «Следующая остановка — Чаттануга. Чаттануга, Теннесси. Время прибытия — между июнем и августом. Счастливой поездки, друзья! Как я вам завидую!»

После этого шеф вышел из вагона. Стоял под неизвестно откуда взявшимся газовым фонарем и махал нам на прощанье рукой в белой перчатке.

Паровоз загудел особенно громко и протяжно, мы тронулись.

Я спросил даму в короне, сидящую рядом со мной — как же мы переедем на поезде через Атлантический океан, неужели янки построили мост... а она, вместо того, чтобы засмеяться, резко отдернула сиреневую вуаль...

О, страх и трепет! То, что я увидел, не было лицом женщины.

Вокруг жилистой, землистого цвета шеи этого существа обвились две шипящие змеи, вместо носа зияла дыра. Впалые щеки и острый подбородок заросли кустистой бородой цвета старинного нефрита. Из безгубого ее рта торчали темно-синие зубы. Глубоко посаженные бесцветные глаза смотрели на меня без печали и сожаления.

Больше вопросов я не ей задавал.

Потому что неожиданно понял, что ее лицо, лицо дюреровской Смерти с известной гравюры, и было ответом не только на мой шуточный вопрос, но и на все самые важные для меня вопросы, которые я всю жизнь задавал себе и миру.

Понял, что началось мое последнее путешествие, которое кончится заведомо не в мифической, веселой, состоящей из радостных аккордов Чаттануге, а в другом, куда более мрачном месте, понял и то, что единственное, что я могу еще сделать — это постараться достойно встретить конец.

Как-то само собой стало ясно, что войдя в овальный зал, а потом и в вагон, я покинул нашу обычную реальность и теперь нахожусь... где угодно, только не в рациональном и приземленном до рвоты, раздраженном Берлине 2019 года.

Меня не покидало неприятное чувство, что я влез в чужую историю. Что меня поймали в капкан, который ставили не для меня.

Итак, поезд тронулся...

Я приник к окошку и стал жадно смотреть. Предполагал, что наш тяжелый паровоз пробьет стену здания и мы рухнем на землю как сошедший с рельсов вагончик на Американских горках. Надеялся на то, что мы поплывем в воздухе, как Санта Клаус в своих санях. Но ни того, ни другого не произошло.

Мы проехали сквозь невидимое отверстие в стене овального зала и попали в темный туннель. Я так его назвал. Что это было на самом деле, через какие кротовые норы вел этот туннель, куда, я не знаю.

Спустя какое-то время мы выехали из туннеля.

Вокруг нас была земля. Серая, сухая, похожая на бетон. Пыльная.

Ни дерева, ни кустика, ни цветка. Ни холмика, ни домика...

Небо было крысиного цвета. Ни облака. На горизонте — ничего, кроме горизонта.

Перевел взгляд на пассажиров... и поразился произошедшей с ними перемене. Никаких смокингов и бальных платьев на них больше не было. Все были одеты в рабочие штаны цвета льна и такие же майки с длинными рукавами. На головах у всех были одинаковые круглые шапочки. На ногах — грубые черные ботинки.

На лицах женщин не было грима.

Но самое странное — все пассажиры превратились в людей без возраста, без фигуры, без ярко выраженной индивидуальности...

Все от двадцати пяти до пятидесяти пяти. Все среднего роста. Ни толстые, ни тонкие, так себе... Выражение лиц — как у манекенов.

Моя соседка потеряла корону и вуаль. У нее появились курносый нос и губы, а борода исчезла. Уборщица. Дежурная. Рабочая на складе. Ничего необычного.

И я тоже стал таким как все. В рабочих штанах, майке и шапочке.

Желания, страхи и боли пропали, мысли замедлились, но не исчезли.

Кто-то к чему-то нас тщательно подготовил, внешне и внутренне. И произошло это в том самом темном туннеле.

Неужели к заключению и лагерным работам?

Похоже. Не хватало только татуировки на руках. На всякий случай внимательно осмотрел руки — нет, не было татуировки.

Как же они, те, кто всем этим управляет, будут нас различать? Кто они?

Тут одна из впереди меня сидящих дам слегка приподнялась, и я увидел на ее спине, на майке что-то вроде штрих-кода. Как я узнал позже, каждый из нас имел свой код или номер, состоящий из 34 цифр. Чтобы узнать его достаточно было коснуться тела специальным прибором. Код этот нельзя было изменить. На майке код печатался для того, чтобы его можно было прочитать с большого расстояния. И не только на спине, но и на груди. И на штанах, и на шапочке.

...

Унылый пейзаж за окном изменился.

Слева по ходу поезда на горизонте показалось что-то похожее на человеческую фигуру... и это что-то росло и росло. Это была колоссальная бронзовая статуя нагого мужчины. Он напоминал мощные фигуры любимого скульптора фюрера Йозефа Торака. Также атлетичен, массивен и суров. Коротконог. Уверенный в себе мускулистый дядя. Безнадежный кретин. Надежная опора общества. Он стоял, приподняв обе руки, как будто приветствуя кого-то. Высотой статуя была метров в двести.

Не сразу заметил, что и по правую сторону от нас, впереди, показалась соразмерная ему — бронзовая нагая женщина, тоже мускулистая и коротконогая, тоже суровая, тоже напоминающая работы Торака, и тоже приветствующая кого-то.

Неужели эти истуканы приветствуют нас?

...

Фигуры эти вместе составляли нечто вроде ворот.

Проехав их, мы очутились в городе.

В жутком городе. В городе-монументе.

В не родившейся, не создававшейся веками, а искусственной как декорация, построенной с помощью линейки и циркуля урбанической среде.

В противоестественной утопии.

Город этот не имел прошлого, только настоящее. И грозил будущему.

Он весь был построен одновременно, по одному проекту, по приказу одного человека, фанатика порядка и помпезной мощи.

На века, на тысячелетия.

Широкие улицы, большие прямоугольные площади, высокие, квадратные в плане дома, облицованные гранитом, мраморные и бронзовые статуи героев на всех перекрестках, бело-красно флаги со свастикой. Все строения города, даже фонари на улицах, казалось, стояли как солдаты на параде — на вытяжку перед невидимым генералом.

Людей в этом городе я не заметил, возможно, их еще не заселили. Легковых автомобилей тоже не было видно. Зато по параллельной нашему пути улице ползла колонна больших старомодных танков и грузовиков. Впереди и позади колонны ехали сотни вооруженных мотоциклистов. Небо патрулировали трехмоторные самолеты с характерными крестами на крыльях, выше их висели пузатые дирижабли. На крышах многих домов я заметил крупные, закамуфлированные тканью зенитные орудия.

Впереди виднелась — нелепая триумфальная арка по образцу парижской, только больше ее раз в пять, и грандиозный купол какого-то чудовищно огромного сооружения с узкими арками, колоннами и башнями. Купол увенчивал величественный, стальной, широко раскрывший крылья имперский орел размером с вагон берлинского эс-бана. В когтистых лапах он держал земной шар.

Этот город не мог существовать в реальном мире...

Не должен был существовать. Но существовал.

Мы медленно въехали в здание, чем-то напоминающее железнодорожный вокзал в Лейпциге. Вышли на перрон. Обнаружили, что наш паровоз притащил сюда не один вагон, а двадцать или тридцать вагонов, полных таких же, как мы, людей неопределенного возраста.

Не знали, что делать, куда идти. Беспомощно толпились, галдели. Некоторые сели на перрон.

Тут я понял, что во мне появилось то, чего раньше никогда не было — желание повторять действия других людей. Быть как все. Я тоже сел на холодный бетон и тупо ждал чего-то. Команды.

Через час или два из громкоговорителей на фонарных столбах раздался каркающий, режущий ухо голос.

Нам сообщили, что автобусы для транспортировки нас в будущие места проживания и работы готовы.

После этого среди нас неожиданно появились высокие молодые люди в черных униформах, в лакированных сапогах и как бы взлетающих вверх фуражках. В руках у них были ногайки. Они построили нас в ряды по пять человек и провели через длинные подземные переходы к Площади Павших Героев, украшенной памятниками и Вечным огнем, на которой действительно стояли несколько десятков носатых автобусов, как мне показалось, изготовленных еще до Второй Мировой Войны. Отстающих, охающих и выбившихся из строя люди в черных униформах били ногайками по головам.

Пора было прекратить этот кошмар. Я проверил карманы — ножа в них не было.

...

Автобусы вывезли нас из города и привезли в грязное фабричные предместье.

Пахло гнилью и ацетоном. Мы построились и пошли в барак, заполненный трехэтажными нарами.

Нас ожидали годы мучительного труда на химической фабрике, побои, издевательства, пытки и казни...

Неспособных работать посылали в газовые камеры. Тела сжигали в крематориях. Из их труб по окрестностям разносилась серая жирная пыль.

\* \* \*

Да-да, выгляжу ужасно. Завтра надену новую рубашку, новые носки и новые красные с зелеными пупырышками спортивные туфли. Брюки поглажу. И побреюсь поаккуратнее. А-то неудобно.

Постучал.

Мне сейчас же открыли. Кабинет у шефа был небольшой, но уютный. Из окон его действительно было видно украшенную пестрыми картинками бывшую Берлинскую Стену, вдоль которой уже гуляли туристы. За ней голубела река Шпрее, по которой, несмотря на раннее время, плавали речные трамвайчики, заполненные праздной публикой.

Все двенадцать моих коллег уже сидели за большим прямоугольным столом. Улыбались приветливо. Шеф сел на свое место, постучал тупым концом шариковой ручки по маленькому тибетскому колокольчику и сказал: «К делу, господа, время не ждет».

И вывалил из сумки на стол шесть пачек стирального порошка.

## ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ УЮТНЫЙ МИР

За витой чугунной оградой — яблоневый сад, в саду — знакомый до боли четырехэтажный дом с тремя подъездами и острой крышей, фронтоном которой украшен небольшим каменным рельефом — нагая ведьма скачет на козле, над ней звезды, Солнце и Луна.

Дверь в подъезд почему-то не заперта. Поднялся по освещенной приятным оранжевым светом лестнице, постучал.

Кармела открыла сразу, как будто стояла за дверью. Схватила меня за руки, втянула в квартиру и захлопнула входную дверь.

Ее лицо и шея окрашивались то густым красным, то зеленым — в коридоре висели несколько медленно вращающихся люстр с цветными абажурами.

— Ты? Родной мой! Я знала, что ты придешь! Ждала тебя все эти годы! Проходи, не бойся, тут никого нет, только ты и я. Обними меня!

Все та же женщина. В том же небрежно распахнутом китайском шелковом халате с багровыми драконами. Несколько новых морщинок на шее, седые пряди, усталые глаза больше не блестят. Маленькие породистые руки — как будто стали еще меньше. Фигура не изменилась. И пахнет теми же дурманящими духами. С примесью нардового масла.

...

Мы расстались двадцать лет назад и с тех пор виделись только один раз.

Я приезжал тогда в город К., чтобы закончить одно мучающее меня дело, отдать старый долг. Остановился в отеле напротив Оперного театра. Вечером, после хвойной ванны и двух рюмок лимонной водки позвонил ей... наугад... не знал, зачем звоню, что хочу от бывшей жены, боялся нарваться на упреки или нытье, был уверен, что Кармела живет в нашей старой квартире с новым мужем, а меня или презирает, или ненавидит, или, в лучшем случае, знать не хочет, как все оставленные жены.

Но она ответила неожиданно нежно, позвала к себе... и я тут же забыл нашу ссору, обиду, развод... и побежал к ней, задыхаясь и горя внезапно вспыхнувшей страстью, как молодой любовник бежит, изнемогая от нетерпения, к пригласившей его после года тайных домогательств на интимное свидание светской львице, прелой, пышногрудой даме, пресытившейся богатыми пожилыми поклонниками и решившей для разнообразия пригласить в постель неоперившегося юнца. Бежит, забыв о слезах матери и о каменном лице отца, о возможной потере доброй репутации, забыв о той, еще невинной, которую любил с школьной поры и с которой собирался создать семью и прожить всю жизнь.

Кармела встретила меня тогда радостной улыбкой, поцеловала в нос...

Потом мы танцевали под ее любимую мелодию («Такая ночь» Доктора Джона) и, не спеша, как стриптизерши, раздевались.

После любви лежали, обнявшись, и Кармела монотонно и многословно рассказывала мне о том, кто разорился, кто разбогател, кто уехал, кто на ком женился и кто с кем развелся за то время, что меня не было в городе. После второго приступа страсти, длящегося значительно дольше первого, я заснул и мне приснилось, что я медленно плыву в море и вот... на горизонте появляется как бы из ничего огромная пенящаяся волна, цунами...

Я изо всех сил пытаюсь выйти на берег и убежать от волны, но не могу... и она настигает меня, ломает и плющит своей тяжестью мое тело.

Проснулся потный от страха и с болью в спине около половины третьего ночи.

Переборол страх, встал, собрал одежду, раскиданную второпях по спальне, оделся в коридоре и пошел к себе в отель.

По дороге вспоминал нашу ссору...

Было это поздней осенью, по стволам яблонь сочилась ледяная вода, голые ветки печально подрагивали, ветер гонял по тротуару мокрые опавшие листья... ночной город гудел пустотой, беззвучно стреляя в низкое темно-желтое небо влажными воздушными снарядами. Напоминал огром-



ную декорацию к черно-белому фильму ужасов, декорацию, готовую материализоваться в настоящий город кошмаров и чудовищ. Из темных окон на меня пристально смотрели синие женщины с рубиновыми глазами.

...

И вот, я опять здесь, в этом доме в яблочном саду, в нашей бывшей квартире.

Моя постаревшая жена обнимает меня, прижимается ко мне мягкой грудью, благоговейно и томно заглядывает в глаза...

Мы лежим на той кровати, которую когда-то купили и собрали, и наши тела уже начали тот сладостный диалог, который в течение пятилетней совместной жизни ни разу не кончился разочарованием.

И вновь... как когда-то... пространство перестало быть пустотой, заполненной хламом, а время — назойливым буксиром, толкающим наши тела в сторону кладбища. И будущее перестало представляться грязным тупиком, а стало похоже на прогулку в ясный безветренный летний день по секвойному лесу на севере Калифорнии.

Перед самым концом Кармела еле слышно прошептала: «Хочешь кончить мне в рот?»

Я отлепился от нее, она двинулась мне навстречу и... нам удалось не проронить ни капли любовного сока на простыню.

Синие женщины на улице истоиво распевали знаменитый хорал «Аллилуйя».

...

Моя первая выставка в городе К. состоялась в культурном центре Лемхауз.

Официальным организатором этой выставки была Кармела Ц., референт городского управления культуры. Женщину эту я не знал, видел ее только несколько раз мельком. Заметил, что у нее печальные глаза, что она как-то особенно ходит и говорит. Не ходит, а ускользает. Не говорит, а роняет слова как капли.

Бедняжка! За тридцать минут до открытия — она все еще не имела официального разрешения на проведение выставки от директора Лемхауза, противного и пошлого

толстяка. Директор подписал бумагу только после того, как Кармела сделала ему, против воли, в двадцатый раз — глазки, превозмогая отвращение, потрясла бюстом и обещала своим капельным голосом «близкое сотрудничество в будущем». Еще через несколько минут (публика уже волновалась у входа) выяснилось, что электричество в той части здания, где были развешаны мои картины, отключено. Пришлось искать электрика, который успел укатить на своем двухместном рено в недавно купленное им в кредит бунгало в Рудных горах, в тридцати километрах от города.

Кто-то подал идею — провести вернисаж при свечах.

Свечи нашлись... но вдруг появился пожарник и заявил, что такой альптраум, как сотни зажженных свечей в залах с деревянными стенами, полами и потолком, он разрешить не может. Кармела умоляла его, уверяла, что все будет хорошо, даже заплакала, но он был непреклонен. Тогда какая-то светлая голова вспомнила, что в юности пожарник был влюблен в прелестную Изабеллу М. Ей позволили, объяснили ситуацию, попросили сейчас же приехать. Изабелла согласилась, тут же прикатила на своем белом Ауди и побеседовала с пожарником. В результате первые сорок минут вернисажа горели свечи, а потом загорелся и электрический свет.

...

Вернисаж удался на славу.

Я был горд, возбужден и очарован вниманием публики, состоящей из дам разного возраста и общественного положения, любителей современного искусства, и их скупающих мужей и детей.

Музыканты обворожили публику виртуозной игрой на ударных инструментах, во вступительной речи приглашенный искусствовед назвал меня «прибывшим к нам с Востока инженером таинственных метафизических конструкций», пива и сосисок хватило на всех, я дал два интервью для местной прессы, три моих работы купили, кроме того, я получил предложение устроить выставки в Дрездене, Берлине и Вене, а также несколько приглашений в гости к коллекционерам. Всем этим я остался очень доволен и даже начал немножко важничать. Вдобавок Кармела упростила

меня дойти с ней после окончания вернисажа от Лемхауза до универмага Титц пешком. Чтобы по дороге насладиться ароматом сирени... послушать соловьев... и поближе познакомиться. И еще она хотела, чтобы я объяснил ей скрытый смысл некоторых моих работ. Смысл, которого не было.

И вот... мы шли по бульвару. Теплым майским вечером.

Прошли почти три километра. Обсудили и скрытый смысл моих картин и еще тысячу других вещей, не менее важных, вошли в городской парк, в ту его часть, где похоронены погибшие во время наполеоновских войн французские солдаты. Нашли там уютную лавочку, с трех сторон окруженную кустами сирени. Уселись.

Город гудел как оркестр тибетских труб.

Где-то рядом с нами солировал соловей.

Кармела сама расстегнула мне штаны.

Села на меня верхом и обнажила грудь.

Соловей пел так громко... тибетские трубы ревели, как канадские медведи... мне казалось, что земная кора под нами вот-вот треснет и из трещины вылезут французские солдаты и запоют Марсельезу... или оттуда полетится раскаленная лава и поглотит нас вместе с лавочкой и сиренью. Размышляя о том, сумеет ли в этом случае соловей спастись.

Неожиданно все замолкло.

А через мгновение — как раз тогда, когда мы оба в иступлении кончали, небо взорвалось фейерверком. Фирма Кока-Кола праздновала открытие в городе своего нового филиала.

...

Дома меня дожидались жена и две маленькие дочери, а Кармелу — любящий муж и трое их мальчиков. Но ни ее, ни меня это почему-то не смущало. Наоборот, придавало нашей близости особую сладость.

Через несколько месяцев муж Кармелы ушел из семьи и сразу после развода женился на директрисе фирмы, в которой работал, а моя жена с дочками уехала жить к родителям в другой город, нашла там работу, а потом, еще до нашего с ней развода, и сожителя.

Мы с Кармелой поженились. А через пять лет поссорились. И разошлись.

Какая кошка пробежала между нами? Нелепая история. Нет ничего прекраснее начала любви и нет ничего пошлее ее конца.

Произошло это в день моего рождения, точнее — ночью и утром после него.

Я к тому времени уже давно не праздновал свои дни рождения. Зачем? Эту забаву надо оставить детям и маразматикам. Пусть себе тешатся.

Как всегда на всех парах... подкатил очередной январь. Беснежный, теплый, гнилой. Мне исполнилось сорок два года. Я надеялся на то, что мы с женой проведем этот день вдвоем, выпьем шампанского, закусим пастилой и пораньше ляжем спать. Но Кармела заныла — «вечно мы торчим дома одни, давай пригласим хотя бы Нильса и Гудрун», ее старых знакомых, у которых мы однажды прожили четыре дня в дачном домике на озере восточнее Берлина. Катались на яхте, ели пойманных Нильсом рыбешек, слушали рассказы Гудрун о Южной Африке. Гудрун прожила три года на биологической станции в Лесото, в Драконовых горах, изучала какой-то исчезающий вид птиц, мохнатых чижи-ков или лысых попугаев. Насмотрелась там всякого...

С успешным адвокатом по делам недвижимости, высоким импозантным блондином Нильсом Кармела была знакома с детства, они были одноклассниками и души друг в друге не чаяли. А приехавшую в город К. после объединения Германии долговязую и худую Гудрун почти не знала, но, кажется, недолюбливала. Скрытно, по-женски. Может быть ревновала к Нильсу. Так я по крайней мере думал до нашей ссоры.

Я немного завидовал успеху и богатству Нильса, а к Гудрун относился скептически благожелательно. Приглашать их домой не хотел... хвастать мне было нечем, художественная карьера буксовала, несмотря на хорошее начало и ставки, заказов было мало, жили мы с Кармелой бедно, чтобы заработать на квартплату, еду и шмотки, приходилось браться за разные временные работы, о которых неприятно рассказывать друзьям за пиршественным столом... Мы действительно давно никого не приглашали в гости, и привыкшая в своей прошлой жизни быть на людях и мотаться по барам и ресторанам Кармела от этого страдала. Я захотел сделать ей приятное и согласился принять Нильса и Гудрун.

Накупили спиртного — на взвод солдат хватило бы.

Кармела испекла ореховый пирог с цукатами и затушила три килограмма парного мяса ягненка с овощами в розовом вине.

Гости явились в девять вечера. Элегантные, милые, хорошо одетые. Беззаботные.

Подарили мне носорога из черного дерева, привезенного Гудрун из Африки.

Сели за стол в гостиной. Пили «Лонг-Айленд». Запивали шампанским. Закусывали ломтиками манго и хурмой.

Кармела принесла мясо ягненка.

В десять я был уже так пьян, что перестал понимать Гудрун, рассказывающую о проделках браконьеров в национальном парке Пиланесберг, «в котором обитают десятки тысяч диких животных». Перед глазами у меня бежали голубые слоны, лиловые ягуары и браконьеры на ходулях. В руках они держали старомодные мушкеты. Зачем-то бешено свистели в свистки. Я зажимал уши...

Нильс и Кармела танцевали под музыку Доктора Джона. Я из вежливости пригласил Гудрун, но танцевать не смог. У меня так кружилась голова, что я не мог отличить пола от потолка.

Около полвторого ночи я обнаружил, что сижу в коридоре по-турецки на полу, что-то напеваю и глажу подаренного мне носорога...

Дома было тихо, и я решил, что гости ушли. Поставил носорога на полку, разделся, умылся, почистил зубы и лег в постель. Обнял свернувшуюся калачиком Кармелу и заснул. Ближе к утру совокупился с ней. Представлял себе, что мы ягуары, рычал и царапался. Заметил, что у Кармелы странно посинело и изменилось лицо и ноги стали заметно худее и длиннее. Решил еще пьяным умом, что так на нее подействовал «Лонг Айленд».

...

Утром проснулся и глазам своим не поверил. У меня в объятьях нежилась не моя жена, а чужая женщина. Эта самая долговязая специалистка по зябликам и ибисам, Гудрун.

Рядом с нами чертов Нильс энергично трахал Кармелу. Сзади.

Пошел на кухню, нашел там самый большой нож и вернулся в спальню.

Хотел зарезать гостей и жену, а потом покончить с собой.

Но никого зарезать не смог, потому что раскис и расплакался, Нильс без труда отобрал у меня нож. А Кармела и Гудрун вначале успокаивали меня, а потом попытались свести все к шутке. Показывали мне языки и хихикали. Спелись, стервы. Обнялись и демонстративно сочно поцеловались.

Я смотрел на их проделки и не понимал, как я мог прожить пять лет с этой вульгарной бесстыжей бабой.

...

Через полчаса, за завтраком, Нильс божился, что я вчера вечером допился до неменяемого состояния, рыгал, рычал, прыгал, свистел, а потом ни с того, ни с сего полез к Гудрун целоваться, а затем поднял ее и унес в спальню.

Через несколько минут Нильс и Кармела зашли в спальню посмотреть, что мы там делаем. Я спал на одной стороне кровати, Гудрун — на другой. Нильс и Кармела решили, что мы дурачимся. После этого они еще долго сидели в гостиной, допивали выпивку, доедали ягненка и торт и вспоминали школьные годы. Под утро присоединились к нам. Потому что не хотели спать на полу. Мы с Гудрун в это время занимались любовью. Нильс и Кармела решили от нас не отставать...

Нильс сказал примирительно: «Послушай, мы все много выпили и немного погрешили. Ты переспал с моей женой, я — с твоей. Мы квиты. Не надо из этого делать трагедию».

Кармела добавила примирительным тоном: «Я ничего не соображала из-за проклятого коктейля. Что случилось, то случилось. Забудь, если это тебе неприятно».

Гудрун звонко поцеловала меня в щеку и пролепетала: «А ты темпераментный, просто тигр!»

И все опять начали смеяться.

А мне было не смешно. Я не знал, чему верить. Подозревал, что все трое сговорились и специально напоили меня

для того, чтобы устроить небольшой открытый свинг среди своих. Вспомнил, что какое-то время назад Кармела предложила мне посетить одно закрытое общество, члены которого занимались различными видами группового секса и скорчила недовольную мину, когда я ответил ей отказом и шуточно пообещал выпороть ее ремнем.

Кармела прошипела тогда: «Дура, не надо было выходить замуж за зашоренного идиота...»

Я конечно взорвался, но Кармела меня успокоила. Даже позволила символически выпороть ее по попке ремнем. Я не бил ее, скорее гладил, а она вдруг закричала: «Сильнее, сильнее хлещи!»

Я раз пять хлестнул ее посильнее, а потом не выдержал, лег на нее и проник. И забыл обо всем.

Так, наверное, случилось бы и после ночи вчетвером. Но перед тем, как Нильс и Гудрун покинули квартиру, Кармела так скабрезно посмотрела на Гудрун и так проникновенно на Нильса, что мне все стало ясно. Я ничего ей не сказал, потому что понял, что моя семейная жизнь с Кармелой кончилась.

В тот же день сходил к адвокату и начал процедуру развода. А на следующий день зашел к знакомому маклеру и снял с его помощью меблированную квартиру недалеко от главного вокзала. Получил ключи еще до подписания контракта, осмотрел квартиру и остался в ней.

Прислал за своими вещами бригаду грузчиков. Приготовил для них список того, что они должны были забрать. Мебель, обстановку и дорогую электронику оставил жене.

Через полгода я уехал из города, решив никогда в него больше не возвращаться.

И вот, я опять лежу на нашей старой кровати...

...

В темноте спальни мне неожиданно померещился Нильс. Он кивал своей большой головой и шептал: «Это была шутка! Шутка и чудесное развлечение для взрослых. А ты схватился за нож, поссорился с женой, испортил ей и себе жизнь! Носорог!»

Рядом с ним маячила долговязая Гудрун с синим лицом и рубиновыми глазами и приговаривала: «Даже львы и леопарды не такие ревнивые. Если бы ты знал, милый, что вытворяют тигры по ночам...»

Закрыв глаза и зажал уши. Тьма превратилась в темно-красное полотно с синими полосами, звуки скукожились. Нильс и Гудрун пропали.

Поцеловал Кармелу в губы, погладил ее поседевшие кудри. Почему-то мне показалось, что ее тело сделано из воска.

Восковая Кармела проснулась, сладко улыбнулась и тут же уснула. Как задутая свеча.

По старой привычке начал говорить с самим собой.

— Какой же я кретин! Объясни, что со мной.

— Ничего особенного. Пришел к женщине, с которой долго жил и испытал много радостей.

— Почему же я бросил ту, которую так любил?

— Обыкновенная история. Потому что она была вовсе не такой, какой ты ее себе представлял. У нее была своя жизнь, о которой ты и понятия не имел. Возможно, все пять лет, которые ты с ней прожил, она тебе изменяла с этим адвокатом.

— Да, да я убежал от нее, от этой сальной сучки. Но счастья без нее не нашел. Только с ней, только с ней я был счастлив. Какой же я идиот.

— Ты даже не представляешь себе, насколько ты прав. Задать тебе наводящий вопрос?

— Давай.

— Скажи, сколько лет твоей Кармеле? Посмотри на нее внимательно.

— Не надо меня учить, как смотреть. Около сорока пяти. Самое большое — сорок восемь.

— А сколько лет тебе?

— Мне? Погоди... шестьдесят два или шестьдесят четыре, или тысячу, не помню, а что?

— А то, что твоя бывшая жена на шесть лет тебя старше. Вспомни, как она из-за этого страдала! Не водила к родителям, не ходила с тобой в театр. Даже не купалась вместе с тобой в Адриатическом море.



— Ты это к чему?

— Думай, думай. Она на шесть лет тебя старше. Значит... ей сейчас шестьдесят восемь лет. Или семьдесят. А та восковая женщина, которую ты видишь, это только проекция твоего воспоминания. Фантом.

— Не может быть.

— Может. Да, и еще одна мелочь... уверяю тебя, ты был в этом доме еще раз, после того вашего осеннего свидания.

— Я был тут еще раз? Нет.

— Был и точка.

— Когда?

— Около восьми лет назад.

— Не был.

— Нет, был. И повод был особенный. Похороны.

— Какие похороны? Не помню никаких похорон!

— Похороны твоей Кармелы, как было написано в некрологе, — «скоропостижно скончавшейся», а на самом деле — покончившей с собой из-за хронической депрессии. Удавлившейся. Прямо тут, в спальне. На поминках ты напился и приставал ко всем, подрался с Нильсом, тебя связали и положили на ту самую кровать, на которой ты сейчас лежишь. Чтобы ты никого не поранил. Кровать эту, кстати, выбросили на свалку через месяц после похорон.

— Повесилась?

— Да, привязала бельевую веревку к крючку для люстры. Надела петлю на шею. Встала на табуретку. И... и часть вины за это несчастье лежит на тебе.

— Как же я мог это забыть?

— Тебе так легче.

— Подрался на поминках, приставал...

— Я бы мог о тебе такое порассказать...

— А кровать выбросили?

— Выбросили.

— А на чем же я сейчас лежу?

— Спроси об этом самого себя. Свою память.

— Но ты же и есть я.

— Уверен?

— Не томи.

— Зачем мне тебя томить? Только... если кто не спря-  
тался, я не виноват. Понимаешь, как бы это помягче сфор-  
мулировать... Ты тоже умер. Тебя похоронили два года на-  
зад. И было это далеко-далеко отсюда. Тебя сожгли и похо-  
ронили в лесу, а ты все бродишь и бродишь по Земле, пуга-  
ешь живых и заражаешь трупным ядом своих фантазий  
этот маленький уютный мир.

## ПОЛКИЛО КУРАГИ

Не знаю точно, когда, где и как, но знаю твердо, что совершил фатальную ошибку.

Ошибки я делал всегда. И не только арифметические или грамматические. Я ошибался в людях. Выбрал неправильную профессию. Родился не в той стране. Эмигрировал тоже не в ту страну. Ошибался и в себе самом. Но только эта, последняя ошибка уничтожила мою жизнь. То, что я считал своей жизнью.

Возможно, что-то показалось мне мелочью, пустяком, я был недостаточно зорек, чувствителен, великодушен, не обратил на что-то внимание, проигнорировал то, что нельзя было игнорировать... сделал или сказал что-то не то, не там, просчитался, недоглядел, обидел кого-то или, не замечая этого, оскорбил вершителей судеб, и вот, все пошло прахом. Все, что я пытался создать, во что вкладывал все силы, на что молился, перед чем благоговел.

Безжалостный шестирукий истукан перевел невидимые стрелки, и мой поезд, бездумно мчащийся по плоскогорью, простирающемуся между пятью заснеженными вершинами, сошел с рельс и покатился, теряя вагоны, по бездорожью. Через овраги и провалы. Сквозь глину, известняки и водные толщи. Покатился туда, откуда нет возврата.

Скоро от поезда не осталось ничего. Ничего, кроме моего тела. Я один был и локомотивом, и вагоном, и купе, и единственным пассажиром. И я гудел и стучал колесами и жадно всматривался в летящий назад пейзаж через два окна, застекленные стрекозиными крыльями.

Бешеный бег начал замедляться.

...

Вначале я почувствовал телесную слабость и одиночество. Нет, не то одиночество, что мы испытываем в детстве и юности. Без чудной музыки сфер и без манящих призрачных видений будущего. Без шепота фей и предчувствия блаженства.

Мое тело перестало меня слушаться, стало чужим, почти враждебным, грозящим неминуемой гибелью, мне осточертело все, чем я жил долгие годы, мне позарез нужна была помощь и сочувствие близких людей, но мои знакомые и родные как будто забыли меня.

Я заметил это не сразу. А когда заметил, долго не хотел признаваться в этом самому себе. Потом все-таки признался, поразмыслил и решил, что если я не могу оздоровить, омолодить и вновь подчинить себе мое тело и душу, то должен хотя бы напомнить о себе дорогим мне людям. Пока мой поезд не покинул этот мир навсегда.

Ударить в колокол. Выстрелить из пушки. Или хотя бы громко закричать.

Но колокол треснул. Порох отсырел. А из глотки моей, как я ни пыжился, вылетал только жалкий писк.

Позвонил жене, с которой не разговаривал уже три года. Или пять лет? Или восемнадцать?

Она жила на юге Франции с каким-то французом. Там они разводили черные трюфели в небольшой дубовой рощице, унаследованной французом от богача-деда, знаменитого в свое время антидрейфуссара.

Никто не подошел к телефону. Наверное жена и ее сожитель купались в это время в небольшом прудике с лилиями недалеко от шато. Брызгались и ловили руками золотых карпов кои. Когда-то жена присылала мне фотографии этих драгоценных японских тварей. Я бы за этих уродов не дал ни цента. Ну разве что их запекли бы в сметане. С лучком и перчиком.

Позвонил еще раз. Мне ответил автоответчик. Сообщил, что у этого номера нет абонента телефонной сети. Затем, неожиданно, добавил с чувством: «Не звони ей, мишуге, не пугай воробышков. Им и так тяжело. Сам знаешь, засуха. Асфальт плавится. Фата-морганы...»

В трубке послышался отчаянный воробыный клеток. Потом все стихло.

Что за издевательство!

Позвонил другу в Москву. Ответил автомат.

— Вы набрали неверный номер! Вы набрали неверный номер!  
— Вы набрали неверный номер! Вы набрали неверный номер!

Повесил трубку.

Телефон тут же зазвонил. Тот же голос объяснил, бесстыдно амикошонствуя, что «как известно, покойники по телефону не разговаривают. Твой друг на кладбище, мишуте. Его внутренности жрут черви. Ты на самом деле хочешь, чтобы он тебе ответил? Это можно устроить. Жди его у себя дома между двумя и тремя ночи. Он придет. Во всем своем великолепии. Получишь незабываемые впечатления! Только проветрить помещение не забудь. Потому что будет душно. Сам понимаешь, запашок-с».

Гудки.

Погодите, погодите. Какой запашок? Мой друг жив, жив! Жив? Когда мы последний раз разговаривали? Хм... Двадцать шесть лет назад. Или еще раньше?

...

Решил зайти к соседке, с которой... одно время.

Ну да, я же ее вчера видел. Она сажала цветы на нашей общей клумбе. Запомнились ее смешные синие рейтузы. Когда-то она была нежна со мной. Мы проводили дни и ночи в постели. Лизали друг друга как морские свинки.

Зайду, поговорю... проверю, не забыла ли меня и она. Спрошу у нее, что за ошибку я совершил. За что наказан. Она все всегда знает. Даст совет, утешит, успокоит.

Вышел на лестничную площадку. Позвонил в квартиру напротив. За дверью тут же залаяла собака. Попытался вспомнить, была ли у соседки собака. Вроде, не было. Она разводила дома алоэ... или орхидеи... Нет, азалии. Красные такие цветочки. Похожие на капельки крови. И еще, в спальне у нее стояла большая клетка с двумя карликовыми ежами. Они копошились, сопели и чавкали. Мешали спать. А в кухне — аквариум с черепашками. Некому там лаять.

Мне долго не открывали. Затем открыли. Какой-то неизвестный мне полуголый тип в наколках, желтом парике и в ужасных трусах для японской борьбы сумо. С белым бульдогом на поводке. На шее у собаки болталась золотая медалька. На медальке был выгравирован бульдог и полукруглая надпись «Чемпион Национального Клуба» чего-то там, не разглядел.

Собака посмотрела на меня грозно и зарычала. Медалька на ее жилистой шее затряслась.

— Что вам надо?

— Хотел поговорить с госпожой Монро.

— В этой квартире живу я один. Уже пятнадцать лет. Только я и собака, дошло?

— Позвольте, а как же госпожа Монро? Я вчера ее видел... на клумбе... в синих рейтузах.

— Ну, не знаю, кого вы там видели...

В глазах у его собаки пылала ярость. Из пасти ее сочилась слюна. Ей явно хотелось вцепиться мне в горло. Я инстинктивно втянул голову в плечи. Приготовился к обороне. Сжал связку ключей в кулаке.

Тип в парике втянул упирающуюся собаку в квартиру и захлопнул перед моим носом входную дверь.

Я не мог найти разумного объяснения пропаже соседки. Еще вчера она, ворча, выпальывала репейник на клумбе. А синие рейтузы так заманчиво обтягивали ее филейные части. Неужели она незаметно для меня обзавелась мужем-грубияном, носящим желтый парик и эти кошмарные трусы, а сама превратилась в омерзительное животное... с медалькой... в бульдожицу.

...

Надо было использовать мой последний козырь. То единственное, корневое, надежное, что еще привязывало меня к жизни. Мой якорь. Надо было позвонить дочери. Не люблю я это делать. Потому что она вечно занята, ей не до меня. Работа, карьера, дети, дети, дети, готовка, муж, муж, отпуск, отпуск, отпуск. Тоскана, Южный Тироль, Пиренеи, Сардиния, Гибралтар, Боденское озеро...

Набрал номер ее мобильного телефона. Ответил автоответчик. Опять он!

— Вы звоните в практику доктора... в неприёмное время. В неприёмное время, понимаете! В неприёмное время звонят только невоспитанные люди. Мы открыты для посетителей в среду и четверг с 15-ти до 18-ти часов. Прием только по предварительной записи. Признаем только частные страховки. Давно пора покончить с левачеством. Да здравствует чистоган и правая альтернатива. Дошло, мишуге? Частной страховки у тебя нет. Так что ты раззвонился? Не хочешь в коло-

дец лезть и руки пачкать, социалист? Никому покоя не даешь, занятых людей от дела отрываешь. Жену измучил. А она и так на грани срыва. Все трюфели в этом году яванские кабаны сожрали. Им ведь тоже, того... вкусенького пожрать охота. Не все же в Красной книге сидеть, да желуды лузгать... А ее француз стал, между прочим, заядлым инфантосексуалом. Куда твоей старухе за ним угнаться. Друга московского из могилы вырыл, а он прах, подснежник. К соседке приклеился как дубовый лист. А у нее мама старенькая, в деменции, а папа алкоголик и зоофил, с молочницей живет. Многодетной дочери, доктору медицинских наук, мешаешь заботиться о пациентах и о потомстве. Занята она! Понял, занята. На скрипке играет и детей воспитывает. И в оперу ходит. Сам-то ты даже на пианино не научился брэнчать, позорище. Учили тебя, учили... Да-с, Петр Ильич будет очень недоволен твоим поведением. Может направить тебя на полгода в зайчатник или на цугундер, к папе Эрдогану. Наплачешься! Да и вообще, ты уверен, что у тебя есть этот якорь? Ты хоть в чем-нибудь уверен, голубок малиновый? Или твои мозги уже превратились в гречневую кашу с простоквашей и смородиной? Положи трубку, мишуге, подними свое нелепое туловище панды с дивана, если сможешь, конечно, и иди в прихожую. Постарайся по дороге не рассыпаться и не расплескаться. Включи там свет и посмотри в зеркало.

...

Как он... они могли узнать? О господи!

Дело в том, что... я уже много лет не смотрелся в зеркало. С тех пор как...

Однажды посмотрел на себя и так себе не понравился, что решил больше своей постаревшей физией не любоваться. Дряхлый, жирный. Подурневший. Как говорит моя хамоватая сестра, живущая в Чикаго — выживший из ума и впавший в детство.

Можно подумать, в Чикаго все гении.

Завесил зеркала простынями. Даже в ванной комнате завесил. Мешало здорово. Ничего, привык. Чтобы о прическе и о бороде больше не думать, начал голову и морду брить электробритвой каждое утро. Качество бритья проверял на ощупь. Так и жил без зеркала. Как бы без лица.

И вот теперь... этот голос, подозрительно похожий на мой... Придется снять простынку с зеркала в прихожей и посмотреть. Перетерплю как-нибудь. Что есть, то есть.

...

Подошел к зеркалу. Почему-то запахло йодом и рыбой. Сдернул простыню.

В зеркале я не увидел ни себя, ни прихожей. Только бескрайнюю водную гладь. Мамочка, океан! Неужели и впрямь, делирий?

По океану плыл большой белый корабль. И вот, я, хотите верить, хотите нет, уже плыву на океанском лайнере по Атлантическому океану! У меня отдельная каюта. Маленькая, но уютная. С иллюминатором. На стене — репродукция картинка Пикассо. На полке — затейливая деревянная коровка. Вроде бы и деревянная, но в то же время живая. Бычка хочет.

Иллюминатор так широк, что я могу вылезти наружу и прыгнуть в воду, если на судне начнется пожар, и другие пути к спасению будут отрезаны.

И вот... я то и дело высовываюсь из иллюминатора и кукарекаю. Стреляю из пушки и звоню в колокол. Зажмуриваю глаза и жадно дышу свежим морским воздухом. Солнце печет как на экваторе. Вода плещется в трех метрах от меня. В синей колеблющейся ее глубине мелькают силуэты огромных рыб. На поверхности воды не плавают раздувшийся труп утопленника. И чайки его не клюют.

...

Решил пройтись по кораблю и познакомиться с экипажем и другими пассажирами, узнать, куда мы держим курс. Нехорошо плыть непонятно откуда и неизвестно куда. Всю жизнь только это и делал. Пора положить конец этому безобразию!

Надо выйти на палубу, осмотреться, расспросить кого-нибудь о нашем рейсе, а потом найти капитанский мостик и нанести визит вежливости капитану и команде. Сообщить, что я прибыл на борт. Может быть, они меня ждали и подготовили сюрприз.

После этого можно выкурить сигару и выпить виски с содовой в баре для пожилых джентльменов. Почитать Таймс



или Шпигель. Пофлиртовать с интеллигентной гречанкой или шведкой. Поиграть на бильярде... посплетничать с офицером, ответственным за культурное развлечение публики. Пожать лапу белому медведю и изнасиловать эскимоску.

...

Что еще делают на кораблях богатые путешественники? Можно посмотреть в бинокль на китов и дельфинов, незаметно поглаживая податливые округлости жены ближнего своего... поиграть в кегли, искупаться в судовом бассейне... купить дорогое ожерелье для тайной подруги в эксклюзивном магазине.

Как это все прекрасно и захватывающе! Гораздо лучше, чем торчать в марцанском одиннадцатизэтажном бетонном ящике и думать о приближающемся конце!

Вышел в длинный коридор. Между дверями висят фотографии известных кораблей и морских портов. Вильгельм Густлофф, Левиафан, Европа, Танго Мари, Марсель, Неаполь, Сан-Франциско...

Многообещающе!

Коридор был пуст. Я прошел его до конца, но никого не встретил. Хотел подняться на палубу, но не нашел ни лифта, ни лестницы. Решил вернуться в свою каюту, но забыл ее номер. Номер, номер... Не помню. Помню только, что не 237 и не 408.

Хорошо еще, на полу и на стенах не было кровавых пятен! Топоры не валялись... на корабле не было ни золотых слитков, ни гор трупов, ни гигантских осьминогов, ни сошедших с ума машин, ни матросов-зомби, ни блуждающих призраков. Не было и ошалевшей блондинки с ружьем и кухонным ножиком.

Побрел по коридору... и вдруг заметил, что коридор разветвляется. Странно. Свернул направо. Подумал: «Перпендикулярный первому коридор не может быть таким же длинным, как первый, очевидно протянутый вдоль судна. Он должен быть короче, чем ширина корабля. И сразу же испугался — а что, если это не так?»

Опасения мои оправдались. Бывает такое — чего испугаешься, то и происходит. Как по заказу. Конца второго коридора видно не было. Значит... я не на корабле, а в Лабиринте.

Догадался, для чего океан, корабль и прочие... декорации. Скучающему Минотавру понадобилась очередная жертва. Старо и неоригинально! Стоило ради этого вытаскивать меня из берлинской конуры? Я ведь не молоденькая девушка и не афинский мальчик. Неужели этому быкоголовому типу интересно губить того, кто уже загублен?

Постойте, постойте... согласно другому варианту легенды, Минотавру скармливали преступников... и сам Лабиринт был всего лишь тюрьмой на Крите, расположенной где-то рядом с Кносским дворцом. Стало быть — я преступник, отправленный с помощью зеркальной ловушки в тюрьму. Казнит меня палач-бык. Вот оно что. Достойное окончание дурацкой комедии.

...

Заметил, что дверь в одну из кают приоткрыта. Постучал и ввалился. В каюте находилась немолодая женщина с пепельно-платиновыми волосами и ногтями. Сидела в кресле. В темной ночной рубашке. Босая. Нюхала розу в бокале и кокетливо посматривала на меня. Жестом предложила мне присесть на аккуратно застеленную койку.

— Разрешите представиться. Меня зовут Антон Сомна.

— Анна. Анна Клэр. Не хотите ли чашечку чаю?

— Спасибо, нет. Вы киноактриса?

— Не совсем. Я преподавала в колледже. А вы кто?

— Трудно понять. Мне пытались внушить, что я умер 66 лет назад в городке Миранда, и с тех пор странствую по нижним мирам.

— А что вы сами о себе думаете?

— Ничего особенного. Родился в Москве, уехал в Германию тридцатичетырехлетним болваном, постарел, начал чудить. И зовут меня иначе. Но мне будет приятно, если вы будете называть меня Антоном.

— Замечательно. Антон, так Антон. С вами интересно. Тут на корабле такая скука. По коридорам бродят какие-то тени.

— Может быть, вы мне сообщите, куда мы плывем?

— Ах, плывем куда-то. Мне абсолютно все равно, куда.

— Вы встречали капитана, или кого-нибудь из команды?

— Нет, я даже не смогла на палубу выйти. Хорошо еще догадалась дверь не закрыть в свою каюту, иначе бы не нашла и ее.

— Простите, а вы когда изволили прибыть на борт?

— Минут двадцать назад, а что?

— И уже успели заскучать?

— Ну да... это ведь так естественно.

— Вы упомянули... о тенях. Что это за тени?

— Вы мне вряд ли поверите. Вначале мимо меня прокрался полупрозрачный театральный урод с огромным носом. Мне он показался похожим на этого... знаменитого режиссера-биомеханика, которого так страшно пытали коммунисты. Он еще письма писал... душераздирающие... и жену его убили. А потом по коридору пролетел удивительно красивый мужчина. Немного болезненный. В мундире Белой армии. И в фуражке. Меня оба этих персонажа не заметили, хотя я им вежливо помахала рукой. Да, и еще... я видела карлика. Очень гадкого. Лицо его и руки были запачканы в крови. Карлик посмотрел на меня, ухмыльнулся гаденько, погрозил кривым пальчиком и пропал.

— Сочувствую. Позвольте спросить, как вы тут оказались?

— Сама не знаю. Я лежала в шезлонге в моем садике в Оксфорде, на восточном берегу речки Червелл. Дремала. Наслаждалась ароматом роз, которые сама вырастила. Мимо меня проплывали лодочки с влюбленными. Кузнечики стрекотали. А с неба падали пастилки. Затем... сама не знаю, как очутилась в этой каюте.

— А вы в зеркало не смотрели?

— Точно, захотела нос попудрить, посмотрела в зеркало в пудренице, а там — вода. Корабль плывет. И меня перенесло сюда. Глупо. Но со мной уже один раз что-то подобное произошло. Невероятная и жуткая история.

— Может быть, расскажете. Самое время.

— Попробую. Вы, кажется, не заметили, что мы говорим на русском.

— Заметил. Но почему-то не придавал этому значения. Действительно, где это вы так научились? Говорите почти без акцента. Оксфордская дама... Вы что, русский там, в колледже, преподавали?

— Нет, моя специальность была — английская литература. Русский я преподавала факультативно. А говорить по-

русски я научилась у отца-эмигранта. Это пригodiлось мне в самом ужасном месте на Земле — под Москвой, в Сухановской пыточной тюрьме. Спецобъекте 110.

— Кошмар. Какой же черт вас туда занес? Я и не знал, что кто-то из заключенных выжил.

— А я и не выжила. Меня там расстреляли после трех лет издевательств и мучений.

— А как же Оксфорд, колледж, розы?

— Объяснить не могу. Но полагаю, мой Оксфорд, это то же, что и ваша Германия. То, что вы назвали «нижними мирами». Лимб. Промежуточный мир, существующий в параллельной реальности, сообщающийся как-то с обычным миром. Свидетельств его существования множество. Поэзия, живопись, музыка. Но сейчас для нас с вами главное свидетельство того, что Лимб существует — это мы сами.

— Отрадно осознавать, что не я один тут сумасшедший.

— Да, да. И этот корабль конечно тоже часть Лимба.

— Ну что же, Лимб, так Лимб. Расскажите, как вы попали в Сухановку... это место пострашнее любого ада.

— Это случилось через несколько месяцев после окончания Второй Мировой. Все радовались, что войне пришел конец. Я как раз собиралась поступить в колледж святой Хильды. Говорят, была очень привлекательной девушкой.

— Вы и сейчас...

— Оставьте, мы не дети... так вот... вы когда-нибудь слышали о нацистском проекте «Хронос» или «Колокол»? Несколько лет назад книжка вышла. Один поляк написал.

— Что-то читал когда-то... уфологический бред.

— Ну да, бред. Но не совсем. Принято думать, что быстро вращающиеся внутри колокола цилиндры, между которыми находился жидкий металл на основе ртути, создавали что-то вроде антигравитации, и колокол мог свободно левитировать в пространстве... Вторая гипотеза — что особое магнитное поле, генерируемое этой конструкцией, убивало все живое вокруг, так что колокол можно было использовать как оружие массового поражения. Так вот, все это неправда. Колокол создавался нацистами именно для того, чтобы силой проникнуть в Лимб. Нацисты были помешаны на оккультном. Они хотели пробурить этим чертовым аппаратом дырку

в пространственно-временном континууме. Дырку или проход. Проход в параллельную реальность. Чтобы овладеть другими мирами. И использовать Лимб в своих целях.

— Кто же вам все это рассказал?

— Сам Берия. В своем кабинете в Сухановке. Советы захватили один из этих адских колоколов в Польше. Вместе с мощным электрогенератором. Привезли их в Москву. Установили где-то и начали свои опыты.

— А как же вы-то в мясорубку угодили?

— Не знаю. Может быть, советчики так его настроили... чтобы людей похищать... и за кем-то важным охотились, но ошиблись. Знаю только, что заснула я в кровати в общежитии колледжа святой Хильды, а проснулась — на откидывающейся доске в камере Сухановской тюрьмы. Избитая и изнасилованная. Камера... пол бетонный... оконце — крохотное, зарешеченное. Еда несъедобная. Пахнет блевотиной. И страшные крики истязуемых страдальцев из подвала. Весь день. Меня там держали, как я поняла позже, не из-за того, что я чем-то Сталину не угодила, как Ежов, Кольцов или Бабель, а из-за секретности. Никто не должен был знать, что я существую. Никто. И никто и не знал. Когда меня из камеры выводили, мешок на голову надевали. Я была там чем-то вроде Железной Маски. Допрашивал меня сам Берия. Унижал, бил, насиловал часами. Гнусное чудовище. Подонок этот был смышлен, быстро понял, что толку от меня никакого. Я родилась и жила в Оксфорде. О нацистском секретном проекте ничего не знала. Почему проклятая машина перенесла именно меня через Лимб прямо в лапы сталинских палачей — понятия не имела. Берия мной быстро пресытился, я ведь была еще невинной девушкой, что с такой взять? Три года меня там держали просто так, не отпускать же, а потом расстреляли. Без суда и следствия. Монсеньор смилоствивился надо мной, я не исчезла во тьме, а попала в Лимб. В оксфордское отделение.

— Вам повезло.

— Ну это как считать. Я жила там, любила, преподавала, но все время знала, что эта жизнь не настоящая... а сумеречная, искусственная. Сотканная из моей мечты.

— За что же вас из рая перенесли сюда, на корабль?

— Не знаю.

— Пойдете со мной в лабиринт?

— Нет, я трусиха... останусь в своей каюте. У меня на полке полные собрания сочинений Китса и Шелли. Хочу перечитать. Заходите, господин Сомна, когда Минотавра прикончите, на чашечку зеленого чая. Помогает от всех кручин.

...

Произнеся это, госпожа Клэр замерла, поникла, остекленела, и я заметил, что на ее месте в кресле сидит искусно сделанная кукла из папье-маше.

Вышел из ее каюты и пошел по коридору. Неожиданно услышал звук открывающихся дверей. Прямо передо мной была кабина лифта. Шикарная, светлая. С лифтером, симпатичным седым негром в комичной ливрее.

— Куда прикажите?

— Если можно, на капитанский мостик.

— На мостик вам, сударь, вход запрещен. Отвезу вас на верхнюю палубу. Там все собрались. Даже кровавый нарком почтил своим присутствием.

— Валяйте.

...

Двери лифта открылись...

Я вышел и очутился не на палубе океанского лайнера, плывущего по обратной стороне Атлантики, и не в Лабиринте, логове Минотавра, по которому носились таинственные тени, и даже не в потустороннем театре, в котором Ежов в огромных рукавицах служит охранником, а несчастный Мейерхолд поставил свою последнюю пьесу с Сергеем Эфроном в главной роли, нет, нет... я очутился в магазине Нетто.

В том, который расположен всего в ста метрах от моего дома в Марцане. Я шел вдоль длинного открытого холодильника. Перед собой толкал хромированную тележку, полную продуктов.

Так... проверим... молоко полтора процента. Есть.

Куриное мясо ломтиками. Можно потушить с черносливом. Есть.

Малина. Крупная? Да. И без мушек. Есть.

Две пачки сливок. С малинкой сделаю. Есть.

Яблочные пирожные. Легкие и почти не сладкие. Есть.

Баклажаны. Пожарю «под грибы». Есть.

Яйца. Надо покрупнее найти. Есть.

Что я еще хотел взять? Да, креветки... четыре упаковки.  
Есть.

Салат из крабов. Есть.

Пожалуй, несколько коробочек с суши тоже не помешают... Иногда так хочется свежей рыбки с рисом. Есть.

Шесть еще теплых булочек с маком... Есть.

И... Ах, да, греческий творог и апельсиновый изюм без косточек. Есть!

Двести грамм Камамбера. Есть.

И полкило кураги. Обожаю. Съедобный янтарь. Есть.

...

Знакомая кассирша, толстая немка с лицом ньюфаундленда, заметила, принимая у меня наличные: «Вы сегодня много покупаете, что, гостей ждете?»

— Нет, не жду. Просто проголодался. Кстати, не нашел почему-то язык.

— Свежие бычьи языки привозят по пятницам, но их быстро раскупают. Оставьте заказ у продавщицы.

## КАРБУНКУЛ

Так уж получилось, что многие друзья и знакомые рассказывали мне о том, о чем рассказывать не принято. Не знаю почему, но я очевидно располагал их к подобным излияниям. Особенно после совместного распития спиртных напитков. Проникновенные эти истории запали мне в душу.

Странно, память у меня дырявая, как жаберная сеть с крупными ячейками... во время учебы на мехмате формулы, определения и доказательства теорем выскакивали из головы также быстро, как имена летних кавказских подруг по возвращении в Москву. Но все эти покаяния отлились соляными столбами на внутреннем ландшафте моей памяти. Из любого угла — их видно. На столбах стоят рассказчики или рассказчицы, протягивают ко мне свои огромные руки из соли и бубнят и бубенят...

Несколько раз я пытался скрыть столбы бульдозером — не тут-то было! После долгих колебаний я решил, нехорошие эти рассказы записать и опубликовать, чтобы переложить боль и стыд — на читателя.

Так что, господа, предупреждаю, речь дальше пойдет об очень неприятных вещах, не сердитесь на меня потом... почитайте лучше какой-нибудь сказочный детектив или любовный роман с хеппи-эндом, написанный дамою... лучше английской... или посмотрите ироническую комедию с Вуди Алленом, потому что в моем тексте нет ни детективного сюжета, ни приключения, ни любви, ни иронии, ни хеппи-энда... только мучительство обычной жизни.

...

Эту историю рассказал мне один художник... горы все рисует... синих верблюдов, красных оленей, зеленых ишачков... смахивает немного на Сарьяна.

Гостили мы у общего знакомого, успешного галерейщика, на загородной вилле под Мюнстером. Компашка неболь-



шая, человек десять. Выпили хорошо, но не чрезмерно. Танцевали, курили травку, дурили... потом разошлись кто куда. Две парочки уединились. Хозяин с хозяйкой и двумя приятелями решили пересмотреть — «120 дней», а мы с этим Сарьяном расселись в креслах у электрического камина в библиотеке. Приятно на родном наречии поболтать!

Камин обдавал нас теплыми волнами, сиреневые светильники светили тускло, старинные книжные корешки романтично поблескивали в полутьме.

Собеседнику моему было, как и мне, сильно за тридцать. Высокий, склонный к полноте восточный человек. интеллигентный... не липкий, не страстный... скорее спокойный... пожалуй, даже апатичный, что редко бывает с кавказцами. Звали его — Давид. Фамилия кончалась на «швили».

— Да, да, и имя и фамилия — грузинские, — подтвердил художник. — Папа мой курд, а мама — наполовину армянка, наполовину азербайджанка, из Тбилиси. Порох! Познакомились родители в Москве, оба учились на инженеров... ну и поженились... у отца был блат... остались в столице... так что я родился на Арбате, у Грауэрмана.

— А как же национальные обычаи, традиции, горы, верблюды, ишаки?

— Да пошли бы они... Хорошо идут у местных басурман... обхожусь без пособия. Отец из езидов, у них, между прочим, главный бог — павлин. А мать из семьи репрессированных сталинистов. Родители одного хотели, жить по-человечески... комнату снимали в коммуналке на Чистых прудах. Потом кооператив смогли купить... в Черемушках... там я в школу пошел. То, о чем я хочу вам рассказать, случилось со мной, когда я заканчивал восьмой класс... в апреле или мае. На улице было тепло. Травка зеленела, солнышко блестело... или как там?

Да, я был толстый... в детстве часто макароны ел... в восьмом классе был уже большой и килограмм на тридцать тяжелее, чем сейчас. Усы брил, а мозг все еще был как у ребенка. В голове — одни страхи, комплексы, а ниже пояса — страстные желания, неиспользованные гормоны. Отец умер рано, перебежал улицу Горького, попал под машину. Трагедия. Мать поплакала и хахаля завела. Я ревновал... в общем,

судьба была — как у многих других... да еще и в школе меня затравили... измывались, как могли. Дразнили черножопым, жиртрестом. А я был креативным невротиком, трусом, в кружок живописи ходил, туда, где одни девочки, защитить себя толком не умел. Много чего пришлось вынести... книгу могу об этом написать... только кто это будет читать?

Да, тогда, весной. Был наш класс дежурный по школе... помните еще эту советскую канитель? Повязки, уборки, проверки. Чччерт бы с ними... было уже около пяти... остался я в школе один... нужно было еще классы на втором этаже проверить, вымыты ли, окна закрыть, если открыты, поставить галочки в каком-то истрепанном журнале, запереть школу, а потом ключи занести во флигель и завхозу в руки отдать. Все это я сделал... но перед тем, как уходить, услышал шум в мужском туалете и зашел туда. Застукал там двух третьеклассников, известных в школе хулиганов. Они сидели на подоконнике, курили папиросы и смачно плевали на вымытый пол. Не помню, как их звали... простые имена... ну, пусть будут Витька и Митька. Знаете, есть такой вырожденный тип русских детей. Худые... носы курносые приплюснутые... веснушки... лбов нет вообще, зато рты большие, челюсти как у этих... морлоков. И выражение глаз как у голодных крыс. Чтобы такое подтибрить... испортить... кого бы исподтишка ударить костлявым кулачком... унижить... девочку лапнуть... мальчику в лицо плюнуть... урки.

Трогать их боялись, потому что у них были старшие братья — человек пять банда — настоящая шпана. Братьев этих из школы несколько лет назад турнули, но о затеянных ими драках с поножовщиной еще помнили. Где-то они рядом жили... ошивались часто на школьном дворе. Деньги клянчили. Приставали... кого-то били. Поэтому Витька и Митька никого не боялись, вели себя нагло, задирали всех, даже некоторым учителям грубили. Грубили они и мне... плевались, обзывались. Я не реагировал, шел себе дальше, а потом замечал, как на меня смотрят девочки нашего класса... с презрением. А что я должен был делать... я чувствовал себя среди русских чужим, парией, боялся шпаны.

Ну так вот, по шкодистому выражению их лиц я догадался, что они меня поджидали... значит меня ждет какой-то

подвох. Может где-то тут и их братишки недалеко... с ножами. Стыдно мне это вам говорить, но я до смерти испугался этих пацанов... как слон моську... шарики какие-то панические через всего меня прокатились и упали в мошонку.

Они соскочили с подоконника и подошли ко мне. Витька (он был повыше и посильнее Митьки) ни слова не говоря ударил меня в живот кулаком. Я невольно присел и получил удар от Митьки — в нос. Витька ударил меня по скуле...

Такой яростной атаки я не ожидал. Страх... гнев... как синие и красные огненные кони побежали перед глазами, но вместо того, чтобы встать и отогнать маленьких негодяев, я сел на пол, закрыл лицо руками и заплакал.

А затем со мной случилось что-то непонятное. Не могу точно описать это чувство... как будто выпадаешь из поезда... да, меня вынесло из нашего мира как на салазках... тьфу, не даются мне метафоры... в общем... выбросило меня из этого вонючего советского туалета.

Очутился я почему-то в ресторане.

Сижу за столиком, передо мной тонкая рюмочка, в ней зеленая жидкость. Ликер? Рядом — еще столики... и публика сидит на них... не нашенская. Сутулый старик в золотом пенсне. Молодой брюнет с прилизанным пробором, а на галстук его зеленом — лучится рубин с трехкопеечную монету. Карбункул. Толстый лысый дядька в роскошном малиновом пиджаке... с сигарой. Офицер в незнакомой форме, тоже в пенсне. На холеных руках — перстни.

На небольшой сцене пианино. Престарелый тапёр. И контрабасист-китаец с лицом мартышки. Во фраке. Наяривают чарльстон. Две обнаженные по пояс девицы танцуют. Худенькая брюнетка без груди с черненькими волосиками подмышками и пухлая блондинка с увесистыми грудями прекрасной формы.

Потанцевали, подошли ко мне. Блондинка ударила меня кулаком в бок и превратилась в Витьку, а брюнетка — ударила в другой и превратилась в Митьку.

Витька взял меня за нос, дернул за ноздрю и спросил: «Пузырь, ты чего, в обмороке?»

Митька пояснил Витьке: «Кабан от страха сейчас обоссется, смотри, как вспотел и губы трясутся!»

— Давай ему штаны и трусы снимем! И с голой жопой на улицу выгоним.

Два негодяя тут же расстегнули мне брюки... стянули и штаны и трусы...

Витька, кривясь, дернул меня несколько раз за член и глумливо заржал. А Митька ткнул пальцем с грязным обкусанным ногтем мне в лобок. Сморщился и прошепелявил: «Гляди, волосня...»

Достал из кармана школьного пиджака старую бензиновую зажигалку, щелкнул и поджег волосы. Захрустело и запахло жжёными перьями. Боли я не почувствовал, но огонь как будто опалил мне сердце.

Я вскочил... бешеная злоба бушевала во мне как Ниагарский водопад в половодье!

Потушил одним хлопком огонь, схватил двумя руками мерзавцев за шкурки и треснул их друг об друга головами. Хотел размозжить им бошки. И бил, бил их, в черном аффекте головами друг о друга. Не знаю, сколько времени. Как в чаду... положил истекающих кровью мальцов на кафельный пол. Как раз туда, куда они плевали. Затем снял с них брюки и трусы, разодрал их на тряпки и связал им руки и ноги. Боялся, что они очнутся, встанут и начнут опять меня избивать.

И тут... галлюцинация моя... ну та, ресторанный... возобновилась. Диссоциация что ли.

И вот лежат передо мной на бильярдном столе, на зеленом дорогом сукне те самые дамочки-суфражистки, блондинка и брюнетка... голые.

И потянуло меня к ним... как голодную собаку к мясу.

И я... впервые в жизни... да... ублажился и с той и с другой.

Как на фотке... продавали у нас в школе шведскую порнушку... сзади.

Разомлел.

И тут вдруг появляется китаец... ну тот, контрабасист. Бешено так на раскинувшихся девушек смотрит, а потом залезает на бильярдный стол и начинает их душить синими жилистыми руками. Задушил брюнетку, а потом за блондинку принялся.

Меня это убийство почему-то ничуть не взволновало... я встал и зашагал, качаясь, как привидение по длинному коридору, обитому от пола до потолка розовым шёлком.

Вернулся в ресторан, попросил извинения за то, что долго отсутствовал, у того, с пробором и карбункулом, присел к нему за столик и начал непринужденно беседовать, как примерно с вами сейчас. Пили мы абсент... закусывали лимонными дольками... и он рассказал мне о том, где и как он приобрел свою драгоценность. Оказывается, он работал военным корреспондентом в Шанхае в 1932 году, освещал захват японцами Маньчжурии. Писал он и о загадочном убийстве, случившемся у Великой Китайской стены. При невыясненных обстоятельствах кто-то жестоко убил и ограбил семью богатого американца-туриста, купившего будто бы тот самый камень у беглого монаха. Мой друг говорил и говорил, рассказывал подробности следствия, описывал его собственную роль в этом деле, и в частности то, как и почему он завладел рубином.

Я пожирал глазами карбункул, а затем... оторвал его от галстука, сжал в ладони... и его магические бордовые лучи, казалось, пронзили все клетки моего тела... я заснул... прямо за столиком.

А проснулся — как вы уже, наверное, догадались — все в том же школьном туалете. На полу. Без штанов. Рядом со мной лежали два полуголых связанных мальчика. Бездыханных.

На голову мне как будто кто-то ведро цемента опрокинул.

Засудят. Посадят. Жизни конец.

И тут в туалет вошла милиция. Завхоз, оказывается, вызвал. Ждал, ждал ключа... не дождался, обошел школу и нашел троих окровавленных школьников на полу в туалете. Подумал, что все мертвые и побежал звонить.

На следствии я повторял одну и ту же фразу — знакомый отца адвокат подсказал — закончил дежурство, зашел в туалет, увидел третьеклассников, тут на нас напали, а кто не знаю, потерял сознание.

Версию мою подтвердило то, что лицо и тело у меня были в синяках. Рядом с причинным местом — ожог. Видимо,

пока я в первый раз галлюцинировал, маленькие садисты продолжали меня избивать.

Давид сделал паузу. Видимо, боролся с собой. Потом проговорил что-то вроде — ах, да что уж теперь — и продолжил рассказ.

— Да, Антон, так все и было... но самое интересное... вот тут, в маленькой коробочке... ношу всегда с собой... посмотрите...

Он вынул что-то из внутреннего кармана пиджака и подал мне. Это был крупный, чистейшей воды рубин. Карбункул!

Я похмыкал, а затем не удержался и спросил: «Откуда это у вас такое сокровище?»

Он дернул щекой и сказал: «Вы, конечно, не поверите, но камень этот я сжимал в руке тогда... когда проснулся на заплыванном полу в школьном туалете».

## НАВАЖДЕНИЕ

(рассказ таксиста)

Уральский регион... да, место непростое. Некоторые говорят — проклятое. Якобы из-за убитого царя. Хотя там не только царя с семьей... многих покрошили. И не только красные. Ты меня правильно пойми — люди на Урале разные, не то, чтобы все бандиты или воры, нет, просто древние какие-то люди. Троглодиты. Как жили пять тысяч лет назад — так и при Брежнев... а все эти штучки — телевизоры, запорожцы с жигулями, компьютеры — это все на поверхности, а внутри, как была, так и осталась — берлога.

Поехал я однажды по телефонному вызову в Кардайкаурдюмово. Деревня сразу за границей города. Татары там или башкиры живут — хрен их разберет. Подъезжаю к дому. На дороге стоят трое чурок. Поперек себя шире, морды самоварами, кулаки — как у быков. Угрюмые. И у всех под пальто или топоры или стволы. Батюшки-святые! Все трое сзади сели. Завоняло в салоне сразу перегаром и лучищем. Самый быкастый сказал: «Поезжай в Котлы, Полежаева четыре!»

Голос — как у медведя.

Не люблю чурок возить! Каждый раз не знаешь, что от них ожидать. Могут нормально расплатиться, а могут и топором по темечку. И не со зла, а... вроде так и надо.

Котлы эти на другой стороне города, поселение шахтеров, главная улица, Пролетарская кажется, километра три тянется вдоль карьера. Полежаева там вроде переулочек, домов десять всего. Нашел на карте. Приехали.

Ландшафт — прям как у Левитана. Слева — ворота закрытые, забор, колючка, за забором котельная. Труба метров двадцать высотой, дымок вьется, несколько фабричных строений. Черные почти от угольной пыли. Справа — барак деревянный, длинный. Может, там рабочие живут или зеки на вольном поселении. Здесь этого добра навалом.

Ёкнуло сердце. Тут меня запросто грохнуть могут. Или чурки или их дружки. Сколько раз пропадали в Петяринске таксисты! Сунул руку под сиденье — у меня там железный прут граненный, килограмма полтора весом... положил тихонько прут на колени. Напрягся, приготовился крушить мордovorотов по сморкалам. Жду.

Ничего. Все три быка вышли из машины, стоят, между собой что-то по-ихнему обсуждают. Я сижу на своем месте, газету вынул... читаю мол... ведь тут правило простое, как с собаками и лошадьми — не смотреть в глаза их лупые... не провоцировать.

Тот, быкастый подошел к моему окну и сказал: «Ея, во-дила. У нас тут дело. Подожди, в накладе не будешь. В Кардай отвезешь, зеленый билет получишь».

Я кивнул.

«Зеленый билет» это пятидесятирублевка. На счетчике у меня двенадцать. Значит, чаевые будут — двадцать пять. В семидесятые это были еще хорошие деньги.

Чурки мои пошли в барак. Я жду.

Как-то быстро темно стало. Один фонарь загорелся, метрах в десяти от меня. Видно было, как в конусе света снежинки летали... как белые бабочки... Я на них смотрел-смотрел и кемарить начал. Но спать нельзя. Вышел из волги, поприседал, попрыгал.

С полчаса уже прошло. На счетчике — семнадцать с копейками. Пора действовать. Или уезжать — тогда холостого пробега на тридцатку наверхчу. Или идти в барак разбираться.

За смену такое, чтобы не платили, раза два-три бывало... Обычно припугнешь милицией — платят. Иногда убегают через задний двор.

Каждый раз решаю по обстоятельствам... знаешь, когда опасно, я стараюсь думать не головой, а задницей. Так вернее. Ну так вот, жопа моя мне тогда на Полежаева твердила: «Уезжай, пока цел. Дуй на вокзал, там московский поезд, через час прибытие, посадишь сдобную бабенку или какого-нибудь барыгу...»

А жадная голова противоречила: «Московская краля тебе не даст, и не надейся, а с барыги больше рублика чаевых не получишь... а чурки твои четвертак обещали».



Еще ждал минут десять, потом отъехал немножко назад, чтобы машину в тени спрятать, прут в специальный внутренний карман положил, куртку расстегнул, чтобы легко его вынуть можно было. Мотор отключил, ключ забрал, проверил, как лежит кастет в бардачке... переднюю дверь у волги оставил чуток приоткрытой. И пошел в барак... постучал.

Жопа моя в это время вопила фальцетом: «Не ходи туда, пропадешь... там плохо!»

А голова советовала солидным басом: «Извинись у мужиков за вторжение, попроси расплатиться, получи бабки и уезжай с богом. Там ведь люди, а не аллигаторы. Вежливый язык понимают».

Никто мне не открыл... я толкнул дверь... вошел.

В бараке, разделенном вроде как плацкартный вагон на купе, было густо накурено, воняло старой одеждой. В сизом полумраке трудно было что-то разобрать. Пошел по проходу справа вдоль барака. В первом купе два мужика спали на нарах под ужасными одеялами. Храпели как мастодонты. На столе стояли несколько пустых бутылок, на грязных тарелках — остатки еды. Во втором купе никто не спал, там на месте стола возвышался самогонный аппарат... круглосуточно работал, наверное... из краника сочилась синеватая жидкость... и стекала по кухонной доске в ведро. На стенке ведра висел черпак, вместимостью грамм в двести. Жуткая беззубая женщина лизала длинным фиолетовым языком эту гадкую доску. На мое появление она никак не прореагировала. В пятом купе я обнаружил еще одну синюху... косоглазую... она держала в руках свои пустые отвисшие груди и стучала ими по столу как ложками. Посмотрела на меня, открыла свой черный рот и сунула в него нечистый большой палец. Засосала и вынула с хлопком. Меня чуть не вырвало... поспешил дальше. Видел еще несколько мертвецки пьяных.

Но никаких следов моих чурок не обнаружил.

Пришлось спросить ту, косоглазую.

— Я таксист, тут где-то мои пассажиры. Три мужика. Башкиры или татары. Вы не видели?

Косоглазая посмотрела на меня так, что у меня зачесались бока и шея, и прошепелявила: «Ты что, мусор, бля?»

— Я таксист. Мне пассажиры не заплатили.

— Иди нах.

Надо было уйти, но я упорный. Меня дома семья ждет. Людка и три спиногрыза. Их кормить надо. Не позволю я так просто меня кидать.

Достал свой прут и несильно ударил им синюху по ноге. Та взвывла и ткнула пальцем куда-то в сторону. Там, оказывается, была еще одна дверь. Не на улицу. У барака было ответвление. Я прошел по узкому коридору... до еще одной двери, металлической. Как в тюрьме, с окошечком. Постучал. Окошечко открылось, кто-то посмотрел на меня и спросил: «Тебе чего тут надо?»

Я повторил то, что сказал косоглазой.

Тяжелый засов открылся с невыносимым клацаньем. Меня впустили. В похожей на внутренность юрты, круглой комнате за карточным столом сидели трое мужчин. Но не мои чурки и не алкаши из барака, а совсем другие люди. Блатари.

Паханом там был, кажется, плотный, невысокий, чернявый тип. С бородкой. Он держался с достоинством, как бы брезгливо отстраненно. Двое других были явно рангом пониже — зловещий худой старичок с лишаем на лице и тощий гигант с косматыми руками, постоянно сжимающий и разжимающий свои огромные кулаки. Лицо его перерезал длинный шрам со следами швов.

Пахан долго и тяжело смотрел на меня. Затем спросил: «Зачем пришел?»

Он говорил с легким грузинским акцентом.

Я был вынужден в третий раз повторить, зачем. Но пахана это, по-видимому, не убедило. Он сделал глазами знак гиганту, и тот встал, развязно подошел ко мне и пробурчал: «Гребала в стороны... И не дергайся, чушок, щекотить не буду».

Моя голова едва доставала ему до груди. Обыскал меня, забрал прут, удостоверение и кошелек и почтительно положил все это перед паханом на стол.

Тот покрутил в руках прут, покачал головой, раскрыл и тут же закрыл кошелек, в котором было тогда рублей двести, посмотрел на удостоверение и подтвердил удивленно: «Действительно, таксист».

Потом вздохнул, посмотрел на меня, как смотрят на вошь, перед тем, как ее раздавить, и сделал рукой знак гиганту и старичку. Гигант не без удовольствия и очень сильно ударил меня в глаз, а старичок врезал по скуле так, что искры засверкали перед глазами.

Пахан прервал избиение: «Довольно... Так ты ищешь своих пассажиров, которые тебе не заплатили... Тут, у меня? Ха-ха-ха».

По сравнению с его смехом, смех Фантомаса показался бы арией счастливого Фигаро.

Железный смех, шелест цинковых листьев, хруст ломающегося гроба.

— Сизарь, — приказал он старичку, — предъяви таксисту его пассажиров!

На гнилом лице старичка показалось нечто вроде улыбки, ему было приятно то, что ему, а не конкурирующему с ним гиганту хозяин поручил показать мне пикантную картинку. Старичок ласково поманил меня пальцем, взял за шкурку и пинками подвел к двери, ведущей в какой-то сарай... втолкнул меня туда и оставил там на некоторое время одного. В сарае было темно, но еще темнее стало у меня на душе, когда я понял, что это было за помещение. Это была камера пыток. Подробности я опушу, не хочу тебя расстраивать... Со всеми, как говорят твои новые сограждане, пи-па-по. Тела моих пассажиров висели на стальных крючьях, а их головы покоились отдельно — на полке. На трех маленьких колышках. Почему-то они улыбались...

Кроме них в этом страшном сарае я насчитал еще пару дюжин мертвецов. Может быть, их было и больше. Когда лишний старичок вел меня назад в круглую комнату, я не мог унять дрожь в коленях. Меня посадили на стул напротив пахана. Трое злодеев явно наслаждались эффектом, произведенным на меня сценой в сарае.

— Ну что же, товарищ таксист, вы, кажется, уже поняли, в какую беду попали. Выход для вас отсюда один — повиснуть там, где уже висят ваши пассажиры, и от вас будет зависеть, долго ли вы будете мучиться. Вероятно, вам будет интересно узнать, зачем сюда приезжали эти глупые толстомор-

дые люди с топорами. Я не буду делать из этого тайны — они не хотели отдать мне карточный долг. Желали расплатиться иначе. И расплатились.

Голос пахана все еще напоминал шелест цинковых листьев, несмотря на старание снабдить его интеллигентским шармом. Грузинский акцент придавал его сарказму дополнительный градус язвительности... Слушать его было тяжело.

Я решил попытаться использовать последний шанс на спасение. Схватил прут со стола и как мог сильно ударил им сидящего рядом гиганта. По роже. Гигант захрипел и повалился на пол. В тот же момент Сизарь выстрелил в меня из пистолета и попал в лоб... вышиб мозги, убил, наповал. В кровавых струях увидел я злобную морду пахана и успел услышать: «Тащи его в яму. Да отпили ему башку для коллекции».

А потом как будто что-то переключилось, и другой голос сказал: «Ея, водила, заснул что ли? Вези нас в Кардай!»

Батюшки-святы! Я проснулся. Чурки мои уже сидели на заднем сиденье. В руках у них были какие-то кульки. Снежные бабочки все падали и падали в желтом свете фонаря. В салоне почему-то нестерпимо пахло пирожками с мясом. Быкастый открыл один кулек, вынул из него и подал мне свежееиспеченный беляш и сказал: «На, попробуй, теща испекла. День рождения праздновать будем».

## ОБЛАКО ООРТА

Многие голливудские ужастики скроены бесстыдно незамысловато. Группа школьников или студентов отправляется на природу. На пикник, в лес, на побережье или домой, на каникулы, или еще куда-нибудь. Глупые подростки, конечно же, выбирают не ту дорогу, ставят палатки не там, где нужно, лезут не в ту пещеру или не на ту гору, заезжают в подозрительные провинциальные городки, останавливаются не в тех мотелях, посещают нехорошие бары, в которых задирают не тех людей. У них ломается машина, отказывают мобильные телефоны, кончается провизия и вода, ботинки и рюкзаки натирают им ноги и спины, они падают, подворачивают ноги, попадают в капканы. Ссорятся, выясняют отношения, вспоминают давние обиды.

Кошмар обычно начинается в сумерки или ночью...

Помурьжив и помучив своих несчастных героев бессмысленным хождением в лабиринтах ужаса, режиссер приступает к их систематическому уничтожению. И они послушно гибнут один за другим. Как по расписанию. Все, кроме одного или одной, необходимой создателям фильма для того, чтобы рассказать, как на нее и ее друзей охотились, как их унижали, убивали, пожирали скрывающиеся поначалу оборотни, ведьмы, вампиры, грубые деревенские парни с топорами, мертвецы, мутанты, гигантские змеи и насекомые, привидения и пришельцы с далеких планет.

Обычно это очень скучные фильмы. Школьники и студенты — все, как на подбор, капризные, упрямые, легкомысленные. На разработку их характеров у создателей таких фильмов попросту нет времени. Тут ведь дело идет не о психологии, а о членовредительстве. События и ситуации — даже не высосаны сценаристом из пальца, это было бы не так уж и плохо, все мировое искусство и литература высосаны из пальцев их создателей, а смиренно взяты напрокат из популярного собрания кино-штампов.

Сильный, статный и дерзкий красавец, сынок богатого папы, безнаказанно оскорбляющий своих приятелей в начале фильма, погибает первым. Он — жертва мстительного комплекса неудачника-сценариста, сутулого и застенчивого бедняка.

Гибель сексапильной и наглой красотки-блондинки с длинными бедрами и увесистой силиконовой грудью (блондинок может быть и две и три, если бюджет позволяет) зрители смакуют, потея и пуская обильные слюни, особенно долго. Эти сцены и есть содержание фильма, его единственный козырь. Все остальное — только упаковка.

Та, которая попроще, почти дурнушка, но с характером, чаще всего выживает. Ей, разрешается, так уж и быть, преобразиться и стать красавицей. Иногда, впрочем, роль Золушки поручается нерешительному, вечно себя стесняющемуся уродцу. Выбор зависит не столько от гендерной ориентации режиссера, сколько от капризов денежных мешков, вкладывающих в производство фильма деньги.

Злобуны — неестественно, катастрофически злобные.

Каждый раз меня поражает их энергичность и целеустремленность. Господа, положи руку на сердце, ну на кой черт суетиться, кого-то убивать... люди все одинаковые... только упаковки разные... одного убьешь, а семь миллиардов останется... Скучно, не гигиенично и наказуемо! А им, злобунам, не скучно! Они — энтузиасты! Фанатики. И как почти все фанатики и энтузиасты они лишены индивидуальности, у них, как и у святых, имеется только атрибут. Электропила, ножницы, топор, маска, кухонный нож (один герой крушил черепа супостатов вырванным из стены сортира писсуаром)... Злодеи поджидают мальчишек и девчонок в каких-то вонючих подвалах, шахтах, чердаках, рычаг, кусаются, пьют кровь... Паршивое занятие. Выпили бы лучше пива. Их можно только пожалеть. Этим бедолагам суждено погибнуть в конце представления и волшебным образом воскреснуть в сиквеле, если фильм по какой-то, известной только олимпийским богам, причине принесет прибыль.

Я редко смотрю подобное кино до середины, обычно, трех-четырёх минут хватает.

Но иногда ткань моей жизни так истончается, что ей требуется кино-заплатка. Тогда я открываю в интернете первый попавшийся трэш-фильм (хорошее кино, как и хорошее вино, можно вынести, только если ты крепок духом и здоров, во время хандры или болезни можно и нужно смотреть только дрянь и пить только минеральную воду) и пытаюсь с его помощью отвлечься от собственного трэша. Смотрю фильм, наслаждаюсь его дебильными приемами, цинично позволяю подсознанию переплетать мои, еще живые волокна с искусственными волосами чужой коммерческой фантазии. Отвлекаю его от расчесывания старых ран. И потихоньку готовлюсь так к концу, к исчезновению. Фильм ведь и есть одна из форм небытия. И наше с ним слияние подобно смерти.

Смотрю, посмеиваюсь, дремлю... но иногда просыпаюсь, потому что наталкиваюсь на необъяснимые сближения, совпадения.

Да, господа, и со мной, в самом настоящем реале произошли несколько кошмарных историй, напоминающих подобный фильм. Недавно, в жару, в расслаблении тела и немоги душевной я вспомнил одно престранное происшествие. Это случилось недалеко от Бахчисарая, в пещерном городе Тепе-Кермен, в начале семидесятых годов ушедшего столетия.

...

После окончания девятого класса я поехал не на море отдыхать, а работать. В Крымскую Обсерваторию. Помогли знакомые отца. На два месяца. Лаборант на полставки. Сорок ре. Наконец-то удрал от предков! Как же они мне осточертели! И родители, и школа, и столица первого в мире, и ее обитатели.

Радовало и возбуждало меня все — душистый степной воздух, башни с раздвигающимися куполами, похожие на минареты какой-то особой, питающейся энергией неба, религии, заброшенные татарские грушевые сады, бутылка ликера Бенедиктин, купленная в первый же день свободы в продмаге и распитая в блаженном одиночестве, открывающийся с нашей научной горы потрясающий вид на напоминающую гигантского сфинкса с отрубленной головой вершину Чатыр-Дага, освобождающая от гнета угрюмой совет-

чины западная музыка, которую ловила на коротких и средних волнах радиола — Ригонда, стоящая в коридоре общежития, коллективные поездки ученых и студентов в Ялту... но больше всего, естественно — новые знакомые девочки. Шестнадцатилетняя дочка моего шефа, профессора Карабая, стройная как тростинка татарочка с фиолетовыми глазами Зухра и ее одноклассница Оксана, сложением напоминающая «Помону» Майоля из Пушкинского музея, жившие в старинном кремовом особняке для начальства в ста метрах от студенческого барака, в котором я занимал отдельную комнатку. Точнее — отгороженную перегородкой от длинной спальни студентов и аспирантов-практикантов нишу площадью в четыре квадратных метра, в которой помещалась спартанская койка, покрытая тюремным дырявым одеялом, замызганная табуретка и исписанная похабщиной тумбочка, служившая по совместительству и обеденным столом.

Не буду отнимать время у читателя описаниями студенческих пооек, купания в Черном море, покупок персиков и черной Асмы на базаре, посещения Чуфут-Кале и Ханского дворца в Бахчисарае, античных развалин в Херсонесе, диорамы «Штурм Сапун-горы» и памятника матросу Кошке в Севастополе, потрясающих бессонных ночей, проведенных рядом с телескопом-рефрактором (каждые тридцать секунд надо было, глядя в двухметровую трубу, уточнять микровинтами направление оптической оси, старое механическое устройство, компенсирующее вращение Земли, было несовершенным), чудесным трофейным цейсовским инструментом, которым я фотографировал, с выдержкой в сорок минут, в поисках Новых и Сверхновых отверстую пасть вселенной — усеянное яркими звездами черное крымское небо в районе созвездия Волосы Вероники, нудного процесса проявления фотопластинок и мучительно долгой работы на блинк-компараторе. Перейду к делу.

Пошли мы одним знойным воскресным утром в пещерный город Тепе-Кермен, расположенный на конусообразной горе-останце, тоже, кстати, прекрасно видной из обсерватории.

Мы — это Зухра, Оксана, я, а также рыжеволосый, веснушчатый и милый пятнадцатилетний сын профессора Тро-



ицкого Максим, бредящий Жюль Верном, которого из-за его увлечения и возраста все запросто звали Диком Сэндом или Капитаном, чем он, полагаю, втайне гордился. Капитан вечно вертел в руках небольшую металлическую расческу, чесал ей свою буйную гриву и утверждал, что расческа эта серебряная когда-то принадлежала самому Жюль Верну, о чем свидетельствует якобы гравированная надпись на французском языке.

А еще с нами в поход отправился аспирант Шигаров. Щуплый, маленький, дотошный, помешанный на своих перемешанных звездах и слегка влюбленный, кажется, в пышно-телую Оксану, ученик Карабая. Свою влюбленность Шигаров манифестировал своеобразно — все время шел недалеко от Оксаны, вроде как хвостик, и внимательно, как будто спектральный анализ муравьев проводил, смотрел через свои толстые старомодные очки в землю, упорно молчал и улыбался. Зухра и Оксана бросали на него исподтишка дерзкие взгляды, переглядывались и хихикали, и он эти взгляды замечал, но виду не показывал, а только еще внимательнее смотрел вниз и еще упорнее молчал.

Молчал не только Шигаров, молчали все. Минут тридцать слышны был только скрип наших кедров и сандалей, шуршание камешков под ногами, шелест листьев, да завывания жаркого ветра, мечущегося между плавающимися на южном солнце холмами.

Я попросил Капитана рассказать нам что-нибудь из Жюль Верна. Знал, что это будет весело. Несколько дней назад он пересказал мне роман «С Земли на Луну». Пока я на блинк-компараторе работал. Часа четыре разорялся. Я чуть со стула не упал. Капитан обладал феноменальной памятью, легко входил в роли, рвал и метал, прыскал слюной и жестикулировал. Был при этом абсолютно серьезен. Мне хотелось и самому посмеяться, и позабавить девушек, и... представиться Зухре — скромной, но симпатичной альтернативой инфантильному слововержцу Капитану и безнадежно старому молчаливому аспиранту-очкарику.

Стройная татарочка с фиолетовыми глазами мне очень нравилась, но никаких ответных чувств я в ней, как ни старался, вызвать не мог. За три дня до нашего похода я был

в гостях у ее отца, невероятно быстро соображающего и потому смотрящего на всех скептически профессора Карабая, в доастрономической своей юности кстати профессионально игравшего джаз на тенор-саксофоне. Рассказывал ему о своих успехах на поприще поиска сверхновых. Увы, я так и не открыл ни одной новой звезды, слава пролетела мимо меня, как синяя птичка, даже не задев своим светящимся крылышком, а пять лет назад тут один студент-практикант — без всяких телескопов и блинк-компараторов — открыл Новую в созвездии Утки, просто так, возвращаясь с макаронами и поллитрой под мышкой из магазина. Сенсация! Его поздравляли-обнимали, все телескопы конечно тут же жадно на Новую наставили, телеграммы разослали. Вскоре однако выяснилось, что до него эту же звезду открыли японцы, голландцы и островные китайцы.

После неприятного разговора, в конце которого мне досталось от профессора за неаккуратность, я был приглашен на ужин. Сидел за столом напротив Зухры, старался на нее не глазеть и вести себя достойно. Почти получилось. Лишь один раз я все-таки не удержался и проникновенно-влюбленно (юности так хочется, чтобы ее любили!) взглянул в глаза своей милой, затем набрался мужества, привстал и начал провозглашать тост в ее честь, но никто меня не слушал, и я сел, глотнул «Боржоми», закашлялся и покраснел, как вареный рак. Зухра, когда я начал кашлять и краснеть, вздрогнула, скептически, как отец, на меня посмотрела, капризно повела плечами, покачала головой (это означало — нет, ни за что и никогда) и тут же отвела глаза.

...

Капитан начал торжественно.

— Пятнадцать дней бушевал Тихий океан!

Меня тут же задушил приступ смеха. Подобные фразы казалась мне тогда (и кажутся сейчас) бесконечно, беспощадно глупыми и смешными. Вокруг нас простирались безводные степные просторы. Длющаяся уже месяц засуха окрасила кустарники и деревья среднего Крыма в коричневатые тона, трава пожухла, река Кача пересохла... Тихий океан!

Девушки внимательно слушали Капитана. Оксана смотрела на него с уважением. Зухра сосредоточенно жевала тра-

винку. Шигаров улыбался и смотрел вниз. Изредка, впрочем, снимал очки, поднимал голову, щурил глаза, осматривался и давал нам краткие указания, куда идти. Он в Обсерваторию ездил каждое лето и знал ее окрестности так же хорошо как созвездия крымского неба.

— Приметы Негоро: черная борода и татуировка на руке...

Я догадался, что Максим пересказывает нам не роман, а известный фильм сороковых годов, в котором роль капитана Гуля исполнил грассирующий по-оперному и безбожно переигрывающий Александр Хвьяля, а Дика Сэнда — молодой Всеволод Ларионов. Фильм этот недавно транслировали по телевизору и многие ученые и студенты нашей станции его смотрели.

Капитан подпрыгивал как кузнечик, рискуя потерять свои веснушки, и горланил голосом Хвьи, задыхаясь от ложного пафоса:

— Лоботрясы! Бездельники! Любой из вас не стоит и стоптанного сапога с левой ноги моего юнга Дика Сэнда. 120 пустых бочек на борту «Пилигрима»! Когда мы уходили от мыса Горн, киты хохотали нам вслед. Они плевали нам на корму! Пассажиры? Мой «Пилигрим» — не яхта для прогулок. Я китобой, а не извозчик!

Потом вдруг преобразался в кузена Бенедикта и блял: «Я изучаю энтомологию, великую науку о насекомых! Это безусловно четвероногое позвоночное! Собака из породы австралийских динго».

Потом опять ревел Хвьлей: «Вот ваш голубой таракан! Кит! Гарпуны в порядке? Остроги, копыя? Четыреста чертей!»

Неподражаемо изображал Негоро-Астангова, нашептывал вкрадчиво: «Я служил на лучших пароходах линии Марсель-Гонконг. В совершенстве знаю французскую кухню! Пассажиры будут довольны!»

А потом добавлял ядовито: «Не забываете, что это Ангола, а не Пятое авеню! Капитан Сэнд, не угодно ли барашка по-африкански?»

Нежно мурлыкал: «Мой мальчик, сможешь ли ты найти дорогу в этом страшном океане?»

Становился похожим на архангела, когда проговаривал реплики Дика Сэнда: «Я поведу корабль по компáсу! Только

бы нам достигнуть Америки! Земля! Я вижу густой лес, зеленые поляны, множество ручьев! Геркулес, немедленно задержать Негоро! Гаррис сбежал, он заодно с Негоро, он подлый предатель!»

Задышался от сарказма, становясь работоторговцем Альвеном: «Сеньор Перейра! Рад вас видеть без веревки на шее! Клянусь, этот мальчик вылечит меня от ревматизма! Передайте его величеству, королю Мауни-Лунгу, что я завтра принесу Сэнда в жертву, заменив им старую лошадь».

...

Из-за его драматического искусства мы и не заметили, как подошли к конусообразной горе. Поблагодарили рассказчика. Оксана его обняла и поцеловала. Затем поднялись по осыпи к нижней, похожей на огромный каменный автобус скале, обогнули ее и начали восхождение по северной, относительно пологой стороне, заросшей леском и кустарниками. Молодые ноги легки — мы быстро достигли плато.

Попрыгали, побегали, поглазели на роскошные пейзажи. Шигаров сделал несколько фотографий болтавшимся на его шее стареньким ФЭДом в потертом чехле, девушки сплели небольшие венки из желтых и синих цветов, непонятно как выживших среди камней. Еще часок побродили по пещерам, тогда еще не исписанным безмозглыми туристами. Нашли подземную церковь с колоннами и полуразрушенной крещальней. Я, как всегда в старых постройках, сосредоточился и попытался проникнуть в иной пласт времени, слышать греческую литургическую музыку тысячелетней давности. Но ничего не услышал кроме радостного смеха нашего юного Капитана, влезшего в одну из могил, сложившего руки крестом на груди и испугавшего своим видом и воем пугливую Оксану.

Ушли из подземелья и устроили пикник. Сели у обрыва, в тени небольшой стены, там, где в старину возвышалась сторожевая башня. На ее месте торчал, как зуб, высокий камень. В скалах рядом с ним то ли природой, то ли человеком были выбиты круглые отверстия. Мы развели в одном из отверстий костер, съели бутерброды и груши, напились невкусной воды из фляжек, поболтали.

Разговор не клеился.

Я хотел было попросить ожесточенно расчесывающего свои непокорные космы Дика Сэнда рассказать нам про капитана Немо и Наутилус, но, подумав, передумал. Тактика моя — послужить обаятельным контрастом ошалелому рассказчику и молчаливому аспиранту — успеха не принесла. На мои робкие попытки заговорить с моей зазновой об истории Тепе-Кермена (в моем арсенале хранились сведения из специально проштудированной в библиотеке книги «Пещерные города Крыма» и мной самим придуманные легенды — о черных монахинях, превратившихся в каменных кротих и о пещерной королеве Сигидии, спасшей своей красотой любимый город от гнева хана) Зухра реагировала вяло и смотрела в сторону. А потом шушукалась с Оксаной и смеялась. Я решил завести с всезнающим Шигаровым умную астрономическую беседу. Потому что мог кое-чем блеснуть. Поговорить мне хотелось тогда о еще гипотетическом, загадочном облаке Оорта, огромном сферическом пространстве вокруг Солнца, радиусом чуть ли не в световой год, из темных и мрачных глубин которого прилетают иногда в нашу, светлую часть Солнечной системы кометы с грязными ледяными ядрами. Эти хвостатые небесные тела, говорят, могут запросто уничтожить жизнь на нашем уютном голубом шарике.

Но беседу начать мне не удалось, потому что как раз в тот момент, когда я открыл рот, и начался ужас.

Трудно передать словами ощущение от произошедшей ни с того, ни с сего метаморфозы. Мир вокруг меня потерял цвет. Ветер затих. Исчезли шумы и запахи. Наступило что-то новое.

И скалы, и небо, и дали, и огонь в костре — все стало вдруг иссиня-серым и как бы двумерным. Превратилось в контрастную, не очень резкую фотографию.

Я чувствовал грозное приближение чего-то катастрофического, фатального. То же самое, наверное, ощущали обитатели Тепе-Кермена, когда в ожидании появления полчищ Ногая впервые расслышали доносящийся из-за холмов топот тысяч коней. Хруст и стон земли.

И это страшное приблизилось и ударило меня в грудь тошной волной.

Неожиданно послышались какие-то сильные голоса. Как будто пространство скрутилось в дьявольскую телефонную трубку... я услышал переговоры обитателей ада.

Каркающий голос спросил, грубо корежа слова: «Это кто такие? Неудравшие беляки? Буржуйское отродье? Или зеленые? Что будем с ними делать, Палыч?»

Ему ответили: «Сразу видно, из какого огорода овощи. Контра. Так, товарищ Прялый, девок — в подвал к тете Розе. Оприходовать и в расход. Пацана и очкарика на допрос к товарищу Куну. Хотя... Чего тянуть, да балясы точить? Указания сверху имеем ясное. С обрыва их... Да не забудь трофеи для Евдокимова!»

К нам подошли отделившиеся, как тени от скал, серосиние люди. Похожие на красноармейцев из фильмов о Гражданской войне. Двое — в пыльных шлемах с звездами, один, маленький — татарин, другой, покрупнее — почему-то со страшно знакомым лицом. Кто это, чёрт возьми?! Третий был опоясан крест-накрест пулеметными лентами. Широкий и крепкий как старый дуб революционный матрос в тельняшке и бушлате. Четвертый — урод с провалившимся носом, вроде как солдат, в рваной шинели и в опорках. Спрашивал, по-видимому, урод, а отвечал матрос.

Мы застыли в шоке. Я так и не успел закрыть рот. Был парализован.

Сколько длился шок — не помню. Помню только, что вдруг отчетливо расслышал какие-то щелчки. Это Шигаров щелкал своим ФЭДом!

Тут все быстро завертелось. Как будто включился и затрещал кинопроектор!

Понеслось черно-белое кино.

Урод как-то боком подскочил к Шигарову, вырвал из его рук камеру, швырнул ее на камни и ударил аспиранта в висок прикладом винтовки. Тот повалился как мешок (обычно пишут — как сноп, но я никогда не видел валящихся снопов). Очки его отлетели в сторону, сверкнув стеклами. Солдат достал широкий штык и отрезал у лежащего уши. Выколол ему глаза, потом приподнял аспиранта одной рукой за шкирку и бросил как котенка в пропасть. И довольно закричал.

Шкаф-матрос поймал вскочившего и попытавшегося удрать Пятнадцатилетнего Капитана, сгреб и обнял его мед-

вежким объятием, укусил его губы так, что кровь потекла по небритому подбородку, и тут же задушил несчастного огромными руками с вздувшимися хищной волной ногтями. Отрезал Дику Сэнду уши и нос и кинул обезображенный труп в пропасть.

Те, двое, в пыльных шлемах, вцепились как клещи в вопящих и отчаянно отбивающихся от них девушек. Повалили. Татарин — Оксану, а другой, с знакомым до боли лицом — Зухру. Грубо раздвинули им бедра, сорвали нижнюю одежду. После изнасилования татарин отрезал Оксане груди, а тот, другой, вспорол полумертвой Зухре живот. Трупы тоже побросали в пропасть.

Меня злодеи как будто и не видели.

Убийцы собрались в группу... глухо заговорили о чем-то... слились со скалой, пропали.

Я остался у камня один, в жутком черно-белом мире.

Ужас, однако, и не собирался прекращаться. И вот... мои друзья опять сидят вокруг костра. Появляются серые. Сцена насилия повторяется. Кто-то упрямо еще и еще раз прокручивал страшное кино.

Только когда кошмар повторился раз тридцать, я понял, что надо делать, и прыгнул в пропасть.

Мне показалось, что я лечу, а упругий воздух держит меня, как птицу, но через мгновение я увидел стремительно приближающиеся скалы и зажмурил глаза. Я слышал, как трещал мой ломающийся хребет, почувствовал, как из горла хлынула кровь и проткнутое ребром сердце перестало биться.

Во мне и вокруг меня разлилась, как молоко, белая тишина смерти.

...

Когда я очнулся — в холодном поту — мир вокруг меня опять был цветной, шумный и пахучий. Жарило оранжевое Солнце. На мое загорелое колено села большая янтарная стрекоза. Никаких красноармейцев рядом не было. Не было и следов крови на камнях. Не было почему-то и моих друзей.

Я все еще сидел там, у стены, рядом с камнем-зубом. Даже наш костерок не потух!

На камнях валялись — фотоаппарат, очки с треснувшими стеклами, расческа и два венка из желтых и синих цветов.

Я решил не психовать, по пещерам не бегать, а просто пойти назад, в Научный. И попытаться жить дальше так, как будто ничего не произошло. Может быть, это все какой-то безобразный розыгрыш? Ошибка воображения? Видение? Мираж? Или подсыпали мне злые девчонки какую-то снотворную гадость в воду? Или Капитан придумал какой-то дикий трюк?

Трюк?

Я заставил себя поглядеть с обрыва вниз, к счастью ничего страшного там не обнаружил и ушел с Тепе-Кермена, прихватив с собой камеру, очки, венки и расческу. Сориентировался и через два с половиной часа уже лежал на койке в своей одноместной норе в общежитии. Спрятал предметы в тумбочку, а венки повесил на гвоздь. Принял ледяной душ в грязной душевой. Поужинал, чем бог послал, закрыл глаза и терпеливо ждал, когда кто-нибудь из покинувших меня друзей придет и все расскажет, и мы посмеемся вместе. Никто, однако, не приходил.

...

Я вышел из своего укрытия поздним вечером и начал расспрашивать лениво бредущих к своим инструментам студентов о девочках, Капитане и Шигарове. На меня смотрели недоуменно. Позевывая, крутили пальцем у виска. Советовали меньше пить. Встретил на улице профессора Карабая, извинился и спросил, где — черт возьми! — его дочь, ее подруга, где сын профессора Троицкого и аспирант Шигаров. Привел его в свою каморку, показал ему очки, фотоаппарат, венки и расческу.

Карабай, слегка кривя рот, поморгал, скептически посмотрел на венки и произнес своей обычной скороговоркой с легким татарским акцентом: «Вы, Антон, переутомились. Может быть слишком долго на Солнце бегали? Очки это ваши, и расческа ваша, и ФЭД, насколько я знаю, ваш, вы с ним сюда приехали. Прекрасная камера, точная копия немецкой Лайки. Никакой дочери Зухры у меня нет и никогда не было. На нашей станции никогда не работал никакой Троицкий и не было тут никакого Максима-Капитана, а у меня никогда не было аспиранта по фамилии Шигаров. Вам наверно надо пропустить одну ночную вахту. В медпункт зайдите. И на блинк-компараторе денек не работайте. Полежите на койке,



почитайте что-нибудь или поспите. Помните, у нас на станции — сухой закон. Кстати... Вы случайно красных мухоморов не ели? Аманита мускария. Некоторые местные взяли моду. Галлюцинируют, а потом занятых людей от работы отвлекают. Ну мне пора, небо не ждет».

...

После этой отповеди я начал себя щипать, не помогло.

Вспомнил, что никогда не обедал у Карабая. Деловые разговоры мы вели только в лаборатории. И я действительно носил очки. Надпись на расческе была по-русски! Дорогому Антоше от бабушки и дедушки.

Может, у меня ангина и я в бреду? Или и вправду красный мухомор слопал?

Аманита мускария... любимая еда северных оленей и шаманов...

Да не ел я никаких мухоморов, что за вздор! И галлюцинаций у меня никогда не было. Да еще таких мерзких... красноармейцы... отрезанные уши.

Последней моей надеждой оставался фотоаппарат ФЭД.

Я осторожно перемотал кассету, вынул негатив, проявил и закрепил его в лаборатории. Высушил пленку. С судорожно бьющимся сердцем проверил — не засвечена ли. Нет, не засвечена. На всех кадрах — ландшафты, портреты, фигуры. Вот купола Обсерватории. Вид на Чатыр-Даг. Дорога на Тепе-Кермен. Пещеры... Церковь... Коллективный портрет... Кого? Не разберешь. Вроде нас. Девушки с венками на головах, сидящие у костра... Стена, тот самый камень... Отверстия в скале. Капитан с расческой... Аспирант в очках... Вот и проклятый матрос... Татарин... Безносый...

Господи, а это кто??!

Невыносимая правда открылась передо мной во всей своей чудовищной наготe!

Я узнал лицо того, кто истязал мою любимую.

## ДОМА

Путешествуя по дальним странам, я потерял счет дням и годам.

Когда почувствовал, что скоро потеряю и свое место в пространстве, испугался и поехал домой. В город, в котором когда-то жил.

Решил провести остаток жизни в своей старой квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома, облицованного голубоватым камнем.

Квартиру эту я оставил пустой. Продал перед отъездом и мебель, и живопись, и коллекцию мейсенского фарфора, и книги...

Не думал тогда о возвращении, о старости. Я был еще сравнительно молодым человеком, и меня неодолимо тянули к себе — загадочный город в горах Мачу-Пикчу, таинственные резные ступы Боробудура, гигантские улыбающиеся лица погруженного в нирвану Будды, оплетенные мощными корнями, в Ангкоре и солнечные и лунные пирамиды города богов Теотиукана. Еще больше будд и ступ тянули к себе пахнущие гвоздикой нежные женщины с Молуккских островов и темпераментные латиноамериканки.

Хотел было и квартиру продать, даже договорился с маклером о цене, но в последний момент передумал.

А потом... через много-много лет странной жизни, жизни туриста, сибарита, наблюдателя, когда глаза насытились экзотическими красотоми, нос устал от пряных ароматов, а тело изнемогло от наслаждений... начал вспоминать свою жизнь до отъезда... вспоминать мужчин и женщин, которых знал и любил в городе, давшем мне когда-то пристанище.

Думал о них и по дороге домой.

Перебирал как четки лица, тела, события, сцены. Качаясь в заполненных пестрым людом перуанских поездах, борясь с тошнотой в неудобном автобусе, поднимающемся и

спускающемся по бесконечным серпантинам боливийских Анд... и падая в воздушные ямы вместе с самолетом местных авиалиний Аргентины.

Полет из Буэнос-Айреса во Франкфурт проспал мертвым сном без сновидений.

Впрочем, перед тем, как проснуться, неожиданно увидел первую леди Америки Меланью Трамп. На арене цирка. Она очаровательно улыбнулась и скинула платье... послала мне воздушный поцелуй. А я достал толстый кнут и громко им щелкнул. Меланья заржала и побежала по кругу. Хорошенькая белая лошадка. С золотыми колокольчиками на гриве. Публика бешено заплодировала.

...

Квартиру я купил на гонорары от первой — в долгом ряду неудач — и последней моей коммерческой публикации. Написал триллер. С убийствами, похищениями, погонями, канныализмом, инцестом и двумя злодеями-близнецами, богачами и извращенцами. Знакомый кельнский издатель издал этот ужасный роман, рискуя собственными деньгами. Но не прогадал.

Ни один герой этого текста не был оригинален, ни один диалог не был живым, ни одна коллизия не возбуждала во мне гордого чувства авторства. Халтуру мою раскупили за неделю. Издатель настоятельно требовал продолжения.

Книги же, которые я писал годами, болтаясь и трепеща как флюгер в бурю на границе реальности и метафизики, книги, которые мне самому было интересно читать, не продавались вообще.

Когда я понял, что написал достаточно и начал повторяться, — забросил писанину и начал готовиться к отъезду.

Позаботился о том, что будет с моим жильем во время моего отсутствия. Отключил электричество и водоснабжение. Заключил долголетний договор с Немецким банком о регулярных переводах с моего счета налога на собственность, страховых взносов и ежемесячных платежей в солидарную кассу собственников квартир нашего дома. Господин Шмидт, мой литературный агент, согласился за небольшую плату раз в квартал заходить в квартиру и прове-

рять, все ли в порядке, а также следить за платежами и почтой. Я оставил ему пять тысяч франков — для доплаты в случае необходимости.

...

Город встретил меня знакомой суетой на перронах, розовыми огнями стерильной и уютной аптеки, оранжевыми и синими обложками комиксов на витрине книжного магазина, ленивой зевотой шоферов такси, изнывающих от безделья в длинной очереди машин на привокзальной площади, изрядно попорченным голубыми памятником борцам за что-то, давно позабытое человечеством, запахом жареных сосисок, сладкой горчицы и пива, источаемым киосками, в которых кроме сосисок и пива продавали картофельный салат, кока-колу и жареную колбасу, ревом моторов и ядовитыми выхлопами дизельных автомобилей, несмотря на многочисленные протесты зеленых, так и не запрещенных городскими властями, резко и громко каркающими воронами, похозяйски расхаживающими по тротуарам, и невыносимым скрежетом трамваев.

Силуэт города за время моего отсутствия изменился. В центре построили несколько импозантных небоскребов и сияющих разноцветными огнями торговых центров. Здания эти город не украсили, а превратили в пародию на давно навязший в зубах стереотип западного мегаполиса. Бесследно исчезли многие старинные одно- и двухэтажные дома, которые мне так нравились когда-то. На их месте появились современные бетонные здания, как будто пытающиеся новизной и дерзостью своих форм оправдаться перед кем-то за уничтожение прежней застройки, и в начале девяностых годов двадцатого века все еще сохранявшей приметы довоенного шика.

Прохожие... почему-то то и дело останавливались и подолгу смотрели на меня невыразительными немигающими глазами андроидов. Узнавали автора бестселлера? Вряд ли. Столько лет прошло... Скорее реагировали так на мой экзотический костюм в стиле «гуачо», который я приобрел в Аргентине лет пятнадцать назад. Широкие иссиня-черные штаны и сюртук с вышивками. И на перуанскую кожаную шляпу.

В самих фигурах обитателей города было что-то неприятное. Неживое. Что-то от неуклюжих кукол, имитаций человека. Были ли они уродливыми? Нет. Но они были предсказуемыми. Так же как и их лица, мнения и судьбы.

Люди не меняются за четверть века. Только стареют, дереveneют. Скрытая ненависть и зависть ко всему чужеземному, непонятному, необычному — была и осталась их сутью.

И среди этих людей ты хочешь доживать свою жизнь?

...

На прохожих старался больше не смотреть. Шел и по старой привычке фотографировал глазами все, что видел. Редкие лужи и отражающиеся в них огни, синеватый, почти враждебный свет высоких фонарей, мигающие рекламные вывески, как всегда слишком конкретные, без полета и таланта, фасады, напоминающие тяжелую артиллерию, пугающе крутые скаты крыш с маленькими окошками, из которых смотрели на мир мертвыми глазами глиняные кошки, слепящий, холодный свет фар...

Шел и слушал какофонию большого города, скрежет и лязг его зубов, его стоны и всхлипы.

Многое было мне незнакомо, непонятно... Например, зачем на улицах поставили розовые колонны? Их можно было потрогать, им можно было задать вопрос. Но могли ли они отвечать на вопросы? Не знаю. Выглядели они величественно, что-то было в них сакральное... но уважением среди местного населения они явно не пользовались. Я видел, как собаки поднимали на них лапу, а их хозяева им не мешали. Городские мальчишки плевали прямо в их неестественно улыбающиеся голографические лица. В одном из моих рассказов была такая колонна. Неужели?

...

Шел и отчаянно пытался понять, кто же я в этой неравнозначной паре — город и человек.

Какой я? Огромный, растянутый над городом до самых окраин пульсирующий пузырь, или только одинокий светлячок, ищущий безопасный цветок, чтобы напиться нектара и затем спрятаться под листиком?

Протекающая через город темная река или только камешек на ее берегу.

Какой, какой? Никакой.

В голове почему-то повторялась и повторялась фраза, которую когда-то слышал в телепередаче об одном затерянном в лесах канадском городе: «В сумерки медведи покидают лес, шныряют по улицам, прокрадываются во дворы многоэтажных домов и ищут корм в мусорных баках. Осенью они становятся опасными для человека».

В сумерки, в сумерки, в сумерки... Ищут, ищут, ищут. Медведи. Корм. Осенью.

Может быть и я — такое... вышедшее в осенние сумерки из глухой чащи собственной души, опасное для окружающих существо, давно потерявшее человеческий облик и превратившееся в гризли... Крадусь в ставший мне чужим мир. Мир бетона, выхлопных газов и неприветливых андроидов. Ищу свою старую берлогу.

...

Решил сделать небольшой крюк и пройти по улице красных фонарей.

Тут вроде бы ничего не изменилось. Полураздетые женщины все так же сидели в застекленных витринах и назойливо демонстрировали свои достоинства. Редкие любители продажной любви слонялись от одной витрины к другой и глазели.

Подошел к одной, заинтересовавшей меня даме.

Над красавицей-мулаткой горела красновато-лиловая неоновая надпись «Летиция знает, что ты хочешь, и давно ждет тебя, загадочный незнакомец».

Долго на нее пялился.

Вначале Летиция кокетничала, поправляла волосы, моргала длинными накладными ресницами, изгибалась как змея... затем положила ногу на ногу, подтянула чулки и застыла... вероятно решила, что я не клиент, а праздный зевака. Сморщила коралловые губы и презрительно посмотрела на мои дорогие узконосые ботинки из крокодиловой кожи. Выругалась по-испански и ушла во внутренние помещения борделя. А передо мной неожиданно возник хмурый охранник или сутенер в кожаной куртке с меховым воротником. Накаченный бугай с рыжей бородой и наколками на пальцах. Он веско посмотрел на меня большими, на выкате, как будто стеклянными глазами, и про-

бурчал металлическим басом: «Не хочешь заходить — ва-ли. Ты не на выставке собак. Не пугай девушек своей гнусной образиной».

Пока он говорил все это, в нем самом что-то трещало. Такой звук производили во времена моего детства заводные машинки.

Бугай провоцировал и оскорблял, потому что был уверен в том, что никаких шансов против него у меня не было. Он был на голову меня выше и раз в десять сильнее.

Полагалось ударить его в лицо кулаком. Он бы ловко схватил меня за кулак своей железобетонной лапой и раздавил его как гнилое яблоко, а затем повалил бы меня и начал бить ногами.

Ярость превратила меня в убийцу... не совсем настоящего. Я знал, что меня не накажут.

Осторожно вдел в кармане пальцы правой руки в стальной кастет с длинными кривыми шипами. Заточенными как лезвия. Не глядя на охранника, не спеша, вынул руку из кармана и неожиданно для него резко ударил его в живот. Шипы легко прошли сквозь его куртку и рубашку и вонзились в его спортивное тело.

Так же резко выдрал кастет из его туши... вместе с большим куском куртки и кровоточащей плоти. Охранник даже не завопил. Осел и пустил кровавые слюни. А я пошел дальше.

Никто не подбежал ко мне, не закричал, не вызвал полицию.

Перед тем, как покинуть улицу красных фонарей, я обернулся, посмотрел...

И не увидел ни лежащей фигуры охранника, ни мужчин, рассматривающих женщин в витринах. Витрины были закрыты листами фанеры, расписанными граффити, а двери борделей — заколочены досками. Некоторые домишки были давно снесены. Там, где они когда-то стояли — какие-то жуткие люди жгли костры и иступленно танцевали, уродливо дергаясь и свирепо рыча.

Это были каннибалы из моего триллера. И происшествие с охранником тоже было оттуда.

...

Вот и моя улица. Слава богу, дом на месте. Четыре моих окна недобро темнели в высоте.

Дверь в подъезд была заперта. Ага, список жильцов. Тут когда-то стояла и моя фамилия. Не смог прочитать ни одного имени. Размыто все...

Позвонил наугад. Никто не отозвался. Только собака где-то завыла. Протяжно и гадко.

Через несколько минут услышал приближающиеся тяжелые шаги.

Дверь открыла ужасно толстая старуха. Едва взглянув на меня, ушла к себе. Физиономия ее была похожа на лицо японского борца сумо. Я услышал, как она сопит и бормочет: «Тьфу, тьфу, нежить...»

Захотелось убраться отсюда... но идти мне было некуда. Денег в кармане не хватило бы даже на ночевку в дешевой гостинице, а провести ночь, сидя на корточках у костра рядом с танцующими каннибалами, мне не хотелось.

Пошел наверх.

Вот и моя старая дверь. Дубовая. С окошечками, застекленными ячеистым сиреневым стеклом. В одном из них был виден олень с солнцем между рогами. В другом — гном с длинной синей бородой.

Как и в стародавние времена, рядом с дверью, на позолоченной тумбочке, помещался горшок с неизвестным мне растением. То ли экзотическим кактусом, то ли редким видом алоэ. Машинально поискал ключ под горшком. Нашел!

Открыл дверь и вошел.

...

В коридоре было темно, сколько ни щелкал выключателем, свет не включался. Похоже, в квартире действительно никто не жил. Коридор выглядел таким, каким я его оставил. Пустым и пыльным.

Открыл на ощупь дверь в мою бывшую мастерскую. Через два огромных окна в нее лился синеватый свет фонарей. Бывшая мастерская тоже была пуста. Только на стенах ее как будто еще висели картины, которые я тут написал.

Не картины, а их эфирные тела...

Нет... нет, таких страшных чудищ я никогда не рисовал!

Полужабы-полускорпионы, смеющийся лошадиный череп на куриных ножках, гигантская бабочка с оскаленной пастью гиены...



От моего взгляда они стали сгущаться и превращаться в живые материальные тела. Выскочил из бывшей мастерской и закрыл за собой дверь. Услышал шип и царапанье когтей. Подпер дверь плечом, чтобы чудища не вырвались. Все стихло, как только я вспомнил, в каком рассказе я описал эту сцену.

...

Зашел в гостиную.

И тут тоже — перекрещенный свет фонарей. Цветные отблески от светофора на перекрестке. Гулкая пустота.

Вдруг... перед глазами побежали как испуганные косули призраки знакомых мне людей, видимо гостей, которых я тут принимал. Сотни. Сотни фигур. Никто из них не остановился, хотя бы на мгновение, не дал себя рассмотреть.

Призраки? Почему же я физически ощутил вызванное ими движение воздуха?

Вот, несколько фантомов окружили меня... показали мне свои бледные лица. Глаза закрыты, губы сжаты. Мертвые?

— Друзья, остановитесь, прошу...

Пропали. Только одно печальное женское лицо какое-то время еще висело в воздухе. Затем исчезло и оно.

Я был уверен, что знаю женщину, которой оно принадлежало. Да, я прожил с ней не один год. Ее зовут... Нет, не могу вспомнить. Но помню ее нежную податливую грудь, страстные глаза, короткие энергичные пальцы. Вспомнил, как крепко сплетались во время любви наши тела, как мы шалили и брызгались в Красном море, как гонялись за стрекозами на солнечных лужайках Саксонии и дурачились рядом с Железной девой в музее пыток в Ротенберге. Когда смотритель вышел в другую комнату, она уселась в специальное пыточное кресло, усыпанное шипами, а потом, дома, попросила меня зализать кровоточащие ранки. Шипы, впрочем, были не очень острые. Помнится, мы еще долго играли потом в инквизитора и еретичку... попеременно меняясь ролями.

— Кто ты, милая? Ты жива? Я забыл твое имя, прости... Как тебя зовут? Тильда? Сигрун? Откликнись.

Никто мне не ответил. Я слышал только приглушенный рев автомобилей с улицы. И еще — какой-то невнятный шепот или шум, доносившийся как бы ниоткуда. Похоже, его источник был в моей голове.

Неожиданно понял, почему я не смог вспомнить ее имя. У нее не было имени. Эта женщина была героиней одного из моих рассказов. В нем она ни разу не была названа по имени. И все эти «гости», бегущие через гостиную, не были ни призраками, ни воспоминаниями. Они тоже были моими литературными героями. Теми, которые много лет назад встали стеной между мной и живыми людьми. И винить в этом некого — эту стену выстроил я сам. И спрятался за ней в своем придуманном мире.

...

Из гостиной я отправился в спальню.

И тут же увидел свет под дверью. Значит, в спальне кто-то есть. Мурашки по коже. Еще одна встреча с самим собой. Вошел.

И сразу узнал... узнал шторы, большие абстрактные картины на стенах, тумбочки, торшеры, платяной шкаф орехового дерева, трельяж, узнал и свой красный диван, на котором проспал столько лет. Что он только ни видел и ни слышал, через какие любовные треугольники ни протащил меня, мой старый добрый коняга.

Диван был застелен. Под одеялом кто-то лежал...

Я еще не успел испугаться, как человек скинул с себя одеяло...

Это опять была проклятая Меланья Трамп. Что за наваждение? Об этой крале я точно никогда ничего не писал. Кто посылает ее ко мне? Зачем?

Меланья ловко перепрыгнула через меня как лошадь через барьер. Начала танцевать и кувыркаться как гимнастка. Запела куплеты на неизвестном мне славянском языке.

Я щелкнул кнутом и пригрозил ей. Она подошла ко мне и ласково пригласила меня лечь с ней на диван. Я подчинился.

Ее лицо во время полового акта несколько раз изменилось. Я вел себя грубо и несколько раз рычал на нее, когда она начинала слишком громко стонать. Когда подошел мой черед терять голову — она мне отомстила, превратилась в ту самую жирную старуху с лицом японского борца.

Проснулся я, сидя на полу в неудобной позе. Ноги так затекли, что я не смог встать.

Спальня была пуста и темна.

Шёпот в моей голове стал громче.

...

Не без труда нашел в коридоре ящик с пробками. Включил рубильники.

Оказалось, во всех комнатах и на кухне с потолка свисали лампочки на коротких проводах. В ванной комнате сохранилась моя старая настенная лампа в форме трилистника.

Покрутил водопроводные вентили. Из крана в умывальнике полилась горячая вода. Ура!

Умылся, вымыл лицо и руки. Сполоснул ванну.

Разделся и лег в горячую воду. Какое облегчение! Я дома.

Расслабился, закрыл глаза.

Открыл их через мгновение. Почти в полной темноте. Вылез из сухой ванны. Одетый.

Никакой лампы на стене в ванной комнате не было. На ее месте из стены вылезали два грязных обрывка провода.

Не было и лампочек под потолком. В квартире было темно, сыро и холодно. Ящик с пробками был пустым. В нем лежала сверху брюхом дохлая крыса. В голове ее была дырка, похоже, кто-то убил ее выстрелом из пневматической винтовки.

Знаю, знаю, кто.

Несмотря ни на что решил переночевать тут. А завтра попытаться поговорить с жильцами других квартир, зайти в мэрию, в банк, посетить Шмидта в его бюро и прояснить ситуацию.

Лег на пол. Холодно, неудобно, больно.

На стенах и на потолке начали показываться фосфоресцирующие в темноте морды демонов. Клыкастые, мохнатые, со свиными пяточками вместо носов, с отвратительными висячими ушами, как у собаки, рогатые. Они вылезали из стены, тянули ко мне свои когтистые лапы, норовили схватить и растерзать. Невдалеке закачался жуткий маятник с тяжелым закругленным острием на конце. Слева от меня зиял бездонный колодец, справа — алел раскаленный каменный шар.

Демоны схватили меня за плечи и поволокли к колодцу. Шар покотился за мной. Маятник свистел в нескольких сантиметрах от моей груди.

Я вынул кастет и попытался отбить им дьявольскую атаку. Махал, махал...

Но вдруг понял, что это не кастет, а расческа.

Я упал на дно колодца. Раскаленный шар придавил меня. Невыносимая боль пронзила мое тело.

...

Шепот в моей голове превратился в громкий крик. Что и кто кричал, я не понимал, но боялся, что от этого крика голова расколется на части.

Внезапно крик прекратился.

Я сидел на грязной койке в моей спальне. Пахло палеными перьями. У меня болела голова.

На табуретке стояла пустая бутылка Джека Дениелса.

Передо мной маячили — судебный исполнитель, господин Шмидт с протоколом в руках, двое полицейских, похожих на бугая-охранника, и та самая толстая старуха. В руках она держала свернутый в трубку журнал с большой фотографией первой леди США на обложке. Все они с презрением смотрели на меня. Господин Шмидт зачитывал мне выдержки из решения городского суда за номером таким-то.

...На основании вышеизложенного суд постановляет: выселить господина... из снятой им три года назад квартиры... за хроническую неуплату квартирной платы и коммунальных услуг и доведение жилплощади до антисанитарного состояния.

...мебель и другое имущество господина... будет продано с аукциона сегодня... в три часа дня. Выручка пойдет на ремонт и возмещение морального ущерба владелицы квартиры, госпожи... Непроданные лоты будут утилизированы.

...в связи с нежеланием господина... добровольно покинуть занимаемую им квартиру... и принимая во внимание его агрессивное, антисоциальное поведение... постановляю...

...

На меня надели наручники и вывели из дома, облицованного голубоватым камнем.

На знакомом перекрестке наручники сняли.

Я пошел, куда глаза глядят.

## НА ОЗЕРЕ

Не помню, как доехал до отеля «На Голубом Озере», помню только, что, несмотря на то, что номер с видом на водную гладь был заказан еще месяц назад, меня там как будто и не ждали, долго не хотели замечать, хотя я и стоял прямо перед ними, судачащими у длинной темной стойки, за которой размещался шкаф с ключами, похожий на соты... да, я стоял перед ними, единственный гость в огромном лобби, не защищенный ни одеждой, ни даже собственной кожей, не человек, а энергетический пузырь, пар... но все эти толстоносые и долгоспинные швейцары, портье, консьержи и пажи в противной неглаженной коричневой униформе с лампасами и в дурацких шапочках с кисточками... не видели меня своими треугольными глазами, не слушали тревожно вставшими островерхими ушами то, что я говорил, даже когда я перешел от обиды и волнения на повышенный тон и начал раздраженно жестикулировать и сыпать на мраморный пол розовые лепестки, смоченные слюной стрекозы.

Выдержав мучительно долгую паузу, они наконец меня заметили, или только показали вид, пошептались о чем-то, посматривая в мою сторону настороженно... напечатали на своем старомодном иголочном принтере какой-то документ, подписали его, дали подписать мне... я и не прочитал, что они там написали, моя руки тряслись... чернила в ручке давно высохли... но я не растерялся, а подписал по-сухому... воздухом.

Главный администратор долго вертел документ в руках, нюхал зачем-то мою подпись... он явно тянул время... изо всех сил сопротивлялся неизбежному, ни за что не хотел давать мне ключ, вручение мне ключа по-видимому противоречило каким-то его убеждениям... он явно был шовинистом-консерватором, этот упрямый костлявый старик... его украшенные белесыми ресницами тускло как у жабы мер-

цающие глаза постоянно закрывались, он зевал, ронял голову на грудь, засыпал и начинал храпеть... его косматые брови грозно хмурились, чёлка вздымалась, невероятно длинная жилистая шея краснела, а уродливые трехпалые руки сжимались в кулаки...

Назевавшись вволю, он все-таки протянул ключ от комнаты 332, но неохотно, как бы и не мне, а непонятно кому, находящемуся в смежном со мной пространстве. Я принял ключ третьей рукой и побрел к лифтам.

Бесшумно открылись широкие черные металлические двери. Я вошел в лифт и очутился в зеркальном зале. С трех сторон на меня глядела оптическая бесконечность. Казалось, что в ее темных недрах шевелятся какие-то допотопные твари, только и ожидающие сигнала от руководства отеля — легкого кивка, взмаха ресниц, криканья или покашливания — чтобы наброситься на ни в чем не повинного гостя и разодрать его в клочки.

Вышел из лифта, попал в коридор-лабиринт. Указателя не было. Комнату 332 я должен был найти сам. Решил идти по коридору с закрытыми глазами, в надежде, что комната сама найдет меня, притянет к себе.

Как редко сбываются наши мечты! Я бродил по третьему этажу отеля уже полчаса, но никаких чудес не происходило, я никого не встретил, не слышал ни человеческого разговора, ни радио... ничего. Лабиринт был пуст, а Минотавр мертв.

Чудо, однако, все-таки произошло. Открыв глаза, я увидел, что стою между комнатами 331 и 333. Там, где должна была быть дверь в мою комнату, зияла своей брутальностью неровная свежеразкрашенная стена.

Я начал размышлять и пришел к выводу, что злокозненный администратор приказал забетонировать вход в мою комнату, а пока его рабочие работали, он отвлекал меня своим храпом и птичьими лапами. Возможно, где-то тут установлена видеочкамера, и вся эта банда в лампасах жадно наблюдает за тем, как я мучаюсь, и зубоскалит.

— Вы только посмотрите на этого толстого идиота, на этот мыльный пузырь. Ну и осел! Комнату найти не может, сейчас караул закричит или описается! Заблудился в трех со-

снах! Ха-ха, ключик есть, а дверочки-то и нет! Что, съел гнилой орешек, теперь корчись, цепеней и вой! У нас отель для приличных людей, а не для выходцев с того света. Ньюни можешь распускать в своем склепе, ты ходячая прокисшая кулебяка... Проклятый зомби. Смотрите, смотрите, он достал ключ и тычет им как слепой в стену!

...

Не знаю, как, но через несколько минут я оказался в комнате 332.

Разложил свои пожитки на полках гигантского шкафа. Заглянул в туалет. Принял душ. И лег в кровать, на свежую белую простыню. Закрыл глаза и попытался забыться.

Одна, сверлящая мысль не давала мне покоя. Зачем я приехал сюда, в этот негостеприимный отель. Что я тут делаю? Какого черта, господа? Ведь я терпеть не могу отелей, ресторанов, кинотеатров, вообще мест, куда люди неизвестно зачем приезжают или приходят для того, чтобы делать что-либо вместе. Я индивидуалист и мизантроп. Ненавижу государство, толпу, общество, коллектив, даже застолье вчетвером терпеть не могу. Эти бессмысленные разговоры... Высосанные из пальца дискуссии... Многозначительные паузы... Вымученные гримасы, жевание, ковыряние в зубах, вздохи. Самовозгонка скуки.

Отель — родной брат тюрьмы. Казарма.

Коридоры. Номера. Зевающие постояльцы, торжественно направляющиеся в ресторан. Тошнотворный запах чужой жизни.

Что я тут забыл?

Ага. Кажется, вспомнил.

Я тут не для отдыха... и не по доброй воле. Я сюда убежал, скрылся... от ремонта в нашей квартире, который затеяла моя деятельная и деловая умница-жена.

Да, пожалуй, еще больше чем отели я ненавижу ремонты. Эти вечные подготовки к жизни. Самооправдание не умеющих жить, хлопотливых энтузиастов. Кафель видите ли сидит не твердо. А что на этой планете сидит твердо? Ничего. Все качается, разбалтывается, размягчается, прееет, покрывается плесенью, гниет, отваливается, превращается в хлам, в руины. И исчезает. Наш мир — это оргия исчезновения, три-

умф никому не нужного хлама. И вечны в нем только чисто-плюю-энтузиасты, затевающие ремонты, реформы, перестройки.

Бороться с женой я не стал. Поспорили, поругались, чуть не подрались... и я отступил.

Жена зачитала приговор: «Поживешь в гостинице недельку или две, погуляешь по сосновому лесу, насладишься природой. Разгонишь кровь. А то ты тут совсем упрел. Пере-стал быть человеком, превратился в шар. Вечно сидишь сид-нем за своим компьютером. А жизнь течет себе где-то там. Может быть даже похудеешь. А я останусь тут — присмотрю за рабочими».

Жена же и заказала по телефону номер в гостинице не-далеко от Берлина. Сегодня в восемь должны были прийти рабочие, поэтому я выехал из дома полвосьмого. Автобус, с-бан, еще автобус... и вот я тут, лежу на двуспальной кровати и смотрю на нечистый потолок, покрытый синеватыми сле-дами убитых кем-то насекомых, налетающих вечером на ого-нек. Пытаюсь захватить мыслью побольше времени и про-странства и выжать их как спелую гроздь винограда — в мои воспаленные мозги, чтобы найти хоть какую-то спаситель-ную мотивацию, хоть какое-то желание что-то делать, со-вершить хоть какой-то поступок... Но пространство в отеле омертвело, а время — остановилось, сколько их не сжимай — ни капли смысла не выдюжишь... И я лежу и не знаю, что думать, делать, как, зачем...

Сам себе преграда, огорчение, мука.

И машинально начинаю уничижать самого себя, пинаю себя ногами, жгу себя на костре, распинаю на кресте... но все напрасно. Тело неподвижно, комната застыла как будто в обмороке, кровать подо мной горяча как костер, и только потолок своими синеватыми следами убийства свидетельст-вует — если будешь стремиться к свету, ты, глупенький мо-тылек, то тебя разотрут, уничтожат, превратят в синеватый след, подтек, в отвратительное пятно поклонники чистоты и порядка.

Тут мне на ум пришла спасительная формула — надо погулять, пройтись вдоль озера, довериться природе. Потому что сам-то ты уже давно не можешь себя спасти. И каждое



твое трепыхание только погружает тебя глубже в трясины жизни. Что же, повисни на деревьях, обопрись о голубую водичку, одурмань себя чистым воздухом, покачайся на качелях бодрой походки... может быть, и полегчает.

...

В лобби никого не было, кроме консьержа, миловидного молодого блондина. Он демонстративно заинтересованно возился с какими-то бумагами. Не сразу и неохотно, но поднял голову в ответ на мой «гутентаг».

Я подал ему ключ и посмотрел ему в глаза. Обнаружил в них то, что и ожидал — беспросветный эгоизм бюргера, профессиональное равнодушие к судьбе других людей, скуку и тошноту существования. И порок, готовность отдаться за деньги. Блондин мгновенно понял, что разоблачен, но это — и тоже по профессиональной привычке — его не расстроило, а скорее обрадовало. Для того чтобы подсесть клюнувшую рыбку, он бросил на меня один из специально подготовленных на подобные случаи взглядов. Наглый и темный. Так смотрит на гусеницу оса, прежде чем оседлать ее и вонзить в нее жало. Взгляд его, однако, не был достаточно острым, скорее это был томный знак согласия. Многообещающий взгляд.

Сидящий во мне дьявол чуть не заставил меня спросить: «Сколько за час?»

А перед глазами, как запыхавшиеся олени, пробежали картинки-ощущения. Капельки пота на загорелых плечах. Упругий захват юных ягодич. Конвульсия боли на узких, искусанных, слегка напомаженных черной помадой губах во время оргазма...

Увы, мне пришлось разочаровать мальчика, я пожелал ему хорошего дня и вышел из отеля через задний вход. Направился к озеру, по обыкновению посмеиваясь над самим собой.

— Даже в своих интимнейших желаниях, ты всего лишь пародия. Не человек, а коллаж. Напластование чужих смыслов. Посмотри еще раз на эту десять секунд длящуюся сцену. Ты ведь и не собирался как-то приближаться к этому вульгарному провинциальному блондинчику. Покупать его, спариваться с ним... Брррр... Ты ведь и не гомик вовсе. От-

куда же эти милые картинки? Капельки пота... Откуда это извечное раздвоение? Ведь ты сразу, как только увидел этого кинеда, представил себе Сомнабулу Чезаре из любимого фильма. Это его темные томные глаза и узкие губы разожгли тебя, а вовсе не гостиничный блондинчик. И ты тут же превратился в доктора Калигари, безумного психиатра, повелителя Сомнабулы. Но скорый пассажирский поезд мгновенно увез от тебя их обоих. Ты и сейчас слышишь его нетерпеливые гудки. И ты возвратился в себя. В непонятно что. В облако, в наполненный паром шар. И все это приключение длилось лишь мгновение. И из тысяч таких мгновений состоит твоя жизнь... куда только тебя не бросало, кем только ты не был. Какие безумства ты бы совершил, если бы не спасительный поезд? И эти прыжки в чужие сущности никогда не тормозили твоего погружения в бездну, только ускоряли его. Впрочем, там, где ты находишься, там, где проходит твое настоящее бытие, нет ни низа, ни верха. Нет ни завтра, ни вчера. И падение невозможно отличить от взлета.

...

Вышел на буковую аллею, разбитую вдоль озера и ведущую к Ф.

Прошел метров двести и присел на лавочку. Хотел помечтать, наслаждаясь шелестом листьев и ветерком с озера. И вдруг — увидел эту женщину. Она стояла рядом с огромным раздвоенным стволом двухсотлетнего бука. Красивая, высокая, нагая. Рыжеволосая. Одной рукой прикрывала пышную грудь, другой — рыжий же кудрявый лобок. Она была явно обескуражена, поражена, испугана. Не моим присутствием. Чем-то другим. Я оглянулся. Все вокруг нас было спокойно, идилично. Яростное августовское солнце еще не начало жечь, буковая аллея радовала своей классичностью, озеро, голубеющее по правую руку от меня, плескалось себе крохотными игрушечными волнами... Никого вокруг нас не было, только птички щебетали, да синие стрекозы-проказницы чертили в пространстве свои зигзаги-иероглифы. Деревья кряхтели, небесная голубизна похрустывала возникающими и пропадающими в ней экзотическими частицами, воздух весело пах соснами, теснившими буки со стороны шоссе.

— Могу ли я вам как-то помочь?

Произнося это, я старался не смотреть на нее, чтобы еще сильнее не смутить. Немецкие слова выговаривал как мог мягко, доверительно. Хотя мой разнузданный дьявол шептал мне: «Что ты с ней разговоры разговариваешь, фетюк? Снимай штаны и вмажь ей промеж ляжек. Пусть визжит и бьется под тобой, тебе только приятнее будет ее молотить. Ты думаешь, она для чего тут голая по лесу прыгает? Мужчину ловит. Все они одним миром мазаны».

А доктор Калигари, растянув рот в омерзительной улыбке, весьма недвусмысленно подмигивал и кивал.

На сей раз я сурово расправился с охальниками. Дьявол полетел со сломанными рогами прямо в озеро, смиренно его поглотившее, а доктор получил под зад. Оба на время затихли.

Голая рыжая на мои слова никак не отреагировала. Я повторил вопрос по-английски. Она прислушалась и затараторила, как сорока. Я ничего не понял кроме слова «Вайоминг». Стянул с себя свою оранжевую футболку и подал ей... она тут же ее на себя натянула. Получилось как бы короткое платье. Закрывающее, однако, то, что следовало закрыть.

Такая одежда очень ей шла. Футболка гармонировала с ее огненной шевелюрой и золотистым лаком на ногтях. Стройные ее ноги сверкали на солнце. Зеленые зрочки напоминали круглые изумруды.

Я пригласил ее присесть на лавочку, попросил ее говорить медленнее и проще.

— Где мы?

— Недалеко от Берлина.

— В Европе?

— Ну да.

— Это невозможно. Еще пять минут назад я находилась в Вайоминге. В пяти милях от Чертовой башни. Мы собирались завтра утром влезть на нее. Мы с мужем путешествуем по Америке в переделанном автофургоне. У нас есть там кухня, спальня, телевизор. Засиделись у костра далеко за полночь. Я как раз хотела принять душ перед

сном. Вошла в кабинку... и вдруг очутилась тут у вас, на этой аллее. С ума можно сойти! Такого не бывает, видимо я сплю, и все это мне снится.

— Скорее уж это вы мне снится.

— И главное, я не знаю, что же мне теперь делать.

— Постарайтесь не просыпаться еще несколько минут. Мне так приятно беседовать с вами, я, знаете ли, очень одинок после смерти жены. А вы так красивы, так загадочны и обаятельны... Смахиваете немного на Джейн в исполнении Лил Даговер. Может быть, я Франц, и вы моя невеста? Позвольте мне поцеловать вас на прощенье?

Произнося последние фразы, я уже знал, что моей чудесной собеседницы нет рядом со мной. Она исчезла, перенеслась назад, в Вайоминг, и сейчас, наверное, радостно подставляет милое веснушчатое лицо под струю теплой воды в крохотной душевой кабинке своего автофургона, стараясь поскорее смыть воспоминание о странном событии, вклинившемся, ни с того, ни с сего в ее размеренную здоровую американскую жизнь. И яростно намыливает свои тяжелые рыжие космы.

Я уселся на своей лавочке поудобнее, расслабился и постарался погрузиться в блаженную прострацию и опять забыть о смерти жены, о мучительных похоронах, о безобразной судебной тяжбе и о неумолимо надвигающейся развязке моей нелепой жизни.

Закрыл глаза... и почувствовал, как стрекозы кладут на мои воспаленные веки лепестки чайных роз.

## ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Рядом с огромным зданием Государственной Типографии, похожим то ли на Лубянку в Нью-Йорке, то ли на Рокфеллеровский Центр в Москве, на которой день и ночь неутомимые греи печатали денежные знаки Зодиака, стояла небольшая деревянная избушка. Или домик. Одной стеной домик примыкал к Типографии. Сверху он выглядел как детский кубик, приклеенный к чемодану десятиметровой высоты.

Сторожка? Сарайчик? Будка театрала?

От вибрации ротационных машин будка подрагивала и подрыгивала, крыша ее неприятно покачивалась, а внутри ее был постоянно слышен гул и скрежет адской денежной мельницы капитализма.

Лино звал единственную комнатку этого домика-будки, помещение с унизительно низким и непонятно зачем высоким потолком, — каптеркой, потому что на трех ее стенах висели книжные полки Машкова, заставленные не книгами, а каким-то старым и пыльным военно-гражданско-оборонным барахлом.

Сапоги. Гимнастерки. Фронтальные подштанники. Пустые кобуры Макарова. Денежные автоматы с продырявленными дулами. Катюши и Машки. Учебные гранаты с перевала Дятлова. Противогазы дяди Сережи из Свердловска. Миги и фантомы ускользящей реальности. Дозиметры черныбыльские обыкновенные. Вещевые мешки Лукашенко. Гаубицы и танки бледной моли.

Все это воняло допотопной пластмассой, гниющей кожей, резиной и реакцией.

В сапогах и противогасах жили телефоны-мастигопроктусы и сольпуги, называемые также фалангами, которых Лино безуспешно пытался давить ногами и ресницами. Что эти несчастные насекомые в каптерке ели, когда и где спали, где они заряжали свои мобильники, все это ос-

тавалось загадкой и для Лино и для его напарника-орангутанга, Верзила-Бобби, который хватал когтищами мастигопроктусов за их мощные педипальпы и, невзирая на струйки уксусной кислоты, которыми отчаявшиеся насекомые прыскали в его круглую усатую образину, разрывал их тела своими лошадиными зубищами и жрал их, воинственно чавкая и борясь за мир во всем мире. Бобби был по национальности корейцем, но Лино он почему-то представлялся монголом-завоевателем. Современным Чингисханом. Вот Бобби вытаскивает свою кривую шашку и на всем скаку отрубает голову убегающему русскому блондину-подмастерью. Блондин бежит дальше без головы. Ему так легче. А вот сидит в синей шелковой палатке и принимает от различных народов дань — арбузы и тугрики. По его усам течет хмельная брага успеха.

Родители Лино были древними греками. Младенцем его унес орел, оказавшийся на поверку чужой манифестацией. Кажется, орел все-таки разодрал его на части, которые пришлось склеивать с помощью минеральной воды.

Четвертая, замызганная и темная, стена каптерки была украшена портретами Фрэнка Синатры в шляпе и генсека Черненко в гоголевской шинели, а также крохотным оконцем, из которого открывался удивительный вид на батальонный двор, заваленный ржавыми канистрами с потрохами убиенных младенцев и отработавшими свой век типографскими прессами. Между ужасными этими машинами шныряли худые пегие собаки, похожие на енотов. Или на бобров. Или на сусликов. Нет, пожалуй все-таки на бобров. Нет, на енотов. И это окончательно и обжалованию не подлежит. Как захоронение в Кремлевской Стене.

Однажды Верзила-Бобби поймал одну енотовидную сучку на панели. Как же она сопротивлялась! Как пела... что твоя канарейка! Царапалась и орала благим матом, партизанка фуева. Притащил ее в каптерку. И давай...

Верзила чесал ее шерстистой головкой свои небритые щеки... нюхал ее партийную промежность и лизал своим длинным лиловым языком с желтыми крапинами ее живот. Потом Бобби отвернулся вместе со своей трясущейся добычей к стене... как-то странно заёрзал и замычал... и Лино услышал тоскливый вой и захлебывающийся скулящий лай

насилуемого животного. А потом собака непристойно завизжала и захохотала как диктор центрального телевидения и упорхнула в Японию, как сибирские сепаратисты.

Подоконник, рамы и небольшая форточка так заросли грязью и похотью, что никому и в голову бы не пришло это оконце открывать. В каптерке Лино было душно, но тепло и привычно. К диким выходкам своего соседа он относился терпимо. Лино, хоть и терпеть не мог насилие, но еще в юности перестал осуждать и себя и остальное человечество за все творимые на нашей скучной планете гадости. Человек, как и орангутанг, — грязное подлое животное, готовое убивать и мучить своих близких и далеких, — говорил он сам себе, — и ты точно такой же. Все зависит только от воспитания, погоды, исторических обстоятельств и от политики номенклатуры.

И горечь этой полуправды не отравляла ему жизнь, а помогала замыкаться в себе и познавать свою природу.

В этой же стене была вонючая дверь, обитая жестью и пахнущая благовониями.

Тяжелую эту дверь украшал старинный медный замок на Луаре, уже, наверное, пять столетий как сломанный. Вмятины и царапины на его позеленевших боках доказывали, что не одно поколение обитателей каптерки пыталось этот замок открыть без ключа и без ветрил или выдрать его из двери как зуб мудрости. Но безуспешно, господа, безуспешно.

Ручки у двери не было, открыть ее было не легко. Для этого приходилось, ломая ногти, скрести ее занозистую боковую сторону. Поддевать ее за бретельки от бюстгальтера. Дверь при этом звенела, что твой колокольчик на молодецких плечах. И трясла спелыми средневековыми грудями.

Лино обычно мучился минут двадцать, прежде чем ему удавалось открыть проклятую дверь. Верзила-Бобби сидел в это время на своем стуле как Чингисхан на троне и демонстративно отрешенно смотрел в никуда, на кончик своего голубоватого носа. Казалось, он не замечал мучений Лино, не замечал вообще ничего, был глубоко погружен в себя. Но Лино знал, что никакой «глубины» в обезьяньей душе Верзилы нет, нет и самой души, и его отрешенность всякий раз была только маской Герострата, которую Верзила-Бобби охотно надевал для того, чтобы мирно и всласть подревать.

Выходить на двор было необходимо, потому что в каптерке не было туалета. А во дворе туалет был — общий, грязный, на полтора очка. Пользовались им не только Лино и Верзила-Бобби, но и шоферы привозящих в Типографию бумагу и краски грузовиков и охранники специальных бронемашин, увозящих из Типографии товар — сотни тысяч упакованных в целлофан банкнот в громоздких контейнерах.

Брезгливые греи этот полуторный дворовый туалет обходили стороной. Для них был построен специальный супер-сортир в форме летающей тарелки, снабженный антигравитационным насосом. Он висел в сотне метров над крышей типографии и греи карабкались на него по канатам.

Один раз денежный контейнер сорвался с металлического крючка из-за неловкого движения руки крановщицы и упал на асфальт. Раскрылся. Несколько пачек тысячных банкнот выпали из него и позорно убежали с места действия. Одна из них от удара взорвалась как хлопушка во дворце Фридриха Великого.

Во дворе как персиковые голуби залетали деньги. Лино заметил, что в обычно ничего не выражающих, пустых и наполненных различными смыслами и ожиданиями глазах Верзилы-Бобби, загорелись и замерцали звезды... Большая Медведица и Южный Крест.

Верзила зевнул, и из его пасти вылетела галактика Андромеды. И все из-за денег!

При приеме на работу начальник, коротконогий, обрюзгший и лысый, но очень деловой господин Пратт, сказал Лино, подхихикивая ноздрями и голеньями и показывая три сотни маленьких, почерневших от курения зубов: «Прежде наш Бобби занимался грабежом банков. Несколько лет ему это сходило с рук. Затем он попался. Загремел в тюрьму. Со следователями был груб. Не хотел выдавать зачинщиков. Так и не сказал, где они спрятали добычу. Был направлен за это на курс интенсивной гипнотерапии профессора Касперского, сопровождающийся лечением электрошоком. После третьего сеанса все понял, осознал свою вину и исправился. Выступил на митинге в защиту Стивена Кинга. Показал тайник в тридцати километрах от города, на страусиной ферме, в заброшенном киоске, где раньше торговали куриными яйцами и перьями экзотических птиц. И имена сообщников



выдал. Нацарапал клинописью на берестяной грамоте. И положил в лучевой короб. Вышел из тюрьмы за три года до окончания срока президентства Клинтона. Из-за примерно-го поведения на фронтах Гражданской. Поэтому мы его и взяли в сторожа... как специалиста так сказать... по изготовлению яблочного джема и традиционного японского супа из головастиков... хм-хм... Говорят, в тюрьме его лоботомировали раскаленным металлическим прутом энтузиасты-сокамерники и использовали позже как пассивного педераста-застрельщика. Тем лучше. Потому что он потерял волю к жизни и способность к сопротивлению коммунистическому режиму. Возможно, до вас долетели слухи, что прежнего напарника Бобби, Соломона Боне, нашли на дворе Типографии мертвым, с перерезанным горлом... К тому же его жестоко изнасиловали безотносительно к вышесказанному... Да-с. Но вы не бойтесь котов и дирижаблей, Бобби — монгол смиренный, он на такое черное дело не способен, и, хотя виновные в этом тяжком преступлении так и не будут найдены, руководство полагает, это были румынские мстители-инкассаторы, задумавшие кражу невинности... вспомните нашумевший случай с Люсиль К., посещавшей школу для посольских детей в Шварцвальде... возможно уличенные или шантажированные Боне. Покойник был и хитер, и жаден, и недалек. Вот его и умучили. А может быть, он перехитрил самого себя. Так часто бывает в мире финансистов и фрилансеров».

Пол в каптерке был яшмовый. Утоптанная земля была покрыта слоем пыли и трухи, которая когда-то была свежей еловой стружкой на подвенечном одре с вуалью. Стружка эта или труха пахла почему-то болотной тиной и марципанами. Ночью она флуоресцировала как сестрорецкий планктон. Лино это нравилось. Он часто не спал по ночам, смотрел на волшебный мерцающий свет на полу и представлял, что плывет на кораблике в Тихом Океане и наслаждается простором и свежим ветром перемен. Считал огоньки и слони-ков, и потихоньку напевал песенку про Фанданго Харума.

Освещала каптерку единственная лампочка накаливания, свисающая с середины темного потолка на старом и жухлом двойном шнуре. Лино не раз представлял себе... как он или она взбирается на стул, осторожно вывинчивает лампочку с шуршащей никелевой спиралью и кладет ее в кар-

ман штанов, аккуратно делает петлю, продевает в нее голову... прощается с жизнью и показывает пылающим небесам язык... и опрокидывает неловким движением ноги Алюминиевый стул с треснувшей деревянной спинкой, на которой была довольно реалистично нарисована шариковой ручкой сцена совокупления коня и толстенной негритянки-трехмоторки, а после... не корчится в агонии и экстазе, а обрушивается всей своей неловкой коровьей тушей на пол... лампочка лопается в его кармане и режет его стальное бедро... и он сидит на грязном полу... обсыпанный штукатуркой вечности, с выдравшимся из потолка обрывком двойного шнура на верблюжьей шее... с вывихнутой лодыжкой Иакова, порезанным бедром и с дикой головной болью... вынужденный продолжать свою прогорклую, бессмысленную и такую сладкую жизнь. Представлял себе, как тупо и равнодушно смотрит на него Верзила-Бобби и сплевывает в угол... а потом вскакивает и гонится за поблескивающим металлическими клешнями мастигопроктусом... настигает его... и долго рассматривает его мохнатое брюшко перед тем как всунуть в пасть и смачно разгрызть.

Убирайся к черту, подонок, — истошно, но беззвучно кричит Лино самому себе и всему прогрессивному человечеству, но успокаивается в бедламе собственных мыслей.

Поначалу Лино работал так — четверо суток в каптерке, неделю дома, месяц — на средиземноморском побережье Португалии и еще полчаса в горах заснеженной Мальты.

Но дома у него было нехорошо. Пусто, одиноко, не прибрано. Кошки стонали, ежики выпили все молоко, отопление не работало. Электричество уже год, как было отключено за неуплату ипотеки. Соседи казались Лино безобразными чудовищами, человеко-тараканами. Подъезд наводил на него ужас своими москитами и сталактитами.

Родные Лино перемерли и разъехались. Мертвые были вечно заняты, а уехавшие дружно потеряли адреса его электронной почты. Друзья уже много лет как исчезли в космических даях. Сидят себе в зарослях можжевельника на спутнике Сатурна и в ус не дуют.

Любимой женщины у Лино лет десять как не было. Последняя умерла в городской больнице от воспаления легких три недели назад. Лино рыдал два дня, еще день смеялся, а

потом затих, ушел в себя с головой, да так из себя и не вышел. Не смог даже заставить себя пойти на ее похороны. Несмотря на то, что она так звала. Пончики приготовила с брусничным вареньем и вальтовым мясом и салат из косточек бегемота с трюфелями. Специально ездила в зоопарк.

И сейчас... после стольких лет одиночества... он забыл ее лицо, забыл и ее имя. Забыл даже запах ее... Забыл лица матери и отца... жен, и детей. Не помнил даже то, что они когда-то существовали, и любили его, и он любил их... в его душе не звучало эхо от этой любви... не светили теплые лучи гиперболоида... он все забыл и похерил.

Будущего у него не было, только настырно длящееся настоящее, черная материя и другие измерения.

Лино едва уговорил ломаку Пратта позволить ему неделю проводить в каптерке, а четверо суток дома. Пратт позволил, но без увеличения квартплаты.

А затем... Лино решил больше никогда не возвращаться домой и не посещать веселых вечеринок, от которых никакого толку не было, и остался в каптерке навсегда.

Годы потянулись за годами... два вперед и три назад... и он постепенно забыл и о доме, новые хозяева которого давно сожгли его пожитки и его потасканную мумию, продали его книги и картины... и если бы его выгнали из каптерки, Лино не смог бы найти дорогу к храму Хомы, заросшую бурьяном и терниями.

Верзила-Бобби тоже не имел другого пристанища. Визу в Татаро-Монголию ему закрыли еще месяц назад.

Так они и жили-сторожили. Лино все пытался поймать фалангу, а Бобби ловил и пожирал казенных мастигопроктусов. На календарь они и не глядели. Электроникой не пользовались. Окружающий мир был им безразличен. И друг другу они не мешали. Днем сидели на стульях, смотрели в окошко, а ночью спали на койках в разных углах каптерки. Азия дремала, а Европа не чуяла беды.

Раз в две недели скряга Пратт давал им ключ от душевой кабины для шоферов. Заставлял их мыть посуду после совместного обеда членов правления Типографии. Тарелочки звяк-звяк-звяк и капут...

Умывались и чистили зубы они во дворе, там был кран, из которого текла чистая морская вода. А утекала вода в пре-

сную решетку под краном. Воду кипятили — на воняющем керосином примусе, стоящем на маленьком столике под окном, там же Лино готовил себе бутерброды из купленных в типографском ларьке хлеба и колбасы. Делился этой нехитрой стряпней с Верзилой-Бобби. Верзила неохотно брал бутерброд, откусывал от него кусок и мгновенно глотал, не жуя. И никогда не благодарил Лино или вышестоящих товарищей. Говорить Верзила по-видимому в каптерке разучился... или никогда не умел... Лино впрочем и не хотел с ним разговаривать. Хотел высунуть навсегда свой родной язык, выкинуть наконец из головы осточертевшие слова, заменить их танцующими кроликами, крепенькими орешками.

Однажды ночью Верзила-Бобби неожиданно заквакал. Громко и ясно как день.

Он несколько раз повторил: «В ту ночь Александру приснилось жемчужное ожерелье. Квак-квак-квак!»

Не спящий Лино, считающий кузнечиков на своем животе, был так ошарашен, что не сразу понял, что Верзила имеет в виду. А когда понял, спросил, с трудом припоминая и соединяя слова: «О чем это ты, Бобби? Какому Александру приснилось? Македонскому, что ли? Или императору все-российскому? Королю Шотландии? Или брату Молона?»

Верзила продолжил: «Будто идет он по песчаному пляжу. Идет и идет, и вдруг видит жемчужное ожерелье. На песке валяется. Жемчуга — в три ряда. И бриллиантовая застужка. А рядом с ним сидит тетушка Петуния в шезлонге, пьет как всегда после обеда свой Арманьяк. Тетушка Петуния спрашивает Александра: «Ты не знаешь, дорогой кузен, сколько лет я тут сижу? Александр отвечает: Ты сидишь тут с тех самых пор, как ты умерла в своем задрипанном шато, а я украл у тебя, мертвой, это жемчужное ожерелье».

Бобби проснулся и, подавленный перипетиями судьбы, больше ничего не говорил. Только искал глазами мастигопроктуса пожирнее.

А Лино упал в объятия пьяной вакханки и успокоился. И даже не кричал больше по ночам: «Хочу, чтобы все было как раньше! Тритатушки тритата».

## ПРИНЦЕССА

И сладко жизни быстротечной  
Над нами пролетала тень

*Тютчев*

По радио объявили, что Бокассу свергли, а меня на картошку от нашей лаборатории послали.

Шеф вызвал к себе полпятого. Сказал:

— Ты самый молодой и здоровый, вот ты и поедешь завтра в Звенигород. Найдешь пионерлагерь «Юный мичуринец». Там обратишься к Окунькову. Автобусом минут десять от станции. Разберешься. Я пытался на совещании у Ашатура отбазариться, тянул сколько мог, но из ректората бумага пришла железная — от каждой лаборатории двоих сотрудников в колхоз. Я смог второго отбить. Поедешь один. Ничего, недельку свежим воздухом подышишь. Может, новые идеи в голову придут.

Когда шеф кого-то к чему-то принуждал, на его серых угрястых висках наливались кровью волевые жилки, похожие на красные сопротивления. Уши багровели. Глаза яростно выпучивались. Фигура напрягалась, как будто он к прыжку готовился. А складки нижней части его лица и вовсе превращали его в бульдога. Казалось, сейчас он зарычит и вцепится клыками в ногу.

Я не возражал этому агрессивному старому маразматичку. Что толку артачиться — все равно пошлют, если решили. Сам виноват.

В чем виноват?

Да в том. Что не только родился тут, в этом собачьем дерьме, но и выучился в их дегенеративной школе, закончил этот сталинский змеюшник — МГУ, и работаю теперь на них в этом долбанном институте, как последняя скотина.

Поконкретнее, пожалуйста. В чем же ты все-таки виноват?

Поконкретнее? Виноват в том, что побоялся даже начать процедуру отъезда. Лежит дома эта ксива, приглашение, или как оно там называется. Ну, из Израиля. Лежит уже три месяца между книгами спрятанное. А ты даже с женой поговорить не решился. Потому что знаешь, не поедет Нелька никуда. Не может мать бросить. Нелька тут карьеру делать собирается, а ты ей крылья обрезать хочешь. Кому она на Западе со своим филфаковским дипломом нужна? И кому ты там нужен?

И в ОВИР пойти — у тебя никогда смелости не хватит. Ну вот и терпи, терпила. Твои уехавшие одноклассники в Йелях и Калтехах в аспирантурах прохлаждаются, а ты в колхоз поезжай, в гнилой картошке рыться. И не чирикай, тварь дрожащая!

...

На следующий день достал я из антресоли свой походный спальный мешок на гагачьем пуху, который когда-то на три китайских фонарика выменял у одного альпиниста, который через три года на Кавказе на какую-то знаменитую ледяную гору влез, а слезть так и не смог, сел, оледенел и будет там сидеть всегда. Собрал рюкзак, поцеловал спящую жену за ушком и поехал.

До Белорусского вокзала тащился через весь город часа полтора. Потом — еще полтора часа электрички. Прибыл в Звенигород. Автобус на Мятино ходил раз в час. Хотел было в монастырь сходить, к Савве, посмотреть на новые кокошники на Рождественском соборе, но так и не решился. Ждал, ждал... От остановки — еще километр пешедралом тащился до этого сраного Мичуринца.

Наконец, вошел в ворота... а дальше куда... хрен его знает.

Спросить некого. По особой гнусности архитектуры и плакату (изможденный Мичурин недобро смотрит на наливные яблочки, внизу цитата: «Мы не можем ждать милостей от природы...») узнал административное здание. Постучал, подергал за ручки. Входные двери не открываются. Хотел ногой дверь выбить. Но не решился. Замки на дверях еще сталинского времени, надежные. Можно и палец сломать.

Никого... ничего... Ни звука, ни писка.

Может они все сдохли? Вот бы был подарок! Надежды юношей питают, отраду старым подают...

Нашел что-то вроде деревянного крыльца, смахнул пыль, сел на спальник, подложил рюкзак под спину, задремал.

Часа через два услышал голоса. Пригнанный из Москвы на сбор картошки ученый народ в пыльных ватниках, кряхтя и матюгаясь, возвращался с полей. Откуда-то возник и Окуньков, гадкий тип с лицом, похожим на картофель. Нашел меня в свой громадной черной тетради, поставил против моей фамилии галочку, написал рядышком дату и время прибытия в «Юный мичуринец». Провел меня в пахнущую нестиранными носками общую мужскую спальню, человек на тридцать пять. Указал на свободную койку. Сообщил, что душ временно не работает, а ужин с семи до восьми. Объяснил мне, как найти столовку и сортир, где можно взять напрокат ватник, рукавицы и сапоги...

Перед сном, лежа на скрипучей пионерской кровати в теплом спальнике поверх казенного одеяла, слушая мирное похрапывание коллег по несчастью, я испытал даже что-то вроде эйфории.

Этой эйфории заключенного, которому начальство милостиво разрешило поспать от отбоя до подъема, я боялся даже больше собственной трусости и пассивности. Потому что знал, что этим странным чувством дает о себе знать худшее из того, что есть во мне. Во всех нас. То, что бедняга Чехов якобы призывал выдавливать из себя по капле. Потомственное холуйство советского человека.

На следующий день я вышел на работу в составе бригады номер три.

...

Работу мне дали для почина нетрудную, можно даже сказать — женскую. На сортировочной машине. Шесть человек (пять женщин средних лет из соседних лабораторий и я) стояли рядом с движущейся и трясущейся дорожкой, по которой катилась картошка. Задача была — отбраковывать заведомо гнилые картофелины и похожие на картошку камни и комки глины. Женщины работали прилежно и умудрялись еще и болтать без умолку на институтские темы, на меня по-

глядывали с недоверием. Кокетливо поправляли воротнички своих ватников. Качали плотно укутанными в платки головами. Мазали губы помадой.

Я работал спустя рукава.

Через час понял, что работа эта, даже если не утруждать себя особым рвением, вовсе не такая легкая, какой она мне показалась вначале. От грохота и вибрации болели уши и зубы, руки зудели и слабели с каждой минутой, внутри костей как будто бегали муравьи... много муравьев... ноги подкашивались, спину ломило, отчего все время приходилось переминаясь с ноги на ногу, перед глазами плыла трясущаяся картошка, как поток вопящих грешников в аду.

Через три часа я начал потихоньку сходить с ума.

Закрывал глаза, но все равно видел перед собой эту проклятую картошку. Которая все ползла и ползла справа налево, тряслась и корчилась...

Боялся, что упаду и меня эта проклятая машина прожует как мясорубка или у меня приступ эпилепсии начнется от сотрясения мозгов.

Полвторого машину выключили, и мы лениво побрели в столовую.

После ужасного обеда (серый хлеб, «щи постные», похожая на крупный песок, перемешанный с калом, «перловка с мясом» и мутный компот с «яблоками»), я, с трудом преодолевая икоту, на работу не вышел, а пошел искать протекающую в полукилометре от лагеря Москвареку.

Озирался по сторонам, как зека во время побега. Вдруг этот, картофелемордый, как его, Окуньков, тут слоняется со своей черной тетрадью. Настучит... только приехал и в лес ушел... мне по шапке дадут... будут мурьжить.

Реку я нашел. Окунька по дороге не встретил. Мало того, обнаружил на уступе обрывистого берега удивительно красивую беседку, как будто построенную не советскими людьми, а самим Аристотелем Фиорованте, что ли. Там можно было уютно посидеть на чистой белой лавочке, насладиться видом на речку, помечтать и даже вздремнуть.



Проснулся я оттого, что кто-то в беседке громко читал известные стихи: «В небе тают облака, /И, лучистая на зное,/ В искрах катится река, /Словно...»

«Словно зеркало стальное,/ Час от часу жар сильнее,/ Тень ушла к немым дубровам,/ И с белеющих полей,/ Веет запахом медовым...» — инстинктивно продолжил я и открыл глаза.

Рядом со мной стояла девушка лет шестнадцати и нюхала воздух породистыми ноздрями. Ее голос звучал как тибетская поющая чаша... Принцесса!

Не хочу тратить время на описание ее внешности. Если вы когда-либо видели картину Борисова-Мусатова «Реквием», то помните, наверное, девушку в белом платье с веером в руках. Только у Мусатова она постарше.

Внезапно, я ощутил упомянутый в стихе «жар». Всеми порами.

Жар? Когда я входил в беседку, было прохладно. И сифонило неприятно. Ватник пришлось застегнуть. Помню, еще расстроился, когда выяснилось, что двух верхних пуговиц не хватает. А сейчас мне было жарко!

И время дня было другое — полдень. И одет я был не в позорную колхозную рванину, а в элегантный костюм, и обут не в резиновые сапоги с рваными дырками по бокам... а в остроносые бежевые кожаные сапожки.

В правой руке я держал самшитовую тросточку с серебряной рукояткой в форме головы тигра, в левой — обтянутый шелком цилиндр. Над верхней губой росли у меня премерзкие щегольские усики. А в петлице на лацкане пиджака — торчала бутоньерка с лилией. В правом глазу — монокль. А в специальном карманчике — швейцарские золотые часы с цепочкой. Омега. И перочинный ножик.

...

Власть поудивляться и поразмышлять о переменах, произошедших со мной и с окружающим миром мне не позволила девушка в белом платье.

Она подошла ко мне, глянула дерзко мне в глаза, чиркнула кончиком своего носа мне по носу, тряхнула своими

чудными кудрями и прошептала страстно: «Барон, я хочу вам отдаться! Здесь и сейчас! Возьми, меня, милый, если хочешь — грубо, по-мужицки. Я твоя!»

Затем она вульгарно раздвинула бедра и задрала свое длинное платье так, чтобы я мог убедиться в том, что у нее под платьем ничего нет кроме атласной ухоженной кожи и мехового треугольника, перерезанного аккуратными складочками, на которых блестели слюдяные капельки. Задрала и тут же опустила.

Захохотала весело, скакнула несколько раз как молодая козочка и забралась напротив меня на лавку с ногами.

Я упорно не снимал с лица брюзгливую улыбку поручика Ржевского, ковырял тросточкой песок под ногами и поглаживал себе усы.

На вызов надлежало ответить.

— Польщен, польщен! Надеюсь, принцесса, Вы не будете изводить меня позже любовными излияниями, слезами и письмами. Не приклеитесь ко мне, как банный лист к... И не расскажите все в подробностях вашему папа, братцам и еще половине света. И вообще, тут ведь не французский роман, может быть, вначале хорошенько подумаете... прежде чем совершать необратимое. Тогда возможно позже... если у вас, конечно, желание не пропадет... я весь к вашим услугам... Что-то Ваньки нет, пора бы нам подкрепиться... Опять перепутал все небось, мерзавец. Книгочей лапотный... Книжки мои на чердак таскает. И читает ночами Шопенгауэра.

— У меня сейчас есть желание, барон. Сейчас.

И опять — страстный темный взгляд, подергивание кудрями и манипуляции с платьем... на сей раз она обнажила себя сверху и сжала как ножницами небольшую левую грудь между указательным и средним пальцем.

Этого я вынести уже не смог, отбросил трость и цилиндр в сторону, подскочил к ней... уронил монокль...

Во время любви прелестница умудрилась укусить меня до крови, прямо сквозь пиджак и рубашку и несколько раз бешено дернула меня за уши. Смяла мою бутоньерку... да еще и запачкала кровью мои штаны. Действительно, девственница! А я думал, все врут проклятые сплетники. Этот Дюрсо... язык ему вырвать надо. И Марселю тоже. Впрочем, теперь все это уже не имеет никакого значения.

Подождали еще немного Ваньку, но так и не дождались...

Накрылся наш пикник медным тазом.

Прежде чем идти домой, захотели в речке искупаться.

Одежду оставили в беседке, спустились к воде голые по деревянной лесенке и сразу вошли по пояс.

Вода была чудесная. Чистая, прозрачная, сладковатая на вкус. Рыбешки щекотали нам ступни своими губами. Роскошные плакучие ивы стыдливо потряхивали длинными веточками-пальчиками. Белые и лимонные бабочки садились нам на плечи, а потом взлетали и начинали любовную игру. Изумрудные стрекозы бесстыдно совокуплялись у нас на ладонях. Ослепительное солнце заражало нас своим мреющим жарким безумием. Принцесса продекламировала еще одно стихотворение Тютчева («Я помню время золотое...»), а затем обвила мое тело ногами и руками...

...

По дороге в имение мы натолкнулись на моего лакея Ваньку. Он преспокойно сидел на лужайке под молодым дубком и жадно пожирал фрукты, ветчину и паштет из воробьиной печёнки, который нам специально для пикника Марчелло приготовил. Корзинка, которую он должен был отнести к нам в беседку, валялась рядом, полупустая. Ел Ванька руками и вытирал их о лопухи. Да так увлекся, что нас и не заметил.

В глазах моей прелестницы я заметил возмущение. Решил преподать лакею урок. Чтобы на всю жизнь запомнил.

Мощным ударом кулака в челюсть я нокаутировал негодяя.

Мы раздели и связали хама его же тряпьем. Положили задом кверху. Растопырили его ножищи крепкой метровой веткой с развилкой на конце.

Ванька к тому времени уже очнулся, смекнул, в чем дело и начал меня увещевать и задабривать.

— Господин барон, Игнатий Павлович, прошу меня простить, дурака и обжору, развяжите, прошу, мне барыни неловко... право нехорошее вы дело задумали... отработаю я вам вашу ветчину и ваши груши, отработаю, будьте уверены. Бога побойтесь, я ведь не скотина какая, чтобы меня пороть...

Я срезал несколько длинных, упругих веточек орешника — на розги. Очистил их от листвы. Подал четыре тонких прутика моей принцессе, сам взял другие, потолще. Размахнулся и саданул Ваньке по голому заду что было силы в руке. И еще. И еще...

Розги весело распарывали воздух.

И любимая моя от меня не отставала. Порола со знанием дела — с оттягом и поворотом.

Я бил Ваньку по толстому заду и по могучей бугристой спине, а принцесса норовила попасть между ног, по половым органам.

Ванька ревел благим матом...

— Пощадите! Пощадите! Прошу вас, перестаньте. Стыдоба какая! И больно страшно. Христом-Богом прошу...

Минут через десять, я решил, что хватит. Пора развязать парня, да отправить к деревенскому лекарю, пусть промочет ранки водкой, да смажет салом. Через два дня будет Ванька как новый.

Но принцесса не унималась, хлестала вовсю.

Ее было не узнать. Лицо ее покраснелось... пот катился с нее градом... платье сбилось в бесформенный ком.

Принцесса рычала, хрипела, ухала глухо, как филин...

Потом вдруг перестала пороть, схватилась руками за живот, округлила глаза и вскрикнула как в оргазме... Присела на траву.

Я засмеялся, думал конец комедии, но она вскочила и розовой своей ножкой начала бить стонущего парня по его мужицким шарам. Ох, ведьма!

Пришлось мне ее от Ваньки отгаскивать.

Но не тут-то было.

Выдралась она у меня из рук, зашипела страшно, скинула платье и оборотилась зеленым драконом-одноглазом. Вмиг разодрала несчастного Ваньку на кровавые куски и тут же их проглотила, а потом на меня взглядом своим яростным черным посмотрела. И пустила из пасти огненный шар...

## ПРОЗРЕНИЕ КАРЛА

Несмотря на царящую в его городе разруху — многие дома были покинуты жителями после Объединения и так и не заселены, другие обветшали и постарели вместе со своими немногочисленными обитателями — Карл любил Зонненберг, гулял часами, размышлял, наблюдал, а иногда и зарисовывал детали архитектурного декора. Ему нравились brutальные германские фасады, могучие прямоугольные пилястры, поддерживающие небольшие треугольные или овальные фронтоны, из центра которых зачастую глядело на мир слепое Всевидящее Око, обрамленное таинственными лучами, солидные карнизы и обрамления высоких окон в югендстиле, нередко с изящными зелено-оранжевыми витражами, затейливые чугунные решетки на подвальных окнах с панями, мефистофелями, змеями и знаменами, розетки, кессоны, тяжелые резные двери, делающие дома похожими на комоды и другие чудеса индустриальной революции начала двадцатого века.

Но больше всего его занимало то, что все эти мощные добротные дома, гордость бюргеров, находились в запустении, в историческом тупике. Все они прожили свою столетнюю жизнь, полную всяческих пертурбаций, по-хорошему их давно следовало бы снести и построить на их месте новые благоустроенные, легкие и светлые машины для жилья. С балконами, садиками во дворах и солнечными батареями на крышах, подземными гаражами и бассейнами.

Зонненберг представлялся ему гигантской кулисой старой жизни, постаревшей бутафорией для давно прошедшего спектакля... и это занимало и развлекало его.

Потому что он и себя самого, неизвестно зачем появившегося в этом городе двенадцать лет назад чужака, непонятно как и неизвестно для чего жившего тут вымороженной, фантастической жизнью, представлял себе ненуж-

ной бутафорией, пережившим свою смерть ходячим мертвецом, недостаточно мертвым для того, чтобы лежать себе спокойно под землей и недостаточно живым для того, чтобы жить по-настоящему, радуясь жизни, и делать свое дело, дыша полной грудью, обнимая и приветствуя свой город и своих новых земляков.

Так что эти угрюмые пятиэтажные коробки казались ему товарищами по несчастью, потерянными каменными душами, застрявшими в новом, паршивом, прокисшем мире будущего, халтурном творении демиурга-двоечника. Казались не нашедшими покоя в небытии, из-за чьей-то фатальной ошибки оставленными в реальности, не завершившими свою естественную метаморфозу несчастными созданиями — унтотами.

Часто, во время осенних и зимних ураганных ветров насквозь продувавших Зонненберг, Карлу чудилось, что он слышит не скрип подгнивших стен, не потрескивание балок и не дребезжание старых стекол, а жалобные всхлипы и стоны домов-мертвецов. В их давно не топленных печах жили мыши, в дымоходах тряслись от холода домовые, а в страшных угольных подвалах копошились гигантские крысы.

\* \* \*

Сегодня и был такой, мучительно сырой и холодный день, дул пронизывающий до костей норд-ост, срывающий последние еще не сорванные ноябрем листочки на почерневших, как бы окуклившихся деревьях...

Карл проснулся, дрожа от холода, посмотрел на неприятные, с птицами, старинные обои в спальне, которые, хоть сто раз и собирался, но так и не удосужился заменить, глянул в окно, убедился, что уже утро — по грязной улице несся поток ревущих машин, везущих своих владельцев на барщину... и, как это часто бывало в последнее время, не смог вспомнить, ни своего имени, ни профессии, ни даже названия города, в котором жил...

А когда вспомнил, то не смог понять, как же он умудрился прожить тут двенадцать лет и до сих пор не сойти с ума.

Решил — по обыкновению — побыстрее перевести стрелки на что-то теплое и доброе.

Не на женщин, от которых в последнее время получал только требования денег и жалобы, и не на путешествие на Карибские острова — во время последнего такого вояжа Карл заразился малярией и хронической диареей и едва ноги унес из этого тропического рая, а на нечто более доступное и близкое — на горячий кофе и завтрак.

Карлу ужасно захотелось сделать омлет.

В поваренной книге было написано, что омлет хорош, только если в него положить ломтики швейцарского сыра Эмменталь с небольшой добавкой тертого на мелкой терке альпийского Грюйера. Омлет получает тогда «классический, немного терпкий, пряный вкус, который еще улучшится, если вы добавите несколько ломтиков свежей ветчины, пару розовых шампиньонов, петрушку и совсем немного кориандра».

Остатки ветчины и кусок альпийского Грюйера сохли у Карла в холодильнике уже неделю — с тех пор, как он устроил дома парти с игрой в бутылочку и раздеваниями для избранных коллег, начальника отдела и его жены, задумчивой креолки из Майями, так и не освоившейся в новом, почти расистском окружении, и периодически впадавшей из-за этого в депрессию, которую нужно было как-то купировать... что начальник и делал по мере возможностей... силами подчиненных, которым, впрочем, подкидывал за развлечение для своей креолки каждый раз после очередного «парти» или «пикника» небольшую премию, франков по двести, — даже консервная банка шампиньонов и пакетик с кориандром валялись где-то в недрах его кухонного шкафа, ломящегося от всякого съедобного хлама, а Эмменталь как назло не было.

Разумеется, можно было сделать омлет и без Эмменталья. И даже без Грюйера и без ветчины, а просто зажарить яичницу с грудинкой, блюдо, которое так любил заказывать в непогоду незабвенный Билли в своем уютном «Адмирале», обильно запивавший тамошнюю стряпню ромом. И даже не посыпать ее кориандром, а просто посолить.

Это было бы сытно и вкусно, особенно, если не экономить на грудинке, но тяжело и дисгармонично, а Карлу сегодня нужны были гармония и равновесие чувств, которые яичница с грудинкой дать ему не могла...

Гармония и равновесие были нужны Карлу, не только потому что за окном свистел ветер, опрокидывающий мусорные баки и погоняющий как хлыстом редких прохожих, но и потому, что его внутренняя неразбериха достигла такого уровня, что грозила вылиться — как подгоревшая каша из кастрюли — на обыденную реальность и начать уничтожать все на своем пути, как лава на склонах Этны.

Поэтому Карл принял, не открывая воспаленных глаз с слипшимися веками, покрытыми шариками гноя, холодный душ, стараясь не думать о том, о чем грезил этой ночью, съел, чтобы не тошнило, половинку банана и четверть позавчерашней, уже почерствевшей, как супружеская жизнь после десяти лет совместной жизни, булочки, выпил эспрессо с четвертью ложечки сахара и щепоткой красного перца, приготовленный на недавно купленной дорогой кофемашине, которую уже два раза приходилось отдавать назад в магазин на гарантийную починку, каждый раз со скандалом и угрозами, напялил на себя теплую фланелевую одежду, натянул полусапожки и черную вязаную шапочку, которую ему связала его последняя возлюбленная, оставившая его после страшного скандала с сжиганием совместно нажитого имущества, пощечинами и полицией, набросил на плечи длинное кожаное пальто с меховой подкладкой, которое купил в Турции на Грандбазаре за триста долларов у одного словоохотливого армянина, запахнул его и потопал на рыночную площадь.

Ветер сбил его с ног. Он поскользнулся и чуть было не брякнулся в большую, оледеневшую по краям лужу...

Увидел в луже отражение своего лица — и не узнал его.

По дороге Карл думал о Эмментале, о том, что можно еще придумать, чтобы угодить придирчивого шефа и его прекрасную креолку, неожиданно страстно поцеловавшую его во время прошедшего парти... о том, что неплохо было бы познакомиться с креолкой поближе и о том, как этого достичь... перебирал варианты... и остановился на колечке



с изумрудом... да, именно с изумрудом... думал и о том, что надо было бы купить новые шнурки к бежевым зимним ботинкам на толстой подошве, потому что старые полиняли и вызывают в нем немотивированную мизантропию и желание сжечь седьмую часть суши напалмом.

Через пять минут Карл был на месте.

Осмотрел рыночную площадь, поискал глазами обувной киоск... но не нашел.

Заметил, что ратушная башня с десятиметровым Роландом украшена синими с косой оранжевой полосой плакатами-приглашениями на выставку Хорста Мюллера, некоторые из которых уже сорвал ветер, рисующего уже тридцать лет исключительно сражающихся друг с другом толстых обнаженных женщин с огромными животами и гигантскими отвислыми до колен грудями, сделавшего на подобных сюжетах — как рассказывали общие друзья — приличные деньги, с которым Карл полгода назад заключил пари на тысячу франков и проиграл, а фотоателье «Прелестная картинка» напротив ратуши почему-то закрыто, наверное, ее хозяин, неулыбчивый социал-демократ Крис, все-таки довел свой бизнес до банкротства, хотя он, Карл уже семь лет назад предупредил его о недопустимости либерализма в ценообразовании, которым человеколюбивый Крис старался нейтрализовать хроническую недоплату своим служащим...

Этот Крис регулярно спускал на скачках все свои прибыли, отчего страдала его семья, состоящая из собаки, матери, жены, тещи и четырех дочерей, с одной из которых, психанутой интроверткой Ирмой у Карла было что-то вроде взаимного платонического влечения, окончившегося абортom.

Каждый раз, когда Крис проигрывал особенно много, он приходил к Карлу, просил его одолжить ему «тысячонок пять», плакал, юродствовал и рассказывал — в сотый раз — историю про то, как богач не помог бедняку, а тот в тот же день повесился, предварительно убив и изнасиловав жену и дочь богача. Карл смешивал ему Мартини с Кока-колой, давал сотню и предлагал продать ателье его шефу, который давно положил на него глаз. Карл любил устанавливать, как он выражался, «перекрестные связи»...

Обувной киоск Карл так и не нашел, а на сырный наткнулся случайно. Выстоял очередь из двух человек, трясясь, скрипя зубами и постанывая от нетерпения — покупка-продажа сыра происходила удивительно медленно, оба покупателя болтали с продавцом без умолку, пробовали различные сорта и жадно обсуждали их достоинства и недостатки.

Купил наконец без проб и дискуссий полкило Эмменталя. Даже забыл спросить, откуда этот сыр — из Баварии или из Швейцарии.

После покупки перекинулся таки по-светски с продавцом парой слов. Не мог не позлить стоящего за ним старика, толстяка в цилиндре и с тросточкой из красного дерева, которой тот нервно постукивал по алюминиевому боку киоска.

Купил для себя несколько белых роз, а в ювелирном киоске приценился к колечку с небольшим изумрудом... но не купил, а согнувшись как конькобежец, побежал домой, к плите и духовке.

Метрах в трестах от рыночной площади, перед поворотом на свою улицу Карл неожиданно испытал сильнейший припадок страха.

Остановился. Разогнулся.

Его шапочку чуть не сорвал ветер...

Вспотел. Схватился за сердце. Открыл рот как рыба в лодке рыбака.

Хотел было идти назад, к сырному киоску, но передумал, заметался, закричал что-то, напугал этим криком проходящих мимо него двух пожилых монашек в белых чепчиках. Монашки недоуменно посмотрели на Карла, перекрестились и продолжили путь.

Карл постоял несколько минут на месте, делая вид, что рассматривает в витрине новую модель Порше, затем пошел дальше.

...

Ужас настиг Карла не сразу, потому что он в ту ночь не выспался и был заторможен. Искал, искал в мировой паутине те заветные страницы, просмотр которых карается законом... и заснул... изможденный и неудовлетворенный... только около половины четвертого.

А в девять уже вскочил...

Что же испугало Карла там, на перекрестке?

Ничего. Там его настиг ужас, который он пережил за десять минут до этого.

Его испугал продавец... тот самый. Продавец сыра.

Что же в нем было такого ужасного? Продавец как продавец. В белом халате и белых же резиновых перчатках, с которых сыпалась какая-то пудра. На голове — чтобы волосы в сыр не попали — белая шапочка с маленьким серебряным голубком и вышитыми синими нитками инициалами. Среднего роста мужчина. Слегка за сорок. Блондин.

Вежливый, спокойный, не то, что глупая, назойливая и вульгарная продавщица рыбы в соседнем киоске, общение с которой вызывало у Карла тоску по жизни затворника в пустыне... далеко от морей, озер и рек... так громко орала и визжала эта стерлядь с жирно подведенными глазами и лиловыми когтями на воспаленных от постоянного соприкосновения с мертвыми соками ее лоснящегося товара пальцах.

О сырах продавец говорил вдохновенно. Говорил, почмокивая и поедая сырные палочки с сливочными розочками. Один раз он по ошибке откусил фалангу своего указательного пальца... и преспокойно съел ее вместе с кусочком перчатки.

Карл заметил это, но не осознал то, что видит, не удивился и не закричал. А продавец, лакейски согнувшись и притоптывая тремя своими длинными ножками, доверительно шептал Карлу, что сыр помогает от импотенции и головной боли, что Эмменталь будто бы обожали Гёте и Шиллер, и брали тяжеленные его головки в свои кругосветные путешествия. А Герман Гессе будто бы и вовсе на Эмментале помешался и уехал в Индию разводить там каких-то особых пчел для приготовления специального воска, которыми покрывают головки Эмментала...

Услышав про Гёте, Гессе и пчел, Карл подумал: «Что это он несет? Что ему от меня надо?»

Сделал круглые глаза и мрачно уставился на продавца, подмигивая и подергивая веками и губами в так и не вылеченном, несмотря на все усилия доктора Винкеля, блефа-

роспазме. А тот очаровательно заулыбался, замахал своими короткими ручками и произнес: «Шутка, шутка дорогой господин, только милая шутка... понимаете? Шерц».

И так страшно зажмурился, что Карлу показалось — лицо продавца превратилось в небольшую головку сыра, на которой педант-учитель нарисовал множество радиусов для демонстрации действия силы тяжести планеты на маленьких человечков.

Да, продавец сыра был похож на сыр. Даже моргал как сыр — не веками, а краями круглых отверстий на щеках. И испугало Карла то, что продавец сыра на рыночной площади — не только был похож на сыр, но и был сыром. Эмменталем.

Без всяких диафор и эпифор.

Потому что Карл видел не только то, как он сожрал фалангу собственного пальца, но и как продавец, застенчиво отвернувшись, задрал полу своего халата и отрезал кусок от своего бедра... когда обнаружил, что все 50 заранее подготовленных кусков Эмменталя уже раскупили. Четвертовать проволокой новую семидесятикилограммовую головку сыра ему явно не хотелось. Возможно, он не хотел резать родственника, брата или отца... или любимую. Поэтому и воспользовался собственной ногой. Отхватил кусман величиной с колено. И ничего! Даже не хромал!

И это колено лежало теперь в сумочке Карла!

Он нес его домой, чтобы разрезать на ломтики и запечь в духовке! И присыпать кориандром.

Как было не испугаться? Пусть и не сразу. Не вспотеть и не схватиться за сердце.

...

Придя домой, он обнаружил, что входная дверь его квартиры сделана из картона...

Обои содраны, потолок черный.

В квартире не было ни мебели, ни плиты, ни холодильника.

Только в одном углу валялось какое-то грязное засаленное одеяло.

Рядом с ним лежала фотография задумчивой креолки.

Дом качался и готов был развалиться как карточный домик.

В его сумке — труха и грязь.

Он одет в замызганную, рваную одежду.

Его ноги кровоточат, а во рту нет ни одного зуба.

В его душе — только страхи и порок.

Вечером того же дня Карл наблюдал из окна подвешенную на веревке в глубине сцены Луну и обнаружил, что из нее вырезан треугольный кусок...

«Потому что Луна, — решил Карл, — это тоже он, треклятый продавец сыра в этом сумрачном городе... Не видать мне новых шнурков!»

## ДАРЖИЛИНГ

В каюту влетела бабочка-однодневка.

Я взволновался и залез на потолок.

Одета команда и слуги в одинаковые синие балахоны до колен. У капитана на капюшоне вышита золотой ниткой восьмиконечная звезда. К ней пришит бубенчик. Капитан — паркинсон и заика, подает мне трясущимися руками таблетки и говорит, что все будет хо-хо-хо-рошо. Обещает подарить мне тюрбан, если я буду паинькой. Какое такое хорошо? Того и гляди свалимся в пропасть или утонем в болоте. Ау!

Сегодня я видел поезд! Откуда он взялся, понятия не имею. Кто его вел, куда он ехал? Может быть в нем такие же люди как мы оборудовали свое убежище и теперь катаются по пустым железным дорогам? На одном из вагонов стоял, широко расставив ноги, человек, похожий на ворона, и кивал мне клювом.

Дождевую воду, воду из рек или водоемов пить нельзя. Мы пополняем свой запас воды на не разграбленных складах крупных торговых сетей, так мучивших нас прежде своей несносной рекламой. А на невзорвавшихся бензоколонках высасываем специальным насосом дизельное топливо. Как шмели — нектар на ваших анютиных глазках.

На библиотеку напали шестеро мужчин. Все они брюнеты.

Пит, Джо, Кэр, Дуг, Мек и Трик.

Они сожгли все учебники истории и изнасиловали шесть блондинок.

Ивон, Линду, Жизель, Сару, Леонор и Мэри-Лу.

У Дуга выросли крылья, как у самолета.

Джо умудрился потерять свой кольт. И начал куковать.

Кер сказал, что история всегда вранье.

А у Сары выпала вставная челюсть.

Сегодня ехали через пустыню. Марсель проникновенно играл Баха на нашей фисгармонии, а я глядел на дюны. Одна из них напоминала гигантскую женщину, расставившую ноги... с головой кошки.

Сфинкс.

Господин Робер всегда одет в пахнущий духами «Богема» легкий бежевый костюм. У него детская добрая душа. Он приводит ко мне Зизи и Бубу, этих славных очаровашек, и мы часами кувыркаемся. Только пух летит к потолку. А потом засыпаем вместе.

Земля принадлежит теперь крысам, тараканам и лопухам.

На них радиация не действует.

Не то что на коленки приматов.

Из моей головы не выходит женщина с кошачьей головой. Она становится все больше и больше, заслоняет собой горизонт. Я отчетливо вижу трещины на ее зеленоватой каменной коже и слышу ее томные вздохи. Вот она медленно разевает свою ужасную пасть. Зевает.

И зовет Мэри-Лу завтракать подземным голосом.

Два наших повара-итальянца Марчелло и Джино носят кожаные фартуки на голое тело и комичные колпачки с пестрыми ленточками. У Марчелло длинные руки и очень большая голова. Иногда он снимает ее с туловища, ставит на плиту — и подолгу беседует с ней. Неужели он за свои сорок восемь лет еще не устал от ее рассказов?

А у Джино есть удивительные туфельки, посмотришь на них справа — они малахитовые, а слева — они не туфельки, а сирень. Джино никогда их не надевает, так и ходит босой, поэтому пятки у него грязные.

Любовался сегодня видами на пагоды. Сколько же их успели понастроить в Шварцвальде! Кажется, они изготовлены из светлого матового фарфора. Надо попробовать кипятить в них молоко.

Женщина-сфинкс наконец исчезла. Ее мелодичные стоны больше не тревожат меня во сне.

Ее место занял ластоногий ящер. Он сидит на куче костей, жует, шевелит длиннющими усами и издает неприятные утробные звуки. Хрюпает. Его называли Господином мира.

А он каждый день требовал на завтрак ветчину из послушных подданных. Робер бросил его в бассейн с морской водой, пусть себе плавает как поплавок.

Наши охранники — Жан и Жак носят черные шорты и рубашки без рукавов. Они часто ходят ночью на цыпочках по моей каюте... что-то ищут... вьются, вьются вокруг моей койки, как осы вокруг тетиного мармелада. Они же выполняют обязанности судовых палачей. Я знаю, там, в черных сундуках в капитанской кладовке, хранятся маски, красные плащи до пят с капюшонами, розги, пилы и топоры. Однажды я заглянул в кладовку и видел, как на одном из сундуков темно-фиолетовые летучие мыши справляли свадьбу. Неприятное зрелище, поверьте! Глядя на них, морские свинки вздыхали и притоптывали, а бурундучишки надували щеки и трубили.

Сегодня видел, как по реке плывут тысячи трупов.

Наверное, повстанцы.

Марсиане не появлялись на своих тренажерах.

Длинноносый судовой врач Лучано носит белый халат, который охотно меняет на судебную мантию. Ох, и любит он важничать! Прямо генерал. В его кабинете стоят стеклянные шкафы со скальпелями и пинцетами. Есть и цинковый стол — и этот доктор Шнабель играет на нем, как на органе. Потому что он электрический.

Мне показалось, что у меня растут уши и уменьшаются руки. Я начал мерить их линейкой. Действительно, и растут и уменьшаются, примерно по четверти миллиметра в день. Скоро не смогу ширинку расстегнуть, но зато смогу летать. Виу-виу-виу.

Наш струнный оркестр, состоящий из восьмерых ассирийцев, одет в препарированные фракы. Спереди — фракы выглядят вполне благопристойно, сзади же — все уже не так чинно, потому что зады музыкантов обнажены. И они светятся в темноте как ночные лампы! Так всегда у ассирийцев. На нашем корабле никто над ассирийцами не смеется.

Только Маркиз стреляет в них через трубочку бузиной.

После окончания вечерней программы оркестранты прячут свои лиры и лютни в футляры, ужинают с другими слугами и уходят на нижнюю палубу, где укладываются



спать в общей каюте, из иллюминаторов которой можно ухитриться поймать за хвост пятилапного кролика или сорвать поющую маргаритку.

Мы начали свой путь на восток по воде, а затем, по мере приближения к Рудным горам, все чаще передвигались на колесах — по пустым автобанам и проселочным дорогам. Двигались медленно. Быстро наш драндулет не может. Иногда капитан специально кругаля дает... и крутит, крутит... объезжает атомные станции. Работающие на них люди умерли. Графитовые стержни давно расплавились... станции превратились в пылающие атомные котлы... по ночам видны на небе багровые зарева.

Мы предпочитаем носить цветные шаровары из китайского шелка и муслиновые рубашки.

Я обвешал себя сегодня серебряными грушами. А Маркиз целый день проходил в костюме Адама. Робер подарил ему заводную мышку. И Маркиз гоняется за ней, как кот.

Мы катим по затвердевшему дну давно пересохшей реки на речном трамвайчике, который предусмотрительные инженеры снабдили сотней стальных колес на мягких рессорах. Колесики шуршат шур-шур-шур. Река была узкой и глубокой, поэтому из иллюминатора я вижу только стены из земли, песка и камней. И ласточкины норы. Чтобы увидеть мир наверху, нужно задирать голову. А я боюсь, что у меня кадык выпадет.

Видел огромное кривое дерево, на котором висели повешенные. Человек двадцать. На лысой безносой голове одного из них сидел неизвестный мне зубастый зверек.

Он пел песенку тра-ля-ля-ля-ля.

Иногда мы встречаем на нашем пути и выживших — бездомных, ошалевших, отчаявшихся людей. Они бросают в наш корабль камни и истошно кричат. Помочь мы не можем — поэтому мы отвечаем им залпами трех наших корабельных пушек, расположенных на носу, корме и верхней палубе. Палим в воздух безвредным фейерверком. Действует это средство безотказно, несчастные тут же разбегаются кто куда.

У меня начали трястись большие пальцы. Проклятый Шнабель небось и зуб вырвать не сможет. Чертов бездельник. Целый день дудит в свою алюминиевую дудку и трясет хоботком. Нюхает пачули и жует воск.

Конец света не за горами. А сверчки трещат себе. Ведь они хуже сорок. Прыгнул тут один на меня зеленый, на руке сидел, стрекотал-стрекотал, а потом затосковал и укусил. Я пожаловался Маркизу. Он сказал, что кузнечики не кусаются. А я точно знаю, что у них есть маленькие стальные челюсти и жала. Об этом мне мушка-золотушка рассказала.

На улице выжить невозможно, бактерии, попавшие в воздух из брошенной в панике лаборатории в Форт-Детрике распространились по всему миру и умертвили почти все население Земли задолго до наступления настоящего часа икс. Торопыги!

Мы обогнали трех королей.

Один из них был похож на Голема из старого фильма.

Он величественно помахал нам рукой.

И пустил ветры.

Около двух лет назад, когда информация о неотвратимом кошмаре была достоянием только узкого круга посвященных лемууров, мы без сожаления ликвидировали наши бизнесы, продали акции и коллекцию крокусов, отдали недвижимость на острове Бора-Бора нетерпеливым наследникам и купили речной трамвай.

Робер устроил потешную шахматную игру. Бубу и Кака играли против Марселя. Смешно тьякали и служили. А фигуры передвигал за них сам Робер. Вот мошенник! Как и все профессора.

Проиграл янтарный перстень. С семерки надо было пойти, что же я за дурак! Под бельгийских девяток непременно надо с семерки ходить. Тогда они ласковые.

Речной трамвай — самое доброе транспортное средство. У самолетов и автомобилей — акульки морды и плавники. У поездов — повадки гиены. Океанские лайнеры — притоны для разбойников и некрофилов.

Сегодня тащимся по дороге. Туман.

Ненавижу синий свет.

Никогда не знаешь, какое чудовище сидит в соседней комнате.

Или в голове у сожительницы.

Опять видел повешенных. На двух толстенных ветках сухого дуба висели. Четверо на нижней и четверо на верхней.

Внизу взрослые, наверху дети. Наверное, семья. А на верхней, опиленной ветке, как на табуретке — восседала голая до пояса ведьма. Руки подняла, выла и раскачивалась. Так что и повесившиеся под ней качались. Как будто все вместе танцевали твист. Волосы у ведьмы стояли дыбом. Она заметила мое лицо в иллюминаторе — и жутко загримасничала... затем поманила меня к себе... подмигнула и потрясла черными отвислыми грудями.

А я взял свисток и давай свистеть.

Робер, кажется, втюрился в Марсея и затевает с ним вместе что-то судорожно-пакостное. Везде интриги, даже на нашем ковчеге. Что нам делить перед приходом шестиногой твари? Бубу или Зизи?

Пряники давно не давали на полдник.

Вики заболел. Я попросил санитаров усыпить его и сделать из него чучело, но они только плечами повели. Когда они это делают, то становится похожими на бобров. Прикажу Жану выпороть их по толстым меховым задницам, только не знаю, послушается ли меня этот тупой солдафон!

Ели мороженое страчателло.

Старая негритянка Офелия приготовила. А потом раздула шею пузырем.

Мурашки по коже. Похоже, она самец.

Навестил Марсея. Он переливал какую-то прыскающую желтым дымком жидкость из пробирки в колбу. Заявил мне, что его цель близка, и что он уже несколько раз держал в руке красную тинктуру. Что для окончательной материализации он должен дожидаться того момента, когда Сатурн придет в дом Юпитера. Не понимаю, как Марсель может долго терпеть в лаборатории трехметрового василиска, рыжих мужчин-петухов с жабыми лицами, опустившего вора Плутона, красавчика Смита и других мерзких тварей.

Проезжали широченное поле. На поле стоял здоровенный камин.

В камине огонь яркий и гудит, как паровоз.

Со всех сторон сбегались к камину люди. И бросались в огонь. А предводительствовал ими эмиссар Эмиль на коне. Конь этот испугался нашего корабля и понес. Поэтому эмис-

сар остался в живых. Оказалось, он умеет вязать морские узлы. Мы взяли Эмиля юнгой. Пусть ухаживает за мексиканскими собачками и рыбок кормит.

Около года специалисты одной из верфей Датского королевства переделывали речной трамвай Рейнского флота в бронированную машину, похожую на металлического жука, с роскошными каютами для гостей, и удобными помещениями для жизни и работы обслуживающего персонала. Голландцы построили мощную вентиляционную систему с сменяемыми биологическими и радиационными фильтрами, встроили в трамвай современную кухню, кинотеатр, бассейн, сауну, баки для воды и топлива. Бригада снабженцев наполнила наши холодильники гусиными печенками и жареными утками.

Нанять персонал не составило труда, золото творит чудеса и во времена приближающегося катарсиса. Ведь мы платим золотыми монетами. Звонкими монетками, отчеканенными в Каркассоне. С изображением человека, стоящего на коленях перед вставшей на задние лапы пантерой.

Сегодня Маркиз опять рассказывал о проделках Дюрсе. Вот, умора! Он оказывается пришел в полицию Миранды на ходулях, устроил там скандал... а на допросе рассказывал о том, что леший похитил его из детской коляски, когда мать присела справить нужду, и что родители нашли его только через десять лет в том же лесу, в котором он пропал. Будто бы его выкормила лиса.

Я видел летящего монаха.

Его несла сова с треугольной головой.

А спятивший винодел танцевал в бочке.

Маркиз, кажется, решил не на шутку приударить за Марчелло. Дождется, что Марчелло проткнет его вертелом или посадит на раскаленную сковородку. Ведь Марчелло из Сицилии, а там за предложение однополой любви полагается убивать.

Эпидемия началась через две недели после нашего отбытия из Роттердама, от смерти нас спасла случайность — как раз тогда, когда зараженное чумными бактериями облако накрыло Германию, мы находились под землей, в середине двадцатикилометрового туннеля. Чтобы не задохнуться

в выхлопных газах, мы задраили люки и иллюминаторы и использовали наши кислородные баллоны. По радио мы услышали предупреждение о чумном облаке и решили остаться под землей как можно дольше.

Терпеть не могу муравьиную кислоту.

А Марсель режет ее ножом и втирает в кожу!

И танцует под пальмами в обнимку с белогрудым Филандером.

Мне приснилось сегодня, что я еду на открытом автобусе по мексиканской саванне. Потная, злая кондукторша унижает меня, называет бездомной собакой, грозит высадить, пытается вцепиться мне в щеки своими коротенькими малиновыми когтями. Я отбиваюсь, как могу. На остановке у поселка Мескалин в наш автобус входят старые знакомые кондукторши — длинный и гадкий, похожий на Хеллбоя с безобразными отпиленными рогами и толстый и бешеный, смахивающий на Робби Колтрейна, с гитарой и мешком. Кондукторша жалуется на меня длинному, и он бьет меня кулаком в лицо. А толстяк наяривает на гитаре фламенко. Пассажиры аплодируют им. А кондукторша делает Хеллбою минет.

Мы проезжали через разрушенный Франкфурт.

Видел идущую по канату девушку. Кто-то натянул канат между двумя небоскребами. Она поддерживала равновесие длинным бамбуковым шестом. А Сатана схватил шест своей костлявой лапой и обвил ногой ее изящное бедро. Над ними пролетел самолет. Через минуту на горизонте вспыхнул огненный шар. Точное попадание!

Маркиз рассказывал про марсиан. Про их безрадостную жизнь на холодной планете. Я пытался понять, марсианин ли я. Трудно думать без антенны на голове.

Я даже не знаю, человек ли я. В человеке все течет и изменяется, а во мне все застаивается, как в луже.

Сегодня Робер привел ко мне двух лилипуток. Они не смогли заменить мне Додо. Их кожа не шелковиста, а пориста и груба, так же как и их сальные шутки. Я не связывал и не бил их, они были и так согласны на все, но когда я стал по своему обыкновению усердствовать — обе распустили нюни и отказались продолжать игру. Я вызвал Роббера, и он увел их, плачущих, в комнату Жана.

Через неделю мы выехали из туннеля.

К тому времени от 400-миллионного населения Европы осталось в живых не более пяти тысяч человек. Хотя, кто их считал?

Марсель говорит, что человечеству давно пора исчезнуть. Мы не оправдали надежд.

Капитан принес две розовые таблетки и не уходил, пока я их не проглотил.

Вот уже четыре месяца мы катим по пустым дорогам мертвого континента.

Пузырь на шее Офелии все растет и растет.

Вики выздоровел, играл с нами, апортировал и лизал Маркизу шершавые пятки. Робер сказал, что это чудо воскресения.

Обещанный мне тюрбан я так и не получил.

Доктор Шнабель заявил, что я галлюцинирую, и рекомендовал шалфеевые ванны и чай Даржилинг.

## ПОРТРЕТ

Холодной осенью 197... года моя добрая бабуля выпросила у моего скуповатого деда триста пятьдесят рублей мне на зимнее пальто. Старое, английское, которое я донашивал после отца, прохудилось. Триста пятьдесят рублей для вчерашнего студента, а ныне младшего научного сотрудника — сумма астрономическая. Искушающая и наводящая на размышления.

Три месячных зарплаты истратить... на пальто? Фи.

Цепочка, приведшая бабушку к шикарному ратиновому пальто с каракулевым воротником, была длинной и сложной, если сравнить ее с горной тропой — петляющей и труднопроходимой. Но бабушка прошла ее до конца. В магазине «Синтетика», кажется в отделе тканей, работал товаровед А., близкий знакомый поварахи Б. из ресторана «Университетский», повараха эта приходилась двоюродной сестрой второму помощнику главного архитектора Центракадемстроя, старинному интимному приятелю красавицы художницы В., фаворитки всеильной московской старухи Г., вдовы замминистра здравоохранения и поклонницы известного экстрасенса Д., с которым моя бабушка познакомилась в Академической больнице. Экстрасенс подошел к сидящей в кресле и читающей «Лолиту» по-французски бабушке и тихо проговорил, не открывая рта: «А вам не кажется, что эта книга высокомерна и написана неестественным вычурным языком, по крайней мере, в русском варианте?»

Бабушка вздохнула, опустила глаза и парировала: «По-французски читается легко и приятно. Хотя тут так много секса с детьми...»

Так вот, с женой этого товароведа дружила ее одноклассница Е., работавшая в кассе консерватории, гигантша, эфедринщица и черная мизантропка. Дочь гигантши, тоже гигантша, но оптимистка и страстная филокартистка зараба-

тывала себе на булочки закройщицей в загадочном магазине за ЦУМом. В магазине, не имеющем ни неоновой рекламы, ни даже вывески, но полном качественных товаров, о которых обычные москвичи могли только мечтать.

Моя бабушка активировала цепочку своим еврейским гальванизмом. Не без помощи шоколада, коньяка, цветов и других предметов и услуг, подаренных и оказанных вышпечерчисленным лицам различными знакомыми. Оптимистка-филокартистка, например, получила в подарок набор открыток «Шляпки и Мода», выпущенный в Брюсселе в 1899 году, ее мать — маленькие позолоченные часики, помощник архитектора — абонемент на семейный номер в Сандуновских банях на год, а экстрасенс стал обладателем первого издания «Истинной жизни Себастьяна Найта».

На очередном домашнем празднике бабушка устроила что-то вроде церемонии присяги ратиновому пальто. Попросила меня при всех обещать, что я не потрачу деньги на что-либо другое, и вручила мне почтовый конверт «Аэрофлот». На конверте был изображен самолет Як-40. Я подумал невольно, уж не тот ли это самолет, который не так давно «столкнулся с горой».

Конверт я спрятал в карман брюк, потом сел, положил себе в тарелку две больших ложки салата оливье с куриным мясом и увесистый кусок пирога с капустой, из которого вывалился оранжевый кусочек желтка. Подцепил вилкой и отправил в рот два сочных анчоуса, пожевал, проглотил, отведать салата, убедился в том, что он очень удался, хотя и был жирноват, налил себе полрюмки белого вина, пригубил. И только затем встал и поблагодарил дедушку и бабушку за подарок и торжественно обещал купить пальто сегодня же.

А за спиной скрестил пальцы.

Через час я покинул наше семейное гнездо и направился... нет, не в переулок за Цумом, а совсем в другую сторону, на Октябрьскую площадь, в антикварный магазин.

Почему в антикварный, а не, скажем, в букинистический?

Потому что я давно присмотрел там небольшой портретик одного странного старика, стоимостью ровно в триста пятьдесят рублей. Честная работа, не шедевр, но меня оча-



рovala. Да так крепко, что я готов был не на шутку разозлить деда и расстроить мою вечно хворающую бабушку. Готов был, даром что совок, топтать еще неизвестное количество лет в рванине как Акакий Акакиевич.

Ладно, — уговаривал я себя, реагируя на электрические уколы совести — заработаю как-нибудь и сам на пальто. Займусь репетиторством. Дураков вокруг — несчитанные тысячи. И все хотят, задрать штаны, учиться в МГУ. Два часа синусов и косинусов — десять рэ с рыла. К следующей зиме подкоплю денегат. Бабушку вот только жалко, будет беденькая плакать из-за чертовой тряпки.

...

Вообще-то я живопись не люблю. Настроение... Композиция... Масляна головушка, шелкова бородушка.

Больше всего не люблю томных мадонн с голожопыми младенцами. Бе-е...

Не намного лучше мадонн — распятия, ландшафты и портреты.

Никогда не забуду выражение глаз молодых японок в Картинной галерее в Карлсруэ. Фарфоровые девушки трепетали перед огромным распятием Грюневальда, как волнистые попугайчики перед раскаленными воротами ада. Сбились в стайку, перестали ворковать, вцепились крохотными пальчиками с цветными флуоресцентными коготками в лакированные белые сумочки с золотыми цепочками и маленькими пластиковыми куколками. Футуристическая Азия с изумлением и страхом застыла перед страшной образиной средневековой Европы.

Ландшафты невыносимо скучны. Красота и живописность нарисованных деревьев — и стволов и веток и листьев — только подчеркивает их безжизненность. Ветерок не веет, бабочки не порхают, пчелы не жужжат, вода не струится, люди и лошади застыли в искусственных противно-классических позах. Все слишком красиво или чересчур безобразно, навязчиво символично или подчеркнуто естественно. Цветасто.

Авторы портретов, этих ландшафтов из бород, носов, губ, из драпировок, воротников, рукавов и панталон, этих закатанных в полотно, как жертвы мафии — в бетон, торсов,

бюстов, голов, уверены, что у зрителя слюна набегаёт во рту и щеки чешутся из-за жгучего интереса к изображенным персонам. Но, господа, какое мне дело до того, как выглядели камзолы, ботфорты и спесивые мины в париках такого-то испанского вельможи и его набожной супруги с перламутровым крестиком на дебелой груди?

Почему меня должны волновать — белизна жабо голландского чиновника, невероятная крючковатость с безжалостным реализмом переданного носа (ноздри как бы подрезаны, на кончике — синие жилки) антверпенского ростовщика и лоснящиеся жиром плечи и наливные яблочные щеки какой-то застенчивой фламандской фемины?

Да, во время жизни человека, а иногда и несколько лет после его смерти, эти трудоемкие заменители фотографии еще имеют какой-то смысл. Сохраняют память о дядюшке, вовремя умершем и оставившем — вот уж никто не ожидал — кучу серебряных талеров, выжатых им из простого люда. Или о зловещем генерале, без колебаний пославшем пятьдесят тысяч солдат на верную гибель только для того, чтобы прослыть непоколебимым и жестоким среди таких же, как он, сверкающих позументами, чиновных убийц.

Сам не понимаю, чем меня приворожила эта неказистая картинка, висящая в темном углу антиквариата на Октябрьской. Ничего, кроме пугающего чувства дежавю она во мне не вызывала. Но почему-то тянула, гипнотизировала, заставляла себя рассматривать.

Когда я платил, продавец — курносый выжига с обезьяньими бакенбардами, заворачивая портрет в бумагу, хихикал, гримасничал и бормотал:

— Хм, портретик на фоне городского ландшафта. Хихи-хи... Неизвестный художник. Надписи на вывесках умопомрачительные! Обратите внимание. Антрацит Кокс. Хм... Брутально! Искусствоведу показывали, он только головой качал и твердил — восхитительно! Сюрреализм прямо. Странный какой-то дед, уставился вроде и сказать что-то хочет. Тут уборщица одна на него вечером загляделась. А потом — бряк, и в обморок грохнулась. Чуть мраморную вазу с княгиней Дашковой не разбила. Говорила, старик этот ожил и губы синие из картины вытянул. Уволилась даже. Принес нам

этот портретик какой-то пожилой очкарик лет семь назад. И пропал, как в воду. На комиссию взяли работу. Оценили в тысячу двести рублей. Как-никак — 1910 год. Три раза уценили. Но никто не купил. Что я вру, постойте, один богатый дядя купил года четыре назад. Еще за шестьсот. А на следующий день вернул портрет и деньги потребовал. Что-то он такое рассказывал. Все ржали. Хм... Какие у вас пятидесятирублевки новые. Сами печатали?

...

Дома мою покупку ожидал вбитый в тонкую стену между комнатой и кухней толстый гвоздь с шляпкой. Я натянул между двумя колечками на обратной стороне рамки медную проволоку и повесил портрет на гвоздь. Потом принял ванну. В воду подлил лечебного елового экстракта. Прочитал в ванной «Посещение музея» Набокова. Тема любопытная. Гулял, гулял эмигрант по провинциальному музею, заблудился и вышел... в советском Ленинграде, «в России... безнадежно рабской и безнадежно родной». Подивился, какой же неловкий, нерусский язык у Набокова: «Я был застигнут сильным дождем, который немедленно занялся ускорением кленового листопада: южный октябрь держался уже на волоске».

Каждую третью фразу нашпиговывает сардонический писатель каким-нибудь рахат-лукумом, иногда получается блестяще, а иногда текст проваливается. А вот Хармс, напротив...

Позужинал. Сел за письменный стол. Прикидывал и записывал в тетрадку, куда надо завтра забежать, с кем поговорить, что сделать. Провозился до часа ночи. Глаза слипались, тело ныло. Еле дотащился до дивана, лег, не раздеваясь, и тут же провалился в сон. А в четверть пятого проснулся. Что-то меня разбудило. Как будто меня позвал кто-то, по щеке потрепал и сказал: «Пора».

Я инстинктивно посмотрел на портрет. Ничего... Висит себе.

Позевал, сел перед ним на стул, осветил настольной лампой и стал рассматривать. Красочный слой был загрязнен и покрыт пылью. Принес чистую влажную тряпочку, капнул на нее каплю водки и осторожно протер поверхность. Картина ожила.

Город. Сумерки. Снежок сеется с мутного неба. Старик на фоне улицы. Черный котелок. Широко расстегнутая ли-сья шуба. Под ней — темный сюртук. Похоже на мундир. Чиновник что ли? Или пожарник? Галстук почему-то пун-цовый, как у пионера. Лицо узкое, выразительное, в мор-щинах. Смотрит как-то ошалело. Обманщик? Фокусник? Шулер? Сутенер? Сумасшедший? Кого-то он мне ужасно напоминает.

Улица убегает вдаль. Дома солидные. Невский про-спект? Вроде бы в конце Адмиралтейство виднеется. Или не Невский? Кажется, в старой Москве таких прямых улиц и не было вовсе. Всегда была кривобока.

Нарисовано, видимо, в один присест, на улице. Письмо небрежное. Малевал мазила, как умел, только надписи на вывесках прорисовал аккуратно тонкой кисточкой. Или за-остренной палочкой процарапал. Подпись не поставил, но датировал работу двадцать первым января 1910 года.

Ба... да он тут и рекламные объявления вписал... почи-таем. Крохотные буквы. Ага, вижу, повеселился живопи-сец. Порезвился, как стрекозел на цветочном лугу.

Исключительная продажа готового мужского платья.

Руслан. Средство от насекомых.

Красивая грудь. Рыбокопильная торговля Владимира Соловьева.

Далматская ромашка. Самокрасящие гребенки Фор.

Жидкость от клопов и тараканов. Духи от комаров.

Чай Сергея Алексеевича. Слабительное Арагац. В пилю-лях.

Швейные машины. Без вкуса. Без запаха. Парфюмерия русских бояр.

Синема театр Паризиана. Девочки-беляночки.

Трик-трак в полночь. Захватите пистолеты.

Ресторан Доминик. Женщина, которая не улыбалась.

Пух и Перья. Общество страхования жизни Эквитебль.

Перуин Пето. Лучшее средство для ращения бороды.

Реестр квадратов. Совершенно даром.

Только вот, почему он эти надписи в современном напи-сании, без всяких ятей воспроизвел? Что-то тут не так. Со-временный портретик-то... надули меня... датировка — блеф...

зачем ему было блефовать? Чтобы цену завысить. Начали с 1200 рублей. Рассказы про уборщицу тоже блеф.

Портрет левый. Висел себе... в ожидании лоха... И вот пришел я и дедовы деньги отдал. Вот тебе и Перуин Пето.

Карл Булла. Крем Лиссабон. Добро пожаловать в бани Симоновича.

Лучшие музыкальные шкатулки.

Обильный, вкусный стол влечет за собой удручающие запоры.

Алеф-Нуль. Ночлежный дом. Песен не петь. Вести себя тихо!

Гипнотизм и личный магнетизм.

Кривые и уродливые носы могут быть исправляемы и улучшаемы тайно у себя дома.

Лотерея Аллегри. Ломбард Шапокляк. Счастливые камни.

Настоящий рижский бальзам завода Юлий Цезарь. Балерина Муха.

Продажа бумаги писчей, почтовой, рисовальной Ивана Васильевича Жука.

Цветочный Одеколон Брокер. Качество вне конкуренции.

Грамофоны Бурхард. Зрелище электрического мира. Гвинтер, Финтер, Жаба. Товарищество Костанжогло. Заведение Виктория. Богемский Хрусталь Графа Гарраха.

Нотариус Китославский.

Театр для мужчин Аквариум. Рабинович и Ридник.

Искусственные зубы как у акулы.

Театр для дам Зоология.

...

Я чувствовал себя надутым шариком. Сжимал кулаки и строил планы мести. Да, кстати, он упомянул «Кокс Антрацит». Что-то не нашел я такой надписи. Где же она? Я уткнул нос в портрет, искал-искал, но тщетно. Тьфу... и тут надул... Портрет пах рыбьим клеем и краской. Старая живопись так не пахнет...

Тут мне показалось, что из картины донёсся какой-то шум. Я оторопел.

Да... шум, как в радиотеатре... вроде конка едет... разговор... газ в фонаре шипит... колоколá... свист... гудки паровозов...

А это что за сапоги всмятку?

Лицо старика... как будто изменилось. Прищурился старик. Потом глаза закрыл и открыл рот... А теперь наоборот, открыл глаза, а рот закрыл. И вдруг... вытянулся из портрета как язык хамелеона, схватил меня за нос и дернул на себя. И я... что за... уменьшился, как Алиса в комнате с кроликом, и упал в картину, как бильярдный шар в лузу. А портрет вдруг стал глубоким как колодец. И стал я в этот колодец падать. И растерял я в падении все, что еще было мной.

...

Обрел себя я вновь в теле горного инженера Ульриха Тролля в тюрингском городке Зонненберг. Я стоял на Рыночной площади. Рядом — карета с кучером. Меня обступали какие-то люди. Я обратился к ним с короткой приветственной речью на немецком языке. Пожал несколько рук, улыбался, покивал головой и поехал в гостиницу. Там меня поприветствовали и отвели в номер. На изящном ореховом столике лежала свежая газета. От 23 августа 1875 года.

На следующий день я приступил к работе, спустился в шахту, осмотрел заброшенное месторождение серебряной руды. Начал набрасывать чертежи необходимых построек.

Через месяц на концерте духового оркестра я познакомился со стройной полногрудой девицей Евелин Бецнер, влюбился в нее и, не долго думая, предложил ей руку и сердце. Мы купили дом и небольшой садик, наняли прислугу. В последующие пять лет у нас родилось трое детей. Случившееся со мной я воспринимал как данность, старался об этом не думать, никому ничего о другой моей жизни не рассказывал. Радовался, что меня не перенесло в окопы какой-нибудь войны или не забросило в суп к каннибалам.

Немецким языком и ремеслом горного инженера я владел в совершенстве — знания эти пришли ко мне тогда, на рыночной площади, вместе с новым телом и судьбой. Тогда же во мне появились вдруг — воспоминания о немецком детстве, которое я, оказывается, провел в городке Аннаберг в Рудных горах... Учился я в Горной академии во Фрайберге...

Позже я посетил живущего там отца, высокого, сухого и холодного старца, отставного юриста, положил цветы на могилу матери.

Новая жизнь моя текла быстро, как в кино, но это была подлинная, полнокровная жизнь. Лечить зубы у гарнизонного лекаря было так же больно, как и в нашей районной поликлинике у метро Профсоюзная, мои дети и жена болели настоящими болезнями, подчиненные мне горнорабочие однажды, во время пьяной драки, искалечили друг друга, и я чуть не лишился места. Ходить по улицам Зонненберга можно было весной и осенью только в калошах, жалование я получал золотыми и серебряными монетами, радио, телефона и телевизора не было, но их с успехом заменяло живое общение между людьми. В Зонненберге была превосходная библиотека, там хранились и с полтысячи русских книг. Телеграф и железная дорога работали прекрасно. По воскресеньям мы ходили в лютеранскую церковь. Моя семейная жизнь протекала мирно и счастливо. Меня дважды наградили и в один прекрасный день даже выбрали председателем городского отделения «Германского Общества Любителей Минералогии».

Какая нелепость... с немцами конца девятнадцатого века мне было значительно легче сосуществовать, чем с соотечественниками в прошлой жизни в Москве. Они были спокойнее, практичнее, проще, чем советские люди, может быть, потому, что — в их подвалах еще не было мертвецов. И я в этом новом мире не раздражался, не страдал по пустякам и не бесился по любому поводу.

В СССР я, как и все мы, был невыездным. Тут же я изъездил всю Европу. Побывал на Святой Земле, в Турции, Египте и Марокко. Дважды посетил Америку. Видел там индейцев. Они напали на наш поезд, но были отогнаны солдатами охраны.

...

Естественно, у меня захватывало дух от одной мысли, что я знаю будущее. Меня не страшило то, что я живу среди давно умерших людей. Иногда мне казалось, что все вокруг не настоящее. Что я живу не в реальности, а в какой-то ее проекции неизвестно на что. Но подобные мысли приходили

ко мне и тогда, когда я жил в Москве в своей однокомнатной кооперативной дыре и вынужден был из-за ста пятнадцати рублей в месяц пять раз в неделю посещать нашу паршивую лабораторию.

Я подумывал о том, не поехать ли мне в Париж, найти там Ван Гога и помочь ему. Или Дега... Ну и купить у них с десяток картинок, так... для потомства.

Еще сильнее мне хотелось: в семидесятых — посетить Симбирск и придушить там мальчика Володю Ульянова, в восьмидесятых — отправиться в Гори и пристрелить маленького Сосо, а позже, в начале девяностых — сделать то же самое с другим ребенком, Адольфом Алоисовичем.

Будь на моем месте Че Гевара или Ричард Львиное Сердце, они, наверно, так бы и поступили, но я на подвиги способен не был, жил тихо, удовлетворяясь ролью наблюдателя. Раз только не удержался... за год или за два до смерти Чехова приехал в шварцвальдский Баденвайлер и пробыл там несколько дней, узнал, где остановились Антон Павлович и Ольга Леонардовна, бродил, бродил недалеко от их дома, но близко подойти так и не решился, не хотел навязываться. Видел их только издалека.

В конце девяностых я овдовел, дети к тому времени уже покинули дом, денег у меня было достаточно, чтобы безбедно прожить не одну, а три старости, я уволился с работы, переехал в Баден-Баден, снял там квартиру и посвятил свою жизнь собиранию экзотических минералов и окаменелостей. Начал писать «Записки горного инженера». Бродил по окрестностям. Иногда катался за Рейн, в Страсбург, тогда еще прусский, чтобы полакомиться сырами и птичьими паштетами.

Потихоньку подступила старость, я чувствовал, что одряхлел, что теряю ясность соображения. Мои дети и внуки приехали со всех концов Германии, поздравить меня с семидесятипятилетием. Юбилей удался на славу, но я был рад, когда все закончилось. У меня часто болели ноги и желудок. Я очерствел и то и дело погружался в депрессию. Характер у меня испортился. Жизнь подходила к концу.

В середине января 1910 года я переборол себя, собрался с силами и отправился в Россию, в Санкт-Петербург. Мне не хотелось умереть, так и не раскрыв тайну моего перевопло-



щения, я решил во что бы то ни стало отыскать художника, нарисовавшего портрет, сыгравший со мной такую фантастическую шутку, и его модель.

Я надеялся найти их на Невском двадцать первого января, в сумерки.

И вот, я на вокзале в довоенном, дореволюционном Петербурге.

Какая роскошь! Какая бедность! Нет слов...

Снял номер в гостинице «Лондон».

...

Завтра т о т день, двадцать первое.

Место, с которого художник рисовал улицу и старика, я обнаружил еще несколько дней назад. Вывески на фасадах, конечно, были другие. Но дома, церковь, Адмиралтейство — все было как на портрете. Но вот же незадача! Ночью дерзкие воры украли мою бобровую шубу, шапку, два чемодана и бумажник. Осталось у меня только то, что случайно оказалось в кармане брюк. И десять золотых монет, которые я носил из предосторожности в поясе. Хорошо еще, что я, по давнишней привычке, оплатил пребывание в гостинице вперед. Полицейский чин записал в записную книжечку мои показания и обещал найти преступников. Надо было идти на проспект, а я не знал — в чем. Официант в ресторане посоветовал мне посетить меховой магазин Андропова за углом и купить там верхнюю одежду. Я последовал его совету.

Приказчик, узнав о моих несчастьях, предложил мне задешево отечественную лисью шубу, слегка поеденную молью, и новый английский котелок модели 1890 года и обещал приложить к ним бесплатно красный шелковый галстук и темный форменный сюртук инженера путей сообщения.

Только напялив все это барахло на себя и посмотрев в огромное андроповское зеркало, я догадался, кем был тот старик на портрете. И похолодел от ужаса. Ощущение, что все вокруг — ненастоящее, болезненно усилилось.

Я вышел из магазина на улицу, как лунатик. Сильный порыв морозного ветра сбил меня с ног. Я встал, отряхнулся и пошел на Невский. По дороге мне казалось, что люди и животные как-то странно на меня смотрят, с издевкой, что ли, а фонари мне глумливо кланяются.

На фасадах домов показались другие вывески и рекламы — те самые, с моего портрета, а старые исчезли. Каменный мост на Фонтанке с грохотом обрушился в воду, как только я по нему прошел, вслед за ним начали падать и доходные дома, и дворцы, и церкви... В белесом мареве исчезали пешеходы и всадники, тумбы и столбы, земля расступалась и засасывала урбанический мусор в свои крошечные глубины.

Когда я наконец подошел к заветному месту, город на Неве уже невозможно было узнать.

Через несколько секунд от него не осталось ничего, кроме заснеженного поля, из которого торчали несколько чахлах осинок и березок. В сумеречном свете казалось, что снег переливается лиловатыми огоньками, а по краям поля колеблется, как пена на ветру, редкий темно-лиловый лес.

Прямо передо мной стоял открытый мольберт с красками и портретом.

Бородатый, одетый в черное, похожий на Таможенника Руссо художник, сказал: «Наконец-то пожаловали, сударь, встаньте-ка, пожалуйста, вот сюда, смотрите на меня и не двигайтесь. Расстегните шубу. И молчите, слова, как вы уже вероятно догадались, тут бессильны и неуместны. Мне осталось сделать только несколько мазков. Сейчас все кончится... или начнется... это уж на ваш вкус».

...

Мой старый будильник показывал без четверти пять. Мне надоело пялиться на этот дурацкий портрет. Я встал со своего стула, откинул клетчатую занавеску и посмотрел в окно. Моросил холодный осенний дождь. Влажный асфальт был черен, как воронье крыло, все остальное — дома, деревья, панельные девятиэтажные дома и небеса над ними — было коричнево-серым. Огромный московский двор зиял во всей силе своего безобразия.

Превозмогая слабость и зевоту, я снял портрет с гвоздя, оторвал от рамки медную проволоку и запаковал его в пять слоев газеты... перевязал тесемкой... а утром взял с собой на работу. После обеденного перерыва я не вернулся в лабораторию, а поехал в антикварный магазин, отдал там незнако-

мому продавцу портрет и квитанцию, показал надписи, обещал пожаловаться... и получил свои деньги назад. Затем заехал к филокартистке, расплатился с ней и забрал пальто. Надел новое пальто и поехал к бабушке.

Она не могла наглядеться на обновку. Гладила благородный каракуль и удовлетворенно кивала головой. Предложила мне кусок пирога с капустой и оставшийся после гостей салат. Я поел, выпил чашку сладкого чая и сказал бабуле: «В следующий раз положи, пожалуйста, в салат поменьше майонеза».

## ГАЛАКТИКА

### МЕДАЛЬОН

Лет пять назад, на Рождество, моя подруга подарила мне ручку с золотым пером.

Ватерман, Париж. Модель «Галактика». Черная благородная пластмасса с латунными колечками вокруг животика. Кончик пера — иридиевый.

С этим Ватерманом я продельваю эксперименты. Отключаю самоконтроль и самоцензуру, активирую, насколько могу, сознание и позволяю руке свободно писать текст черными чернилами на больших атласных листах. Пишу не торопясь, строку за строкой. Берегу перышко.

Иногда выходит что-то странное. Как будто и не мое.

...

Посмотри в старом сундуке, — язвительно прошептала графиня, неловко стягивая розовыми нервными пальцами расстегнутый наполовину корсет, — посмотри, посмотри! Это там, там! Как я несчастна!

Что может быть в этом сундуке? — спросил смущенный граф, — кажется, его не открывали с того самого времени, когда мы поделили наследство старика Кейна.

Он брезгливо стряхнул с сундука пыль и, немного повозившись с ржавым замком, сбил его нетерпеливым ударом сапога и приподнял тяжелую крышку из кованого позеленевшего металла с изображением улыбающегося Пана, обнимающего смазливую козочку. Увидев лежащую в сундуке женщину в красном платье, граф сверкнул глазами, недовольно хмыкнул, дернул усом и невозмутимо провозгласил: «Приветствую, вас, контесса».

Женщина в красном ловко выскочила из сундука, поправила растрепавшиеся льняные локоны и презрительно

отрезала: «Вы непроходимый идиот, граф! Это ловушка. Сейчас вас продырявят!»

В руках у графини блеснул жирным желтым перламутром маленький пистолет.

Раздался выстрел. Потом еще один. Графиня хотела убить двоих.

Граф упал, обливаясь кровью, женщина в красном пропала, сундук с грохотом захлопнулся.

Пуля попала графу в горло. Вторая засела в гобелене с изображением Леды и лебедя по мотивам картины Понтормо. Прямо в разбитом яйце.

Бледная как смерть графиня пошла звонить в полицию, зашнуровывая на ходу корсет трясущимися руками. По дороге к телефону, стоящему на ломберном столике в библиотеке, она споткнулась и упала на лежащую рядом со статуей средневекового рыцаря, усеянную длинными острыми шипами, булаву. Один из шипов проткнул ей грудь. Другой — печень.

Когда она затихла, рядом с ней появилась женщина в красном.

Она сорвала с тонкой шеи мертвой графини серебряный медальон, открыла его и истерично захохотала, глядя на выпрыгнувшего из него изумрудного лягушонка.

## ХУМЕНТАШИ

Алексей Юрьевич не любил своей комнаты в санатории. Несмотря на уют, несмотря на огромное окно, балкон, книжную полку и телевизор. После инфаркта он почти не читал — путались строчки перед глазами, путались и мысли, протестующие против диктата чужих слов. И телевизор не смотрел — не мог понять, о чем они говорят, эти новые для него люди.

Чего они все хотят? Неужели они надеются на то, что тысячелетнее холоуїство может в один прекрасный момент взять и кончиться? Жили-жили в темном царстве, а потом хоп... и вышли в свет.

Алексей Юрьевич боялся, что все эти перестроечные разговоры — только блеф, прикрытие, а на самом деле они пытаются выпытать из него что-то тайное, постыдное, страшное...

Не скажу, не скажу, твердил он про себя невидимым собеседникам. Не узнаете, скоты, ничего вы не добьетесь, хоть все зубы выбейте.

Зубы ему выбил в пятьдесят втором, на допросе по делу врачей кровавый карлик Рюмин. С тех пор Алексей Юрьевич жевал вставной челюстью.

И окно тоже пугало его, из него открывался вид на санаторский морг — приземистое здание с высокой квадратной трубой. Алексей Юрьевич был не настолько стар, чтобы не понимать, что за фиолетовый дымок вьется над ней. Здание это было чем-то похоже на Рюмина. Алексею Юрьевичу казалось, что оно как и Рюмин смотрит на него мертвыми глазами, недобро скалится и пускает дым из папиросы.

При первой возможности он шел на улицу, на воздух — к соснам, осинам и кленам, к стальному подмосковному небу, к невысокому солнцу. Убегал по асфальтированным дорожкам подальше от своего корпуса, и ходил, ходил упрямо, чертил своим телом полукилометровые периметры, заполнял собой пустоту санаторского парка.

Порывы холодного ноябрьского ветра освежали его, он жадно дышал, сопел. Тающие на его старом морщинистом лице и стекающие на подбородок холодными капельками снежинки охлаждали его воспаленную, плохо выбритую кожу, приносили облегчение, напоминали почему-то о море. Не о том, сером, балтийском, которое он много раз наблюдал во время отдыха в Юрмале со своей секретаршей Гуной, обьедавшейся взбитыми сливками, а о другом, великом, вселенском, по сравнению с которым и все земные моря и океаны и даже сам потрясающий Млечный путь — только капелька слизи, принимающем в себя все тленное, в которое, пеплом и дымом, должен был вскоре влиться и он.

Алексей Юрьевич представлял себе увенчанные белоснежной пеной громадные голубые волны вечности, колеблющие трон Всевышнего и вздыхал. Бедняжка Гуна, младшая его на двадцать три года, умерла, не дожив до пятидесяти, от рака груди. Как он любил ее! На ее сорокалетие он подарил ей роскошное платиновое платье из итальянской чесучи... Где оно теперь?

Ждет ли она меня там? Спрашивал Алексей Юрьевич сам себя и сам отвечал себе: «Нет, никого там нет. Ни живых, ни мертвых, только волны и пена, похожая на грязную овечью шерсть».

Он чувствовал, этот, третий по счету, инфаркт не убьет его. Значит, есть еще немного времени. Нет, не пожить. Хватит, пожил. Восемьдесят семь лет. Вспомнить.

И он ходил и вспоминал.

Свою родину — дореволюционный Могилев, ажурный мост через Днепр, тонущую в грязи пароходную пристань, дедовскую квартиру на углу Дворянской и Садовой, он помнил смутно.

Помнил только маму, готовящую хументаши с ушками и отца, сидящего в высоком черном кресле и читающего Тору...

### ЗАДЕРЖКА

Престарелый отец Вероники, Николай Петрович Кротов скончался в пятницу вечером в больнице святой Евфимии Растерзанной. Накануне, в четверг, Кротов неожиданно для самого себя оступился и упал — без причины и на ровном месте — в своей комнате, сильно ударился головой о громадный черный телевизор, стоящий на столе у окна, из которого были хорошо видны покрытый рядами виноградников конусообразный холм, лес, поле для гольфа и продуктовый магазин, и потерял сознание. Вероника еще не пришла с работы, а ухаживающая за Кротовым медсестра Жизель, отработавшая у него положенные два часа, за пять минут до этого покинула квартиру и как раз устраивалась в этот момент удобнее за рулем своего компактного Пежо, похожего на физиономию улыбающегося японца.

Грохот от удара она услышала, нашла глазами окна этого «неприятного русского старика» на втором этаже, решила подняться и проверить, все ли в порядке, но отвлеклась — ее мобильник проиграл электронной балалайкой первые такты песни Битлз «Лемон три». После этого Жизель долго читала длинное SMS-сообщение ее дружка, наглеца, бездельника и фанфарона Сильвио, в котором тот описывал, как и как долго он будет любить ее этим зимним вечером и что они будут есть, пить и нюхать до, во время и после сношения.

Закончив смаковать этот соблазнительный текст, Жизель — в легком дурмане от предвкушения любовных утех — села за руль и газанула, начисто забыв о несчастном Кротове. Ехать ей надо было далеко — полчаса по автобану до Мюнхена, а затем еще километров пятнадцать на юг.

Так что помочь Николаю Петровичу было некому. Вероника нашла отца через час после его падения, на полу, рядом с кроватью. Голова Кротова еще кровоточила, тело было скрючено, страшные костлявые старческие руки с длинными белесыми ногтями конвульсивно подрагивали, лицо стало похоже на студень.

В голове у Вероники прозвенел ледяной колокольчик — это конец!

У нее закружилась голова, ноги подкосились. Вероника присела на корточки рядом с отцом и закрыла глаза. Потом не выдержала и повалилась на него. Ее нос уткнулся в его тощий живот. Она почувствовала знакомый с детства запах. Села на пол. Похлопала себя по щекам. Три раза, как ее учила преподавательница-йогиня, глубоко вдохнула открытым ртом и выдохнула через нос. Встала, постанывая и подывая, и вызвала скорую помощь. Бравые двухметровые ребята-пожарники приехали через пятнадцать минут. Они были в касках, но с медицинскими чемоданчиками в руках. Главный пожарник тут же ввел в вену Кротову какое-то лекарство, старика положили на носилки и без труда унесли в красную машину.

Вероника поехала с ними. В больнице Кротова сразу же увезли в реанимационное отделение, а Веронику отправили домой. Вызвали ей такси.

Дома Вероника приняла душ и включила телевизор. Наугад. На канале «Классика» передавали «Психо» Хичкока. Одетый в женское платье Энтони Перкинс, в парике, колот моющуюся в душе воровку Джанет Ли столовым ножом. Вероника была настолько погружена в себя, что не поняла, ни что за фильм показывают, ни кто кого убивает. Она тупо смотрел на широкий экран, видела, как серые женские пальцы скребут по кафельной плитке, как женщина оседает, пытается схватиться за полиэтиленовую занавеску... видела как вода, глокая, уходит в отверстие, видела мертвый женский глаз.

Подумала: «Чей это глаз? Кажется, мой...»



В пятницу утром Вероника позвонила своему шефу, всегда элегантно одетому сидящему блондину, и сообщила ему, что не придет сегодня на работу, но обязательно заедет в бюро в субботу и сделает все неотложные дела. Затем поехала в больницу.

К отцу ее пустили только на часок. И то только потому, что ее узнала знакомая по старым материнским делам русская по происхождению медсестра Катя. Катя сказала Веронике: «Плох, очень плох. Всю ночь его откачивали. Отойдет скоро. Посиди с ним, пока врачи не пришли».

Вероника стояла рядом с отцом и гладила его по плечу. Голова его была забинтована, изо рта торчало несколько трубок. Дышал Кротов сухо, неровно. Веронику пугали многочисленные, посверкивающие разноцветными лампочками, реанимационные машины. Она чувствовала — они не спасители отца, а обуза для его старой плоти.

Позже Кротов скончался, не приходя в сознание.

Вероника в это время сидела у себя на кухне и механически жевала черствую горбушку. Ей позвонила больничная менеджерша. Ее голос и интонации показались Веронике нестерпимо вульгарными. До рвоты, до остановки сердца. Она положила трубку и побежала в туалет.

Через час Вероника поехала в город, в похоронное бюро «Три дубовых ветки», год назад похоронившее ее мать, Гунделинде Карловну Кротову, урожденную Вальтер. По дороге плакала, нервно сжимала маленькие сухие кулачки. Вспоминала о чем-то и безумно улыбалась. Поглаживала живот. Перед входом в бюро привела себя в порядок.

...

Вероника была примерной и любящей дочерью. Два года выхаживала больную мать, которую педантичные немецкие врачи несколько раз бессмысленно оперировали — не потому что надо, а потому что положено. По полной программе отделили старуху и отправили ее умирать домой. После смерти матери взяла к себе в трехкомнатную квартиру немощного отца и как могла нежно и терпеливо ухаживала за ним, не бросая при этом трудоемкую работу в офисе фирмы «Альгицит», выпускающей химические средства для борьбы с водорослями в аквариумах.

Вероника не хотела отдавать отца в дом для престарелых — жалела. Знала, что там не будут терпеть его капризов и потихоньку утробят. По ночам она не спала, потому что Николай Петрович постоянно будил ее и требовал кофе, сигарету или просился в туалет — дочь доводила отца до двери и отводила его обратно в постель. На работе Вероника все время тряслась, боялась того, что с отцом что-нибудь случится. Мыла его. Возила по врачам. Возилась со страховками. Писала под диктовку письма его бывшим коллегам. Ходила вместе с ним в русский магазин.

Однажды ночью Кротов позвал как обычно дочь, и она пришла к нему, заспанная, измученная, в слежавшейся ночной рубашке, пятидесятилетняя девушка на тоненьких кривых ногах, обутых в стоптанные тапочки. Вероника приготовилась вести отца в туалет.

Но он сказал ей, что на сей раз хочет от нее другой помощи...

Вначале она опешила, хотя виду и не подала. Покраснела. Хотела бы свести все к шутке, но посмотрев отцу в его поголубевшие глаза, прочитала в них неожиданную для нее решимость. Подумала и согласилась.

В конце месяца у нее произошла задержка.

### *МАДАМ ЛИЛИ*

Я шел по улице. Рядом со мной шел дождь.

Улица начала медленно подниматься. Как разводной ленинградский мост.

Поднималась и поднималась... и встала наконец вертикально как мост в небеса.

В последний момент я уцепился за газовый фонарь и повис на нем как капелька росы на соломинке. Я сверкал и переливался светом.

Потом не выдержал, упал и понесся, как метеор в космическую пустоту.

Дождь несся за мной, как рой ошалелых ос.

...

Охота была в самом разгаре. Десятки нагих охотников неслись, потрясая длинными тяжелыми копьями, улюлю-

кая и громко свистя, по улицам города. Дичью был я, огромная белая такса. Тучная, неповоротливая. С большими висячими усами.

Даже если бы я мог бежать, мои короткие ноги не спасли бы меня от этих молодых парней, изнывающих от охотничьего азарта и жажды крови. Но бежать я не мог — одышка, старость, злоупотребление мучным давали себя знать. Я решил прикинуться мертвым. Лег на спину, закатил глаза, выпучил живот, сложил лапы на груди, застыл и перестал дышать. Я слышал, как охотники топали своими ножищами по мостовой, старался не вздрагивать от их коротких гортанных криков. Потом все затихло. Вокруг меня воцарилась мертвая тишина.

Через минуту я не выдержал, вздохнул и открыл глаза...

Охотники стояли вокруг меня и жадно разглядывали жирную дичь круглыми красными глазами. Их правые руки с копьями были задраны вверх, они были готовы поразить меня в сердце. Я сжался, задрожал и пустил ветры.

Десятки тяжелых копий с бронзовыми наконечниками вонзились в мое белое тело.

...

Дом ужаса.

На его крыше сидел слон, похожий на паука. Он ощупывал дом десятками своих омерзительных длинных хоботов и смотрел на меня восемью выпученными глазищами. Я понял его план. Он хотел спуститься с дома по фасаду и наброситься на меня. Но это ему не удалось. Он был слишком тяжел. Я подошел к заколоченному окну и заглянул внутрь. Обезумевшие домовые грызли кости мертвой старухи, сидящей в кресле-качалке.

...

Началось это давно-давно, тогда, когда мать ставила меня в угол за мелкие домашние провинности. Я стоял и смотрел на наши старинные обои с барочными завитушками и кружками. Смотрел, смотрел...

И тогда оттуда, из мира за стеной, на меня начинали смотреть о н и. Через кружки на обоях.

Кружки превращались в глазки. А потом из стены вылезали тигриные или акульи морды и страшно разевали свои пасти, усеянные неправдоподобно большими зубами.

Из угла выбегали крысы с синими ленточками, обвязанными вокруг толстых шей и барсуки в красных лакированных сандалиях.

На обоях открывалось квадратное окошечко, и из него выглядывала огромная жаба.

Бороться с этой нечистью мне приходилось одному — взрослые не видели и не чувствовали ничего. Однажды, двухметровая оранжевая змея, выползшая из моего угла, вползла в полуоткрытый рот моей бабушки, а затем вылезла из ее уха. Бабушка ничего не заметила.

...

Ворота ада.

Так я звал про себя дом напротив. Рядом с его парадным входом пропадали люди. Я видел, как они исчезают. Как будто их всасывал пылесос. И в то же мгновение тот же адский пылесос выбрасывал их назад. Они поправляли одежду, встряхивались как псы и шли себе дальше как ни в чем ни бывало.

Я знал, что парадный вход служил воротами в ад. Изнывающие от скуки дьяволы затаскивали через него прохожих в преисподнюю. Чтобы мучить их там, как злой ребенок мучает котенка.

Как долго они забавлялись с своими жертвами я не знаю — в перпендикулярном времени столетия длятся лишь мгновения. Потом, насытившись вдоволь ужасной забавой, они выталкивали несчастную жертву назад в наш мир. Человек, побывавший в аду и вспомнить ничего не мог. Ни синяков, ни ран не оставалось на его теле.

В этом доме размещалась теперь диакония. Я видел, как люди в черном с суровыми бледными лицами, сидя за гигантским овальным столом, часами слушали отчет или инструктаж такого же как и они пастора в темной одежде с суровым бледным лицом.

...

Дома без удобств.

В этих бедных домах без удобств жили раньше ткачи.

После долгой, мучительной работы на ткацких станках они приходили домой и хотели воспользоваться удобствами, но удобств в этих домах не было.

Поэтому ткачи пользовались удобствами только на фабрике, а дома смотрели телевизор, ели, спали и терпели.

Терпели, терпели, терпели...

А по утрам быстро бежали на фабрику.

Даже иногда подпрыгивали.

Свистели и гудели как локомотивы.

У-уу-ууууу!

...

Проезжающий мимо велосипедист посмотрел на этот дом.

Дом был ему знаком, ведь он прожил в нем пятнадцать лет. Он жил в нем, пока его не сбил автомобиль напротив цветочного магазина.

Велосипедист был похоронен на городском кладбище недалеко от крематория. С тех пор он ездит по улицам города на своем старом велосипеде фирмы «Диамант». Иногда он оставляет велосипед на улице и входит в этот дом. У меня ни разу не хватило духу посмотреть, что он там делает...

...

Эта фабрика была закрыта двадцать лет назад.

Но из ее высокой трубы все еще поднимается дым, в ее окнах мелькают зловещие фигуры. По ночам в фабричные ворота въезжают десятки грузовиков...

Но ни один грузовик не выехал из фабричных ворот за последние двадцать лет.

Под фабрикой был проложен туннель, но его залила вода из речки. Грузовики ржавеют в туннеле под водой. Внутри их кабин плавают жирные желтые рыбины.

Рыбы фосфоресцируют, и в этом зыбком свете хорошо видны не до конца разложившиеся трупы водителей грузовиков.

...

В этом доме жил после войны людоед. Его вечно терзал волчий голод.

Он съел соседку.

Потом соседа.

Потом их сына.

Потом и их собаку.

Затем он съел свою двоюродную сестру.

Пригласил ее отведать пирожков, затем убил, изнасиловал и расчленил.

Когда его арестовывала полиция, он жарил почки другой своей двоюродной сестры.

Предлагал полиции попробовать.

Когда его везли в тюрьму, он жаловался на голод. Уверял, что он никому не желает зла.

Снабжение плохое, говорил людоед, вздыхая, даже на фронте кормили лучше.

На фронте он был, как и многие другие мужчины города — поваром. Некоторые впрочем, были радистами. Телефонистами. Специалистами по камуфляжу. Конюхами. Шоферами. Врачами-дантистами. Наблюдателями.

Никто никого не убивал.

И не съедал.

Не то, что в мирное время.

...

В этом доме жил тридцать пятый, если считать справа налево, городской почтальон.

Он никого не обижал, он только разносил почту в отведенном ему районе.

Звонил в дверь, ему открывали, он отдавал почту и уходил.

И никого не обижал.

Иногда он оставался поболтать с симпатичными кумушками, жительницами тридцать пятого почтового района города.

Обсуждал с ними последние городские новости и погоду, иногда даже выпивал чашечку невкусного бобового кофе.

А потом... уходил восвояси.

И никого никогда и пальцем не тронул.

А ему ведь так хотелось.

...

А в этом заколоченном доме жил продавец золотых рыбок.

Он не ел человеческое мясо, не разносил писем и не насиловал мертвых двоюродных сестер.

Он разводил и продавал золотых рыбок.

А в свободное от работы время он пел старинные немецкие песни.

...

На этой площади я упал в обморок.

Каждый раз, когда я проходил по этой площади по пути в магазин Лидл, я думал, только бы в обморок не упасть.

И однажды... упал.

Посмотрел на картинку, нарисованную на стене и брякнулся.

Разглядел в нарисованных облаках моего близнеца. Он кивнул одной из голов и показал мне свой раздвоенный язык.

А я упал от страха в обморок.

...

На внешней стене библиотеки кто-то приклеил плакат.

От дождя и солнца плакат потерял свои краски. Невозможно было понять, что же на нем изображено.

Потом кто-то, неизвестно зачем, вымазал плакат сажей.

А затем случилось чудо — на плакате само собой оказалось лицо покойной директрисы городской библиотеки.

Директриса долго смотрела своими мертвыми глазами в небо, а потом исчезла так же внезапно, как и появилась. Должно быть, обиделась на рисующих граффити подростков. У нее и во время жизни с подрастающим поколением отношения не складывались. А уж после смерти...

...

У этой старой кирпичной стены кого-то когда-то расстреливали.

Или пыряли ножами.

Или пытали.

Пытали, а потом насиловали.

Или — наоборот, вначале насиловали, потом пытали.

А ножами не пыряли вовсе.

И расстреливали.

А может быть — ничего не делали.

Разве что какой паршивый кобель помочился на эту отвратительную стену.

Они жили вместе почти шестьдесят лет. Растили детей, работали, любили, отдыхали.

Потом умерли. Вначале старушка, потом — старик.

После смерти они очнулись, как после тяжелого сна, в океане. На надувных матрасах.

Океан был спокоен, вокруг них тихо плескались крохотные ласковые волны. Солнце не жгло, ветра не было, сквозь прозрачную голубую водичку было хорошо видно покрытое разноцветными камешками дно. В воде не было ни рыб, ни медуз, в воздухе не было птиц, в небесах цвета желтого опала не было видно ни облачка.

Он увидел ее, она увидела его. И они улыбнулись друг другу беззубыми ртами.

А затем они легли на своих матрасах на свои старые, морщинистые животы и стали отчаянно быстро грести руками. Как бабочки или стрекозы, попавшие в воду. Они сбивали воду в пену, и эта пена покрыла поверхность воды моря желтоватым ковром.

Они плыли в разные стороны. Через несколько минут они потеряли друг друга из виду.

...

Просторный классный зал. Столы.

За столами сидят люди.

Они молча пищут что-то в серых тетрадах. Тишина нарушается только монотонным голосом учительницы, скрипением стульев, кряхтением, вздохами.

Я тоже сижу за столом. Передо мной лежит тетрадь и синяя шариковая ручка с обгрызенным концом. Кто его обгрыз?

Почему мне страшно?

Во сне думать трудно.

Я не знаю, кто я.

Не знаю, мужчина я или женщина, мальчик или старуха. Гляжу во сне на свою руку. Рука как рука, без свойств, без возраста. Как будто и не моя.

В классе высокий потолок. Слева и справа просторный белый коридор. С небольшими белыми дверями. Больница?



Учительницу не видно. Между мной и нею стоят казенные шкафы. Огромные, почти до потолка, из массивного дерева. Что в них? Какие-то старые папки. Истории болезни?

Я вслушиваюсь, пытаюсь понять, что говорит учительница.

Не понимаю ни слова.

Это не человеческая речь, а мышиний писк, сопенье...

Что же пишут в тетрадках мои соседи?

Спросить что ли кого?

Рискованно. А вдруг он или она встанет, покажет на меня пальцем и громко завизжит? Тогда все поймут, что я — чужак. И набросятся скопом.

Решаюсь потревожить тучную женщину в лиловом платье, сидящую на парте передо мной. Осторожно дотрагиваюсь указательным пальцем до ее плеча.

— Извините, что вы пишете?

Женщина поворачивается ко мне.

О, Боже! Это не одна женщина, а две. Сиамские близнецы, сросшиеся лицами, похожими на лицо несчастной Фриды Кало. Три глаза и два рта. Они возмущены моей дерзостью. Они грозно хмурят густые сросшиеся черные брови, их напомаженные губы дергаются в припадке справедливого гнева.

Близнецы пытаются говорить. Но выдавливают из себя только шипение и хрип.

Они отворачиваются и принимаются писать дальше. Одной правой рукой. Остальные руки — маленькие, уродливые — висят как плети поверх платья, в которое всунуты два пухлых сросшихся тела.

Обращаюсь к сидящему справа от меня мужчине, похожему на небольшую ворону.

— Простите, что вы пишете?

Он поднимает голову и с ужасом смотрит на меня.

В его больших воспаленных глазах смятение. Он бормочет: «Оставьте меня в покое! Кар-кар... Я записываю слова учительницы. Не мучайте меня! Я готов на все. Возьму любую работу. Могу полизать у вас под мышками после уроков, только не мешайте мне писать. У меня слабая память, не могу ничего запомнить. Я должен аккуратно записать все, что скажет мадам Лили. А вечером я постараюсь выучить запи-

санное наизусть. Буду долдонить всю ночь. Что-нибудь, да останется! Да, да, вы смеётесь. Вы хотите помешать мне, а потом, когда я срежусь, вы будете торжествовать. Стыдитесь. Пишите. Пишите, как все! Кар-кар-кар...»

...

Четырнадцатилетний сын моих венских знакомых Лютц рассказал, что по их школе ходят видеокассеты с фильмами, нелегально отснятыми во времена фашизма в концентрационных лагерях. Любители садизма снимали стоящих в газовых камерах голых женщин и детей до пуска газа и после. Через стеклянные окошки в дверях.

Я спросил Лютца:

— Ты видел сам?

— Да, да...

— Тебе не было страшно?

— Нет, меня же никто не трогал.

— Тебе было их жалко?

— Нет.

— Ты онанировал, когда смотрел?

Лютц вначале не отвечал, но когда я заверил его, что ничего не скажу его родителям, выдал из себя: «Да. Да. Это было здорово и быстро. Я кончал, когда они все там обсерались...»

### *ШКАФ ТЕТИ ОТТИЛИИ*

Тетя Оттилия боготворила роскошный трехстворчатый книжный шкаф ручной работы, купленный ей в Потсдаме у одного мясника еще до объединения Германии. Красивый — красного дерева, надежно запирающийся, покрытый резными орнаментами, мифологическими цветам и сардоническими масками кривляющегося Мефистофеля, покоящийся на львиных лапах, трех с половиной метровый шкаф олицетворял для нее все хорошее, солидное, важное, что есть в жизни. Был не мебелью, а машиной существования.

В этом шкафу тетя Оттилия хранила не только белье, книги, журналы, фотографии и записные книжки ее покойного мужа, но и то, что составляло главную отраду ее жизни — деньги и ценные бумаги.

Не хочу представлять покойную тетю эдаким немецким вариантом Скупого рыцаря, но это, увы, так и было. Единственным занятием восьмидесятилетней старухи, которому она страстно предавалась, без всякого преувеличения, впадая в жар и трепет, было — ежедневное многочасовое пересчитывание стоимости ее акций. Делала она это с помощью газеты с биржевыми новостями и электронного калькулятора с крупными клавишами, специально изготовляемого для старых скряг.

Тетя Оттилия, мир ее грешной душе, умерла два года назад.

Моя подруга Минна унаследовала от нее квартиру и мебель, а акции и деньги достались берлинскому приюту для бездомных собак и кошек. Хотя квартира эта располагалась в построенном еще во времена ГДР по советским лекалам железобетонном Марцане — Минна скрепя сердце решила переехать в нее, чтобы не платить квартплату, отнимавшую каждый месяц больше половины ее скромной пенсии.

Когда я впервые увидел шкаф тети Оттилии, я сразу понял, что у меня неожиданно появилась проблема. Дело в том, что квартира эта тетина довольно маленькая, около семидесяти квадратных метров. Шкаф гордо стоял в самой большой ее комнате — гостиной — и занимал собой добрую половину ее скудного пространства. Шкаф не только занимал пространство, он притягивал своими резными красотоми взгляд, принуждал любоваться собой, закабалял.

Глумливый дьявол Мефистофель не только смотрел на меня со шкафа, но и играл со мной в гнусную игру. Выбегал из шкафа полупрозрачным пуделем, вставал на задние лапы, отвратительно подмигивал мне раскосыми глазами, шептал что-то скабрзное мне в уши, хлопал меня по плечу тяжелыми лапами и приглашал войти вместе с ним в шкаф, уверял меня в том, что в там находится дверь в сад, полный очаровательных попугаев и мартышек, готовых заняться со мной любовью, обещал угостить меня волшебными плодами одного милого деревца и вручить мне коллекцию розовых турмалинов.

В эти мгновения мое обыкновенное, порядком поднадоевшее мне за полвека «я» раздваивалось. Одна его половина

оставалась пассивной, равнодушной, а другая раскалялась, праздновала победу над здравым смыслом и прыгала от счастья. Как масаи на своих диких празднествах.

Иногда мне представлялось, что шкаф — и не шкаф во все, а саркофаг зловещей старухи, из которого она иногда по ночам, кряхтя и причитая, вылезает, как гоголевский ростовщик из портрета, и ищет на полках ценные бумаги, а не найдя их — рыскает по своей квартире в поисках жертвы, чтобы высосать у нее кровь. А нечистый дух дергает ее как куклу за ниточки и подгоняет пинками и щелчками. Щелчки эти я слышал особенно отчетливо.

Я попытался уговорить Минну продать шкаф или, на худой конец, просто выкинуть. Тысячу раз объяснял ей, что пространство, свет, воздух — главные достоинства квартиры, куда большие, чем неодушевленные предметы, чем шкаф. Минна на мои уговоры не поддавалась, для нее шкаф был памятью не только о тете Оттилии, но и вообще — о старых временах, о предках, сплошь баронах, баронессах, военачальниках и судьях, которые — жили в замках с такой мебелью, не элегантно, но солидно, достойно, патриархально, не то, что нынешний мишфольк.

Несколько недель я боролся, втайне от Минны послал фотографию шкафа и предложение дешево его продать в берлинские магазины старинной мебели, получил восемь вежливых отказов, потом на свою беду сдался и сообщил Минне, что согласен оставить шкаф в гостиной.

Мучительно долго тянулись: ремонт, укладка ламината «под ясень», покупка новых вещей, выбрасывание и раздача родственникам старых, переезд...

И вот, мы живем в Марцане, в собственной квартире с огромным балконом, с мебелью из магазина ИКЕА и со старинным шкафом-саркофагом красного дерева, моим врагом и мучителем. Я стараюсь шкаф не замечать, не дотрагиваться до него, но у меня это не получается. То Минна просит меня достать из него книгу — «Достопримечательности Майорки», то я спотыкаюсь о проклятые львиные лапы, которые, как мне казалось, проклятый шкаф растопырил еще шире, с тех пор как понял, что ему ничего не грозит.

Я прищемлял дверями шкафа пальцы, засаживал себе в кожу коричневые занозы от его расщепившихся внутренних полок, натякался на шкаф в темноте и преобольно бился

о него лбом и большим пальцем правой ноги. В темноте мне казалось, что из шкафа что-то зловеще отсвечивает, я готов поклясться, что из него иногда доносятся какие-то странные звуки: копошение, кряхтение, вздохи. Иногда я явственно слышал глухой голос тети Оттилии. Что-то вроде: «Минна, Минна, где ты спрятала акции Немецкого банка? Сколько раз я просила тебя, не рыться в моих бумагах!»

Я старался всего этого не замечать, грешил на собственное, не совсем мне послушное подсознание и жил как живется. Был уверен, что легкий характер моей подруги, даже само ее присутствие в квартире непостижимым образом нейтрализует лютость шкафа.

Я подмигивал ему и глумливо кивал в сторону Минны. На, мол, выкуси, проклятая деревяшка. Меня ты не боишься, а хозяйки твоей, аристократки с 800-летней родословной ты трусишь, чертово арийское полено!

Время катилось, как шар по наклонной плоскости из задачек по физике. Вот уже и июль. А шестого — день рождения Николь, Минниной дочки. Минна поедет к ней на два дня. Одну ночь мне предстоит провести в одиночестве, один на один с моим супостатом.

И вот, сижу я с книгой в гостиной в итальянском кожаном кресле как раз напротив шкафа. Читаю жизнеописание сюрреалиста Магритта. Немецкие искусствоведческие книги хороши, но чрезвычайно многословны. Искусствоведы тянут, как бурлаки, свои длинные периоды не ради того, чтобы разобраться в смысле картины и не для того, чтобы похвалить или поругать ее колорит или композицию, а чтобы продемонстрировать себе и другим умение писать искусствоведческие книги. Текст книги был невыносимо нуден, а репродукции картин Магритта были завораживающе хороши. Я перестал читать и стал рассматривать картинки. Листал и думал о шкафе тети Оттилии, о пневматических пистолетах фирмы Вайраух, о том, что надо купить новый костюм, потому что в старом идти на открытие фотовыставки, на котором будут присутствовать голливудские звезды — неприлично, о недавно разбившемся в Атлантическом океане самолете, об ураганном ветре на улице, болезненно напоминающей мне оставленную навсегда улицу Паустовского в давно покинутом Ясенево, о том, чем еще более отвратительным будет вскоре удивлен мир...

Наверное, я задремал. Книжка сползла на пол. Я не стал ее поднимать, только поудобнее устроился в кресле и погрузился в теплую ласковую пену сна.

Средняя дверь шкафа беззвучно раскрылась, и из его книжной глубины вылетел на полных парах зеленый паровоз, а за ним двенадцать старомодных желтых пассажирских вагонов. Состав медленно облетел вокруг меня и улетел обратно в шкаф.

Из широко раскрытого рта солдата-щелкунчика, стоящего на шкафу, выпорхнула маленькая синяя птичка и закружилась у меня над головой. Из внутреннего пространства шкафа вдруг вытянулась длинная рука. Рука эта схватила птичку на лету и втянулась в шкаф.

Из шкафа вышла очаровательная обнаженная молодая женщина, поднесла птичку ко рту и откусила ей голову. На пол закапала птичья кровь, посыпались синие, запачканные кровью перья.

То, что случилось потом, я не могу описать. Это слишком страшно.

Теперь я живу в шкафу.

## СПУТНИК

Отдых наш подходил к концу. Живописные окрестности Миранды порядком надоели. Жара утомила.

Сколько же можно заниматься любовью в духоте короткой южной ночи, купаться на рассвете, пить на завтрак один и тот же кофе, днями таскаться по выжженным солнцем долинам, от руин одного замка к руинам другого, постоянно рискуя провалиться в глубокие ямы, на дне которых живут какие-то осклизлые гадины, карабкаться, распугивая ящериц, в поисках воздушных орхидей по розоватым растрескавшимся скалам, в толщах которых, как говорят, ждут своих первооткрывателей тысячи окаменелых чудовищ, а вечерами пить старый терпкий Москатель и закусывать горьковатым местным хлебом с жареными шампиньонами?

Моя подруга соскучилась по большому городу, супермаркету, кондиционеру. У меня сломалась электробритва. Я позвонил в туристическую компанию — и они милостиво позволили нам улететь на неделю раньше назначенного срока.

Вещи были собраны, и мы томились, как все томятся перед дальней дорогой. Солнце стояло в зените, наш самолет вылетал в пять, полчетвертого должно было подъехать такси.

Мне захотелось еще раз искупаться в море. Поплывать и покувыркаться в средиземноморской водичке перед четырнадцатичасовым заключением в вибрирующем кресле салона туристического класса, в боинговой сардинной банке, как говорила моя злая на язык подруга.

В последний раз насладиться свежим морским ветром, простором и волей перед тем, как напаять на себя еще на один год давно опротивевшую мне маску кровно заинтересованного в успехе фирмы, дисциплинированного и креативного сотрудника и позволить запирать себя шесть раз в неделю на десять часов в пятидесятиэтажном казенном крысари.

На мое предложение пойти искупаться, моя нетерпеливая подруга ответила так — я не желаю приезжать в этот дурацкий бетонный сарай в последний момент и устраивать там беготню по таможням. Извини, я хочу побыть одна...

И ушла к автобусной остановке. Налегке, со своей любимой беленькой сумочкой из змеиной кожи на плече, в которой хранила паспорт, наличные и драгоценности. Три огромных розовых чемодана с шмотками и сумку с тропическими сувенирами, купленными в Миранде, придется тащить мне одному.

Я наблюдал в бинокль ее вальсирующую фигурку с вершины пологого холма, где мы жили в окруженном кустами цветущего вереска общежитии горнорабочих, переделанным в бунгало для туристов из-за океана, дорогу, уходящую в золотое августовское марево, над которой пламенели круглые башни миражей, и медленно ползущий посреди них автобус с кажущейся нелепой в такой зной рождественской рекламой кока-колы на серебряном боку.

Сидящий по-турецки на ковре дородный Санта-Клаус в бордовой шубе с двумя маленькими запотевшими бутылочками в руках похотливо смотрел в стеклянный шарик, внутри которого позировала полураздетая красавица, похожая на молодую Мэрилин Монро. Рядом с ней — запорошенный снегом цветочный домик, игрушечный олень, увенчанный светящейся короной, ухмыляющийся гном с молоточком в руках и здоровяк-снеговик, увитый электрической гирляндой.

Перед тем, как войти в автобус, моя подруга помахала мне на прощанье белой сумочкой. Показав перед этим рукой на рекламу, повертев пальцем у виска и пожав плечами.

После ее отъезда мне стало грустно, я сел в плетеное кресло и закрыл глаза. Когда я очнулся, во мне перекрестным эхом всюду пело предчувствие — ты больше не увидишь ее, не увидишь никогда, никогда...

Идти купаться расхотелось, но я все-таки пошел туда, вниз, в приморский городок Миранду, за которым простиралось ослепительное, обморочно-синее море.

...

Не нужно мне было спускаться в Миранду!

Может быть, еще не было поздно изменить судьбу?



Надо было послушать мою благоразумную подругу, вызвать такси пораньше и дожждаться отлета, сидя в аэропорту, в мягком кресле, с чашечкой капучино, под кондиционером.

Хотела побыть одна? Ничего нет легче этого. Сели бы в кресла, смотрящие в разные стороны.

Но нет, я упрямо зашагал к морю... и тут же понял, что дело дрянь. Кто-то срыл аккуратную дорожку, вымощенную красным кирпичом, вьющуюся от нашего бунгало причудливым серпантинном до самого центра Миранды, а склон холма засадил колючим кустарником, разбросал повсюду битые кирпичи, осколки стекла, ржавые консервные банки, иголки, спицы, ножи, пилы, рыболовные крючки...

Кто-то содрал с меня летнюю одежду и напялил на меня жаркую красную шубу, безобразный колпак с опушкой из белого меха, свиные перчатки, безразмерные ватные штаны, снял с меня мои легкие туфли и обул мои ноги в грубые сапоги.

Препоясал меня широким кожаным ремнем. Превратил в одно мгновение мою недельную рыжую щетину в окладистую седую бороду. Закинул мне за спину мешки с пылающими углями.

Может быть, я спятил? Нет, скорее спятил окружающий меня мир.

И вот я, новоиспеченный Санта-Клаус, пыхтя и ворча, спускаюсь с холма, иду в Миранду, продираюсь сквозь кустарник к синему морю.

Под ногами у меня хрустит.

В ушах стреляют пушки.

Перед носом летают всякие твари.

В голове у меня пусто.

На спине — тяжелые мешки.

Но я иду, иду, упрямо, как безумец...

Шипы впиваются в мою кожу, корявые ветки хлещут меня по лицу, стекляшки и лезвия режут мне руки, ржавые банки виснут пъявками на рукавах и воротнике.

Я спотыкаюсь и падаю.

Качусь.

Ползу.

Встаю и иду.

Скоро... скоро, уговариваю я сам себя, ты спустишься с холма, сдашь проклятые мешки в камеру хранения... сбросишь с себя эту меховую рухлядь, этот дешевый маскарадный костюм и нырнешь голый в прохладную прозрачную водичку! Она вылечит твои раны, взбодрит и успокоит тебя. После купания ты украдешь на пляже чьи-нибудь шорты и пойдешь к старухе-гадалке, предсказавшей тебе три дня назад за сотню зеленых долгуя счастливую жизнь, а твоей подруге — скорое освобождение от влияния негативных созвездий, она разложит карты и объяснит тебе, что с тобой приключилось. Потом забежишь в «Синий попугай» к знакому бармену, займешь у него денег, выпьешь хереса и расспросишь его обо всех этих чудесах. Может быть, ты не первый, с которым случилось такое. Миранда — место необычное, странное, чем черт не шутит. А бармены знают все. На худой конец обратишься в полицию или свяжешься с консульством. Заберешь свои чемоданы и поедешь в аэропорт. И все будет как раньше.

...

Очень скоро я убедился в том, что никакого «раньше» больше нет.

Городок Миранда исчез.

Вместо шумного рыбного базара, на котором мы не раз покупали глянцевою рыбу с темно-синими глазами и лиловыми плавниками, вместо украшенных разноцветными китайскими фонариками улиц, уютных ресторанчиков, баров, где подавали лучшие на побережье тапасы, — пустая, мощеная брусчаткой площадь. Широкая и круглая, как площадь перед собором Святого Петра в Риме. Без домов, деревьев, людей. Без автостоянки и без романской церкви святого Мартина, в которую моя подруга непременно заходила перед тем, как направиться со мной на пляж.

Я зарычал от разочарования и боли и побежал по бульжникам в сторону моря как старый кентавр из известного романа. Гремя консервными банками как автомобиль новобрачных. Я скакал так быстро, что чуть не подавился собственной бородой.

Вот и знакомые дюны...

Но... где же вода, где пляж, лежаки, купальщицы, где продавцы апельсинового сока и мороженого? Куда девались тысячи тонн сверкающего белоснежного песка, где знаменитые двадцатиметровые волны, образующиеся тут из-за скрещивающихся течений?

Где кабинки для переодевания, в которых так остро пахло менструальной кровью?

Там, где еще утром загорали и купались туристы, зияла пропасть.

С ее дна, из зловонного чрева земли, поднялся, прямо у меня на глазах, грохочущий многокилометровый смерч. Я даже не успел его как следует рассмотреть, как он уже подхватил меня, завертел и швырнул в небеса.

С тех пор я спутник.

Кручусь себе на орбите.

В космосе холодно, скучно и одиноко.

Я забыл свою прежнюю жизнь, профессию, родину.

Лишь одно воспоминание — о стеклянном шаре с красавицей, похожей на Мэрилин — никак не выходит у меня из головы. Я мечтаю о том, что когда-нибудь она разделит со мной мое одиночество.

Я заверну ее моей атласной шубой.

Подарю ей ожерелье из мерцающих звезд.

И буду лизать ее ледяные сапфировые глаза...

## НА ШЕЕ У БОЦМАНА

Давно хотел рассказать коротенькую такую, жутковатую, но смешную историю, приключившуюся со мной в самый странный, мучительный, сумасшедший период моей жизни — в последние два месяца перед тем, как я навсегда покинул родину, распрощался с любимой Москвой. Много тогда всего произошло удивительного и непонятного... хватило бы на полноценный роман, главным героем которого был бы не я, а «отъезд», или на поэму, или на симфонию.

Симфонию трагикомического разрыва отдельно взятого бытия.

Хотел-то, хотел, но все никак не решался...

Потому что это реальное происшествие... или случай... не знаю, как назвать... эскапада... каприз высших сил, вечно смеющихся над нашими насекомыми страстями... да вы не волнуйтесь, ничего особенного... эпифеномен... маленькое эротическое приключение с хэппи-эндом.

А меня и так многие считают порнографом.

Порнограф пишет для того, что возбудить в читателе или в самом себе эротическое чувство. Для сурового стояка и фонтанчика. А я пишу... чтобы, вспоминая и формулируя, загоняя пережитое в текст, окукливая его словами, нейтрализовать его яд. Делаю нечто обратное тому, что делает порнограф.

А то, что для этого приходится «залезать в трусы», «заглядывать за занавеску», воскрешать вытесненные или подавленные воспоминания — не моя вина. Ничего не поделаешь, до костей нас пробирают не ужасы тоталитарной коммунистической системы (к которой мы научились отлично приспособливаться и даже получать от нашей подлости особое удовольствие), и не эксплуатация несчастных рабочих Африки и Азии (плодами которой мы так жадно пользуемся), и не фатальные изменения климата и экологические ка-

тастрофы (на которые нам чихать, главное, чтобы не у нас под носом рвануло), а именно такие, неважные вроде бы в историческом или космическом масштабе мелочи, частные постельные истории... реальные или виртуальные... и порождаемые ими страхи, прилипающие к подвижным стенкам нашего сознания... атакующие нас изнутри.

...

Была у нас в классе девочка... маленькая, но красивая и умная, да еще и развитая не по годам... И опытная в любовных делах. Анечка Б.

Так вот она еще перед началом нашего студенчества планировала свою жизнь на сорок лет вперед и переживала... делилась со мной своими матримониальными опасениями.

— Знаешь, я слышала... стареющие мужчины... за шестьдесят... часто становятся педерастами. Омерзительно! Представляешь, ты его любишь, живешь с ним, делаешь с ним детей, а потом оказывается, он — педераст. Он тебя посылает, и ты остаешься одна. До самой смерти. Потому что ты постарела и никому не нужна!

Я ничего этого не знал. Жизнь не планировал. Не знал толком, кто такие «педерасты». Ничего вообще не знал и знать не хотел. О будущем не думал. Упивался настоящим, как шмель — нектаром на цветке. Хотел стрекотать и прыгать как кузнечик... и стрекотал и прыгал... на грязном московском асфальте.

Мужчин «за шестьдесят» я представлял себе заплывшими жиром, морщинистыми советскими номенклатурными боровами, гадко хрюкающими и сжирающими все, что им в пасть попадает, или болезненно худыми кащелями, костлявыми злодеями и нелюдями, вроде Суслова.

Какой может быть секс у этих гадких существ? Скорее бы подошли.

Представить себе, что я сам когда-нибудь... превращусь в старца, в зловонное чудовище, да еще и занимающееся любовью с другими такими же монстрами — я был не в состоянии. Тьфу, тьфу...

Думал, со мной все будет по-другому. Я не умру, даже не состарюсь... И всегда буду любить милых женщин. Пи-

люди бессмертия изобретут китайские или американские ученые (тогда многие, не только неоперившиеся юнцы, но и зрелые люди, верили во всесильную науку), а если не изобретут, выращу — с помощью особой магической силы, которую всю жизнь в себе прозревал — такую пилюлю в себе сам и буду наслаждаться вечной юностью, как алые и желтые тюльпаны в конце мая в Александровском саду наслаждались в те времена своей недолгой тюльпановой красотой, радуя глаза и согревая души не избалованных нежным цветочным великолепием москвичей.

Анечка не только опасалась, но и обосновывала свои опасения.

— Понимаешь, стареющие женщины устают, теряют красоту и желание. Тело перестает вырабатывать какой-то там гормон. Им и в тридцать-то часто ничего не надо. А у мужиков не так — и если они себя водкой или деланьем карьеры не угробили, у них и в шестьдесят кровь как шампанское... Из них песок сыпется, а им трахаться надо... а бабушки их только ворчат, внуков нянчат да пироги пекут. Поэтому богатенькие старички лезут в постель к молодухам. Покупают свежее мясо. Остальные — или дrouchат тоскливо в одиночестве, или — те, кто посмелее, находят для спаривания таких же как они, похотливых старых козлов и становятся законченными пидорами. Мерзко. Хочу мужа — доктора наук, высокого, красивого, чистюлю и умницу, чтобы меня кормил, холил и любил до самой смерти... Делал умных и здоровых детей и драгоценности дарил.

Меня от Анечкиных слов бросило тогда в жар и трепет. Потому что я живо себе все это представил. Как бросаю жену и становлюсь «похотливым вонючим козлом».

Кстати, Анечка сделала позже деньги на непонятных мне махинациях с недвижимостью в странах третьего мира, и вполне могла купить себе драгоценности сама...

И мужа получила именно такого, о котором мечтала. Собранного, целеустремленного, талантливого и детолюбивого. Здоровой маскулинной гендерной идентичности, как сейчас говорят. Видел его на фотографии. И дети у нее умные и здоровые.

После МГУ Анечка аспирантствовала где-то в провинции. То ли в Орле, то ли в Курске.

И подцепила там иностранца — доцента-практиканта, слависта. На живца изловила. Норвежца или шведа, не помню. И укатила с ним то ли в Стокгольм, то ли в Осло. Выучила язык на удивление быстро. И не один. Начала вкальвовать и преуспела. Позднее еще и отца выгатила из СССР... вместе с новой его семьей. Нашла подходящие «гуманитарные программы». И брата и еще кого-то.

А мать Ани в Москве осталась, хотя дочь все для ее отъезда подготовила.

Осталась назло бывшему мужу, дочери и всему свету. Об этом сообщила мне Анечка в одном из своих редких писем... мы переписывались года два после ее отъезда.

Как звали эту мамашу, я забыл, пусть будет — Белла Марковна. Но внешний ее вид и характер помню прекрасно.

Нахрапистая такая женщина, ужасно нервная, с мигренями, фигуристая... въедливая редакторша московского литературного журнала из первачей... всезнайка... крепко побитая советчиной, но не сдававшаяся, а интенсивно терроризирующая коллег, мужа, дочь, сына, и всех, кто попадал ей в лапы. Аня рассказывала, что мать в молодости сама пописывала стишата... декламировала их на поэтических сборищах... приятельствовала с Вознесенским и Рождественским.

Была пропущена сквозь огонь и воду... и замолчала, так и не дождавшись медных труб.

А позже и сама жадно и яростно жгла и топила молодых авторов-энтузиастов, имевших дерзость что-то написать и послать в ее журнал...

И еще Аня рассказывала мне, что ее мать «балуется гипнозом и лечит невроты и психозы у своих многочисленных подруг, таких же околоматериальных сов, как и она».

Страсти-мордасти!

Один раз был я у Анечки в гостях... еще школьником.

Небольшая квартира... несколько цветастых, неизвестных мне тогда, картинок Клее на стенах... гарнитур... торшеры... книжные полки... Литературные памятники... лютневая музыка... все, как полагается.

Ели мы удивительно жилистую и худую курицу, которую мне представили как «цыпленка табака». Чесноком во- няло ужасно. Жевать этого «цыпленка» было невозможно. Я взял крылышко, покусал его, пососал и положил назад в тарелку. Анечка хмыкнула. Ее тактичный папа сделал вид, что ничего не заметил. А мама прищурилась, недовольно пок- ачала головой и сверкнула глазами. Нервно постучала по- крытыми красным лаком ногтями по столу.

Беседовали мы, кажется, о современной американской литературе. Аня что-то спросила свободно читающую по- английски и «имеющую доступ» мать о малоизвестных в СССР битниках, Керуаке или Гинзберге, а Белла Марковна почему-то обозлилась и так резко и зло ответила, что я испу- гался... а затем, как мог, быстро ретировался. Помню, по- следней ее репликой, обращенной ко мне, было: «Антон, не вихляй бедрами, когда по улице идешь, а то ты сзади похож на женщину в шубке».

Представил себя сзади — точно, женщина. Испугался.

Спрашивал потом друзей — похож я сзади на женщину?

Один сказал: «Скорее на беременного бегемота!»

А другой: «Нет, на верблюда, который минуту назад с трамплина в Лужниках прыгнул. Без лыж».

Остряки!

...

Когда пришел мой черед эмигрировать — я решил най- ти Аню и попросить ее стать моей советчицей на первых по- рах заграничной жизни. Потому что не знал, что меня ожи- дает. Был растерян, как все совки, намылившиеся валить. Всего боялся. Голова у меня шла кругом... Я подозревал, что никому в Европе не нужен, и что жизнь там не будет такой сладкой, как нам всем тогда казалось. Опасения эти, кстати, оправдались... и очень скоро.

Кружился, как осенний лист... и отчаянно всем надоел «эмигрантскими разговорами».

Заграничный телефон Ани у меня был, но связаться с ней я, как ни старался, так и не смог. Позвонил по старому московскому номеру, знакомому еще со школы.

В ответ услышал не гудки, а какое-то электрическое клохтанье и завывание. Музыка заиграла. Менуэт. А затем чужой мужской голос прокричал в сердцах: «Кто придет?»



Одноклассник? А жрать он захочет? Давай, доставай цыпленка из заморозки! Оловянная твоя голова! Пупырышки посмотри... не синие ли. Может, протух».

Затем этот посторонний голос пропал. К телефону подошла женщина.

— Ало.

— Добрый день, я хотел бы поговорить с Аней, если она сейчас случайно в Москве.

— А вы кто?

— Я — Антон, ее бывший одноклассник. Был у вас когда-то в гостях. Курицу ел.

— Курицу? А что вам от нее надо?

— От курицы — ничего. А вот от Анечки — да... надо... собираюсь уезжать, хотел с ней посоветоваться... о том, о сем.

— Аня в Вене.

— Знаю, знаю, может быть, вы мне ее телефон дадите?

— А вы денег у нее просить не будете?

— Не буду, обещаю.

— Все обещают, а потом просят.

— Не буду просить. Ничего просить не буду. Но поговорить хочу. Потому что побаиваюсь новой жизни, порядков, не знаю, как себя поставить...

— Ладно, приезжайте, посмотрю на вас, если вы действительно такой смирный, дам вам номер телефона.

— Когда?

— Да хоть сегодня вечером. В семь. Вы дорогу помните?

— Забыл. Двадцать лет прошло.

— Доезжайте до метро «Молодежная», а потом идите к магазину обуви... Молодогвардейскую перейдите... по Партизанской идите, потом налево, там дома рядами... кирпичные пятиэтажки... в третьем ряду дом... похож на склеп... обшарпанный... подъезд открыт, потому что замок уже год как взломан... второй этаж... квартира...

— Понял, буду.

Вместо «пока» или «до встречи» опять заиграл менуэт. Тот же самый. Осточертевший. Боккерини. Сопровождался он почему-то негромким лаем и подвыванием. А потом тот же грубый мужской голос проорал: «Кончай базар, скоро гости придут. Размораживай цыпленка! Пупырышки посмотри...»

Я не стал его слушать, положил трубку.

Голос Беллы Марковны показался мне незнакомым. И странным. Как будто кто-то во время разговора произвольно менял настройку тембра. И тихонько булькал. Или сдавленно глотал, как утопленник.

Пупырышки...

...

Кунцевский район знаменит своей шпаной. Детские воспоминания не давали мне покоя. Унижения... избиения... визг, плач. Капли крови на снегу. Как дикие вишенки...

Шел и думал... вот сейчас подойдут... человек шесть... окружают черным кольцом... дядь, дай закурить... потом сбоку блеснет нож...

Никто ко мне не подошел. Наоборот, от меня шарахнулась какая-то женщина с девочкой лет семи. Я все равно испугался...

Замок действительно был взломан. В подъезде было грязно, невыносимо воняло блевотиной. Какие-то дурацкие плакаты с африканскими масками покрывали стены. Несколько черных куриц висели слепыми головами вниз. Вуду?

Поднялся на второй этаж. Дом производил впечатление необитаемого, готового к слому сооружения. Мусоропровод был заварен. Стекла в подъезде выбиты.

Или это не жилой дом... а задняя часть брошенного кинотеатра?

Позвонил.

Вместо шагов — услышал странные звуки. Как будто кто-то волочил по коридору мешок с картошкой или мертвое тело. И опять — вот уж никак не ожидал — наверное, где-то у соседей заиграл чертов менуэт. Может, он у меня в мозгах играет? Бывает такое, послушаешь — привяжется. Как же этот отъезд мне нервы вымотал... походы в ОВИР... разговоры с друзьями и подругами... родственники...

— Кто там?

— Антон, Антон... я не кусаюсь.

Дверь медленно открылась и из нее вышла на лестничную клетку на Белла Марковна, а большая собака, по-

хожая на лису. Глаза — полны злобы и ужаса. Шкура отливает в электрический фиолет. Пена на пасти. Клыки, как у вампира...

Я вытаращил глаза. Сглотнул набежавшую слюну. Сжал кулаки.

Сейчас зарычит и бросится...

Но уже через мгновение собака пропала... передо мной стояла мать моей одноклассницы, приветливо трясла мне руку и приглашала к себе.

В халате она что ли? Нет, в старом бальном платье.

Брошка золотая. Позвякивающие браслеты на руках...

Никогда бы не узнал... Или изменилась, или — это не Анина мама, а посторонняя женщина. Не стал себя мучить... вошел в квартиру, повесил куртку на вешалку с рогами, разулся, и был препровожден любезной хозяйкой в гостиную. Ну и разрез у нее сзади! Лихой...

...

Мы сидели напротив друг друга в старинных креслах с пурпурной, с золотыми звездочками, парчовой обивкой... между нами посверкивал синими гранями шестиугольный стеклянный столик на позеленевших медных ножках. На столике не было ничего, кроме бутылки красного вина, двух бокалов и крохотной резной фигурки Анубиса.

Мне было неудобно... пришел в гости, а с собой ничего не принес... Белла Марковна угадала мои чувства.

— Ничего, ничего, не стесняйся, Антоша. Все понимаю. Приехали с этой перестройкой в голодный барак. Правильно поступаешь, уезжай. К черту Совок. Проживешь вторую половину жизни среди нормальных людей, а не среди ватников и ушанок.

— А вы что же?

— Что мне, старой перечнице, надо? Я уж как-нибудь тут перекантуюсь. Где родилась, там и пригодилась. Год до пенсии остался...

— А вы уверены, что ее платить будут?

— А ты уверен, что сможешь в Европе заработать на хлеб с маслом?

— Я ни в чем не уверен. Но тут, в совке нету больше масла, а за хлебом я вчера сорок минут в очереди стоял.

Хотел взять батон. А когда очередь подошла, сказали: «Нету хлеба. Сегодня завоза не будет».

— Сделать тебе бутерброд? У меня еще сыр остался от последней посылки. Рокфор. Голубой, с плесенью.

— Спасибо, не надо. Извините, что я с собой ничего не принес. Хотел бы подарить вам цветы и коробку шоколадных конфет. Но нету нигде ни того, ни другого. А на рынок идти — денег нет. Я последнее время в церкви работал. Мне там платили сто рублей в месяц.

— Как же это тебя угораздило...

— Институт послал, а в церковь привел... случай. Ничего, зато я теперь точно знаю, что это за контора. Может, когда рассказ напишу... Я ведь даже с владыкой Кириллом познакомился.

— Расскажи, почему ты институт бросил. Ты же вроде хотел карьеру делать... Кстати, твой папа жив еще? Я его еще несколько лет назад из вида потеряла, когда он из правления вышел.

— Жив. Бедствует. Как все мы. Жалко его. Потерял лоск и вес. Смерть мамы перенес плохо. Хотя она умерла уже после их развода. Связался с какой-то... Та его обобрала.

...

Я старался глубоко не рыть и особенно не расходиться... говорить иронично-обтекаемо... Но все-таки разошелся... как Иван Грозный в письмах к Курбскому... вошел в раж... изругал институт, церковь, Москву, перешел на политику... выложил все, что накипело.

— Бабушка умерла, дедушка... да, тот... в дурдоме. С женой — в долго длящейся ссоре. Почти не разговариваем. Уезжать буду без нее. Другая бабушка меня не узнает. Школьные друзья куда-то подевались. Никого нет рядом. Все, что мы как-то построили, чем мы жили, разрушается... Может и к лучшему. Ведь мы не люди, а советские огрызки.

Воспаленный мой диалог продолжался минут сорок и кончился нервным припадком.

Я потерял себя и плел непонятно что... От волнения.

Оттого, что меня слушает зрелая умная женщина. Которую мне вдруг так захотелось поцеловать...

— Может быть тебе цыпленка зажарить?

— Не хочу я ваших цыплят! Ненавижу птиц! Особенно жареных. Почему эти идиоты американцы всех нас не поджарили, когда могли? Погодите, мы еще очнемся от летаргии... встанем с колен... но строить ничего не будем... мы вначале коррумпируем, а затем уничтожим мир. Это единственное, на что мы способны. Наследники Ежова и Малюты.

Со мной такое бывало несколько раз в жизни. Хорошо еще смог остановиться — на краю обрыва — и не расплакался, как ребенок. Напоследок сказал: «Знаете, что мне ваша дочь еще в школе о стареющих мужчинах рассказывала?»

И поведал Белле Марковне о шестидесятилетних педерастах. Вроде как пожаловался.

Белла Марковна слушала мои дозволенные речи чуть прищурясь, снисходительно... не без наигранного и потому обидного одобрения. В конце моего монолога она встала, подошла ко мне и погладила меня по голове.

— И ты боишься стать в старости голубым? Нашел, о чем беспокоиться.

— Я не стану пидором! Это ужасно. Анькины сказки.

— Уверен?

...

Номер телефона дочери Белла Марковна сообщать мне не спешила. Вместо этого начала рассказывать длинную и нудную историю про какого-то эмигранта первой волны. Мага, кажется. Про его приключения в Париже. Упомянула шкатулку с секретом, которую он будто бы нашел в подвале особняка, когда-то принадлежавшего маркизу де Саду. А в ней был порошок. Он его понюхал и получил возможность делать удивительные вещи. Совершать неслыханные превращения, воздействовать мыслью на людей и путешествовать во времени. Цитировала наизусть популярную тогда Тэффи...

Я историю слушал невнимательно, не верю я во все эти чудеса... грыз себя за то, что так долго говорил... не мог заткнуться, психопат... истерик.

Тоскливо размышлял о том, как буду зарабатывать за границей деньги...

Белла Марковна принесла из кухни вторую бутылку. Настойку или ликер.

Долго рассматривал этикетку с физиономией назойливого Станареля и тремя важными фигурами в одеждах Ватто. Называлось эта сладковатая жидкость — «Слуга трех господ». Дикое название. Перевела мне его хозяйка дома. С французского. Наверное, Анька прислала эту сивуху вместе с сыром. Чтобы подсластить жизнь оставленной мамочки.

Когда мы ее допили, я почувствовал, что сильно опьянел.

Ох, не пропасть бы...

Черные курицы бегали перед глазами.

Менуэт играл.

Сам не знаю, как это получилось... встал... подошел к Белле Марковне... обнял ее и присосался ребяческим поцелуем к ее губам...

...

Она меня не оттолкнула.

Обняла.

Через несколько минут я сам отпрянул от нее... потому что вдруг осознал, что целуюсь с пожилым мужчиной. Голый, в постели.

И я тоже был стариком. Руки покрыты пигментными пятнами. Ноги высохли и посинели. Живот отвис. Одышка. Господи, что происходит?

Комната, в которой стояла кровать, никак не походила на комнату московской пятиэтажки.

Шелк на стенах и потолке.

Рыцарь с алебардой в углу.

Темные портреты неизвестных мне вельмож.

Пианола.

Как только я посмотрел на нее, она заиграла менуэт. Опять чертов менуэт!

А стоящий рядом с ней румын заскрипел на скрипке. Румын...

В воздухе запорхали ночные бабочки.

Повеяло сыростью.

Запахло шоколадом.

Вельможи на портретах начали кланяться, а рыцарь попытался сделать несколько шагов, но упал и разлетелся на куски.

Я посмотрел в лицо обнимавшему меня мужчине. Кто это?

Папа?

Дедушка?

Учитель истории?

Умерший друг?

Поражаясь себе, ощутил страшное влечение к этому существу, нежно целовавшему меня... морщинистому... лысому... с дряблыми висячими грудями.

Целовал его соски... ласкал член...

Как долго? Не знаю.

Неожиданно услышал звонкий женский смех.

— Очнитесь, очнитесь же наконец, молодой человек, извините, я только хотела немножко с вами поиграть... Наказать вас за простительную дерзость. Освободить ваше — хи-хи-хи — бессознательное...

Я все еще сидел на стуле за шестигранным столом. Напротив меня восседала Белла Марковна и снисходительно смотрела на меня.

Большой палец моей правой руки... был у меня во рту. И я сосал его и ласкал языком его шершавую соленую подушечку.

Из зрительского зала, находящегося позади нас, слышался вялый аплодисмент.

...

Что было дальше, я не помню. Пережил что-то вроде блэкаута.

Пришел в себя в вагоне метро. Где-то у Киевской радиальной.

Перед глазами — черно, в душе пусто. Противно немного. Как будто по затылку чем-то тяжелым ударили. Вроде и не больно, но муторно. Постепенно сознание возвратилось...

Вышел на остановке и, сам не знаю зачем, начал смотреть на эти идиотские фрески на стенах. Машинально.

Остановился у одной. В середине стоит сдобный такой седоусый дед в фуражке и мундире... с медалями. Роба у него удивительно тупая. «Народная».

Тупой... и немножко на Сталина смахивает, как и все старики на сталинских фресках...

А слева и справа от него изображены — молодой шахтер с отбойным молотком и пацан из ремеслухи с книжкой в руке. Вроде как этот дед передает эстафету молодому поколению. Работайте дальше, мол... всю жизнь. Получите ордена и медали. Как я.

Все это на золотом фоне. Такая советская картинка-агитка.

Смотрю я на нее, снизу-вверх, понятное дело, и вижу, как этот поганый дед с усами голову свою поворачивает, опускает и на меня смотрит. А рожа у него, уже не ветеранская, а сталинская.

И Сталин этот улыбается мне со стены...

Вот... подмигнул даже... гадливо так... и рукой поманил меня в фреску... входи, мол.

И я — как акробат — прямо по воздуху... медленно-медленно к нему полетел.

В воздухе все представлял себя сзади женщиной. Теперь уже точно знал, какой...

Надеждой Аллилуевой!

Сталин обнял меня за талию и потащил в золотую шелковую жуть...

Пахло от него, как и полагается, табаком папирос Герцеговина Флор и вином Киндзмараули. И еще давно не мытыми ногами. Рябая его морда была похожа на морду рептилии...

— Наденька, иды суда!

Последующую сцену я описывать не буду, предоставляю читателю самому представить себе — при желании разумеется — половой акт шестнадцатилетней девушки с почти сорокалетним сухоруким Сталиным, ее родным отцом.

Это было, пожалуй, самым мерзким, что я испытал на родине за свои три с небольшим десятка лет.

Второй блэкаут длился дольше первого.

Очнулся я на сей раз не в метро и не за шестиугольным столом Беллы Марковны. Поначалу и не понял, где. Так темно было вокруг. Я сидел на чем-то холодном, металлическом. Как бы верхом. Или на шее у кого-то?



Ощупал металлическую же голову, за которую держался руками... обернулся, рискуя сорваться в пропасть... и тут же узнал знакомый с детства силуэт.

Вы конечно не поверите... я сидел на шее у Боцмана. Так звали студенты памятник Ломоносову (с пером и манускриптом), что стоит в Университетском парке недалеко от Клубной части МГУ.

Как я на него забрался, мне неизвестно, но слезать с него было очень-очень трудно.

\* \* \*

Лет через десять после эмиграции я наконец связался с Аней Б.

Позвонил ей, мы поговорили... рассказал ей о том, что перед отъездом посетил ее маму в Кунцево. В ответ услышал недоуменное молчание.

— Моя мать, — проговорила Аня с достоинством, — умерла примерно за три года до твоего отъезда. — Не знаю, у кого ты был и где, только не у нее. И жили мы не в Кунцево, а в Очаково. Ты же сам ездил ко мне на свидания на автобусе от Юго-Западной. Как же ты мог забыть?

## МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ БЫЛ ЧАЙНИКОМ

У меня сломался шикарный, в стиле ретро, электрочайник Рассел Хоббс. Красный как пожарная машина и с термометром. Дорогой. Чудесная вещь! Я так любил кипятить им воду. Сломался, подлец. Перестал выключаться через полгода после покупки. Каждый раз надо было ждать, когда же наконец закипит вода. Пованивающая летом, невкусная берлинская вода. Тоска! А забудешь выключить — вода выкипит и начнется пожар. Как говорил мой покойный друг: «Чайник даст плавку чугуна».

Выкинул мерзавца. Не хотел плавки. Кинул его в оранжевый мусорный бак. Даже прощальную речь не произнес. Из-за обиды. Потому что... надо было его, злодея, назад в магазин отнести, но я, как всегда, потерял квитанцию. Положил ее в специальную папку... хранил-хранил... а когда Рассел Хоббс сломался — попытался ее найти. Безуспешно. Исчезла квитанция. Испарилась! Может быть ее другие квитанции съели? Или она сама того... аннигилировалась? Или ее просто нет там, где она должна была бы быть. Как элементарная частица. Квантовая механика во всем виновата! Не надо было ее придумывать, человечество не способно смотреть правде в глаза. Вот, она, частица. Но на самом деле ее там нет.

Три раза проглядел квитанции, но так и не нашел чертову бумажку. Выкинул Хоббс и тут же отправился в Медиа Маркт покупать новый чайник, потому что без кипяченой воды — жить невозможно.

Нашел модель попроще и подешевле. Клатроник. Белый. И с изящными изгибами, вызывающими изумление.

И сейчас же вспомнил... одного милого мальчика, сына моей подруги, детское тело которого, как бы выточенное из

слоновой кости, было еще изящнее Клатроника и, казалось, все состояло из чувственных изгибов, выемок, ямочек. Звали его из-за непонятного каприза автора — Аллита. Было ему тринадцать лет, и был он красив как Ганимед. Только не тот, рембрандтовский, с картины в Дрезденской галерее, жирный, гадкий и описавшийся, а такой, каким его изваял Челлини. Мраморная статуя его хранится в музее Баргелло во Флоренции. Зевс-орел тут не космический насильник, не всемогущий похититель, а скромный поклонник удивительной, чуть-чуть порочной красоты мальчика. Могучий повелитель богов ластится к мальчишке, как голодная кошка к хозяину. Так ластился к пластиковой Лолите, как бы наполненной душистым шампунем, один из самых противных героев мировой литературы — набоковский Гумберт Гумберт, эстетствующая между детских ножек грубая скотина, кособокий, вывернутый наизнанку гомункул, которого его создатель выгачил из небытия (роды были неудачные и с осложнениями) с единственной целью — показать свое презрение к людям... и заодно заработать денег и смыться из Америки в Швейцарию, чтобы зажить там жизнью добропорядочного буржуа, потихоньку впадающего в детство со всеми его амурными шалостями.

Актер Джереми Айронс, сыгравший Гумберта Гумберта в известном фильме — куда благороднее и симпатичнее и своего героя и его автора.

Ну да, да... угадали... я тоже хочу рассказать земляничную историю. О том, что произошло между мной и этим мальчиком-ганимедом, Аллитой. Не надо хмуриться, господа! Омрачать и без того мрачные, быстро летящие дни нашей сладкой жизни. Не хотите, не читайте! Очень надо. Обойдусь и без ханжей! Идите к черту!

В свое оправдание могу только заметить, что я тут не буду, как Набоков, размазывать «мед оргазма», то бишь сопливые приключения педофила по четырем сотням страниц нудного романа... а ограничусь шестью страницами бодрого текста. И не стану украшать в конце пародию на роман пародией на убийство.

И вообще... клянусь Зевсом... красоту Аллиты я заметил конечно и... и все. Забыл про нее. Сказал только тогда за зав-

траком его миловидной матери, Ши, исключительно для того, чтобы продемонстрировать свою воспитанность и любезность: «Ты очаровательна, любимая... мне у вас очень нравится. И сынок твой очень красивый. Наверное, папа его был негром или метисом».

Ши звонко засмеялась. Намазала булочку ананасовым творогом и ответила: «Если я правильно посчитала недели, то он был кубинцем».

— Вот я и говорю, метисом.

— Отец Аллиты был белокожий, с веснушками, рыжеватый, почти блондин. Бабник ужасный и обманщик. Но на гитаре играл как бог. И трахал меня так же страстно, как Че Гевара революцию делал.

— На кой же черт вы разошлись... вполне в твоём вкусе мужчина.

— Я бы его ни за что не бросила, но он по ночам уходил от меня и по другим бабам таскался. На велосипеде объезжал, собирал дань. А я думала, он на балконе сигару курит. Когда наконец поняла, что происходит, закатила истерику. А он... женские слезы не мог терпеть... убежал. А через час вернулся. Подарил мне на память колечко с рубином. С платиновой оправой и бриллиантами. И смылся. Кольцо это я лет пять носила, а три года назад продала, когда меня пособия лишили. За то, что я якобы левые доходы скрывала. А я ничего не скрывала. Они сами документы потеряли, а на меня все свалили. Сволочи. У меня электричество отключили тогда и телефон. Так и сидели с Аллитой в темноте. Только свечи жгли, которые я в индийском магазине напротив потихоньку брала.

— Крапа?

— Да, да, крапа... а что прикажешь делать? И продукты воровала в Эдеке. Мы голодали. Никто не помог. Меня поймал магазинный детектив. Отвел в уголок и говорит: «Или протокол будем составлять, госпожа хорошая, у меня видео на руках... сядешь. Или... Полгода приходил ко мне вечерами, когда Аллита спал. Приходилось его ублажать. И продукты приносил из той же Эдеки. Сам воровал, сукин кот. А потом, ты не поверишь, влюбился в меня, плакал, прощения просил и умолял за него выйти. Но я прогнала его. Пах он плохо. Плюгавый такой и старый».

И не возделел я этого Аллиту, и на Ши из-за него не женился, как Гумберт Гумберт на своей Гейзихе. Мне нравилась Ши, она была старше и опытнее меня, имела золотое сердце, чувствительную грудь и ненасытное влагалище. Кончала иногда по четыре раза за ночь. Могла поддерживать разговор о высоких материях. И готовила прилично. Что еще одинокому мужчине надо? Семью я заводить не хотел... она этого от меня и не требовала.

Ни о каких ганимедах я и в сексуальных фантазиях не помышлял. Ши приучила меня фантазировать вместе с ней. И мы жадно предавались этому бесстыдству. Чего только не представляли! Но без мальчиков.

В быту я был с Аллитой вежливо-нейтрален, что, как мне казалось, вполне его устраивало. Помогал ему решать простенькие школьные задачки. Купил ему игрушечную водокачку, ракетки для настольного тенниса и модель Аэробуса. Пригрозил отвернуть голову дворовому хулигану, если он еще раз полезет драться. С достоинством выдержал неприятный разговор с отцом хулигана, обещавшим отвернуть голову мне, если я «прикоснусь своими грязными лапами к его ни в чем не повинному сыну». Разговор этот, впрочем окончился совместным распитием бутылки водки-мартини. В конце пьянки отец пообещал мне выдрать своего сына розгой, если он обидит «размазню» еще раз. Но слова не сдержал.

Аллита вроде бы размазней и не был, но драться действительно не умел или трусил. Я был таким же в детстве. И не жалею о том, что никого ни разу не ударил в лицо.

...

Все шло своим чередом.

Я тогда еще работал. После ночной смены — отсыпался. После дневной шел в Эдеку. Покупал там продукты. Оттуда — топал в квартиру Ши. Она готовила. Жарила мясо, рыбу или креветки. Делала салат из фруктов. Пекла яблочный пирог. Мы ели, смотрели телевизор, чаще всего канал АРТЕ, ложились спать. Занимались любовью так долго, как могли. Ну да, Ши еще проверяла тетрадки у Аллиты, читала ему нотации, стирала, гладила, убиралась...

Иногда мы ужинали в кафе. Несколько раз скучали на симфонических концертах. Посетили оперный театр. Вагнер. Несмотря на отчаянный вой толстогрудых оперных певцов, я зевал, зевал и заснул.

Свою квартиру я забросил, заходил туда только чтобы сменить одежду или взять новую книгу. Читал я на работе. В паузы между обходами. Я работаю охранником в госучреждении. В каком? Наверное, в самом занудном. Сотрудники там выглядят так, как будто они только имитируют занятость на рабочих местах и бесконечных заседаниях, а на самом деле... мысли их далеко-далеко. На островах в Карибском море. Там они купаются голые в теплой прозрачной воде с очаровательными латинскими девушками.

Зарплата у меня маленькая, но жить можно. Ночью я во всем здании один, а днем... суета и маята. Пиджаки бегают туда-сюда как тараканы. Раз по двадцать за день пьют черный кофе. Одурманивают свои казенные души. И меня дергают... мучают всякими мелочами, к которым охрана не имеет отношения. Почему эти двери закрыты? Где хранятся прошлогодние стенды-диаграммы? Когда придут уборщицы.

...

Мои дни были так похожи друг на друга, что я чувствовал себя роботом.

Может быть, человек — и есть машина? Машина с компом в башке.

Что же тогда жизнь? Есть ли вообще жизнь?

Или мы принимаем за нее мельтешение тараканов? А сами и не живем вовсе.

Долго думал об этом... но так и не разобрался, не понял, хорошо ли то, что я робот, или плохо. А дни все шли и шли. Машина работала.

Бум-бум, тик-так, кррак-кррак...

Говорил об этом с Ши. Она не подняла меня на смех, а задумалась... потом заметила, что подавляющее большинство жителей Германии мечтают именно так и жить. Жизнью робота. Работающего, жрущего, вечно уставившегося в смартфон, покупающего различные товары и получающего свое пахнущее нафталином удовольствие перед сном.

Еще эти роботы хотят по миру путешествовать. На недельку туда, на недельку сюда. Малайзия, Таиланд, Ривьера, Мачо Пичо, Большой барьерный риф...

Предел мечтаний программируемых людей. Мнимое разнообразие. Иллюзия рая.

У нас денег на путешествия не было. Искать вторую работу и вкалывать ради того, чтобы регулярно наслаждаться жарой, москитами и ядовитыми медузами, я не хотел. А Ши, в прошлом — хиппи (прожила три года в Индии, но не вынесла антисанитарии и грубости населения и вернулась) — о работе даже не думала. Ей было и так хорошо.

И вдруг... никогда не думайте, что жизнь будет вечно такой, как вчера и сегодня... вдруг устроилась на работу!!! Ни разу в жизни не работавшая сорокапятилетняя женщина с сомнительным прошлым.

Предложение было таким заманчивым, что отказаться она не смогла. Рабочий день — шесть часов или меньше. Сама себе хозяйка в собственном бюро. Компьютер, принтер, цветной ксерокс, телефон. Никакой коммерции. Никакого начальства! Никаких шушукающихся сотрудников. Три тысячи в месяц на руки.

Работа ее заключалась в визуальной пропаганде здорового образа жизни, вегетарианства, защиты животных, женщин и детей и еще чего-то.

Она отвечала за плакаты, буклеты, информационные листки и страницу в интернете. Еще на нее повесили какую-то идиотскую газету.

Помог ей устроиться бывший любовник, лет тридцать назад — хипшарь, бунтарь и брейкдансер, а ныне слегка обрюзгший чиновник в Министерстве защиты окружающей среды. С одышкой, тремя разведенными женами и алиментами.

В одном из периферийных зданий этого министерства находилось прекрасно оборудованное бюро, в котором Ши тут же начала свою трудовую деятельность. Я навестил ее. На стенах висели плакаты, изготовленные по эскизам предшественницы Ши. На них доминировала небесно-голубая краска, белоснежные зубы улыбающихся спортсменов и оранжевые плоды тропической природы.

В коридоре была оборудована маленькая кухня. Роскошный туалет украшала душевая. Люстра была сделана в форме зеленых огурцов. А на подоконнике стояли цветочные горшки с метровыми кактусами различных сортов. Один из них цвел. Его мохнатый фиолетовый цветок величиной с тарелку напоминал экзотический духовой инструмент.

...

Однажды... в один из этих одинаковых дней... я вернулся с ночного дежурства в восемь утра. Принял горячий душ. С Ши мы встретились в коридоре, поцеловались и разошлись. Я влез в еще теплую постель, а Ши убежала на работу. В свое бюро с огурцами и кактусами. Успела только шепнуть: «Аллита останется сегодня дома, у него каникулы, пожалуйста, проследи, чтобы он почистил зубы и позавтракал. Хоть в одиннадцать. А-то он вечно убегает на улицу, не поевши. А потом у него живот болит».

Я кивнул и тут же забыл про зубы и живот.

Проснулся я вот от чего. Кто-то трогал мне член.

Я подумал, Ши пришла домой обедать и решила меня побаловать. Что-то промурлыкал. Хотел погладить ее по голове... и погладил... вслепую. И сразу заметил, что вместо длинных волос у нее — короткие.

С трудом выдавил из себя: «Ты что, постриглась?»

И только после этого открыл глаза.

Рядом со мной на нашей двуспальной кровати сидел Аллита. В позе Будды.

Отдернул руку, как от змеи, как только увидел, что я открыл глаза. И посмотрел на меня таким взглядом, что мне стало нехорошо. Печальным, томным. Совсем не детским. Опытным. Внезапно я понял, что не знаю этого мальчика. Понятия не имею, о чем он на самом деле думает, о чем мечтает, что делает весь день, с кем встречается. Физически ощутил разделяющую нас пропасть.

А Аллита вдруг... заревел, как гоночный автомобиль.

Я не поверил своим ушам... струсил... инстинктивно закрылся одеялом.

Его красивое лицо исказила недобрая усмешка, он сказал, отчетливо выговаривая слова: «Можешь не закрываться. Я много раз видел тебя голым. И маму. Я каждый день



подсматриваю за вами в замочную скважину. Сами виноваты. Мама так громко стонет, что через стенку слышно. Я не могу заснуть. А потом стонешь ты. Особенно громко, когда кончаешь ей в рот».

И опять заревел, как паровоз. Затрясся и глаза закатил. Я подумал, что ему плохо. А он так хохотал, паршивец!

— Ты бы хоть трусики надел.

— Мне и так хорошо. Я знаю, что тебе мое тело нравится. Помнишь, тогда, на нудистском пляже, ты на меня так смотрел...

— Как «так»?

— Не как на сына моей мамы, а как на мать смотришь, когда она ноги раздвигает.

— Не выдумывай. Она же женщина, а ты мальчик.

— Как будто ты не знаешь, что взрослые дяди делают с маленькими мальчиками!

— А ты знаешь?

— Знаю. Со мной это каждый день старшие братья делали, пока тут жили. И с мамой...

У меня пошли мурашки по коже. А сердце запело от предчувствия. Ни о каких братьях Аллиты я до этого не слышал. Кррак!

— Не знаю, что сказать. Я с тобой ничего подобного делать не собираюсь. Иди, зубы почисти, и позавтракай. Мюсли на столе, бутерброды в пластиковой коробочке. Какао в холодильнике.

— Хочу еще побыть тут.

— Хорошо, давай сделаем так, я немножко посплю, а ты просто полежишь рядом и не будешь меня трогать. Это неприлично и мне очень неприятно. А если твоя мама узнает, что ты так делал, она тебя выпорет, а меня из дома выгонит. Погоди, как же я сразу не догадался, ты именно этого и хочешь? Ревнуешь...

В ответ Аллита опять заревел. На сей раз как самолет при взлете. Рев перешел в циничный гогот.

— Ревную? Да плевать я на вас хотел. И на мать и на тебя. Если вы оба сдохнете, плакать не буду.

— Ах ты, маленький засранец! Был бы я твоим папой, выпорол бы тебя ремнем.

— Если ты меня тронешь, я тебе, пока ты спишь, выколю глаза кухонным ножом.

— Храбрецом заделался, щенок!

От злости я вспотел. Жутко хотелось влестить ему пощечину. Или... поцеловать его. Но я сдержал себя.

Надо было маленького нахала хотя бы из комнаты выкинуть... и дверь в спальню на ключ закрыть. Кто знает, что он еще придумает? А спрос с него какой? Он ребенок.

Еще больше его я боялся себя.

Я сел на кровати и серьезно посмотрел на Аллиту. Примерился...

Как бы его так схватить, чтобы он не вырвался?

А Аллита использовал мое бездействие по-своему. Раздвинул свои увесистые бедра и приподнял их руками, как это делают женщины во время любви. Вот чертенок! Знал, наверно знал, что меня эта его развратная поза шокирует. Потому что у меня нервы слабые. И характера нет. Потому что я робот... и поза эта — не приглашение даже, а приказ. Приказ, которому я не могу не подчиниться.

Член его стоял колышком. А розовое очко страстно подрагивало.

Для усиления эффекта Аллита высунул длинный юркий синеватый язык и опять закатил глаза как припадошный.

Кровь бросилась мне в лицо. Я потерял над собой контроль. Сила ушла из рук. И я сделал единственное, что еще мог сделать, — отполз от стонущего мальчика подальше и малодушно спрятался под одеялом. Но Аллита подполз ко мне, сдернул с меня одеяло и прижался жаркой своей попкой к головке моего члена.

— Умоляю тебя, доставь мне удовольствие!

Голос его не был голосом тринадцатилетнего мальчика. Кррак!

Я подчинился.

...

Проснулся я почему-то в своей квартире. На моей любимой красной софе. Вечером. Вскипятил воду в новом электрочайнике, залил кипятком лежащий в стеклянной чашке пакетик Даржилинга, сделал бутерброд с сыром. Но ни пить, ни есть не стал.

Тело мое сладко ныло, руки дрожали, а душа сжималась от ужаса. Неужели я действительно... делал это с тринадцатилетним ребенком?

Решил позвонить Ши. Но не нашел в мобильнике ее номера. Не может этого быть! Мы же вчера раз пять разговаривали. Поискал телефонную книгу. Но сразу вспомнил, что выкинул ее — за ненужностью — лет восемь назад.

Решил, скрепя сердце, пойти к ней. Боялся встретиться там с Аллитой. Наверное, маленький сатир сказал ей, что я его изнасиловал, и Ши уже позвонила в полицию...

Вышел на улицу и пошел, спотыкаясь, к дому Ши. Она жила в десяти минутах ходьбы от меня. Прохожие на улице представлялись мне спешащими по своим ничтожным делам поржавевшими роботами. А пролетающие по улице автомобили — охотящимися на меня боевыми машинами неизвестной армии.

Так, вот и ее дом... Сейчас я ей позвоню, она мне откроет, я поднимусь на лифте на восьмой этаж... а там уже полиция, суровые чиновники из Югендамта, врачи, собаки-ищейки. Криминалисты снимают отпечатки пальцев... берут ватными палочками пробы спермы. Аллита плохо изображает плач и показывает дрожащей рукой на свою многострадальную попку.

— Да, да, дядя всунул в меня эту штуку... это было так больно... я умолял его прекратить, но он продолжал, продолжал...

Его успокаивают психологи.

А тяжело дышащая Ши говорит, что связь со мной была самой страшной ошибкой ее жизни.

...

Рядом с потертыми кнопочками стояли имена и фамилии.

Я попытался вспомнить фамилию Ши. Не удалось.

Смутно припоминалось, как она рассказывала о том, что «Ши» — это не уменьшительная форма ее имени, а сокращение... Сокращение чего?

В голове у меня был беспросветный туман.

Я попытался вспомнить, как выглядела Ши, но не смог.

Азиатка она? Или европейка? Всё, всё забыл.

И черты ее сына тоже расплылись. Когда я думал о нем, то вспоминал только его закатанные в экстазе глаза. И слышал его страстный шепот.

Из подъезда вышла солидная дама в бордовом пальто. Я узнал ее, это была соседка Ши по лестничной клетке, про которую Ши рассказывала мне... забыл, что... обычная история с любовниками, мужьями и собачками. Несколько раз мы разговаривали на кухне у Ши втроем. Пили кофе со сливками. Кажется, эта дама советовала нам покупать масло не в Эдеке, а в Нетто.

— Извините, забыл ваше имя, я друг Ши, помните? Не могли бы вы напомнить мне ее фамилию? Такая досада — забыл. Я ищу ее тут в списке и не могу найти.

Дама посмотрела на меня недоверчиво. Недоверчивость ее быстро переросла в яростное возмущение. Она проговорила уверенно и холодно: «Никакой Ши я не знаю. Вас вижу впервые. Отстаньте, иначе в полицию позвоню».

После этого отошла от меня, взмахнула руками, как крыльями... превратилась в птицу и тяжело взлетела.

Я не удивился ни ее ответу, ни превращению. Потому что неожиданно все понял. В тот момент, когда разглядел ее птичье лицо.

Все мы, и Ши, и Аллита, и эта соседка, и я сам... все мы не были людьми... а только ожившими персонажами из прочитанных кем-то когда-то книг.

И сам этот сумасшедший город был набором иллюстраций Майднера или Шлихтера, а не реальным городом.

Пошел домой. В двенадцать должна была начаться моя смена.

Дома выпил наконец свой чай и съел бутерброд с сыром. Чай был холодный, а бутерброд — сухой и невкусный. Неудивительно, ведь он был бумажным!

Взял в руки свой новый электрический чайник. Погладил его приятную матовую поверхность. И гладил его до самого отхода на работу. Несколько раз чайник прямо в моих руках превращался в чудесную куколку из слоновой кости. Ее глаза оживали, ротик раскрывался, и я вновь слышал страстный шепот Аллиты.

По дороге на работу в эс-бане со мной случилась неприятность.

Я вошел в полупустой вагон, хотел занять место у окна и посмотреть на ночной Берлин, проверить свою догадку.

Вместо этого неодолимая сила заставила меня согнуться и достать лбом до грязного пола вагона. А из моей грудной клетки сам собой исторгся громкий звук, повторившийся три раза: «Кррак! Кррак! Кррак!»

Пассажиры вагона не обратили на меня внимания. Только один неприятный толстяк вытаращил глаза.

## ИСТОРИЯ С САМОЛЕТОМ

Ни за что бы ни поехал в эту промышленную дыру с убогим даунтауном, в Цинциннати, если бы не моя сводная сестра. Она пригласила меня, брата, отчима и маму встретиться вместе с ней, ее мужем-американцем и двумя их сыновьями — Новый год. Мой сводный брат прилетел из Австралии, мама с отчимом — из Аляски, я — из Берлина.

Цинциннати стал для нас на несколько дней — центром мира. Какая честь!

Семейная встреча прошла так, как и полагается — много пили, много ели, вспоминали московскую жизнь, шутили... но весело не было, мама несколько раз плакала, жаловалась на удушье и боли в груди, говорила, что видит всех нас вместе в последний раз... брат хвастался своими коммерческими успехами, ему впрочем не очень верили, потому что знали, что деньги на авиабилет ему дал мой отчим, его отец... ходили вместе в музей искусств и в гигантский рыбный магазин, посмотрели несколько шумных и глупых экшен-фильмов на трехметровом экране нового, купленного в рассрочку на три года, телевизора, поиграли с избалованными и агрессивными сыновьями сестры, с ее противной полосатой кошкой и собакой, страдающей ожирением. И разбегались.

Утром четвертого января — улетели отчим и мама, днем — брат, а через три часа после него — и я.

Влез в такси и буркнул толстому чернокожему водителю, носившему на жирной шее тяжелую золотую цепочку с пятью крестами: «Аэропорт, плиз. Третий терминал».

И мы поехали на юг, к мосту через Огайо, по широким улицам, покрытым пятисантиметровым ледяным панцирем. Из низких облаков сыпались маленькие льдинки. Было грустно.

На прощание помахал рукой хозяевам дома. Заметил, что деревянная улыбка на лошадином лице мужа моей сестры

уже сменилась гримасой всегдашней деловой озабоченности (бедняга работал коммивояжером, колесил по окрестностям на своем подержанном Форде и пытался всучить домохозяйкам сомнительную продукцию одной местной фирмы, производящей какие-то особенные пылесосы), а сестра опустила глаза, чтобы не показать, как она рада... наконец-то покой. Она не любила ни меня, ни брата, которого ревновала к матери, не скрывала своей неприязни в личном общении, но при родителях старалась, как могла, излучать только флюиды доброжелательности и любви. Получалось это у нее не всегда.

Я тоже не любил младшую меня на девять лет сестру. Не знаю, почему. Может быть потому, что не подходил на роль старшего брата, защитника и всезнайки. А может быть — из-за ее чуть-чуть нагловатого курносого носика, и острого глаза, замечавшего все мои виляния и финтифанты.

Сводного брата, любимца нашей старенькой матери, я почти не знал — он родился после того, как я оставил семейное гнездо. Он носил по-женски длинные волосы, которые прикрывали его нелепые оттопыренные уши. У него были пустые, ничего не выражающие глаза. Огонек появлялся в них только тогда, когда ему предоставляли возможность рассказать что-либо лестное о самом себе. О его роскошной вилле в окрестностях Аделаиды, на берегу океана, которую никто никогда не видел, о прекрасной работе, высоких доходах и сексуальных подвигах. В эти моменты он напоминал мне упрямого паяца-неудачника, дудящего в свою дуду и поднимающего и поднимающего гири на маленькой арене домашнего цирка. Резиновые, надутые гири. Прекрасно знающего, что даже белые цирковые лошади, украшенные тропическими перьями, ему не верят.

...

Вот и аэропорт. Невероятно длинный широкий коридор...

Любезная девушка на регистрации прикрепила к моей сумке жёлтенькую бумажку — движущаяся дорожка тут же утянула сумку в подвижные механические кишки великана — и выложила передо мной выдавшую виды складную схему сидений межконтинентального варианта DC-10. Я выбрал последний ряд, место у прохода. Там, где справа и сле-

ва — по два сидения, а пяти сидений между ними — уже нет. Надеялся, что смогу вытянуть ноги. Да и к хвосту поближе. Какой-то эксперт в телевизоре, не помню когда, убедил меня в том, что вероятность пережить авиационную катастрофу в хвосте выше, чем в любой другой точке самолета. С тех пор я всегда, если возможно, прошу дать мне место в хвосте. Хотя там бывает шумно и туалеты рядом.

Прошел предполетный досмотр и паспортный контроль. Походил несколько минут между сверкающих витрин магазина «дьюти-фри». Так хотелось купить что-нибудь дорогое, сверкающее, приятно пахнущее... то, что и через десять лет будет напоминать о семейной встрече в Огайо, в центре мира. Но в кармане у меня после покупки джинсов и рубашек любимой фирмы Ли было пусто. Отчим предлагал мне двести долларов, но я не взял, постеснялся. И сейчас пожалел об этом. Не взял, потому что заметил презрительную ухмылочку, которой наградила меня сестра, случайно проходившая мимо нас и заметившая в руках отца зеленоватые бумажки.

Просидел полтора часа на неудобном стуле в «накопителе» у пятых ворот и наконец вошел в самолет. Перед тем, как войти, похлопал самолет три раза по потертому алюминиевому боку — по традиции, которой придерживаюсь начиная с первого моего полета, по маршруту Внуково — Адлер. На ужасной машине с четырьмя пропеллерами — Ил 18. После трех часов полета в этом вибрирующем гробу, наполненном ревом, — даже жалкая советская курортная реальность казалась раем. Иллюзия эта впрочем быстро улетучилась. После того, как я увидел покрытые волдырями ноги и ужасные ногти на грязных коротких пальцах хозяина снятой нами комнатки в сарае «с видом на море». И послушал его речь.

Сел на свое место, пристегнулся, закрыл глаза и попытался успокоить нервы и уснуть. Это было нелегко. Многие пассажиры громко разговаривали, то и дело открывали и с грохотом захлопывали полки для ручной клади под толчком, где-то недалеко истошно кричал младенец...

Неизбежный в каждом самолете толстяк, шумно дыша, сел в кресло передо мной. Сидение жалобно заскрипе-



ло. Обильная испарина на его лысине делала ее похожей на рябую морду безглазого, безносого и безротового демона.

Несколько солдат, возвращающихся в южные края после отпуска, затеяли игру в мяч и тут же попали им в крутую грудь сурового вида дамы, по-видимому, мексиканки, которая начала их отчитывать по-испански, бросая огненные взгляды и эмоционально жестикулируя.

Трое подвыпивших гуляк в одинаковых малиновых пиджаках и зеленых, в красную крапинку галстуках, настоятельно требовали у худенькой миловидной мулатки-стюардессы принести им выпивку, а она, хмыкая и стараясь не рассмеяться, объясняла им, что виски они получают только после набора самолетом заданной высоты полета и за отдельную плату.

Шесть монашенок-урсулинок в простых черных рясах явно задумали совершить молебен. Окружили стайкой свою главную, полную, старую и строгую монашку и тихо запели.

...

Большинство пассажиров эконом класса составляли деловые люди. Сдержанные, сосредоточенные, одинаково одетые джентльмены. Аккуратно уложив свои длинные темные пальто и светлые шарфы на полки над головами и усевшись в свои кресла, они тут же доставали из солидных дипломатов свои тоненькие дорогие ноутбуки и углублялись в какие-то бегающие столбцы цифр и диаграммы. Стюардессы почему-то не запрещали им пользоваться компьютерами. Это могло означать только одно — вылет наш задерживался. Почему?

Каждый раз, усаживаясь в самолетное кресло, я представляю себе, как на одиннадцатикилометровой высоте фюзеляж трескается, от него отскакивает огромный кусок, и я вылетаю из самолета как камень из римской катапульты вместе с креслом и бешено визжащими соседями. И вот, я несусь, сидя в кресле, в бездонную пропасть... воздух свистит в ушах... А там, внизу, меня ждет не мягкая спасительная голубизна небольшого уютного озера, а тяжелые, темные, тридцатиметровые атлантические волны, увенчанные желтой пеной, и прожорливые крылатые акулы.

Разбудила меня пожилая дама в манто из лисы, соседка. Пропустил ее на ее место, покивал, поулыбался и опять закрыл глаза.

Посадка затянулась минут на сорок пять. Когда же мы взлетим? Осточертело ждать...

Все давно сидели на своих местах. Толстяк с лысиной читал книгу с рыцарем и драконом на обложке. Солдаты и гуляки в малиновых пиджаках утихомирились и задремали. Урсулинки разошлись по своим местам и углубились в чтение маленьких молитвенников в черных переплетах. Деловые люди закрыли ноутбуки и мечтательно медитировали на золотого тельца.

Но мы так и не тронулись.

По проходам между креслами ходили стюардессы и соредоточенно считали пассажиров. Как колхозники — белые грибы в корзинке. Их во времена моего детства иногда продавали поштучно.

Неожиданно из громкоговорителя донесся вежливый, печальный, но настырный мужской баритон. Не к добру!

Баритон поведал нам трагическую историю. Оказывается, на нашем самолете летела во Франкфурт большая группа бизнесменов и банкиров (человек двести) для проведения важнейших консультаций с немецкими коллегами из Дойче Банка. Во время покупки авиабилетов для этой группы из-за досадной ошибки организаторов было неправильно названо количество людей. Группе не хватает одного места. Самолет полон. Так вот, не согласится ли какой-либо пассажир или пассажирка уступить свое место участнику группы? Дирекция авиакомпании Дельта сейчас же вручит добровольцу билет на завтрашний рейс во Франкфурт — в первом классе, но с пересадкой в Нью-Йорке. Кроме того, оплатит ночевку в гостинице Хилтон и наградит премией. Тысяча долларов в руки! Стодолларовыми бумажками.

Предложение было заманчивым, но было так неохота — вставать, тащиться в гостиницу, а завтра опять проходить досмотры, делать пересадку и ждать, ждать, ждать... Поэтому я остался в своем кресле и снова попытался заснуть.

Через три минуты баритон повторил свое предложение. Только сумму назвал уже другую — две тысячи долларов. Никто не откликнулся...

Через пять минут баритон опять заговорил. На сей раз он посулил три с половиной тысячи. Я, ни секунды не колеб-

лясь, встал и помахал стюардессе посадочным талоном. Кивнул. Кажется, я только на долю секунды опередил толстяка...

Пассажиры заплодировали. Многие деловые люди показали мне хорошо отбеленные кукурузные зубы и поднятый вверх большой палец. Я раскланялся и отправился к выходу.

Когда я выходил из самолета, ко мне подошел банкир-бизнесмен без места. Высокой, чем-то напоминавший президента Рузвельта, солидный американский дядя. Он осчастливил меня приветливой улыбкой на холеной физиономии, украшенной синеватыми мешочками под серыми усталыми глазами, кратко поблагодарил и исчез в недрах DC-10.

Да, компания Дельта выполнила обещание.

Мне дали новый билет в Берлин через Нью-Йорк и Франкфурт, 3500 долларов наличными и гостиничную магнитную карточку. Сотрудник компании проводил меня до выхода из аэропорта и показал пальцем на оранжевую иллюминацию на фасаде отеля. До него было рукой подать.

...

В лобби Хилтона было подозрительно безлюдно. Ни портье, ни носильщиков. Сумеречная зона?

На мониторе электрического камина потрескивал потусторонний огонек. На круглом столе стояла ваза в форме руки Мефистофеля с неизвестными мне красными цветами. Тоже искусственными. Хрустальная люстра заливала лобби раздробленным на тысячи пятнышек фиолетовым светом. На стене висели несколько абстрактных картин и два крупных циферблата со стрелками. Почему-то они показывали разное время. Без пятнадцати три и ровно шесть. Я посмотрел на свои часы, на самом деле было десять минут девятого вечера. Странно!

Поднялся на лифте на седьмой этаж, нашел свой номер, открыл дверь карточкой и упал в изнеможении на широкую кровать с похрустывающими белыми простынями.

...

Проснулся от назойливого стука в дверь.

Открыл. На пороге стоял портье, ужасно похожий на волшебника из довоенного фильма «Волшебник страны Оз». Блондинистый энтузиаст с выпученными глазами.

Среднего возраста. В меру упитанный. С фальшивым бриллиантом на зажиме для галстука. Почему-то с цилиндром и тросточкой в руке.

Волшебник представился и извинился за беспокойство. Бриллиант его застенчиво сверкнул голубоватой гранью.

Он хотел узнать, все ли в порядке. Лично убедиться.

— Спасибо, все замечательно.

— Очень, очень рад это услышать... Хочу вам сообщить, что компания Дельта великодушно оплатила вам не только завтрашний завтрак, но и сегодняшний ужин. Вы можете спуститься в наш главный ресторан, который мы зовем Красным салоном. Из-за алой драпировки на стенах. Это шелк «туссар» из Утар Прадеша. Очень рекомендую наше фирменное блюдо — жареные осьминоги с хрустящими овощами. И белое калифорнийское вино. Хороши и шампиньоны с паштетом из сенегальских раков.

— Спасибо. Но я бы предпочел что-нибудь легкое. Куринное суфле с брусничным соусом, ванильный пудинг и пасту с пармезаном. Два стакана апельсинового сока без льда. И еще... у меня нет сил идти в ресторан, да и мой смокинг остался в сумке, которая уже летит во Франкфурт... не могу ли я поесть в номере?

— Ах, разумеется, разумеется. Я передам. Вам все сюда принесут. Суфле, пудинг, паста... У вас вкусы европейца... вы чех или поляк? Не хотели бы вы на десерт...

Портье сладко загримасничал и обрисовал пухлой ладошкой некие заманчивые округлости.

Я кивнул. Исключительно из озорства. Никакой охоты вступать в интимные отношения с кем бы то ни было у меня не было. Но я вспомнил «Над пропастью во ржи» и вдруг почувствовал себя шестнадцатилетним подростком. Пачка сто долларовых купюр приятно оттопыривала карман.

— Если бы вы сказали, что вы предпочитаете... у нас большой выбор... мы найдем то, что надо, позвоним, девушка сядет в такси и через полчаса будет здесь.

— Почему вы уверены, что это девушка, а не юноша или борзая собака?

Волшебник нахмурился и сосредоточился...

— Не надо хмуриться! До мировой революции еще далеко. Итак... прошу вас прислать ко мне худую белую женщину с большим... хм... природным бюстом, не наркоманку, не алкоголичку и не больную СПИДом. По возможности без драм и историй... Лет сорока пяти. В алом бюстгальтере.

Портье угодливо кивнул. Потом сострил: «Алый лифчик? Без драм и историй? Это будет вдвое дороже».

— Вот, возьмите за услуги.

Я подал ему купюру с изображением Бенджамина Франклина. Волшебник страны Оз принял ее как-то индифферентно. Кажется, он ожидал большего. Бриллиант его потух. Пришлось дать ему еще одну сотню. Я физически ощутил, как полегчала моя заветная пачка.

Ужин прибыл через сорок минут.

Суфле немного подгорело. Пудинг был приторным. Паста — пересоленной. Надо было взять жареных осьминогов! Или сенегальских раков.

Зато сок был превосходным.

...

Дама моя пришла только часа через полтора после того, как я отужинал. Я уже и ждать перестал, подумал даже, не разыграл ли меня портье. Английский я знал неважно. Может быть, я его неправильно понял, или он меня...

К моему удивлению — она в точности соответствовала моему описанию. К тому же была рыжей. А мне всегда нравились рыжие женщины. Только лет ей было явно меньше, не сорок пять, как я заказывал, а тридцать. Или тридцать пять.

Я поприветствовал ее и попросил сесть в кресло. Она села и нервно повела узкими плечами. Успел ее рассмотреть прежде, чем она заговорила.

Худая. Зеленоглазая. Из-под ее коротенькой меховой курточки выглядывал красный бюстгальтер. Тесно облегавший пышную грудь. Замшевая мини-юбка напомнила мне времена моей юности. Темно-красные узорчатые колготки. Туфли на высоком каблуке с серебряными звездочками. Голос у гетеры был резкий, неприятный. Тон — почти властный.

— Французский секс — восемьдесят. Обычный — только с презервативом — сто. Анальный — двести. За ночь — триста. Деньги вперед.

Цены явно кусались. Предлагаемый товар — тоже.

Мне стало тоскливо. Какого черта я позвал сюда эту вульгарную бабу?

Что я тут делаю, в этом мерзком отеле? Зачем ушел из самолета? Летел бы и летел.

Пришлось сурово ответить самому себе: «Ты польстился на деньги. Пожадничал. Хотя много лет потратил на то, чтобы выкинуть из сердца жадность... А теперь, когда получил незаработанные деньги, захотел еще и женщину. Теперь заткнись и принимай все, что тебе жизнь подсунет, как должное».

Жрица любви восприняла мое молчание как признак несогласия с ее ценами. Недовольно сморщила нос. Поджала полные губы.

— Как тебя зовут?

— Не все ли равно? Ты будешь платить?

— Буду, не тревожься.

— Трэси ван Холд. Я родом из Голландии.

— По-немецки говоришь?

— Да, я родилась и училась в школе недалеко от Аахена.

Я перешел на немецкий.

— Пожалуйста, говори со мной на немецком. Это язык моей новой родины.

— Яволь, мой господин.

— Ты меня смутила. Я не могу планировать секс. Дело не в деньгах. Вот, возьми триста баксов и постарайся вести себя не как проститутка, а просто как женщина, пришедшая на свидание с любовником среднего возраста. Женщина вечером. Как поэтично! Если тебе со мной тошно, можешь сейчас же уйти... деньги оставь себе.

Лицо ее прояснилось и подобрело. В зеленых зрачках появились желтые искорки.

Заговорила она после долгой паузы. Мягко и доверительно.

— Ты просишь меня о том, что для таких, как я — самое трудное. Снять маску и быть человеком. Потому что я уже десять лет — механическая кукла. Дернешь за одну веревочку — я раздвину бедра, дернешь за другую — изображу оргазм. Пойми, я ненавижу секс. Ненавижу мужчин. Их спер-

му, их фаллосы, их задницы, которые столько раз лизала, их руки, губы... Ты даже представить не можешь, что они меня иногда просят изобразить... Дочку-школьницу, престарелую мать, распятую лошадь, ожившую во время сношения покойницу, один раз мне даже пришлось изображать девочку-еврейку, которую истязает пьяный эсэсовец в концентрационном лагере... Я бы кастрировала всех таких клиентов, если бы во мне была хоть капля мужества. Но я — дура, трусиха, эгоистка. Люблю деньги, комфорт. Я чудовище среди других чудовищ.

— Все это не ново. Не терзайся так. Тебе просто не повезло. Работа скверная. Ты видишь мужчин такими, какими они являются на самом деле. Только ты и знаешь правду о нас. Напиши книжку, будет бестселлером.

— Спасибо за совет. Только не поможет мне книжка... Знаешь, я сама все испортила. Сама выбрала этот путь. Никто меня в детстве не насиловал, к проституции не принуждал. Пойду до конца. Накоплю денег и открою магазинчик ливерных колбас.

— Ливерная колбаса? Как это не кошерно! Я тебя тоже ни к чему не принуждаю. Я не эсэсовец, меня не надо кастрировать. Хочешь полежать в ванне? Тут чистая ванна. В оранжевой бутылочке — медовый экстракт. Пяти капель достаточно... Заказать тебе что-нибудь поесть или выпить? Ливерную колбасу? У меня тут неограниченный кредит.

— Не надо. Я полежу немного в ванне... ты меня растрогал, я разболталась с клиентом, как дура.

...

Через полчаса она позвала меня.

Я забрался к ней в ванну. Трэси вымазала мне голову пеной... сделала из пены рога... засмеялась.

— Где ты живешь?

— В Берлине.

— Ты женат?

— Разведен.

— Богат?

— Нет, что ты, разве я похож на богача?

— Что ты делал в этом паршивом городе?

— Посещал сестру. Семейная встреча.

— Откуда у тебя столько нала?

Рассказал ей все.

Трэси мне не поверила. Качала головой и смеялась. Порозовевшее ее лицо излучало доброту и радость, рыжие кудряшки рассыпались по плечам.

Ее тело и медовый аромат пьянили меня...

Спросила:

— Хочешь меня поцеловать?

— Очень хочу. Учти, я делал это последний раз лет сто назад и забыл, как это делается.

— Вспомнишь. Ложись на меня.

Я не без труда лег на нее, выплеснув из ванны на кафельный пол литра три пены, Трэси обвила меня руками и ногами. Мы поцеловались.

Позволила мне пососать свой юркий язычок и пососала мой.

Потом влезла кончиком языка мне в ухо.

Прошептала страстно: «Малыш, хочешь покормить меня топленным молочком?»

Я почувствовал, что она превратилась в сладострастную куклу, и что мне теперь все позволено. Прорычал: «Нет, я хочу пороть тебя ремешком по заднице и сиськам, а потом насрать тебе в рот, грязная голландская шлюха!»

В ответ я услышал только астральный смех...

Мы вылезли из ванны, вытерлись и легли в постель.

Умница Трэси оказалась мастером своего дела. Я долго не мог оторваться от нее. Потерял себя и изо всех сил боролся за наслаждение.

Ушла она часа в три ночи. На прощанье мы молча обнялись.

Ночь проглотила ее.

...

Утром меня разбудил все тот же портье, похожий на волшебника. Алмаз на его галстуке лучился, как сверхваля.

Он стоял рядом с кроватью и дергал меня за ногу.

— Эй, господин поляк, проснитесь!

Меня ослепил яростный свет фотовспышек. Зажмурился от боли.



Послышались голоса: «Он не знает, не знает, не знает... надо сказать ему... надо сказать».

Сел на кровати, зевнул... Побагровевший от волнения портье тряс меня за плечо. Ложе мое с разметанными по нему простынями и одеялами окружали фотокорреспонденты и операторы с видеокамерами. Неизвестные мне мужчины и женщины совали мне в лицо свои микрофоны. Все они что-то говорили, говорили. О чем-то меня спрашивали. Я ничего не мог понять.

Встал, завернулся в простыню и пробился сквозь плотную толпу непонятно что хотящих от меня людей — в ванную.

Помочился.

Впустил портье.

Тот проговорил, заикаясь от волнения: «Самолет во Франкфурт, на котором вы должны были лететь, упал в океан у берегов Шотландии. Взорвался в воздухе. Обломки разлетелись по площади в двадцать квадратных километров. Перед полетом многие из пассажиров этого рейса ночевали у нас. Прекрасные, умные люди! Никто не спасся».

Последнее предложение он повторил четыре раза. Жутко выпучил глаза и разрыдался.

— А что в моем номере делают эти...

— Они хотят взять у вас интервью. У заново рожденного счастливчика. Это я впустил их в номер, извините.

— Это я — счастливчик? Да что они обо мне знают? Что вы обо мне знаете? Может быть, у меня хроническая диарея и аллергия на солнечный свет... Или я серийный убийца.

На добром лице волшебника отобразился страх.

Я вышел из ванной и объявил, что никаких интервью давать не буду, что мне требуется время на осознание произошедшего. Попросил всех незамедлительно покинуть мой номер. Пригрозил вызвать полицию.

Один корреспондент спросил меня уже из-за двери: «Благодарны ли вы судьбе? Что теперь собираетесь делать?»

Я прокричал ему: «Благодарен. Жить как прежде, что еще».

— Как вы думаете, за что провидение пощадило вас? Одного из почти трехсот человек. Что вас спасло?

— Меня спасла моя жадность.

После завтрака пришли два сотрудника полиции и целый час муржили меня бессмысленными вопросами. Несколько раз спрашивали о содержимом моей сумки. Затем им кто-то позвонил. Отпустили, наконец.

Я догадался, что спасатели, там, у берегов Шотландии, очевидно, нашли мою сумку или то, что от нее осталось. Без следов взрывчатки...

По дороге в Нью-Йорк я старался не думать о том, как выглядело бы сейчас мое изуродованное взрывом и обгрызенное акулами тело, лежащее на дне океана, если бы организаторы поездки банкиров правильно указали количество участников встречи. Сидел в гордом одиночестве в просторном салоне первого класса и глядел в окошко, на облака. Это успокаивало. Странно. Мне все время казалось, что из облаков на меня смотрит мой синелицый двойник. Напряженно смотрит и иногда иронично помахивает мне синей правой рукой со знакомым перстнем на мизинце.

А когда мы уже подлетали к аэропорту имени Кеннеди и мне открылся потрясающий вид на Манхэттен, тогда еще не потерявший высоченные башни-близнецы, я неожиданно для самого себя решил остаться в Нью-Йорке на недельку, зайти в МоМА и в Метрополитен-музей, посплозняться по Бродвею, навестить секс-шопы на 42-й улице и одноклассников, обосновавшихся тут еще в начале восьмидесятых.

Симпатичный сотрудник Дельты не сразу понял, что я от него хочу. Прочитал мне нотацию с глубокомысленным видом: «Вы не должны были обращаться ко мне. Для таких как вы есть специальное бюро. Кажется, на третьем этаже».

— Кажется? Тогда вам придется самому поменять мне авиабилет.

Вертел и вертел мой немецкий паспорт, нервно покашливал, то и дело смотрел на часы и несильно стучал кулачком по пульту. Тянул время... вел себя так, как будто я попросил его о чем-то невозможном, вроде путешествия на Марс.

Назойливо напоминал мне, что мой самолет вылетает уже через час и что мне пора идти к воротам... Наконец он смилостивился и оформил мне новый билет в Берлин через Франкфурт, только уже не в первом, а в эконом-классе.

Садясь в такси, я от волнения нарушил железное правило — не садиться рядом с шофером. Шофер такси, точная копия шофера в Цинциннати, даже его золотая цепочка на толстой шее тоже была с пятью крестами, посмотрел на меня с опаской, а потом, убедившись в том, что у меня нет дурных намерений, спросил, посмеиваясь: «Ты что... хочешь меня ограбить или отсосать?»

— Ни то, ни другое. Я только хотел посмотреть на город через ветровое стекло...

— Посмотреть на город? Ты гребанный турист?

— Ну да. А ты за кого меня принял?

— За гангстера-иностранца, который прибыл в Биг Эпл чтобы замочить кого-то и в тот же день улететь на родину.

Он подвез меня к неказистому пятиэтажному дому на одной из восьмидесятих улиц Вест-Сайда.

Вылез из такси.

...

Дома, дома, дома.

Какая плотная застройка! Бездушный, голый, довлеющий себе урбанизм. Не продохнуть. Люди, которые тут жили раньше — были не живыми существами, а придатками к фабрике, магазину или банку. А высокая преступность в этих краях была не только мезью неправильной шестеренки, не нашедшей своего места в механизме, но и естественной реакцией человека на украденное пространство, солнце, воздух, зеленый мир, свободу. Постройка Центрального парка была лишь частично удавшейся попыткой понизить урбанистическое напряжение этих мест.

Один чернокожий парень сдавал тут нелегально несколько маленьких комнат на крыше по 25 долларов за ночь. Останавливались у него бедняки, малоуспешные карманники и пуэрториканские шлюхи...

Он узнал мой голос, открыл мне зарешеченную дверь и, ни слова не говоря, забрал у меня сотню и выдал ключ от «номера». Потащился наверх по грязной лестнице. Когда был уже на втором этаже услышал его бурчание: «Ты, я смотрю, разбогател. Будь осторожен, позавчера в соседнем дворе прижмурили одного цветного».

— Может, кто из твоих постояльцев отметился?

— Возможно.

Поднялся в номер. Там стояли — койка, стул, небольшой шкаф и старое радио на тумбочке. В предбаннике был закуток с крохотным душем и толчком, а над койкой висела картинка, до того засиженная мухами и засранная тараканами, что разобрать, что на ней нарисовано, не было никакой возможности. Из соседних номеров доносились мужская ругань и женский плач. И еще — какие-то глухие удары, как будто кто-то бился головой в стену. Вспомнил анекдот про негра, который любил, когда боль проходит...

Из окна было видно только серую стену другого дома. Без окон и даже без граффити. Сквозь грязь и облупившуюся краску проступали старинные буквы: LONELY CLUB.

Одинокий крюк торчал из этой стены. Ржавый и жуткий. Мое воображение тут же пририсовало к нему целую гроздь повешенных на нем чернокожих без штанов.

Неожиданно прямо из стены высунулся мой синелицкий двойник и уставился на меня. Показал мне рукой вниз...

Я посмотрел туда и увидел не замызганный двор, а как бы дно океана. Между розоватыми кораллами плавали не знакомые мне рыбы, по песку ползали крабы, морские звезды и пауки. Тут же лежал труп с распоротой грудной клеткой. Его руки и ноги сожрали акулы.

Я отошел от окна и задернул грязную занавеску.

...

Решил освежиться...

Вышел на улицу... прошел несколько кварталов... оказался на Бродвее, свернул направо и двинул на юг. К манящей меня сорок второй улице.

Но так до нее и не дошел. Свернул куда-то, потом еще раз, еще...

Как будто дьявол вёл меня за руку.

Сам не знаю как, оказался перед мрачным высоким зданием, на одиннадцатом этаже которого размещался ночной клуб Бонанца, попасть в который можно было только поднявшись по пожарной лестнице, небрежно прикрепленной к фасаду.

Почему-то я был твердо уверен в том, что мне надо непременно зайти в это заведение, что меня там ждут. Вスカ-

рабкался по стонущей и дрожащей лестнице, поминутно теряя дыхание и рискуя сорваться вместе с ней в пропасть.

Влез в клуб через высокое открытое окно.

...

В небольшом помещении стояли несколько столиков, за которыми сидели посетители.

За полукруглой барной стойкой помещался уютный толстяк-бармен с шейкером в руках, лицо и лысина которого показались мне знакомыми.

У стойки сидели шесть монашенок-урсулинок и пили Манхэттен. Когда я вошел, все они посмотрели на меня, и я заметил, что у них — одинаковые лица, похожие на монгольскую маску демона.

За одним из столиков сидела пожилая дама в лисьем манто. Она приветливо помахала мне рукой в белой перчатке и пригласила сесть за ее столик.

Как только я сел, к нам подошли три официанта в малиновых пиджаках и зеленых галстуках и заговорили одновременно.

Они говорили так быстро, что я едва их понимал.

Первый: «Не желаете ли жареного осьминога?»

Второй: «Или лучше — шампиньонов с сенегальскими раками?»

Третий: «Я принесу вам все, что угодно, только не куриное суфле. Это не американская еда! Есть его тут — не патриотично. Идите к своим. У нас приличное заведение!»

Первый: «Заявляю вам официально — пасту с пармезаном в нашем клубе не подают! Да-с, не подают! Даже иностранцам. А тем более тем, кто оттуда. Оттуда, понимаете?»

Второй: «Так же как и ванильный пудинг. Его лопают только суффражистки. Пейте апельсиновый сок, он оживляет покойников! И не ешьте паштеты, это вредно!»

Третий: «Исчезните, мистер. Вам тут не место!»

Первый и второй вместе: «Не место!»

Я хотел встать и уйти, но мне на плечо положила руку мексиканка с высокой грудью.

— Хочешь покинуть нас? Брезгуешь? Но ведь ты даже не попробовал наш фирменный десерт!

Она многозначительно улыбнулась и расстегнула блузку... вывалила левую грудь, как мешок с мукой, на живот. Я заметил синие жилки под ее кожей и отвел глаза.

Неожиданно в клуб ворвались трое расхристанных солдат... у каждого из них был в руках баскетбольный мяч. Один из солдат залихватски крикнул бармену: «Эй, дядя, где кольцо? Нам нужно тренироваться. На носу чемпионат мира. Ура!»

И тут же на стене клуба появилось кольцо, только не баскетбольное, а цирковое. Через которое прыгают на арене дрессированные тигры. Кольцо это загорелось, в него прыгнула большая черная пантера.

Пантера эта потом подошла ко мне и сказала: «Милый, ты был так добр, и я хочу оказать тебе услугу. Я спасу тебя. Потому что я прыгунья. Хочешь прыгнуть вместе со мной с одиннадцатого этажа? Уверю тебя, мы не разобьемся. Это ведь совсем не то, что падать в самолетном кресле с одиннадцатикилометровой высоты после взрыва топливного бака. Это вовсе не так опасно. Особенно для пантер и магистров...»

Тут я заметил, что это не пантера, а рыжая Трэси, в своих тёмно-красных узорчатых колготках и бордовом бюстгальтере.

Огромный хор мертвых банкиров, выстроившихся вдоль границы Центрального парка затянул: «Once there were green fields kissed by the sun...»

Солировал президент Рузвельт.

Я покорно пошел за Трэси... потому что все уже понял. Мы вылезли на шаткую лестницу и, взявшись за руки, бросились вниз.

Как Трэси и обещала, мы не разбились.

## ЧЕМОДАН

Без пятнадцати три ночи меня разбудил громкий стук в дверь.

Точно знаю, когда, потому что у меня прямо перед носом, на столике рядом с кроватью, — стоят электронные часы с крупными светящимися цифрами. Золотистыми. Но слегка отдающими в лиловое. Вообще-то это радиобудильник. Но я терпеть не могу музыку или новости слушать спросонья. Новости — гадость. Музыка — тоже. Особенно та, которую сейчас передают по радио. На двух оставшихся каналах. Я люблю просыпаться в тишине, поэтому радио я в будильнике отключил сразу и навсегда. И не жалею. Я, после того как проснусь, люблю сны вспоминать, даже записываю то, что не забыл, в специальную тетрадку. Потому что мои сны — это единственная вещь на свете, которая меня еще удивляет и интересует. Все остальное — изо дня в день повторяющийся кошмар. Надоело пережёвывать одно и то же. Вставать, есть, тащить на себе день... бессмысленный день, не сулящий ничего хорошего.

А сны... они всегда новые... скурильные, забавные... как прежняя жизнь... как короткие существования предметов внутри сюрреалистических картин.

Как же жалко, что берлинские музеи разгромлены и разграблены воинствующими мусульманами и следующей за ними по пятам местной и восточноевропейской чернью! Мне не жалко второй уже раз сожженного здания Бундестага, черт с ним, с этим имперским монстром... мне жалко работы Клее и Эрнста, затоптанные ногами этих идиотов, мне жалко взорванного как когда-то Пальмира, Пергамского алтаря... объявленного салафитами вслед за Иоанном Богословом «престолом Сатаны».

...

Вставать не хотелось. В спальне было холодно, отопление не работало уже несколько лет. Хорошо еще электриче-

ство не выключают по ночам как раньше. И воду. Тело лопило, в вены кто-то впрыснул ртуть. А под язык положил свинцовую монету.

Я приподнял голову, с трудом разлепил глаза и попытался определить, в какую дверь стучали. Квартирная, стальная дверь далеко от моей кровати, по ней, как громко ни колоти, я не проснусь. А дверь в спальню стеклянная, звучит по-другому.

Может быть, не в дверь стучали?

В окно что ли? На пятом этаже?

Черт возьми! Опять постучали. И как громко!

И еще... как будто кто-то глухо проорал что-то. Или пролаял.

Или прохрустел, как сухой песок, когда по нему солдаты идут в кирзовых сапогах.

Может быть, «ёжики» пришли... с обыском?

В конце октября в три часа ночи очень темно. Включить свет лежа я не мог, выключатель у торшера сломался, а я так и не собрался его починить.

Пришлось моргать, протирать глаза... массировать ступни и лодыжки... охать, ругаться.

...

Сел на кровати. Холодный пол обжег мне ноги.

Я увидел. И понял. Понял, в какую дверь стучали.

О, господи... Не во входную. И не в дверь спальни.

Стучали в жуткую, незнакомую мне дверь, которая, как иудейское надгробье возвышалась зловещим темным прямоугольником в трех метрах от меня. Дверь не в стене, а в дверной коробке, в раме. Посередине комнаты. На двери были отчетливо видны огненные буквы: «Мене, мене, текел...»

Откуда она тут взялась?

Фак!!!

Укусил себя за большой палец левой руки. Не помогло.

Закрыв глаза. Подождал с полминуты. Открыл. Дверь все еще тут. Надпись горит.

Прочитал короткую молитву, прокашлялся, выматерился на родном наречии.

И это не помогло.

Кто-то еще раз громко и властно постучал в эту дверь, не ведущую никуда.



Встал, подошел к двери.

Где тут были буквы? Пропали.

Тяжелая дверь. Обита позеленевшей медью. Похожа на дверь монастыря или старинного собора. Рама — из грубо обструганного дерева. Потрогал поверхность двери. Холодная и как будто гравированная.

И током бьет от нее.

Еще раз постучали. Дверь загремела как листовое железо, если по нему молотком шарахнуть. Глумливая надпись опять выступила на меди. Прямо перед моим носом.

Машинально спросил: «Кто там?»

В ответ услышал знакомый голос: «Да открывай же скорее, тут так холодно! Шевелись, идиот, скотина, подонок! Я оторву тебе руки и откушу тебе голову, толстый ублюдок!»

Голос был похож на голос моей многолетней сожительницы, Пьеры.

Только голос этот был глухой и страшный. Голос... как бы смешавшийся с треском ломающегося дерева... или ломающихся костей. Голос нашего впавшего в буйное помешательство времени.

А Пьера обычно говорила взвешенно, звонко и приветливо.

Дрожа от страха, заглянул за дверь. Никого.

Обе стороны двери были одинаковыми. Ни замков, ни ручек...

И тут... деревянная рама, в которой дверь висела на солидных бронзовых петлях, растаяла в воздухе, исчезла у меня на глазах... и я понял, что передо мной не дверь вовсе, а чемодан, поставленный на попа. Старомодный. С заклепками на углах. Большой, но не громадный. Обитый потрескавшейся кожей.

Сбоку у него была ручка и два латунных замка.

Голос Пьеры доносился изнутри чемодана.

Она хочет, чтобы я выпустил ее из западни. Понятно.

Ничего не понятно. Пьера умерла два года назад. Урну с ее прахом похоронили на кладбище, заросшем столетними елями. В Арнсфелде. Неделю назад я был на ее могиле. На велосипеде ездил. Ведь эс-бан давно не работает. Боялся, что по дороге подстрелят. Сейчас много всякой сволочи шатает-

ся по улицам с оружием. Людям нечего есть. Во всех больших городах участились случаи каннибализма. Европа непоправимо деградировала. Еще немного и конец.

Очистил могилу от пожелтевшей листвы и прикрыл еловыми ветками. Посидел несколько минут на пластиковом ведре, погрузился. И не слышал ни стука, ни голоса.

...

Включил верхний свет.

Легче от этого не стало. Чудовищный чемодан при электрическом свете выглядел еще чудовищнее. На его кожаных боках — были вытеснены жуткие сцены каких-то отвратительных ритуалов с человеческими жертвоприношениями. На крышке был изображен дьявол в пятиконечной звезде.

Крики, доносившиеся из его чрева, не утихали, наоборот, казалось, стали громче.

— Выпусти меня, выпусти, кретин! Тут холодно. Вороны выклевали мне глаза... я хочу посмотреть на тебя пустыми глазницами, любимый. Я хочу облизать тебе грудь, выгрызть тебе сердце и бросить его адским псам.

Брань эта обжигала мне душу как кипяток... заставляла вибрировать мои нервы.

Я боялся, что проснутся соседи, начнут звонить... вызовут полицию. Полицейские будут раздражены тем, что их потревожили из-за таких пустяков. Приедут, посмотрят на чемодан, послушают крики... и решат, что я — маньяк, запирающий женщин в чемоданах... Могут пристрелить на месте. С них станется.

Бред, бред, бред. Не может мертвая Пьера сидеть в чемодане и грозить выгрызть мне сердце. Живая Пьера со мной не ругалась и никогда не хотела причинить мне вреда. Мы жили с ней душа в душу.

...

Может быть, вытащить этот чемодан на улицу и отнести его куда-нибудь, подальше от дома. Бросить в озеро? Например, в Малховерзее. Нет, не дотащу, далеко. И опасно.

Я ретировался в кухню, вскипятил воду. Съел бутерброд с маргарином и соленым турецким сыром, остатками

былой роскоши. Выпил немного горячей воды. Посмотрел в окно. На нашей улице все было как обычно. Редкие бронированные машины проезжали под огромными тополями. Синие фонари не светили, а мерцали как глаза огромной кошки. Серые бетонные стены окрестных домов с ужасными следами от осколочных снарядов наводили тоску. На небе сияли четыре звезды. У мусорного ящика лежала бездомная цыганка. У нее в ногах, в зловонном тряпье копошились крысы. В полуразрушенном здании, в котором раньше помещался магазин КАЙЗЕР мелькали тени, там веселилась молодежь. Наверное, кого-то избивали ногами.

Издали доносилась редкая стрельба.

...

Дверь, ставшая чемоданом...

Кто притащил эту дрянь ко мне в квартиру?

Кто сидит там внутри и стучит?

Неужели, действительно Пьера тогда, двадцать пять лет назад, в год нашего знакомства, задолго до корейской войны, так похожая на Барбару Зукову? Моя милая Пьера, которую я так любил, с потерей которой до сих пор не смирился. С растрепанными волосами, маленькой грудью, синими глазами, пахнущей свежестью кожей и щемяще родной улыбкой. Вечная оптимистка и выдумщица. Душа любой компании. Моя радость и утешение.

Ожила до кремации? Ушла из морга. Потом влезла в чемодан, который сам собой оказался ночью в моей спальне?

А сожгли и похоронили вместо нее кого-то другого.

Абсурд.

Она умерла в Клинике Сана. В Лихтенберге. Я сам отвез ее туда.

Никогда не забуду ее последнего взгляда. Она уже не узнавала меня. Думала только о своей постаревшей половумной дочери, умудрившейся разбазарить за год доставшееся ей от отца наследство. Так и не вышла замуж. Курила марихуану и пропадала месяцами, бродила по стране с какими-то бродягами. Проституировала, воровала.

Пьера жалела дочь, чувствовала, что та долго не протянет.

Дочь пережила мать только на год. Случайно попала в уличную перестрелку. Ее тоже похоронили в Аренсфельде, в коллективной могиле.

Кто же стучит и кричит там, в чемодане, и просится наружу?

Открыть замки и выпустить?

А вдруг там не Пьера, а какой-нибудь, заблудившийся в других измерениях и материализовавшийся по ошибке у меня в спальне, космический упырь?

...

Может быть все это наказание?

За что?

Как будто ты не знаешь, за что.

За то. За твою бесконечную ложь... за твои измены, обманы... за твою изворотливость... Пьера пыталась не замечать твои штучки... страдала. А ты делал вид, что все хорошо.

Двадцать пять лет ты пил кровь этой женщины, ты обобрал ее... любил, любил... на самом деле ты даже не хотел ее, а только использовал как куклу. Силиконовую секс-куклу. Говорящую, готовящую, стирающую, убирающуюся.

А когда она состарилась и превратилась в ворчливую, холодную и равнодушную к тебе старуху, ты даже желал ее смерти.

И вот она умерла, снова стала молодой и узнала от ангелов смерти правду. И из ее горечи и боли и соткался этот чертов чемодан. И демон в нем. Ты выпустишь его, а он тебе голову откусит.

Ладно, хватит юродствовать и фантазировать, надо что-то делать.

Взял себя в руки, стиснул зубы и направился в спальню.

Решительно подошел к чемодану, положил его на пол крышкой вверх и открыл замки.

Поднял крышку.

В чемодане лежали старые платья, юбки и блузки Пьеры. Новые забрала ее дочка после смерти матери.

Погладил пеструю материю... сердце сжалось от тоски... закрыл поскорее чемодан и отнес его в кладовку. Поставил на то место, где он стоял последние два года.

Лег спать без пяти четыре.

Долго не мог заснуть. Спрашивал себя: «Зачем ты принес вчера в спальню чемодан со старым бельем и поставил его на попа?»

Около пяти вспомнил.

Чемодан служил мне мишенью. Я нарисовал черным фломастером на его крышке смешную рожицу, карикатуру на давно почившую в бозе канцлершу, одну из главных виновниц катастрофы, и кидал в нее серебряные бусинки, оставшиеся от счастливых времен. Лежа в постели.

## ЛАБОРАТОРИЯ

(отрывок)

Прихожу на работу, в институт, почему-то поздно, около одиннадцати утра. В большой светлой комнате — лаборатории — только три человека. Мой шеф и две сотрудницы. Остальные уже сделали ноги. Все трое — неестественно веселы. Как будто под шафе. Глазки масляные. Носы розовые. Губы подрагивают.

Шеф говорит мне: «Хорошо, что пришел, ты и подежуришь перед праздником... а мы пойдем домой, нас дети ждут. Салат надо приготовить и селедочку под шубой. В шесть вечера сдай ключи на вахте».

И все трое, болтая и смеясь, покидают лабораторию. Я даже не успеваю крикнуть: «Что я должен тут делать до шести?»

Впрочем, кому до этого когда-либо было дело?

Обескураженный, я остаюсь... сажусь за стол и безуспешно пытаюсь вспомнить... чем же мы тут занимаемся... Не может такого быть, чтобы пятнадцать человек годами сидели бы тут по восемь часов в сутки и ничего не делали.

Смутно вспоминаются уравнения Лагранжа... Что у них там справа? Ах да, трение... Интегральные многообразия... бифуркационные точки... Экспериментальная установка, в которой вертелись подвешенные на проволоке странные предметы с полостями, наполненными цветными жидкостями. Чай она варить не умела. Но палец оторвать — запросто.

Да, да, и еще... уличные фонари в желтом тумане... вечная слякоть... тени от прохожих, более плотные, чем они сами... разбираловки по понедельникам... троллейбусы, едущие по ледяному насту, как по Дороге жизни... азиатское равнодушие... хамство... прямоугольное безумие вагонов метро и адский визг тормозов... духота... серые виски и отвислая кожа под глазами у машинистов... измученные лица пассажиров...

А сейчас... в лаборатории нет никаких установок... только одинаковые письменные столы, стулья... и ничего больше... Даже меловой доски нет. Видимо, все продали в девяностые.

Два портрета на стене... лица смыты...

Через четыре огромных окна... в помещение вливается как пенное молоко, солнечный свет... Режет глаза.

На улице — поезд едет, везет жратву, железо и стройматериалы в подземный город, в кротовую советскую нору.

Сижу... и глажу полированную поверхность стола рукой. Как ветер — Балтийское море. Кто же все-таки изображен на этих портретах?

Встаю и несколько раз обхожу лабораторию. Мне все еще кажется, что я что-то тут смогу найти. Ищу, ищу, как археолог в Долине царей. Открываю ящики письменных столов. В них нет отчетов с фотографиями, логарифмических линеек, таблиц, нет даже писчей бумаги, ручек или карандашей. Все ящики заполнены почетными грамотами.

Пытаюсь прочесть — кому и за что выданы грамоты. Фамилии стерлись, шрифт неразборчив, только красные знамена и лысый череп мертвеца...

Выхожу в коридор. Делаю несколько шагов.

И... все путается... становится неясным, чужим... Теряю ориентацию.

Откуда-то доносится странная музыка. Кото и сямисэн.

От такой музыки птицы машут крыльями, но взлететь не могут.

Мимо меня пробегают две японки в кимоно. Мелкими шажочками...

Как голубые попутайчики...

...

Коридор полон людей и кроликов.

Худые носатые мужчины, лет сорока пяти, с одинаковыми папками под мышками, быстро идут куда-то. На их лицах — подбострастие и предвкушение...

Это клерки из фильма «Бразилия» Гиллиама.

Кролики стоят на задних лапах вдоль стен и с ужасом смотрят в потолок.

В толпе есть и прекрасные дамы. Они ходят кругами. Курят сигареты и шепчутся. Делают страшные глаза.

— Ну я же говорила! Говорила! Говорила тысячу раз! А она! А он!

В свободное от сплетен время дамы считают кроликов.

— Один, три, девять, двадцать семь...

...

Где-то там, в глубине здания, в главном кабинете, сидит паук. Он посылает приказы и выговоры. И все пляшут под его дудку.

Скажет: «Пляшите Камаринскую!»

Они — руки в боки и давай плясать! Выкаблучивать!

Скажет: «По домам!»

Все бросят свои папки и умчатся домой. Салаты делать и бульон варить. Из кроличьего мяса.

Он может все! Даже жилплощадь может достать. Но только для себя. Эгоцентрик.

Заместитель паука — мой старый знакомый. Вместе кислые щи ели и пуговицы делали.

Надо бы к нему обратиться. Он-то знает, он подскажет... укажет...

Если мой шеф покинул Лабораторию ради селедки под шубой, то я должен получить задание от кого-то другого. Младшие всегда получают задание от начальства. Они не могут бездельничать. У бездельников вырастают огромные розовые уши.

Хватаю за рукав первого попавшегося ходока с папкой и спрашиваю: «Где тут у вас начальство?»

Тот отвечает с неприязненной гримасой: «Отпустите меня, разве вы не видите, я занят, занят, занят...»

— Вздор, вы все тут только бегаете на перегонки. Дергаете несчастных кроликов за уши, вместо того, чтобы упорно работать над важными для народного хозяйства нашей великой страны проблемами в вашей лаборатории. Как вас зовут? Где ваша серебряная пуговица?

Лицо моего собеседника искажается яростью.

— Отстаньте от меня! Ничего я вам не скажу! Я кавалер бронзовой, слышите, бронзовой пуговицы! Спешу на семи-



нар по искусственному интеллекту. У меня доклад. О том, какой походкой тараканы ходят. Они, знаете ли, вовсе не так глупы, как мы предполагаем. Хитрый народец, эти кукарачи.

...

Мне плохо тут, в коридоре. Японки давно исчезли, музыка замолкла, слышно только грубое шарканье ног о паркет. Клерки и дамы вызывают у меня отвращение. Жалобные взгляды обреченных кроликов терзают душу.

Я хочу вернуться назад, в мою лабораторию...

Сяду за какой-нибудь стол... буду гладить его полированную поверхность... посмотрю еще раз на портреты, авось вспомню, кто на них изображен... убью время. А в шесть часов сдам ключи на вахту и побегу к метро. Там бесплатно пастилу раздают.

Но... как назло... не могу найти дверь в лабораторию. Все двери одинаковые. Без номеров и табличек.

Ищу, ищу... хожу, хожу...

Запыхался даже. Сердце защемило.

В отчаянии вхожу в первую попавшуюся дверь.

В огромной, похожей на вестибюль аэропорта, комнате стоят рядами маленькие кроватки для новорожденных. Между ними ходят медсестры. Где-то тут лежит и мой сынок. Младенцы режут как морские львы на пирсе 39 в Сан-Франциско. Невоспитанные дети.

Медсестры бегут со всех сторон ко мне... они возмущены моим вторжением в их суверенные владения... Они вытягивают свои длинные руки, чтобы схватить меня... я вижу их кроваво-красные ногти... горящие ненавистью глаза...

Они кричат: «В ступор! В ступор его! В ступор-ступор-ступор!»

Где мой сын?

...

Захожу в другую комнату.

Час от часу не легче! Тут нет ни одного живого существа... только ванны...

Грязные, наполненные гадкой жидкостью... ванны.

Сотни, тысячи ванн.

Скоро их будут использовать вместо гробов. Доиграется Европа.

Я опять в коридоре.

Еще одна дверь. Вхожу.

Что это? Церковь. Заброшенная. Готические своды кривятся. Какой-то святой стоит. Позолоченный. Безрукий. Мадонна без головы. Вместо Христа на Распятии — мертвая кошка.

На алтаре — жабы.

А позади алтара — корабли, корабли... океанские лайнеры.

Их списали... вот они и столпились. Чтобы на прощание хором песенку спеть. Про то, как блондинка брюнетку обманула.

### Краткий комментарий автора:

«Лаборатория» — это легкий, прозрачный текст. Почти что сон наяву.

Воспоминание трансформируется в нем в видение будущего. Домашняя, доступная каждому, прикладная мистика.

Написал я рассказ ночью, ровно за час, между двумя и тремя часами, так получилось случайно. Потом только поправил немного, не хотел менять канву, сюжет... потому что для меня — и уже давно — не интересен текст, который автор мурыжит и переделывает месяцами или годами... Мне интересен результат эксперимента... плод спонтанной импровизации... что-то вроде дзен-буддистского озарения... психоделика.

Потому что такой плод — свеж. Даже если текст написан на уже не раз пережеванном материале, как например этот. Все равно он — сюрприз для автора.

Сюрприз...

Что делает шпион, чтобы его не поймали? Приходит на вокзал — и садится в первый же попавшийся поезд. Выходит где-то, там, где никто не ожидает его появления. И садится на автобус. Какой-то автобус. Куда он едет, и сам не знает. Кроме того он — делает поступки, тоже спонтанные и потому трудно предсказуемые. Ищейки сбиваются со следа. Потому что в его поведении, в его путешествиях итд — шпион не следует, как мы все, стандартным мотивациям.

Нечто подобное можно делать и при создании текста. Исключить, например, такие мотивации героя как деньги, себялюбие, суетность, глупость, похоть... или наоборот, сделать их гипертрофированными, невероятными... заставить его гадать, подкидывать монетку и метаться если не по земле, то хотя бы по метафизическим просторам, в делах и в мыслях... и творить черт знает что...

Цель пишущего должна быть — не просто удивить читателя или самого себя (что само по себе не плохо), а пробраться, сидя на шее у лирического героя, в такие миры, в которые рационально мыслящий человек никогда не попадет. Не может попасть. Добраться до «иррациональной сути жизни», не только существующей, но действующей... и не доступной рациональному познанию... Конечно, перебарщивать тут не надо... но в этом постоянном самоограничении — и есть смысл литературной работы...

## БЕЛЕСАЯ МГЛА

Сидел на наскоро сколоченной кухне в этом дурацком маяке, писал письмо знакомому, щурясь и моргая из-за ярких студийных ламп:

...Немецкая жизнь — это прежде всего чудовищная зашоренность и пошлость. Постепенная сдача всех позиций. Отказ от мечты. Превращение в колесико или винтик. В шестеренку. Отступление и оупение. Капитуляция советского космизма неандертальцев. Железобетонный разврат. Под горячей юбкой тети Эльзы. Прогулки внутри паровой машины. Ползание по терке. И эту терку приходится еще и хвалить! Не будешь хвалить — получишь: «Зачем же вы тут живете, если вам у нас не нравится?»

Как будто у нас есть выбор. Ведь мы — агасферы, дети покойной матери. Родившиеся после ее смерти. И настоящая наша родина — не послесталинская Москва. Нет, наша родина на небесах. На далекой звезде Венере...

Когда все попробовал, когда жизнь внутри тевтонского асфальтоукладчика опротивела, захотел убежать, спрятаться в «литературу», островок в океане. Попробовал. Не вышло. Не только потому, что писать — это вскрывать себе грудную клетку.

Понимаешь, я давно перестал ценить мысль теоретическую. Как бы она ни блестела. Ни пронизывала. Мысль без чувственного содержания, без практического продолжения, без воздействия на тело говорящего... на его судьбу... останется вектором, контуром, в лучшем случае — чертежом. Моя эмиграция и была такой мыслью... и не только моя, наша. Мы ведь не ради комфорта сюда приехали, а ради свободы. В результате получили и то и другое. Но тутошний комфорт и здешняя свобода вовсе не похожи на то, о чем мы мечтали. Все вверх ногами.

И моя литература это тоже только вектор, уносящий меня подальше от лагеря... на тот самый остров. И я долго бродил, потирая зудящий шрам на груди, по его пляжам и тропическим садам... наслаждался его причудливой, ни на что не похожей природой и экзотами-обитателями... а теперь... по тем же причинам, по которым мой остров возник из ничего, он начал изменяться, преображаться... и становится все более похожим на Марцан. И обитатели его все чаще говорят не на чудесном матерном эсперанто, языке моего детства, а на берлинском диалекте немецкого.

Режиссер сказал: «Дайте Марцан. Панельные дома. Перспективу. Так. И несколько морд... Морды покажите! Чтобы зритель понял, о чем речь».

Предупреждали меня знатоки. Не поверил. Думал, не могут люди быть такими узкоплечными... вроде и не живыми... деревянными или пластиковыми... да еще и самодовольными, как индюки... когда им открыты все сокровища земные и небесные. Могут. Еще как могут. И за высшую честь почитают.

...

И вот... как раз тогда, когда я, похохатывая, отщелкивал на клавиатуре восклицательный знак... в эту рутинную и ничем не примечательную секундочку обычного эмигрантского брюзжания... я увидел привидение. В двух шагах от меня, в гостиной.

Босую женщину в шелковом спальном костюме. Навероятно привлекательную. На кого-то очень похожую. Она застенчиво переступала с ноги на ногу и поводила кокетливо изящной головкой. Поправляла тяжелые браслеты из белого нефрита на смуглых руках. Вот так сюрприз!

На кого же она так похожа?

Догадался! На актрису Стефан Одран. Молодую, времен «Неверной жены» Клода Шаброля, ее тогдашнего мужа. Хлодная такая красавица с тоненькими пальчиками и узкими породистыми бедрами. Изменяла мужу с любовником. А муж детектива нанял и правду узнал. Пришел к любовнику, поговорил с ним, посмотрел на необуванную постель, распалился и... хрясть любовника по башке тупым тяжелым предметом.

Головой Нефертити. Следы замел, труп в болото бросил. Постарался. Но полиция все равно его вычислила и на глазах у жены арестовала. Драма.

Стефан Одран в моем логове?

Да, привлекательная... но не живая... не от мира сего.

Она напоминала изображение на экране или голограмму. Переливалась как ёлка в гирляндах... С пальцев ее падали на пол синие искорки.

От моего изумленного взгляда она дернулась... как рабыня от удара бича...

Как будто я застал ее за чем-то постыдным. Лягушачьи ее глаза сверкнули как серые агаты. Короткие каштановые волосы взвились... и засыпали мой паркет золотинками.

Может, таким, как она, нельзя тут показываться?

Или я ее испугал?

Дернулась и исчезла. Зашла за невидимую ширму.

Но успела-таки в самый последний момент бросить на меня взгляд Медузы Горгоны. Как ледяной водой окатила.

Я, как и было написано в старом сценарии, превратился в колонну из малахита.

Но быстро вернулся в себя. Неизвестная сила вытянула меня из вязкой холодной сердцевины камня назад — в человеческую плоть. Может, это она... исправила так ошибку... Или режиссер спас положение. Фильм-то нужно было дальше снимать. Отрабатывать бюджет.

Я встал (стул завизжал так громко, что звукооператор руками замахал), прошел в гостиную, посмотрел туда-сюда. Никого. Понюхал. Какой-то легкий аромат висел в воздухе. Флоксы! В январе?

Не понимая, что делаю, обратился к исчезнувшему призрак: «Госпожа Одран, вернитесь! Не оставляйте меня тут одного. Мне так осточертел этот мир, возьмите меня с собой! Готов стать браслетом на вашей изящной ручке!»

Ответа, разумеется, не последовало. Но осветители засмеялись. А режиссер нахмурился.

Проверил, нет ли кого в прихожей, спальне, кабинете...

Заглянул и в ванную комнату. Огромное зеркало не отразило ничего подозрительного. Заметил в своих глазах вы-

ражение растерянности. А кожа на лице и на руках сохранила что-то от малахита. Неровную зелень кругами. Надо будет визажистке шею намылить.

Дописал и отправил письмо, нацепил плащ, подбитый мехом шиншиллы, и вышел погулять по свежему, искрящемуся снежку, редкому в постапокалиптическом Берлине явлению. Тут скорее лягушки будут падать с неба, чем снег.

Миновал несколько близлежащих улиц. Кивнул знакомому дому с аркой (в нем когда-то жила жена Михаила Чехова) и пивному ларьку, вокруг которого толпились местные алконавты. Пересек под мостом линию эс-бана. Углубился в парк. Нашел в нем любимую липовую аллею. И зашагал по ней... пробежался... попрыгал... как астронавт на Луне.

Дышалось легко. Деревья уютно поскрипывали. Где-то трещал дятел. То и дело по воздуху проносилось что-то желтое — это большие синицы перелетали с дерева на дерево в поисках корма. По земле деловито ходили важные скворцы. Из дупла на четырехсотлетнем дубе мрачно выглядывала сова. Три огромные вороны клевали дохлого кролика. Убежавший из зоопарка белый медведь гонялся за длинноногими фламинго.

Терка? Ну да, но не без известного шарма.

Красивая, уютная, но радикально спятившая страна. Во что она превратится через пятьдесят лет? В северную Сирию? В западную Турцию? В новый Аушвиц? Или всемирное оледенение охладит пыл грядущих поколений?

Режиссер опять нахмурился и многозначительно показал на страницу сценарной книги. Его палец уткнулся в название очередного эпизода — «Ретроспекция со слезой».

Я повиновался и попытался вспомнить то время, когда впервые увидел «Неверную жену».

Когда же это было? Я был еще школьником. Значит, году в 71-м или 72-м.

Где? Конечно, в «Иллюзионе». Наверняка вместо того, чтобы в школу ехать — сразу рванул на Котельническую. Чтобы попасть на утренний сеанс. И посмотрел два фильма подряд. «Неверную жену» и какую-то комедию... может быть, «Розовую пантеру» с двумя другими тогдашними холодными красавицами — Кардинале и Капучине.

Красным карандашом справа почерком режиссера:  
«Эпизод “Самоубийство Капучине” пропустить в целях экономии средств. Распоряжение дирекции».

Пропустил.

Какая же это радость, окунуться в нездешнюю, чудную, заграничную жизнь! Побывать в Версале, покататься с Дэвидом Нивеном на лыжах в Кортине, подышать воздухом Голливуда. За тридцать копеек! Высшее удовольствие, доступное молодому человеку, запертому в «социалистическом лагере».

Твои одноклассники сидят в душном классе... учат какую-нибудь идеологическую дребедень... настырный учитель долдонит... а ты, свободный как степной волк, бродишь по улицам родного города. А потом наблюдаешь на киноэкране интимную жизнь чудесных женщин и мужчин. Европейцев, американцев... небожителей. Слушаешь веселую музыку Манчини. И на все тебе наплевать... на школу, на аттестат, на МГУ, на ЦК КПСС, на прошлое и будущее...

Под ложечкой сосет предчувствие неизбежной катастрофы... и превращает просмотр развлекательного кино в незабываемый, почти сакральный момент... в счастье.

Послал из берлинского парка привет самому себе, в Москву начала семидесятых.

Как же он был мне тогда нужен! Привет из другого мира. Из другой эпохи. Капелька надежды. Вытер слезу.

Режиссер удовлетворенно крикнул и крикнул: «Снято!»

...

После ланча продолжили.

Декорация — лес, аллея. Нарисованный небосвод.

В конце аллеи под искусственной сосной стояла женщина в высоких кожаных сапогах. Кто-то из массовки?

Режиссер заорал: «Недоумение изобрази! Недоумение. И ностальгию. Но не переигрывай!»

Подошел к ней, робко взглянул ей в лицо. Нежно пахнуло флоксами, кожей и хорошим табаком.

Легкое бежевое пальто... алая беретка... курит сигарету. Длинные ее перчатки испачканы фиолетовым пеплом. Загорелое скуластое лицо выражает презрение к окружающему миру, а прекрасные серые глаза смотрят на заснеженную землю.



Потом она взглянула на меня, и я услышал:

— Ты звал меня, я вернулась...

От волнения и предчувствия счастья я опять превратился в малахитовую колонну.

Вся съемочная группа заплодировала. Рабочие подтащили вентилятор и коробку с тертым пенопластом.

Порыв ветра запорошил нас снежным жемчугом...

Красавица исчезла, как будто ее и не было, а я так и остался в камне...

Я не мог двигаться, дышать, есть, говорить. Зато мог думать.

И думал, думал...

Вспоминал. Вся моя до- и после-эмигрантская жизнь представилась мне бесконечной чередой неприятных, мучительных дней и ночей. Под черным Солнцем и синей Луной (так нарисовал наш художник-декадент). Родным и близким существом была для меня теперь только она, пахнущая флоксами женщина в беретке, похожая на молодую Стефан Одран.

Через несколько минут, часов или столетий я вышел из камня.

Вокруг меня ничего не было. Ни маяка, ни леса, ни съемочной площадки.

Только белесая мгла над океаном.

Какого черта? Где все?

## ПОД ЮБКОЙ У ФРЕЙЛИНЫ

Женился я — в первый раз — еще студентом. Жена моя, Марисоль К., внучка испанских коммунистов, спрятавшихся от Франко в сталинском потном коминтерновском сапоге и жестоко поплатившихся за это, тоже еще бегала на лекции и семинары. Поторопились окольцеваться. Надо было, прежде чем в ЗАГС идти, пожить вместе, узнать друг друга... притереться.

Ну вот, мы и пожили, и узнали, и притерлись. А потом, как это обычно и бывает, поссорились, разбежались и развелись.

Было это почти сорок лет назад. Я так любил ее... Десять лет после развода каждый день думал о ней. Все ласкал и ласкал ее мысленно. А теперь... не помню ни одной ночи любви... ни одного нашего разговора, а мы говорили часто и подолгу... и скандалы забыл... помню только, что знатные были скандалы, с истериками и не без мордобоя, а разговоры... все-все забыл.

Что же осталось в голове от пяти лет брака? Одна физиология. Черные, чуть косящие, страстные глаза. Щеки — кровь с молоком. Свежий, дурмящий запах молодой женщины. Розоватые высокие груди. Стройные ноги, переплетающиеся у меня за спиной. Мои дежурные оргазмы и ее... неоргазмы, ее нерадость. Ее молчание. Разочарование. Во мне. В браке.

Ничего я поделать не мог... как ни старался... моей жене нужен был другой мужчина. Поопытнее меня. Посильнее. Покрупнее. Может быть, ей просто был нужен гребаный испанец? Кто знает...

Когда мы расставались, Марисоль отчеканила: «Только ты не думай, что ты хороший мужчина. Любовник ты никому дышный. Слабенький. И член у тебя маленький».

Змея. Неприятно такое услышать от женщины, которую без памяти любил и после развода. Горько. Но что поделаешь? Таким она меня видела и чувствовала. Я-то, конечно, себя видел и чувствовал иначе. Но что от этого толку? Марисоль со мной не кончала. И считала меня в этом виноватым. Через год после нашего развода она вышла замуж. И живет со вторым мужем до сих пор. В Испании. Надеюсь, счастливо...

А ко мне... иногда приходит ночью ее двойник или солярисов клон из нейтрино или астральная проекция... вам виднее, во сне приходит... или в дневных полусонных мечтаниях. Вот и сегодня приходил.

Сидел я после обеда в кресле, кофе пил. Яванский. С легким шоколадным привкусом. И орешки ел. Киндалкиндалы. Закрыв глаза. Подумал о Марисоль.

Глубоко вздохнул... и вот, я уже лечу... на воздушном шаре... как Сайрус Смит со своими спутниками... подо мной — бушующий океан... надо мной — темно-желтые облака... в редких просветах — темнота, ни одной звезды не видно... только планета Сатурн подмигивает мне своим перламутровым глазом с обсидиановым ободком... порывистый ветер гонит шар шут знает куда. Я, впрочем, знаю, куда. На остров. Но не к капитану Немо.

На т о т остров. Там она придет ко мне. Моя любимая испанка с огромной копной черных, в мелких кудряшках, волос. И мы снова будем вместе. Если я, конечно, не угожу в ловушку, не прыгну с балкона девятого этажа и не провалюсь в лифтовую шахту.

...

На острове этом я бывал не раз и не два. Первый раз меня туда забросило еще в детстве. Когда я в углу стоял. Провинился и был наказан. Кляксу в учебнике по русскому языку поставил. И не одну. Соединил кляксы линиями. Получилась фигурка гнома. Нарисовал рядом еще одного гнома. Потому что мне показалось, что гному, состоящему из клякс, будет одиноко среди «Н и НН в именах прилагательных». Потом пририсовал еще одного. На уроке я объяснил, что гномов я нарисовал для запоминания исключений, что первый гном — стеклянный, другой оловянный, третий деревянный, но ни один из них не лошадиный, не прыный и не румяный...

Класс хохотал, русачка рассвирепела. Вызвала родителей. Родителями у меня была бабушка. Сходила бедная старушка, охая и прихрамывая, на randevу с нашим директором-бульбоносом по прозвищу «Бурбон», который проорал ей в ухо: «Прошу вас объяснить вашему внуку, которого вы избаловали как испанского принца, что рисовать надо в альбоме для рисования, а не в учебнике по русскому языку. И накажите его за наглость. Иначе нам придется наказывать. Вздумал поучать заслуженного учителя РСФСР! У Анны Брониславовны чуть сердечный приступ не начался! А вашему внуку — все как с гуся вода! Гномов он, видите ли, нарисовал. Возмутительно! Это если каждый гномов начнет рисовать в учебниках, что же будет? Белиберда, бессмыслица, дичь и антисоветчина!»

Бабуля ничего не ответила, только кивнула и с облегчением покинула кабинет директора с большой репродукцией картины «Ленин и печник» на одной стене, чуть меньшим парадным изображением улыбающегося Хрущёва с тремя звездами на груди — на другой и с укором смотрящей на посетителей фотографией педофила Макаренко — на третьей.

А дома поставила меня в угол.

«Потому что ты живешь в этой стране и должен научиться не выделяться, иначе тебя сотрут в лагерную пыль или сгноят в психушке».

Опасения бабушки я интуитивно понимал, хотя мне и в голову не приходило, что для государства, в котором я имел несчастье родиться, «стирание в лагерную пыль» собственного населения было почти сорок лет едва ли не главной целью существования... и проводилось оно по плану того самого лысого старика, объясняющего печнику, как печи строить, а «гноение в психушке» всяческих выделяющихся на сером советском фоне личностей было изобретено и успешно «продвинуто в массы» улыбающимся человеком с тремя звездами на груди, слегка похожим на свинью.

...

Стоял в углу и смотрел в угол. Страшно хотелось идти гулять. Организм требовал движения. Мяча. Игры. В салочки. Вышибалы. Ноги затекали. Руки начали болеть. Зачесались щеки. Перед глазами посинело. И тогда я прыгнул. Но

не как потерявший рассудок кузнечик, который прыгает и прыгает в углу детской комнаты, в которую он случайно залетел, разбивая себе о стену похожую на водолаза мордочку, а как стартовый пловец — в воду. Решительно и сосредоточенно.

Но не ударился головой о стену, не упал, не застонал, а пронзил ее своим молодым телом и провалился в пустоту. И... плюхнулся в холодную соленую воду.

Начал было тонуть от неожиданности... дна не видел, заметил только какое-то неприятное копошение под собой... большие густо-синие фигуры вроде осьминогов или кальмаров копошились на глубине... Вынырнул, отдышался. Набежавшая волна мягко подхватила меня и вынесла на узенький галечный пляж. За ним возвышалась мощная бетонная стена.

Я, конечно, был вне себя, но ни реветь, ни звать на помощь не стал, потому что догадывался, что все это... не совсем настоящее... или, точнее, что не совсем настоящей оказалась моя московская жизнь... школа, Анна Брониславовна, Бурбон, угол в гостиной и та самая «масса», из которой не надо выделяться. И я не хотел, чтобы это новое ощущение оказалось иллюзией или самообманом.

Пошел по гальке вдоль стены и нашел ржавую железную лестницу, ведущую наверх. Вскарabalкался. Стоя на каменной набережной, я впервые увидел этот удивительный город на острове, это нагромождение бетонных прямоугольников и крестообразных балок, урбаническую поросль посреди водяного поля... это странное место, в которое меня позже еще не раз затащит неведомая сила, добрая ко мне и враждебная тошнотворной рутине советской жизни. Этот город-остров... появление которого всякий раз потрясало, как откровение, а уход с которого разочаровывал.

Разочаровывал не только потому, что я не хотел покидать этот безумный мир, эту мою персональную Сумеречную зону, мое Зазеркалье, в котором я встречал людей, которых уже не имел надежды когда-либо встретить в своей обычной жизни, а иногда и тех, которые вообще никогда не существовали... но и потому, что покидать этот остров мне приходилось всякий раз, как только я собирался осуществить на нем что-то, что долго подготавливал, чего жадно ждал.

Например, однажды, много лет спустя, попав на остров в состоянии тяжелой депрессии, после немислимых разрушений, которые я там учинил (я не боялся разрушать, потому что знал по опыту, что в следующий мой приход туда — все станет, как в первый раз, обнулится), я решил сделать что-то позитивное... построить на острове кинотеатр для заблудших душ, бессмысленно бродящих по улицам или вегетирующих в пустых квартирах. Кинотеатр, в котором каждый смог бы увидеть ту, оставленную временно или навсегда, материальную, земную жизнь. Строил я его долго... из терапевтических соображений... каменные блоки, которыми я ворочал с помощью телекинеза, не хотели вставать один на другой, медленно падали, застывали в воздухе или, грациозно покачиваясь, улетали в разные стороны. Крышу мне так и не удалось соорудить, зато ореховые, с пунцовой бархатной обивкой стулья, которые я только-только вообразил, появились сразу, и выстроились рядами, как уланы на параде. Даже ржали как лошади и били ножками по огромному тканому ковру, на котором был изображен торжественный въезд крестоносцев в Константинополь. И кинопроектор и киноленты материализовались на удивление быстро. И когда разношерстная публика, напоминающая массовку в фильме про вампиров и зомби, расселась в зале, и я уже хотел было начать первый сеанс... для которого выбрал фильм «Назарин», что-то хлопнуло у меня в ушах... и я очнулся на старой лежанке в маленьком дрезденском ателье.

Пора было идти в галерею, в которой я за два дня до этого развесил рисунки одного художника-инвалида из Варшавы. Только голова и правая рука слушались беднягу, прикованного к инвалидной коляске, на которой он лихо разъезжал по галерее. И он рисовал, и рисовал этой здоровой рукой... с энергией мастурбирующего подростка. Рисовал пустынные, безлюдные, если не считать повешенных на фонарях и деревьях девушек, улицы современного города с одинаковыми бетонными постройками... Рисунки свои он охарактеризовал кратко: «Это ад, мы все в нем живем». Под каждой висящей леди сидел кобелек, поднявший морду к небу.

Полагаю, псы эти являлись аватарами автора. А повешенные девушки его явно эротизировали. Нарисованы они были гиперреалистично. У некоторых из ртов вылезали длинные языки... отвислые груди вываливались из платьев.

Язык сексуальных фантазий метафоричен, парадоксален, антиномичен, не стоит понимать их буквально. Хотя, кто знает, может быть и хорошо, что природа так жестоко наказала этого несчастного... будь он здоров и силен... некоторым его подругам возможно и пришлось бы повиснуть на фонарях... с высунутым языком.

...

Город на острове выглядел тогда и выглядит сейчас — приблизительно так, как город-призрак Хасима на одноименном острове недалеко от Нагасаки, ставший кулисой для одного из последних фильмов Бондианы. В город-призрак Хасима превратился, кстати, не из-за землетрясений или атомных взрывов, а потому что угольная шахта, ради которой город-остров и был построен, стала нерентабельной. Угледороды правят нами...

Слава богу, в отличие от Хасимы, мой остров это нечто метафизическое. Недоступное для угольных компаний. Его реальность создается не тектоническими или вулканическими процессами, даже не кранами и бульдозерами (Хасиму люди частично построили сами... из порожней руды), а тактильными ощущениями, предчувствиями... тут растут, как грибы, воздушные замки и фата-морганы... материализуются страхи и надежды.

Можно даже утверждать, нечто перипатетическое...

Потому что на этом острове я почти всегда прогуливался. Не спеша, как и полагается странствующему подмастерью. Прогуливался в ожидании чуда. И оно не заставляло себя долго ждать.

Еще одно отличие от Хасимы. Мой остров далек от других островов и континентов. Вокруг него необозримый океан, символизирующий и манифестирующий безграничное бессознательное, трансцендентное всему, отрицающее все, кроме самого себя, чаще всего спокойный, но изредка обрушивающий на бетонные стены, окружающие город — тяжелые темные волны, колеблющие его твердь.

Кроме того, архитектура моего острова, хоть и похожа на архитектуру Хасимы, но дома тут не разрушены, а только как бы оставлены людьми, балконы и крыши на месте, улицы не

завалены строительным мусором. Бывшие обитатели моего острова не умерли, не исчезли, а претерпели загадочную метаморфозу... и теперь про них нельзя достоверно утверждать, что они там или не там, что они есть, или их нет.

Есть в моем городе и то, чего заведомо нет и не было в реальной Хасиме — несколько квадратных в плане, полуобрушившихся башен, над которыми вьется дымок, и много-много статуй на улицах. Пластика эта особенная, как и все в этом городе — меняющаяся, вибрирующая, танцующая. Помню, как меня поразила тогда, во время моего первого проникновения на остров, фигура нагнувшегося мужчины с головой свиньи, одной ногой стоящего на постаменте, а другой — коленом — опирающегося на старомодный короткий костыль. На спине у него лежала мидия, заполненная жемчужинами размером с крупные яблоки. Мидия эта что-то тихонько напевала, а жемчужины посвистывали.

Заметив мой изумленный взгляд, он неловко дернулся, и одна жемчужина выкатилась из мидии. Я схватил ее и сжал двумя руками — и она тут же потеряла блеск, стала мягкой и превратилась в оранжевую пятнистую жабу. Жаба эта посмотрела мне в глаза своими зелеными глазищами, повертела у виска трехпалой лапой и прыгнула на пустой постамент, туда, где еще несколько мгновений назад стоял мужчина с мидией. Выросла, расправила плечи и окаменела. На постаменте появилась надпись «Розалинда — королева комаров». Последние три буквы в слове «комаров» кто-то уже успел зачеркнуть.

Я отошел от нее и долго бродил по этому странному городу. К другим статуям не подходил, побаивался. Хотя они меня и подзывали жестами.

Рядом со зданием бывшей военной фабрики (на стене еще можно было разглядеть колоссальный рекламный щит с изображением танков и трех улыбающихся работниц в фартуках и платочках на фоне сотен снарядов различного калибра, с надписью: «Мы трудимся для того, чтобы на Земле воцарился мир!»), ко мне подошла женщина в старинном зеленом парчовом платье колоколом с длинной-предлинной конической головой. Лица на этой голове не было, не было и рта, но она заговорила со мной.



— Приветствую тебя, маленький Орос, на нашем чудесном острове! Надеюсь, что ты не поранился, пробиваясь сквозь стену вашего ужасного кооперативного дома, а эта чертовка Розалинда не перепугала тебя до смерти? Она всегда кокетничает с новоприбывшими. Забирается на постамент и выставляет свои лягушачьи прелести на всеобщее обозрение... А этот жалкий трус, Горацио, ну тот, с поддельными жемчужинами и костылем, убегает загорать на крышу воон той башни. Эту башню называют «Небесным капканом». Не вздумай туда забраться. Пропадешь. Видишь его? Качается в гамаке и жонглирует жемчугами. Тебя удивляет моя голова. Всех удивляет. И меня тоже. Послушай мою историю, и поймешь, откуда у меня такое украшение. Когда-то я была фрейлиной при дворе Золотого Императора...

И она начала скучно-прескучно рассказывать свою бесконечную биографию, а я делал вид, что слушаю. Скоро мне это надоело и я... сам не знаю почему, приподнял ее парчовое платье и залез под него. Увидел, как и ожидал, две женские ноги в смешных панталончиках. Бывшая фрейлина, казалось, не заметила моей проделки и продолжала свой рассказ... голос ее звучал глухо... я обнял одну из ее ног, как поэт Есенин обнимал березку, и задремал... только на одно мгновение... а в следующее мгновение у рассказчицы уже было много-много ног... и они были уже не ногами, а высокими деревьями.

Я шел по тропинке среди буков в густом августовском лесу.

Вышел на заросшую цветами поляну. И сразу же заметил медведя, который рвал зубами еще живого оленя. Через несколько секунд олень перестал биться и умер, печально посмотрев на прощанье мне в глаза, а медведь победно зарычал и откусил от его шеи огромный кусок плоти и попытался проглотить... Морда медведя была окровавлена.

Я побежал от него в сторону протекающего недалеко ручейка. Убедился, что медведь меня не преследует, и пошел вдоль заросшего камышом русла в сторону видневшегося невдалеке холма, похожего на развалины огромной статуи. Можно было различить лоб, нос и руку гиганта, руку, сжимающую факел.

Загляделся на поверженного колосса... погладил неизвестное мне дерево с удивительно гладкой корой, сорвал травинку, пожевал ее... вспомнил о медведе и пошел дальше.

А через несколько минут неожиданно услышал кряхтение и такой звук, какой издает какая-то громоздкая вещь, когда ее волочат по земле. А потом и увидел... вышедшего из-за куста голого мужчину средних лет, который тащил на себе здоровенную корону, по виду золотую, с тускло отсвечивающими пыльными бриллиантами величиной с чайник. Поднять ее мужчина не мог, поэтому он взгромоздил ее себе на спину... но корона все равно волочилась по земле... взрыхляя ее, вырывая с корнями пучки травы и неприятно поскрипывая.

Я, конечно, вытаращил глаза на тащившего и на его ношу.

А голый повел себя странно. Поставил корону на траву, расшаркался передо мной своими босыми грязными ногами, снял невидимую шляпу с бритой головы и представился:

— Герцог Ангулемский. Король Франции. Рад приветствовать вас в солнечной Бургундии! Знаю, что вы сирота. Прискорбно. Не хотите ли ускоренного усыновления по льготному тарифу? За какие-то ничтожные десять тысяч ливров станете дофином. А когда я умру, вас коронуют как Людовика XX. Прикажу вставить вам в шпагу знаменитый алмаз «Регент», а на завтрак готовить цыплят «кок-о-вен». Познакомлю вас с Марией-Антуанеттой. Она тут недалеко... берет молочные ванны... Ведь вы уже большой мальчик... Или вы предпочитаете ягодный омлет-суфле?

Я постарался ему подыграть.

— Спасибо за предложение, сир, но в настоящее время я уже нахожусь на службе у одной весьма требовательной особы из рода де Эсте с невероятно длинной головой, бывшей фрейлины при дворе Золотого Императора, выполняю ее особое поручение. Поэтому, прошу меня простить... вынужден откланяться. Спешу в Феррару. Боюсь опоздать на поезд.

Издали послышался тревожный гудок паровоза...

При упоминании Золотого Императора герцог невольно вытянулся и встал в стойку, как бравый солдат. Учитывая его

наготу, это было неуместно, но трогательно. Я пожалел его. Уходя, дунул в сторону короны, и она мгновенно стала не больше спичечной коробки.

Что тут началось!

— Что ты наделал, маленький негодяй! — крикнула пролетающая мимо рыбина с красноватыми плавниками, — что ты наделал!

И раскрыла свою зубастую пасть.

— Он теперь умрет от расстройства. Тащить эту золотую штуковину было целью его жизни, а теперь он свободен от ноши, но несчастен... несчастен... Вы убили нашего короля! А я, между прочим, его вассал! — добавил сидящий на ней рыцарь в стальных латах. И даже поржавел от возмущения.

— Убили! Убили короля! — подтвердила, ужасно картавя, ковыряющая вилкой в зубах ведьма на повозке, которую тащили два рогатых черта. Погрозила мне вилкой и проследовала.

— Нет тебе прощения... ты всех нас погубил, проклятый байстрюк... — пропищал деревянный гном в высокой шапке, проходивший мимо меня. — Пойду в дубовую рощу, наемся в знак протеста каши из желудей. А-то ведь и припадок может случиться. Припаду и не отцеплюсь... А ты только смеяться будешь, да... Нет, чтобы помочь сказочному персонажу сохранить лицо. Идет себе и в ус не дует. Погоди, познакомишься с Пожирателем шишек, тогда и вспомнишь о бедном голом короле.

Пришлось возвращаться и дуть на корону еще раз.

Герцог Ангулемский сидел на корточках и рыдал. А когда его корона получила свой прежний размер, он встал, взвалил ее на спину и потащил.

Куда он ее тащит, подумал я. Не иначе как во дворец Императора. Не пойти ли и мне туда? Говорят, тамошние повара мастерски готовят соусы из сои для жареной индейки. И приготавливают славный сливовый лимонад.

Но в тот раз побывать во Дворце мне было не суждено.

Потому что как раз тогда, когда я подумал о лимонаде, на моем пути встал Маг.

В красном просторном одеянии, поверх которого он носил кожаный фартук с большими карманами, в немыслимой

железной шапке, с волшебной палочкой в руке, он стоял и строго смотрел мне в глаза. У ног его сидел песик-шут с лицом человека и длинными ушами вулканца. Перед магом стоял небольшой столик, на котором лежали: лист белой бумаги, кинжал, два шарика, красный и синий, глиняный кувшин и такой же горшок. Маг жестом пригласил меня подойти к столику и взять в руку шарик. Я взял синий.

Маг рассмеялся и сказал: «Вы сделали неправильный выбор, любезный дофин. Приговор остается в силе!»

Вынул из кармана фартука шишку и съел. Потом нацепил себе на нос круглые очки, взял лист бумаги, поднес его к носу и начал зачитывать приговор.

## СОДЕРЖАНИЕ

Жасмин .....	5
Триста тысяч юаней .....	25
Лепрекон.....	32
НЛО в Берлине.....	42
Пантера в кресле.....	56
Господин Макс .....	63
Сороконожка .....	71
Абсент.....	77
Багровая полоса .....	98
Трещина.....	105
Черный аспират.....	116
Поцелуй Клеопатры .....	133
Коломбо .....	155
Демон .....	169
Ужас на заброшенной фабрике.....	173
Реликвия.....	185
Рождественский базар .....	192
Монсеньор .....	202
Ящерица .....	213
Согнувшийся человек.....	221
Глюк .....	233
Крысолов .....	246
Граффити.....	260
Инес.....	270
Ночь в квартире мертвого человека .....	281
Чатгануга .....	293
Этот маленький уютный мир .....	304
Полжило кураги .....	316
Карбункул.....	329
Наваждение.....	336

Облако Оорта .....	342
Дома .....	355
На озере .....	366
Жемчужное ожерелье .....	374
Принцесса.....	382
Прозрение Карла .....	390
Даржилинг .....	399
Портрет .....	408
Галактика.....	421
Спутник.....	440
На шее у боцмана.....	445
Мальчик, который был чайником .....	459
История с самолетом.....	471
Чемодан .....	488
Лаборатория.....	495
Белесая мгла.....	501
Под юбкой у фрейлины .....	507

Книга впервые напечатана  
в киевском издательстве КАЯЛА  
в 2020 году.  
Настоящее издание – это авторская перепечатка.

**Игорь Шестков**

УЖАС НА  
ЗАБРОШЕННОЙ  
ФАБРИКЕ